

# ОКТАБРЬ

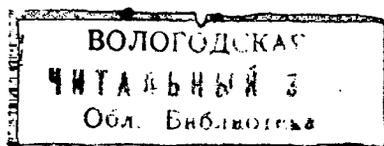
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
Ж У Р Н А Л

ОРГАН СОЮЗА  
СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ПЕРВАЯ — ВТОРАЯ

КНИГА

ЯНВАРЬ — ФЕВРАЛЬ



ГОСЛИТИЗДАТ

О Г И З

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
МОСКВА 1942

28547/1

# ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ

23 февраля 1942 года

№ 55

г. Москва

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки!

24-ю годовщину Красной армии народы нашей страны встречают в суровые дни отечественной войны против фашистской Германии, нагло и подло посягающей на жизнь и свободу нашей родины. На протяжении громадного фронта от Северного Ледовитого океана до Черного моря бойцы Красной армии и Военно-морского флота ведут ожесточенные бои, чтобы изгнать из нашей страны немецко-фашистских захватчиков и отстоять честь и независимость нашего отечества.

Не впервые Красной армии приходится оборонять нашу родину от нападения врагов. Красная армия была создана 24 года назад для борьбы с войсками иностранных интервентов-захватчиков, стремившихся расчленивать нашу страну и уничтожить ее независимость. Молодые отряды Красной армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля 1918 г. был объявлен днем рождения Красной армии. С тех пор Красная армия росла и крепла в борьбе с иностранными интервентами-захватчиками. Она отстояла нашу родину в боях с немецкими захватчиками в 1918 году, изгнав их из пределов Украины, Белоруссии. Она отстояла нашу родину в боях с иностранными войсками Антанты в 1919—1921 г.г., изгнав их из пределов нашей страны.

Разгром иностранных интервентов-захватчиков в период гражданской войны обеспечил народам Советского Союза длительный мир и возможность мирного строительства. За эти два десятилетия мирного строительства возникли в нашей стране социалистическая промышленность и колхозное сельское хозяйство, расцвели наука и культура, окрепла дружба народов нашей страны. Но советский народ никогда не забывал о возможности нового нападения врагов на нашу родину. Поэтому одновременно с подъемом промышленности и сельского хозяйства, науки и культуры росла и военная мощь Советского Союза. Эту мощь уже ис-

пытали на своей спине некоторые любители чужих земель. Ее чувству сейчас хваленая немецко-фашистская армия.

8 месяцев назад фашистская Германия вероломно напала на нашу страну, грубо и подло нарушив договор о ненападении. Враг рассчитывал, что после первого же удара Красная армия будет разбита и потеряет способность сопротивления. Но враг жестоко просчитался. Он не учел силы Красной армии, не учел прочности советского тыла, не учел воли народов нашей страны к победе, не учел ненадежности европейского тыла фашистской Германии, не учел, наконец, внутренней слабости фашистской Германии и ее армии.

В первые месяцы войны ввиду неожиданности и внезапности немецко-фашистского нападения Красная армия оказалась вынужденной отступать, оставить часть советской территории. Но, отступая, она изматывала силы врага, наносила ему жестокие удары. Ни бойцы Красной армии, ни народы нашей страны не сомневались, что этот отход является временным, что враг будет остановлен, а затем и разбит.

В ходе войны Красная армия наливалась новыми жизненными силами, пополнялась людьми и техникой, получала на помощь новые резервные дивизии. И настало время, когда Красная армия получила возможность перейти в наступление на главных участках громадного фронта. В короткий срок Красная армия нанесла немецко-фашистским войскам один за другим удары под Ростовом на Дону и Тихвином, в Крыму и под Москвой. В ожесточенных боях под Москвой она разбила немецко-фашистские войска, угрожавшие окружением советской столицы. Красная армия отбросила врага от Москвы и продолжает жать его на запад. От немецких захватчиков полностью освобождены Московская и Тульская области, десятки городов и сотни сел других областей, временно захваченных врагом.

Теперь уже нет у немцев того военного преимущества, которое они имели в первые месяцы войны в результате вероломного и внезапного нападения. Момент внезапности и неожиданности, как резерв немецко-фашистских войск, израсходован полностью. Тем самым ликвидировано неравенство в условиях войны, которое было создано внезапностью немецко-фашистского нападения. Теперь судьба войны будет решаться не таким привходящим моментом, как момент внезапности, а постоянно действующими факторами: прочность тыла, моральный дух армии, количество и качество дивизий, вооружение армии, организаторские способности начальствующего состава армии. При этом следует отметить одно обстоятельство: стоило исчезнуть в арсенале немцев моменту внезапности, чтобы немецко-фашистская армия оказалась перед катастрофой.

Немецкие фашисты считают свою армию непобедимой, уверяя, что в войне один на один она, безусловно, разобьет Красную армию. Сейчас Красная армия и немецко-фашистская армия ведут войну один на один. Более того: немецко-фашистская армия имеет прямую поддержку на фронте войсками со стороны Италии, Румынии, Финляндии. Красная армия не имеет пока подобной поддержки. И, что же: хваленая немецкая армия терпит поражение, а Красная армия имеет серьезные успехи. Под могучими ударами Красной армии немецкие войска, откатываясь на запад, несут огромные потери в людях и технике. Они цепляются за каждый рубеж, стараясь отодвинуть день своего разгрома. Но напрасны

силы врага. Инициатива теперь в наших руках и потуги разболтанной жвавой машины Гитлера не могут сдержать напор Красной армии. Не далек тот день, когда Красная армия своим могучим ударом отбросит зверелых врагов от Ленинграда, очистит от них города и села Белоруссии и Украины, Литвы и Латвии, Эстонии и Карелии, освободит советский Крым, и на всей Советской земле снова будут победно реять расные знамена.

Было бы однако непростительной близорукостью успокаиваться на достигнутых успехах и думать, что с немецкими войсками уже покончено. Это было бы пустым бахвальством и зазнайством, недостойным советских людей. Не следует забывать, что впереди имеется еще много трудностей. Враг терпит поражение, но он еще не разбит и — тем более — не добит. Враг еще силен. Он будет напрягать последние силы, чтобы добиться успеха. И чем больше он будет терпеть поражение, тем больше он будет звереть. Поэтому необходимо, чтобы в нашей стране ни на минуту не ослабевала подготовка резервов на помощь фронту. Необходимо, чтобы все новые и новые войсковые части шли на фронт ковать победу над озверелым врагом. Необходимо, чтобы наша промышленность, особенно военная промышленность работала с удвоенной энергией. Необходимо, чтобы с каждым днем фронт получал все больше и больше танков, самолетов, орудий, минометов, пулеметов, винтовок, автоматов, боеприпасов.

В этом один из основных источников силы и могущества Красной армии.

Но не только в этом состоит сила Красной армии.

Сила Красной армии состоит, прежде всего в том, что она ведет не захватническую, не империалистическую войну, а войну отечественную, освободительную, справедливую. Задача Красной армии состоит в том, чтобы освободить от немецких захватчиков нашу Советскую территорию, освободить от гнета немецких захватчиков граждан наших сел и городов, которые были свободны и жили по-человечески до войны, а теперь угнетены и страдают от грабежей, разорения и голода, освободить, наконец, наших женщин от того позора и поругания, которым подвергают их немецко-фашистские изверги. Что может быть благороднее и возвышеннее такой задачи? Ни один немецкий солдат не может сказать, что он ведет справедливую войну, ибо он не может не видеть, что его заставляют воевать за ограбление и угнетение других народов. У немецкого солдата нет возвышенной и благородной цели войны, которая могла бы его вдохновлять и чем он мог бы гордиться. И, наоборот, любой боец Красной армии может с гордостью сказать, что он ведет войну справедливую, освободительную, войну за свободу и независимость своего отечества. У Красной армии есть своя благородная и возвышенная цель войны, вдохновляющая ее на подвиги. Этим собственно и объясняется, что отечественная война рождает у нас тысячи героев и героинь, готовых идти на смерть ради свободы своей родины.

В этом сила Красной армии.

В этом же слабость немецко-фашистской армии.

Иногда болтают в иностранной печати, что Красная армия имеет своей целью истребить немецкий народ и уничтожить германское госу-

дарство. Это, конечно, глупая брехня и неумная клевета на Красную армию. У Красной армии нет и не может быть таких идиотских целей. Красная армия имеет своей целью изгнать немецких оккупантов из нашей страны и освободить советскую землю от немецко-фашистских захватчиков. Очень вероятно, что война за освобождение советской земли приведет к изгнанию или уничтожению клики Гитлера. Мы приветствовали бы подобный исход. Но было бы смешно отождествлять клику Гитлера с германским народом, с германским государством. Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское — остается.

Сила Красной армии состоит, наконец, в том, что у нее нет и не может быть расовой ненависти к другим народам, в том числе и к немецкому народу, что она воспитана в духе равноправия всех народов и рас, в духе уважения к правам других народов. Расовая теория немцев и практика расовой ненависти привели к тому, что все свободолюбивые народы стали врагами фашистской Германии. Теория расового равноправия в СССР и практика уважения к правам других народов привели к тому, что все свободолюбивые народы стали друзьями Советского Союза.

В этом сила Красной армии.

В этом же слабость немецко-фашистской армии.

Иногда в иностранной печати болтают, что советские люди ненавидят немцев, именно как немцев, что Красная армия уничтожает немецких солдат, именно как немцев, из-за ненависти ко всему немецкому, что поэтому Красная армия не берет в плен немецких солдат. Это конечно, такая же глупая брехня и неумная клевета на Красную армию. Красная армия свободна от чувства расовой ненависти. Она свободна от такого унижительного чувства, потому что она воспитана в духе расового равноправия и уважения к правам других народов. Не следует кроме того забывать, что в нашей стране проявление расовой ненависти карается законом.

Конечно Красной армии приходится уничтожать немецко-фашистских оккупантов, поскольку они хотят поработить нашу родину, или когда они, будучи окружены нашими войсками, отказываются бросить оружие и сдаться в плен. Красная армия уничтожает их не ввиду их немецкого происхождения, а ввиду того, что они хотят поработить нашу родину. Красная армия, как и армия любого другого народа, имеет право и обязана уничтожать поработителей своей родины, независимо от их национального происхождения. Недавно в городах Калинин, Клин, Сухиничи, Андреаполь, Торопец были окружены нашими войсками стоявшие там немецкие гарнизоны, которым было предложено сдаться в плен и обещано в этом случае сохранить жизнь. Немецкие гарнизоны отказались сложить оружие и сдаться в плен. Понятно, что их пришлось вышибать силой, причем не мало немцев было перебито. Война есть война. Красная армия берет в плен немецких солдат и офицеров, если они сдаются в плен, и сохраняет им жизнь. Красная армия уничтожает немецких солдат и офицеров, если они отказываются сложить оружие и с оружием в руках пытаются поработить нашу родину. Вспомните слова великого русского писателя Максима Горького: «если враг не сдается, — его уничтожают.»

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки! Поздравляю вас с 24-ой годовщиной нашей армии! Желаю вам полной победы над немецко-фашистскими кватчиками!

Да здравствуют Красная армия и Военно-морской флот!

Да здравствуют партизаны и партизанки!

Да здравствует наша славная родина, ее свобода, ее независимость!

Да здравствует великая партия большевиков, ведущая нас к победе!

Да здравствует непобедимое знамя великого Ленина!

Под знаменем Ленина вперед, на разгром немецко-фашистских захватчиков!

Народный Комиссар Обороны

И. СТАЛИН

---



## День создания Красной Армии (1918 г.)

...В ту ночь февральский ветер дул с моря, и рыжие лоскутья костра метались и никли к земле. Из окна комнаты № 64 видна была во дворе фигура в черном бушлате с поднятым воротником. Матрос отворачивался от ветра, сгибался над низким костром — грел руки. И вдруг, выпрямившись, пустился в пляс.

Владимир Ильич, усмехаясь, полюбовался на матроса и вернулся к столу, к ярко тлевшему в полумраке зеленому колпаку лампы.

Воззвание было вчерне готово. Ленин еще раз прочел его, перечеркивая отдельные слова и вставляя новые. Потом крупными буквами написал на рукописи: «Социалистическое отечество в опасности» и быстро вышел из комнаты в коридор. И тут только вспомнил, что еще очень рано, еще ночь, и из секретариата Совнаркома он никого не найдет.

Тогда, отдыхая, заложив руки под пиджаком за спину, он пошел по коридору мимо высоких белых дверей... Коридор был гулок и пуст. Ленин дошел до лестничной клетки и остановился: на площадке стоял возле пулемета молодой солдат.

Ленин остановился, — и солдат, радостно покраснев, ждал.

— А что, товарищ, побьем мы врага этим пулеметом? — спросил Владимир Ильич.

— Безусловно побьем! — весело ответил солдат.

— Немца?

— И немца!

— А у него — броневики, пушки... сила.

— Все равно побьем, Владимир Ильич!

— И я, товарищ, такого же мнения... Вот именно: все равно побьем.

Он повернулся и тем же шагом, отдыхая после двадцатичасового рабочего дня, пошел назад — в шестьдесят четвертую комнату.

На столе, у лампы, все еще лежала последняя сводка. Немецкие войска, держа направление на Петроград, подходили к Пскову. Передышка была сорвана...

Если бы иметь хотя бы одну дивизию таких, как этот солдат, как веселый матрос у костра! Их много—этих верных бойцов за Советы. Но армия революции еще не выкована.

Длинное окно, выходявшее на двор Смольного, стало наливаться предрасветной мутой.

Издали донеслись медные голоса труб: знакомый марш взлетел над крышами города. Прошла минута. Трубы замолкли, высокий тенор пропел команду, и Ленин услышал мерный топот, грузный воинский шаг. В широкие ворота Смольного входила колонна людей с винтовками, в круглых меховых

шапочках, в коротких полушубках. Колонна остановилась у подъезда, а за воротами еще гремел по камням тяжкий шаг новых колонн.

Как и марш, круглые шапки и полушубки были знакомы...

Дверь скрипнула, в комнату кто-то поспешно вошел. Владимир Ильич увидел управделами Совнаркома и спросил первый:

— Это — товарищ из Сестрорецка?

Именно в такой одежде встречали его в марте прошлого года сестрорецкие оружейники.

— Узнайте, сколько их.

— Девять тысяч восемьсот человек, Владимир Ильич.

— Надо срочно отпечатать, — сказал Ленин, подавая рукопись управляющему делами.

Небо светлело все больше, в коридорах возник неясный шум, послышались голоса, шаги. Начался новый день Смольного.

Совнарком принял воззвание Ленин оно было опубликовано как декрет правительства.

Шли, гремя, красные эшелоны на Нарву и Псков.

Еще через день немцы, встретив сокрушительный отпор, были остановлены в их марше на Петроград.



## Жажда подвига

Р а с с к а з

Это было в 1925 году.

На одной из больших сибирских рек, впадающих в Ледовитый океан, в селе Спасском, к молодой и новой, не так давно приехавшей сюда из Вятки учительнице-комсомолке тяжело приглядывался парень лет девятнадцати, Савка Трусов, изба которого была недалеко от школы.

Учительница любила хохотать задорно и звонко, вообще была весела, бойка, милостива. Ярко-красная шапочка очень шла к ее темным кудрям, подрезанным на высоте ушных мочек. Когда простоватые сибиряки спрашивали на улице, как ее звать, она, тряхнув кудрями, отвечала:

— Я — Алеша!

— Почто же ты Алеша? Так только ребят кличут, — пожимали широкими плечами сибиряки.

— И меня так кличьте... А будете звать Еленой, да еще Ивановной, ни-почем не отзовусь!

Стали ее звать Алешей.

Когда заметил ее на улице Савка, то не только к ней, а и к себе тоже стал приглядываться пристальней, подолгу созерцая себя в зеркальце, как не случилось этого с ним никогда раньше.

Лицо было у него обыкновенное: скуластое, широкое, плоское, точно слегка прищипнутое утюгом, а серые глаза угрюмо глядели исподлобья, и сколько он ни старался сделать их приветливыми, ласковыми, добродушными, никак не мог: так глядели бы два волчонка из родимого логовища, если бы к нему подходил чужой.

Каждый день мимо его избы проходила Алеша из школы, и однажды осмелился он сказать ей на улице, тя-

жело отрывая стиснутые челюсти одну от другой:

— Я — столяр... У отца обучался, а он хороший столяр... И по красному дереву работать я тоже могу...

— Сам ты дерево! — захохотала Алеша. — Что я тебе трюмо, что ли, буду заказывать из красного дерева? Что мелешь?

— Не в трюме, а в работе толк, — бормотнул Савка. — А тоже в тебе и во мне...

— Вот тебе раз! В тебе и во мне? — удивилась весело Алеша. — А ты кто же такой? Как фамилия?

— По фамилии я хотя Трусов, — покраснел вдруг Савка, — однако неважно.

— Тру-сов? Вот так фамилия! — тряхнула кудрями Алеша.

— Однако неважно! — упрямо повторил Савка и добавил совсем тихо и таинственно: — Питаю к тебе нежные чувства.

Он взял это из какой-то книжки и крепко запомнил как очень пригодное именно для подобного случая. Такое сочетание и таких слов казалось ему необыкновенно верным и убедительным чрезвычайно. И если бы знал он их больше, то ими бы только и говорил с учительницей Алешей.

Но Алеша, невысокая и тонкая, вскинула на него, огромного, удивленное лицо и захохотала вдруг неожиданно звонко и обидно искренне.

— Ха-ха-ха! Трусов!.. Трусов и — нежные чувства! Ха-ха-ха! Нежные чувства!.. Трусов!.. Ха-ха-ха!

Такие ослепляющие — белые, ровные, низанные — зубы оказались у Алеша, такие искры летели из ее сощурен-

ных смехом глаз!.. Хохоча, прошла она мимо него дальше, куда шла, и хотя никого не было в это время около них, Савка долго не мог сдвинуться с места, точно оглушили его камнем в затылок. Чугунные челюсти он сжал доотказа, неласковые серые глаза опустил в землю, а в ушах стоял такой шум, точно хохотало над ним сразу все немалое село Спасское.

И когда пошел он, наконец, домой, странно даже и для себя самого двигая онемелыми ногами, то протиснул сквозь зубы:

— Эх, девка, девка!.. Голова у тебя хоть и красная, однако душа черная.

Это было в яркий день ранней весны — таяло, сильно капало с крыш, яростно чирикали воробьи.

Дня через два после этого мрачно сказал Савка хворому отцу:

— Хочешь если — вот лед сойдет, отвезу тебя на лодке в город. Там больница хорошая, говорят... Там тебя, небось, скоро вылечат...

Отец зимою ходил на лыжах в тайгу за маралом, но марала не привел, как не один раз случалось это ему, бывало, после двух недель гону за оленем. Выследив, он долго гонял его, не отставая, но на этот раз олень попался злобный. Усталый и не могший уже бежать по снегу дальше, он подпустил его к себе, но кинутого ему сена есть не стал и погладить не дался, он засопел и бросился бодать отца. Отец изловчился как-то всадить ему нож в шею, а потом добрался все-таки к себе домой, но дело его было плохо, это все видели: марал этот его был последний.

Город лежал вниз по реке в пятистах километрах, — по-сибирски — почти не расстояние. Отец согласился ехать в больницу. Старший брат Савки, — Прохор, женатый, двое детей, — на котором лежало теперь хозяйство, испытующе поглядел на Савку, хмуро на отца, однако ничего не сказал против, и Савка стал чистить и смазывать ружье, заготавливать порох, крупную дробь, картечь, точить топор, собирать все нужное для огня в глухих местах, все нужное для ловли рыбы, отсыпать пшена в один мешок, соли в другой, укладывать соленое сало в третий.

Когда же начал он чинить тулуп и катанки, Прохор сказал недовольно:

— Куда к чертям, паря, тулуп хачешь брать, на лето глядя?

Отвернувшись, ответил Савка:

— Мне-то что? Отцу кабы не холодно было.

Лодку он просмолил старательно, и усаживая сильно исхудалого, желтогом кряхтящего отца в лодку, говорил Савке брат:

— К июню, паря, чтобы обернуть посуду, однако, тогда нужна будет.

— Что же не обернуть к июню? — качнул головою Савка, поплевал на руки, крепко взял весла, чугунно сжал челюсти и ударил по желтой воде белыми водовертиями.

Недалеко отплыв, Савка спросил отца строго, откуда взялась у него такая фамилия — Трусов (раньше никогда об этом не спрашивал).

Отец ответил:

— Стало быть, от деда...

— А у деда откуда? — спросил еще строже Савка.

Отец поглядел на него, на воду, кругом, шевельнул бровями.

— Однако и у деда, стало быть, тоже от деда...

Больше отец и сын об этом не говорили.

На двенадцатый день пути, когда уж вот он был город с больницей, отец умер. Савка похоронил его на городском кладбище, спрятал поглубже выправленную по этому случаю бумагу, но плыл не домой, в Спасское, а дальше, вниз по течению.

Это и был его замысел. Если бы довез он отца живым до больницы, сдав с рук на руки докторам, он сделал бы то же самое.

Отъезжая от города, греб он особенно размашисто и могуче и думал при этом не об умершем отце, а об учительнице Алеше:

«Эх, девка, девка! Голова у тебя, хотя и красная, а душа черная!»

И все лето самозабвенно и упрямо действовал веслами Савка, все дальше и дальше уплывая от Спасского и от раннейшей его, как марал отца, хохотухи-девки в красной шапочке.

В городе, продав одежду отца, он докупил кое-что нужное для очень далекого пути и всяких случайностей в нем, между прочим лыжи, лом и старые гвозди, а потом сознательно оплывал большие села, чтобы как-нибудь не застрянуть в них. От гнуса у него были густые сетки. Он стрелял иногда

ичь, но больше питался рыбой, так как жалел порох и дробь.

Величественная река несла его между изумительных берегов, скалистых, открытых лесами. Но надо было зорко идти вперед, чтобы не наткнуться на огромные камни в воде... Глаза подикаря Савки замечали и на воде, и на берегах много такого, чем проявляла себя жизнь во время короткого лета.

Недлинно в Сибири лето. В августе начались уже холодные ночи, когда уже понадобился тулуп. В сентябре оказались в воде по утрам ледяные иголки, и вдруг как-то вместо дождя начал падать снег при сильной буре.

Савка думал все же перезимовать в каком-нибудь селе па пути, однако река стала тогда, когда оказался он далеко от какого-либо села, и Савка вытащил лодку на берег в таком месте, где наверху, в скалистом берегу, на его счастье, была пещера, а над пещерой, прикрывая слегка вход в нее, вывороченная бурей сосна свесила вниз крону. По сучьям сосны этой можно было подыматься и спускаться, как по лестнице, а пещера оказалась просторной, как комната. Савка перетащил в нее все, что было в лодке, а потом весело принялся рубить дрова. Вход в пещеру он заложил камнями настолько, чтобы оставался только узкий проход, из тонких бревен, обтесав их на четыре угла, сколотил прочную дверь, над местом, облюбованным для очага, соорудил дымоход и пробил ломом отверстие наружу для выхода дыма, и, когда в котелке его в первый раз не на свежем воздухе под несметной мошкой, а будто в удобной квартире закипела вода, остался он вполне доволен своей удачей и долго отсыпался в тепле на постели из пахучих сосновых веток.

Проснувшись, посмотрел он, цела ли лодка. Лодка была цела, конечно. Уверенно падал шапками снег, стояла тишина, река во всю ширину молчала, покрытая родившимся ночью льдом. И Савка сказал вслух:

— Вот ты куда заайдакался, паря! Ничего, места хорошие... Не плачь!

Во время долгого одиночества научился он говорить с собою, впрочем так же немногословно, как говорил он прежде со всеми людьми.

Когда лед окреп, он взял лом, выбрал место для первой прорубки, по-

том для второй и поставил сети. Так началась его одинокая зимовка: в местности, о которой он ничего не знал раньше, как не знал и теперь.

Первую неделю он прожил беспечно. Целые дни работал он топором, заготавливая дрова на длинную зиму, пока еще не глубокий снег. Он готовил рыбу впрок на тот случай, когда трудно будет высунуть нос из пещеры. Он сделал лопату, для того чтобы расчищать снег на реке. Топор для него стал в числе первых друзей, как сеть и ружье. Светила ему в пещере лучина; и ничего — он обжился тут так, что усиленно начал думать об учительнице Алеше и даже говорил иногда вслух:

— В такой квартире что бы не жить вдвоем?

Но неизменно добавлял к этому и горестно и зло:

— Однако голова только красная, а душа черная!

Однажды, когда отворил он утром дверь (она отворялась внутрь, а не наружу, на случай больших снегов), он отскочил, потому что прямо против двери, спрятавшись под сосной, сидел широколобый волк, который поставил уже щетину торчком, готовясь прыгнуть ему на грудь и перерезать горло. Савка едва успел захлопнуть дверь и схватить ружье, а когда приоткрыл немного дверь, выставив вперед дуло, увидел волка—матерого вожака стаи—прямо перед дверью. Этот был убит в упор картечью, но внизу, под кроной сосны, таилась целая стая, трусливо помчавшаяся теперь к реке, и Савка увидел, что за ночь он был обложен по всем правилам волчьей осады.

Шкуру убитого волка он развесил в своей пещере, но теперь за рыбой на прорубь не ходил без ружья, зная, что волки, раз выследив человека в лесу, от него не отстанут. И дня через два действительно подстерегли его на реке волки — не меньше дюжины было их в стае. Савке пришлось дать по ним два выстрела, чтобы они разбежались. В его пещере появились новые волчьи шкуры. Волчьи туши оставил он на снегу. За ночь они были съедены без остатка, как и туша первого волка.

Так началась всезимняя охота, которая была двусторонней: волки охотились на Савку, всячески подстерегая его, он — на волков. За зиму скопилось у него девять волчьих шкур. Од-

нако далеко уходить от своей пещеры — так не решался Савка, и бесполезно лежали в пещере лыжи. Только случайно вблизи от своего жилья убивал иногда он куропаток и отдыхал от рыбы.

Наступили сумерки вместо дней. Из пещеры слышно было только, как выли волки, лаял и хохотал филин, плакали белые совы да иногда бесновалась пурга.

Савка захватил было с собою чистую тетрадь и карандаш для каких-то записей, которые рисовались ему самому неясно, но не удержался, истратил бумагу на цыгарки, да и писать, как ему казалось теперь, совершенно не о чем было: пещера, как пещера, зима, как зима, волки, как волки, тайга, как тайга, река, как река, — о чем писать?

Перевернутую вверх килем лодку его до того засыпало снегом, что он только по большой привычке мог бы определить, где она. Зато, когда после долгих-долгих холодных и темных дней начало светлеть, теплеть и, наконец, показался из-под осевшего снега черный киль лодки, Савка оглянулся кругом, ликуя, и сказал громко:

— Ага! А чо, черти, взяли?

И показал кулак мгlistому небу, темному хвойному лесу, широчайшей подо льдом реке и, наконец, остаткам волчьей стаи, упрямо таившимся за сугробами.

И чуть только сошел лед, началось половодье. Савка весело сдвинул на реку лодку, нагрузил ее всем своим добром, включив в него и волчьи шкуры, сел на руль, положил около себя весло, чтобы отпихиваться от плывущего около бурелома, и желтая, завывающая воронки река повлекла его дальше на север.

Один в жалкой лодчонке на стремительной реке, берегов которой скоро не стало даже и видно с середины, окруженный враждебными, как волчья стая, огромными соснами, так же как и он стремящимися в океан, Савка переживал радостное чувство, — уважение к своему крепкому телу, упрямому характеру и даже к своей дикой затее

— Эх, девка, девка! — кричал он иногда хрипло. — Посмотрела бы ты на Савку Трусова теперь!

Так тащила его река два месяца. Когда он выбивался из сил, то приставал к берегу, разводил костер от мошки, стрелял дичь, отсыпался. Совсем пу-

стынные, плоские, дикие пошли берега — тундра. Что ждало его дальше об этом Савка не думал. Чаще и чаще стали представляться ему какие-то люди, такие же, как и он, все бросивши позади себя, отдавшиеся большой вде. Пока он не встречал их, но, может быть, встретит.

Однажды, когда он задремал в лодке, он проснулся от сильного толчка. Оказалось, что лодка его стала боком, запутавшись в сучьях огромной сосны, плывшей рядом. Савка хотел было оттолкнуться веслом, но только сломал лопасть. Тогда, рассерженный, перевернувшись с борта, стал он рубить топором сосновые сучья, но сосна коварно похватила его лодку снизу, чуть накрыла ее, и он упал в воду, а лодка ту же отскочила в сторону и поплыла, высвободившись, вперед одна. Савка, холодея, думал: «Ну, конец?» Однако ухватился за сук вероломной сосны, выпустив топор из рук.

Мокрый и тяжелый, он вскарабкался на ствол сосны, чуть не плача; прямо перед глазами уплывала от него лодка... Но после великого отчаяния величайшая удача суждена была Савке: лодка скоро застряла в другом месте, тени деревьев, и Савка в мокром, тяглом полушубке и в сапогах, полных воды, все-таки, поравнявшись с нею как-то перескочил в нее, а перескочив и выбравшись стгоряча из окружавшего его бурелома, совершенно выбился и сил, свалился на дно лодки и больше уже ничего не помнил, пока не очнулся, весь изъеденный мошкой, на английском судне у самого устья реки, но уже в океане.

Долго спустя англичане, ссаживая Савку в Архангельске, снабдили его бумагой, в которой называли его «исследователем Севера», с которым они не могли говорить ввиду незнания им английского языка. Как исследователь, пострадавший во время экспедиции и спасшийся только благодаря случайности, он был отправлен в Ленинград для доклада о своих изысканиях. Его молчаливость и дикость приписали в Архангельске отчасти перенесенной им тяжелой болезни (от мошки лицо его стало как изуродованное оспой), отчасти тому, что он отвык от людей. Думали, что в Ленинграде он разговорится.

Но Савка был немногословен и в Ленинграде, как в Архангельске, и ко-

да сошлись ученые географы послушать его доклад, то доклада никто от его не услышал; подсчитали только, только тысячу километров проплыл он в Спасского до океана. Ему стали эрчислять населенные места, которые он должен был проезжать. Глядя всех исподлобья, Савка отвечал внодушно:

— Однако действительно так: какие-то попадались...

Немного оживился он, когда пришлось отвечать на вопрос, почему он так удачно ловил рыбу целую зиму на одном месте.

— А как же? Я ведь на омут попал!

Это никому из ученых ничего не объяснило, и Савка рассказал, что на зимовку рыба залегает в омута так, что на самое дно ложится самая крупная рыба, за нею выше, в несколько рядов — рыба средней величины, а наверху — мелочь.

Словом, ученые узнали от него мало, и один из них, самый старый, с зеленой бородой и в черных очках, выговорил ему недовольно:

— Немного же вы нам сообщили, товарищ Трусов! Это потому, что ездили вы неорганизованно, оторвавшись от коллектива, на свой страх и риск. И хотя в вашей поездке было много героического...

— Геройского? — очень живо перебил его Савка. — Ага! Вот!

— Хотя было, повторяю, и много, повидимому, героического... — хотел было закончить свою мысль старый ученый, но Савка перебил его снова:

— А могут мне фамилию переменить с Трусова на Героева?

— Если вы только этого и хотели добиться, — ответил другой ученый, помоложе и в дымчатых очках, — то напрасно потеряли год жизни и кое-что из здоровья. Фамилию переменяли бы вам и без этого напрасного подвига.

Но тут Савка выпрямил сутулую спину, поднял плоское, разрисованное гнусом лицо и отозвался неожиданно связно и складно:

— В рабочей республике нашей, товарищи, пускай всякий себе заработает также и фамилию свою, а не то чтобы только паек. А что касается организованно, как вот говорил товарищ (он показал пальцем на зеленобородого), так это я потом, как свою фамилию заработанную получу, даже и двадцать разов могу сделать! Подумаешь тоже!

И такой оказался тут у Савки решительный и звучный голос и такая уважающая себя сила в распрямившемся огромном теле, что зеленобородый — он был председателем, — закрывая собрание, крепко, насколько мог, пожал тугую руку Савки обеими своими холодными, костлявыми, прощающимися уже с планетой Земля взволнованными руками.

## Человек на фронте

П о в е с т ь

Светлой памяти моих боевых друзей: поэта Николая Отрады, поэта Арона Копштейна, художника Дубчанова, монтера Голубева, павших в боях за родину.

### УТРО ПРОЩАНИЯ

Парадная дверь института беспрепятственно хлопала, пропуская запоздавших студентов. Охрипший швейцар просил обметать снег, снимать калоши. Но все торопились и, не обращая внимания на просьбы, на заснеженные плечи, пробегали прямо в вестибюль.

Лица у всех были разгорячены, движения порывисты, одни давали нам советы, другие, неизвестно зачем, ловили кого-нибудь из нас за рукав и заглядывали в глаза, третьи, сдерживая слезы, смеялись.

При виде слез мы закуривали папирсы и беспокойно шагали по узкому коридору института, стараясь не думать о предстоящей разлуке. Но и аккуратно сложенные на диване пакеты с подарками и тихие слова матерей: «Пишите письма! До свиданья...» — все говорило о близком расставании. И тогда мы с нарочитой грубоватостью отстраняли от себя седеющих женщин и, мучаясь напускной беспечностью, уходили к окну.

За окном суетились пушистые снежинки, старательно закутывая черные ветви кленов. К четырем часам мы пошли к вокзалу.

Четыре года мы жили в Москве, а в этот день впервые увидели Москву, впервые увидели клены у памятника Пушкину, барельеф Герцена в стене забора, широкие улицы, бесшумнодвигающиеся троллейбусы. Все это, ранее только мелькавшее в глазах, теперь останавливало наше внимание и заста-

вляло произносить вслух название каждого предмета, каждой надписи.

И там, в чужой стране, отдыхая от тяжелых походов, мы не однажды мысленно рассматривали Москву, увиденную в час отъезда...

### ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Утро, как всегда, начиналось криком дневального:

— Подымайсь!!!

Арон вскакивал первым, садился на чужую кровать, брал чужие брюки, ботинки и одевался. Товарищи тут же отбирали у него свои вещи и смеялись над его тяжеловесной фигурой.

Оставшись без брюк и ботинок, Арон окончательно просыпался и шарил руками под кроватью. Все это время лицо его было напряженно и ни одним мускулом не реагировало на шутки товарищей. Одевшись, Арон добродушно отшучивался и, умываясь, читал вслух любимое стихотворение:

И вечный бой! Покой нам только снится  
Сквозь кровь и пыль.

С криком дневального «Подымайсь!» я вынимал блокнот и наскоро вносил впечатления прошедшего дня, так как вечером после отбоя свет в казарме гасили. Ко мне подошел Николай Отрада.

— Ты дневник ведешь? — сказал он и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Вот запиши: хлопнут тебя на фронте, а в сводке прочитаем: «Ничего существенного не произошло...» А тебе

вадцать пять лет, а мне двадцать два да. А я еще хочу написать такие ихи, в которых бы юноши увидели ои мечты, а старики пожалели бы о м, что родились раньше меня.

— Так тебе, может, в самом деле надо было итти на фронт, — замел я Николаю.

— Ты меня, Владимир, не понял. Я за этого и пошел на войну.

Николай подсел ко мне и, указывая лопнувшую во всю стену штукатурку, продолжал:

— Все это происходит оттого, что вы еще не усвоили самого главного: то мы — хозяева жизни. Вот когда вы это усвоим, тогда у нас все будет мучаться и прочно и красиво...

Неожиданно оборвав свою мысль, Николай поднялся. Лицо его от возбуждения покраснело до такой степени, что веснушки стали незаметны.

— Пойдем покурим до поверки, — казал он, предлагая мне папиросу.

Мы вышли в коридор.

— Ты думаешь, почему я пошел на фронт? — уже спокойнее говорил Николай, усаживаясь на подоконник. — Помнишь митинг в начале войны с белофиннами, на котором я поклялся по первому слову партии пойти на защиту родины? И веришь ли, что весь этот месяц от одной мысли, что я еще не на фронте, я наедине с собой краснел... и пошел добровольцем.

## ВСТРЕЧА С МАРШАЛОМ

Было это четвертого января.

В середине дня командир послал меня в штаб заполнять списки красноармейцев для присяги.

Прихожу в штаб. Все стоят у окна. Докладываю.

— Какой роты? — спрашивает начальник штаба.

Я ответил.

— Вашего писаря сейчас нет. Куда-то вышел. — И начальник повернулся к окну.

Слышу — говорят о Буденном. Я потихоньку сел за свободный стол, наклонился над списком красноармейцев, делая вид, что работаю.

Вдруг все отпрыгнули от окна и начали одергивать гимнастерки. В коридоре раздалась команда:

— Смирно!!!

Дверь открылась. Вошел маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный.

Так близко я видел его в первый раз: спокойное широкое лицо чисто выбрито, цвет кожи бронзовый, в глазах что-то восточное, широкоплечий среднего роста.

Выслушав рапорт волнующегося лейтенанта, маршал сказал: «вольно» и поздоровавшись с лейтенантом за руку, вышел. Бесшумно наваливаясь друг на друга, мы поспешили за ним.

Буденный подошел к бойцам, которые стояли по команде «смирно» в полной боевой готовности; он дал команду «вольно» и стал объяснять устройство автоматической винтовки.

Говорил он спокойно, уверенно. Так объясняет опытный мастер рабочему, вручая ценный инструмент.

Затем Буденный подошел к фланговому бойцу, поддел палец под вспомогательный ремень, потянул к себе и спросил:

— Жмет?

От неожиданности боец смутился и покраснел.

— Ничего, — сказал маршал, — первое время жать будет, а когда привыкнешь и снимешь, будет казаться, что голый ходишь.

Бойцы улыбнулись.

— Самое главное — не торопитесь стрелять. Подпускайте врага как можно ближе, на пятьдесят-сорок метров... Я, может быть, благодаря этому правилу и жив остался.

Простившись, маршал прошел в штаб следующего батальона.

А мы еще долго стояли по команде «смирно», глядя на дверь, за которой он скрылся.

С приездом маршала мы почувствовали себя шире в плечах и выше ростом. Всюду устанавливался порядок, все стали тщательнее следить за собой и, незаметно для себя, ходили, подражая поступи маршала.

## ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

Обвешанные сумками, гремя оружием, мы направились во двор.

Командир разрешил положить около себя вещи, завернутые в плащ-палатку. Лыжи пока составили в пирамиды. Сегодня осмотр бойцов.

Сбоку выстроилась шеренга родных и друзей, приехавших в последний раз обнять уходящих на фронт.

И как только мы услышали команду

зойдись!», приезжие смешались с

шармы никого не пускали. Сбро-  
ско под сумки, мы побежали в  
комнату.

Там была такая теснота, что неко-  
рые бойцы, как бы нечаянно, цело-  
вали незнакомых девушек. Девушки  
в смущении отступали, но не серди-  
лись.

Расцеловав приехавших студентов,  
мрачный, я отошел в сторону. Слезы,  
последние напутствия, поцелуи — все  
это злило, кружило голову, стирало с  
лица улыбку.

А в этот вечер прощания так хоте-  
лось быть любимым!

— Вы не бойтесь за нее, она вам  
никогда не изменит, — сказала мне  
рядом сидящая молодая женщина.

— Да, все вы так говорите! — по-  
шутил я, приняв на себя роль мужа.

— Нет, я вам серьезно говорю.  
Разве мы променяем вас на кого-ни-  
будь?.. И все женщины так говорили,  
едуци сюда... Вы не думайте о ней  
плохо...

— Бери на память, — подавая томик  
Маяковского, говорил мне товарищ. —  
Привез Отраде, а он не пришел.

Впоследствии Отрада дразнил:

— Володя, а все-таки на книге на-  
писано: «Коле».

— Отстань, — отвечал я, — ведь чи-  
тать все будем.

Но Николай не унимался, а мне хо-  
телось книгу увезти с собой как ча-  
стицу Москвы, института.

Гости одарили нас, и мы, как дети,  
хвастались друг перед другом подар-  
ками.

— Во носки! — показывая действи-  
тельно хорошие носки, говорил  
боец. — Жена связала. Она у меня,  
брат, на все руки — молодец!

— А мне невеста «Северную Паль-  
миру» подарила. На всю войну хват-  
ит, — угощая папиросами, говорил  
другой боец.

Одному товарищу жена привезла  
кисет и табак. Расталкивая группу ку-  
рящих, он становился в центре и го-  
ворил:

— Закурим? — затем, вынимая ки-  
сет и не дожидаясь ответа, продол-  
жал: — Хорош кисет? Ко мне жена  
приезжала. Это ее подарок.

Подержав трубку в зубах, он шел  
к другой группе курящих:

— Закурим? А ко мне Ниночка

приезжала. Это ее подарок. Как  
нравится кисет?

Бойцы хвалили и кисет, и табак,  
он уже шел к следующей группе  
курящих.

Это была наша последняя встреча  
близкими. Вечером мы должны  
выехать на фронт.

## ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ МЕДАЛЬОН

Шестые сутки едем на север.

Белый бархат инея внутри теп-  
ла от дыма превратился в желтый.  
Спим всю дорогу не раздеваясь,  
которые бойцы даже едят не сняв  
перчаток. Мороз.

Обросшие, перепачканные са-  
ндрозом, разбившись по группам, говорим  
фронте. Утром рассказываем сны,  
снятые битвы с белофиннами. Рас-  
сказав сны, долго лежим молча, при-  
мываем себе безвыходное положение  
в бою и радуемся, найдя выходы.  
Многие из нас в армии никогда  
служили, поэтому и поле боя и бу-  
щие бои представляем себе туманом.

К счастью, с нами опытный лейте-  
нант Пальцев. Он часто собирает  
задачу, разбирает ее вместе с нами,  
улыбаясь, объясняет наши ошибки.

Лейтенант Пальцев среднего рос-  
та со смелым смуглым лицом.

Дня два назад он говорил об опоз-  
навательных медальонах, с которы-  
ми бойцы пойдут в бой. Говорил, что  
на них обязательно надо проставить гру-  
пу крови на случай тяжелого ранения  
и адрес родителей на случай...

Об этом случае обычно не говори-  
ли. Сегодня лейтенант принес медаль-  
оны и rozdal бойцам.

— Это единственный документ,  
которым мы пойдём в бой...

Мы открываем небрежно штамповые  
жестянки, вынимаем бумажку.

— Оповестительный медальон нос  
в кармане гимнастерки или на гайтане  
на шее, — продолжает лейтенант.  
На бумажке обязательно должен быть  
адрес родных или близких вам людей.

И хотя теперь мы уже знаем, зачем  
нужны адреса родителей, все же кто-  
то из бойцов задает вопрос:

— А зачем адреса близких?..

— А это на случай... — лейтенант  
замаялся.

Слышно, как гудит пламя в трубе. Эвальный гремит углем. Кто-то дьяет.

## ЧЕЛОВЕК-ПЕСНЯ

Счастливые, идем из бани.

Дышим, приставив ко рту перчатку: жкий воздух склеивает ноздри.

Навстречу идет красноармеец. На су у него белая вата. Когда поравлись, видим, что это не вата, а оброжен нос.

— Нос-то натри снегом, — говорю я асноармейцу.

— Натри себе, а мы привыкли...

Остановливаясь и кричу ему, что не чу. В ответ он только машет рукою.

— Жорж, как же мы воевать бум? — спрашиваю я у будущего лиратора.

— Ни черта, привыкнем, — спокойно отвечает широкоплечий Жорж, проивившийся в институте скромностью.

Отдохнув с дороги, помывшись, мы нова приняли человеческий вид.

Только вот теснота такая, что на едующую ночь многие уже спать не огли.

Я обвожу взглядом спящих. Лиц не видно: головы втянуты в шинели, сверу надеты каски. По стенам полут мутные капли пара. Кто-то во сне ормочет. Что ему теперь снится?!

— Не спишь?.. — Отрада достаает ксет и усаживается рядом со мной.

Мы сворачиваем по неуклюжей паиресе и закуриваем.

— Говорили, один день пробудем здесь...

— Ты тоже не спишь? — беззвучно прашивает Отрада поднимающегося платона и передает ему свой кiset.

Поднялся и Михаил. Кiset Отрады переходит к нему в руки.

Рассматривая запотевшие стены, мы продолгаем сидеть молча.

Вдруг тихо-тихо кто-то застонал:

Эх, да ты, калинушка...

Мы сдвинулись тесней и громко:

Ты, малинушка...

И над спящими глухо поплыла песня.

Услышав песню, неподалеку лежащий боец резко поднялся.

Ожидая окрика, мы притихли. Боец молча подошел к нам, сел на корточки

и, положив щеку на ладонь, подхватил чуть теплоющую песню:

Эх, да ты не стой, не стой  
На горе крутой...

И песня снова ожила. И в же сумраке фонаря все чаще вырастают расплывчатые силуэты бойцов, двигающиеся на песню...

И в этот момент казалось, что не люди родили песню, а песня родила людей.

## НА ФРОНТ

Под окнами урчали покрытые инеем автобусы. У дрожащих радиаторов прыгали языки пламени, растягивая черные тени шоферов. Яркие костры, согревающие прихваченные морозом радиаторы, делали мрак ночи непроницаемым, лица бойцов таинственными.

Час, который нам дали на сборы, тянулся медленно, и я решил сбегать к друзьям проститься. К этому времени нас, студентов, расформировали по всему батальону.

Усевшись на вещевые мешки, ребята курили.

Вот они: Миша, Коля, Арон, Тимка...

«Может, это последняя встреча...»

— Как! Уже выступаете! Вот счастливый!..

Стискивая друг друга в объятьях, мы целовались. Друзья хлопали меня по плечам, смеялись над специальным обмундированием, которое мы надели, давали советы, ободряли:

— Не подкачай!

— Помни: «пуля — дура».

— Будем следить за газетой.

— Надеемся, как на себя...

Ребята все стали добрыми. Мне хотелось подольше посмотреть на каждого из них...

— Чего ж ты молчишь? — встряхивая меня за плечи, спрашивали друзья.

Что я мог им сказать, когда все такие хорошие, что хотелось сейчас же, на глазах у всех, броситься в вихрь боя, чтобы оправдать доверие друзей.

## ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Триста пятьдесят километров — путь, который лежал впереди.

Интервалы между остановками были пятьдесят—семьдесят километров. В селлах, где приходилось заправлять автобусы горючим, наспех переобува-

тишь, оттирали замерзшие пальцы, обкигаясь, пили чай и, не успев оторваться, снова прыгали в машину.

На фронт, на фронт!

Деревня Мянду Сельга.

Ковыляя, бежим греться.

Впуская облако пара, вбегаем в дом, стаскиваем валенки, опускаем руки в воду, подставляем кружки для чая...

Хозяйка, вылив в ведро кипяток, ставит второй самовар — надо всех напоить горячим! На ходу подбадривает нас:

— Поди промерзли!

— Нет, ничего, — отвечаем мы, а сами выжимаем прозябшие руки, как тряпку.

Хозяин убирает с лавок горшки, чугуны, освобождая место.

— Садитесь, садитесь, — говорит он и затем, обведя взглядом избу, добавляет: — Товарищи, это дом правительства...

— Как?.. Дом правительства?..

Теперь мы рассматриваем избу: у стен широкие лавки, пол-избы занимает русская печь. Все черно от времени: и стены, и потолок, и пакля, торчащая между бревен.

— Да, — продолжает хозяин, — здесь жил Михаил Иванович Калинин...

— Когда? Где?..

— Во время ссылки! — хозяин говорит медленно, важно. — В этом доме, в той вон комнате, — он указывает на дверь в спальню.

Открываю дверь: у стены стоит деревянная широкая кровать, потрескавшиеся стены оклеены газетами. Газеты от копоти стали коричневыми. В переднем углу портрет, вырезанный из «Правды». Внизу портрета выведено красным карандашом:

«Михаил Иванович Калинин.

Москва, Кремль».

Мороз уже не кажется таким лютым.

## ЯЗЫК

Вторые сутки мы бродим по территории врага. Нашей роте дано боевое задание: взорвать наблюдательную вышку и достать «языка» — живого солдата противника. Выполнять первое задание ушел взвод лейтенанта Шебанова. Взвод лейтенанта Мороза замаскировался неподалеку от нашей заставы; его задача — отвлекать заставу противника от наших действий в белофинском тылу. Взвод лейтенанта

Пальцева должен во что бы то стало привести «языка».

День клонился к вечеру.

Далеко позади нас слышна артиллерийская канонада: это наш полк демовид, что готовит решительное наступление, — деморализует противника.

Из институтских друзей со мною взводе лейтенанта Пальцева — Жорж. Мы с ним не расстаемся. Лейтенант знает про нашу дружбу и посылает дозор, в боковое охранение все вместе.

Сейчас мы идем в ядре цепи. Чем бы меньше производить шума, мы держим лыжные палки в руках.

Когда поднимаемся на гребень скалы, нам виден финский город, окутанный тяжелыми облаками пожара. Лейтенант смотрит на карту и по цепи передает: «Город Н...»

Об этом городе мы слышали и раньше. Над ним вот уж несколько дней стоит зарево пожара. Ночью зарево видно далеко-далеко, и часто, стоя на посту, мы принимаем его за восход луны: восход луны в Финляндии тоже начинается как бы пожаром.

Сейчас над городом лежат тяжелые облака дыма. Нас так и подмывает пробраться туда и объяснить жителям, против кого мы ведем войну. Мирных жителей в городе давно уже не осталось: их вместе со скотом шюцкоры гонят в глубь страны. Услышь, бредем вдоль дороги к городу, здесь враг чувствует себя в безопасности; здесь легче будет добыть «языка».

Мороз делает руки и ноги непослушными. Мы на ходу шевелим пальцы — согреваемся. Через несколько минут острая боль снова пронизывает нас.

Стиснув зубы, мы идем вперед. Поротой кажется, что мы вот так всю жизнь идем — идем мимо заиндевелых деревьев, по заснеженным болотам, озерам.

Впереди меня идет огромный тридцатилетний боец Журавлев; до войны он работал начальником пожарной команды. Позади Жоржа идет Шаров инженер-архитектор, высокий узкоплечий боец. Шаров помешан на древнегреческой мифологии. На привале глядя на бородатое лицо Журавлева он сравнивает его с Зевсом. Лыжи зовет Пегасом, а заснеженные вершины сопки — Олимпом. У Шарова

дине осталась мать, жениться он не тел.

3 дозор сейчас пошел Мурза, коретый татарин. Лицо у него испорчено оспой. Мурза наш взводный ряд, благодаря ему у каждого изцов, кроме фамилий, есть еще звища. В отместку за это мы проли его Мурзой.

— Как ты думаешь, выберемся мы этой Колхиды? — говорит Шаров.  
— Да, забрели... — размышляет тух Журавлев.

По цепи идет предостерегающее шинье: нас услышал лейтенант. Снова ем молча.

Когда мы обходили белофинскую заву, мы издали видели группы солдат противника. Мы выжидали, пока ни скроются, и шли дальше. Наша удача — взять солдата без единого выстрела: выстрел у заставы погубил нас всех. Теперь мы жалеем, что не попытались окружить белофиннов, — могла быть удача, а здесь, в глубоком тылу противника, как назло, и души.

Вторые сутки мы идем по пояс в негу, прокладывая новую лыжню. Первые сутки, как растались с товарищами. Сегодня во что бы то ни стало мы должны вернуться к своим: срок на выполнение боевого задания истек. Лейтенант упорно ведет нас вперед. Иногда он сходит с лыжни и пропускает нас. Встречаясь с его взглядом, я улыбаюсь, но, когда он уходит вперед, я снова чувствую нечеловеческую усталость.

Дозор меняется через каждый километр: итти без лыжни первому все равно, что итти по трясине, а дозор должен быть всегда настороже.

Сменившись из дозора, я снова иду в ядре цепи, снова меня одолевают посторонние мысли. Теперь я и не пытаюсь их отгонять: когда думаешь о чем-нибудь, тогда на некоторое время забываешь усталость, кажется, что удало вздремнуть.

На остановке вливаюсь в стрелку компаса, затем поворачиваю голову назад и долго гляжу на заснеженные вершины елей: там наши.

Взгляд перескакивает по вершинам елей дальше и дальше, там...

Вдруг все окружающее кажется сном, таким сном, в котором помнишь себя, свое место в жизни. Вот и сейчас я ясно помню, что я в Финлян-

дии, в тылу врага, даже чувствую боль в ключицах от тяжести гранат, и все же мне кажется, что все это сон. Это оттого, что я впервые в жизни подумал: «Там СССР...»

Никому ведь из нас раньше не приходилось слышать: «Как ты думаешь, где сейчас СССР?..» И слово «СССР» для нас теперь звучит как собственное имя.

Мои размышления оборвал толчок в спину лыжной палкой. Оглядываюсь, срывая со спины автомат, падаю в снег. Фланговые незаметно ползут к самой дорожке...

Три белофинских лыжника, раскачиваясь, идут по дороге к городу. Двое из них одеты в шюцкоровские френчи. Третий — в домашнем полушубке. Еще мгновение, и они будут в нашем кольце... Вдруг они останавливаются.

Теперь было видно, что без выстрела их не возьмешь, и крайний боец бросил в них гранату. Щелчок капсюля детонатора заставил белофиннов пригнуться и молниеносно распластаться на снегу...

Граната разорвалась рядом с ними.

Мы вскакиваем и бежим к ним. Все трое лежат без движения.

— Вставайте! — говорит лейтенант.

Лежат без движения. Из-под одного белофинна сочится кровь.

— Вставайте! — повторяет лейтенант.

Лежат.

Тогда подходит карел, наш проводник и переводчик, и говорит им по-фински:

— Вставайте или я вас сейчас пристрелю.

Карел щелкает над их головами затвором автомата.

Один из пленных, не поднимая головы, поворачивает к нам лицо и спрашивает:

— А мучить не будете?

— Не будем, — отвечает ему карел и переводит нам фразу пленного.

Пленный виновато улыбнулся и поднялся. Поднялся и второй.

Лица у обоих бледны настолько, что, кажется, мы сквозь кожу видим черепа. Виски покрыты прозрачными волдырями пота.

Преодолев любопытство к врагу, мы отворачиваемся: нет ничего омерзительнее человека, потеющего от страха!

Политрук с бойцами быстро разору-

жают пленных и обыскивают карманы. Журавлев переворачивает на спину уретьего. Шинель его обильно смочена испаряющейся кровью.

— Что с ним делать? — обращается Журавлев к политруку.

Политрук смотрит на наши усталые лица и говорит:

— Все же возьмем с собой.

Раненого белофинна кладем в санитарную лодочку. Он хочет кричать, но из груди вырывается только kloкочущий хрип.

У здоровых белофиннов отбираем лыжные палки и указываем место в середине нашей цепи.

Задние бойцы засыпают кровь снегом и на случай погони минируют за собой лыжню. Раненого белофинна везут Журавлев и монгол Дубчанов. Дубчанов — художник.

Сейчас мы идем, почти не чувствуя усталости. Незаметно для лейтенанта, говорим друг другу в спину, как в микрофон, — выясняем подробности случившегося.

На вершине сопки лейтенант приказывает дать сигнал своим.

Зеленый клубочек величиной со звезду покотился по синему небу.

Минут через пять заговорили наши орудия. Наш сигнал принят.

— Белофинны третий раз меняют состав солдат на нашем фронте, — говорит Жорж.

— Почему? — спрашиваю я.

— С минуты на минуту ждут нашей атаки, а атаки нет...

Все, что переводчику удастся узнать от пленных, мигом облетает нас.

Ночи в Финляндии, если даже и нет луны, ясные. Лохматые ели, держа на себе сугробы снега, стоят без движения. Снег местами разворочен копытами лося или лапами сплунутого медведя. Тишина. На передовой линии внезапно простучит пулемет и так же внезапно смолкнет, почти не нарушая тишины. Все спит. Все окаменело. Над головой небо синее-синее и прозрачное, как море. Огни сторожевых аэростатов вздрагивают; при взгляде на них кажется, что и звезды вздрагивают. Потом все небо начинает вздрагивать. Это уже от усталости. Я опускаю глаза и гляжу на носки собственных лыж — так легче идти.

На привале выясняется, что ране-

ный белофинн умер. Его закопал в снег.

Рыжий пленный, одетый в домний полушубок, повеселел. Мы ущем его папироской. Вдруг раздаётся громкий смех карела.

— В чем дело? — политрук на ленах подползает к карелу.

Карел, сдерживая смех, оправдывается:

— Он просит нас, чтобы мы его отдавали большевикам.

— Передай ему, что мы и есть большевики, — улыбаясь, говорит политрук.

Мы поворачиваем головы к рыжому. Карел передает слова политрука.

Рыжий недоверчиво улыбается и умолкает.

Пленный, одетый в шюцкоровский френч, никакого участия в беседе не принимает. Лицо его все так же бледно, безжизненно.

Неподалеку от нас раздался винтовочный выстрел. Переглядываясь, и умолкаем.

Шюцкор вздрагивает, поднимает голову, обводит нас взглядом, и снова его подбородок безжизненно погружается в заиндевевший ворот свитера.

Через минуту мы снова на лыжах. Снова идем, идем, идем...

Время от времени мы впиваемся светящиеся стрелки компасов и улыбающимися глазами пронизываем сумерки.

Мы идем напрямик, по направлению к своей заставе. Сколько мы прошли за эти трое суток, никто не знает.

Семьдесят часов на морозе. Семьдесят часов без сна. Сутки, как ни кого из нас во рту не было ни крошки.

Когда идешь, то еще чувствуешь себя, но стоит только остановиться, как незаметно плечи опираются на лыжные палки, голову окутывает дым мота. Человек засыпает стоя. Через секунду, потеряв равновесие, падает снег. Ни шуток со стороны бойцов, ни замечания со стороны командования.

Упавший поднимается, обводит взглядом молчаливых товарищей и вместе с другими скользит по сугробам вперед.

Лейтенант меня больше в дозор не посылает. Я иду в ядре цепи и думаю о большой доброте, таящейся в человеке. Лейтенант Пальцев за эти трое суток стал нашим общим любимцем.

Впереди, совсем недалеко от нас

казалась сигнальная ракета, за ней орая, третья. Это значит, что нас дут на заставе.

Небо заметно потемнело — скоро свет.

Теперь мы не обращаем внимания компасы, идем по направлению ра-т.

У самой заставы открылась черная лина. В нерешительности останавли-емся, вглядываемся...

Постепенно черная долина на наших азах превращается в дремучий лес. ы смотрим на это сказочное превра-ение и недоумевающе переглядыва-ся друг с другом.

А потом мы ясно видим обугленные, ломанные деревья: работа нашей ар-иллерии. Многие деревья остались не-редимыми, но осыпавшиеся хлопья не-га сделали их черными, невидимы-и в сумраке рассвета.

Сейчас мы в своих белоснежных ма-кировочных халатах похожи на груп-пу молодых заснеженных деревьев.

Где-то совсем рядом застава врага. Нас могут заметить...

Лейтенант приказывает снять ха-латы.

Сбросив их, мы идем через расстре-лянную рошу; теперь нас трудно отли-чить от обугленных обломков де-реьев.

Совсем близко сбоку завязалась пе-рестрелка. Мы берем правее...

Выстрелы остались позади. Снова вспыхнули сигнальные ракеты.

Дозор, не дожидаясь приказа лейте-нанта, поворачивает в сторону ракет. Мы сбились вправо.

Наконец выходим на готовую лыж-ню.

Передние уверяют, что это наша ста-рая лыжня, но мы с каждым новым шагом ждем взрыва мины: не может быть, чтобы за эти трое суток бело-финны не наткнулись на нашу лыжню и не минировали ее.

Впереди за кучей хвои мелькнул огонек костра.

Весь взвод и пленные ложатся в снег.

Дозорные ползут в разведку.

Левее нас продолжается пулеметная перестрелка.

Жорж сдвливает рукой снег и ку-сочками проталкивает в горло. Я по-гружаю лицо в снег и дышу холодным влажным воздухом, но от этого жажда ощущается еще сильнее. Глотать снег,

как Жорж, я уже не могу. От холо ного снега горло стало стеклянным, я только ощущаю боль в желудке, пить хочется все так же.

— Давай сюда! Свои! — кричат д-зорные.

При слове дозорных «Свои!» лес на-полнился шумом. Отовсюду к нам бе-гут люди...

Путаясь в лыжах, мы поднимаемся. Мы прошли заставу врага незамечен-ными!

## ЛУТИКО-ВАРА

Хутор, куда временно перебросили меня, Жоржа, Калашникова и Задорного охранять боеприпасы и про-дукты, называется Лутико-вара. В рус-ском переводе это значит: Клоп-гора.

Больших гор в Финляндии мы вооб-ще не видели, но и с этой Клоп-горы перед глазами открывался живописный вид: вихрастый лес, разорванный озе-рами и голыми валами сопок, был по-хож на волны взбунтовавшегося моря. Все это было покрыто снегом, и если долго смотреть на эти белые волны, то кажется, что они бегут, бегут к твоим ногам; мгновенье, и ты будешь захвачен этой белой пеной снега.

А ночью над замерзшим морем леса подымалась оранжевая луна — непра-вильный диск, будто вылепленный из глины неловкими детскими руками.

Караульным помещением на хуторе нам служил овин. В овине стояла длинная печь, сложенная из кусков вы-ветрившегося гранита. Печь была с черным затопом и ночью напоминала пылающую пещеру. Дрова рубить у нас не было времени, да и удобнее было всунуть несколько бревен в затоп, а потом бодрствующий пододвигал их по мере сгорания, не давая огню погас-нуть. Печь топилась круглые сутки, и спали мы часто с расстегнутыми шине-лями. Но зато дыму было столько, что сидеть можно было лишь в согнутом положении, а часто и головы нельзя было поднять.

Полотном висел дым над головой. Встанешь, бывало, забудешься и зале-зешь в это облако дыма, ну и растира-ешь по лицу вместе со слезами сажу.

Первые дни по утрам мы все же ухитрялись умываться водой, снегом или протирали лицо вазелином. Позже границы дня и ночи были потеряны, и обычные правила мирной жизни ото-

ли на последнее место. И узнавали друг друга не по лицу, а по росту.

Раз в неделю мы устраивали аврал. Тогда один из нас рубил дрова, другой бежал за снегом, а Задорожный, заменявший нам командира, как более свободный, приготавливал бритвенный прибор и брил нас. Бриться приходилось на дворе. Там хоть и холодно, но зато светло.

Долго я крепился, наконец стал противен самому себе и попросил Задорожного побрить и меня. День выдался ясный, мороз сравнительно небольшой, градусов 39—40. Командир развел мыло, помазал мутной жидкостью и начал брить. Улыбаясь, я стоял у стены овина. Пока командир обрил полщеки, три четверти лица покрылось ледяной коркой.

По мнению командира, это было даже лучше, потому что стянутую морозом кожу легче брить. Но я после такого бритья долго не мог улыбаться без слез.

В эти дни у нас было больше свободного времени, чем тогда, когда мы находились во взводе. Узнав, что неподалеку от нас расположились бойцы-карелы и что у них на хуторе есть баня, мы решили помыться. Оставив командира у склада, мы натаяли по котелку воды и пошли в баню. Баня была длиной метра в два и вышиной чуть больше метра. В углу стояла такая же, как и в овине, печь с черным затыпом, в другом углу были расположены полки, наподобие русского коника.

Когда печь топилась, дверь в бане открывали настежь и, чтобы не угореть, закрывали после того, как угли превращались в золу, — это была настоящая финская баня.

Раздеваться надо было в сарае, расположенном метрах в десяти от бани.

Пробежав голыми десять метров на пятидесятиградусном морозе, мы очутились в душно натопленном помещении.

Распарившись до звона в ушах, сидим, почесывая намокшее от пара тело, а воды хватило только на голову.

— На Камчатке есть такие горячие источники, что камчадалы даже зимой купаются в них, — рассуждает Жорж, похлопывая венником по бедрам.

— Говорят, что бойцы-карелы вообще воды не натаивают, потому что в Карелии принято купаться в снегу, — смеясь, говорит боец Калашников.

— А в снег бы сейчас неплохо окунуться, — с этими словами Жорж открыл баню и нырнул в сугроб.

Через несколько минут он влетел полку, снег, шипя, сползал с его тела как с горячего металла.

Теперь нам стыдно было рассуждать о воде. Выскакиваем из бани, ныряем в мягкий сугроб, натираем друг друга снегом и снова на полку париться.

Сбегав так два-три раза, мы стали чистыми, а тело горело так, как будто бы его выстегали крапивой.

Никто после такой бани не кашлял и не жаловался на боль в пояснице; или оттого, что не было времени болеть, то ли снег действительно укреплял здоровье, но только после такой бани мы чувствовали себя здоровей.

## КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Морозы становились все яростней — 50—60 градусов по Цельсию. Солнце, появлявшееся на каких-нибудь два часа, было холодное и мутное. А приказ о решительном наступлении все не было.

Пользуясь свободным временем, мы с Сергеем и лейтенантом Щуцко решили изучать финский язык. И теперь, обедая, вместо того чтобы взять хлеба самому, мы говорили друг другу:

— Ана минула лейбе!  
или:

— Ана минула тубек (дай папиросу)

Командир роты подсмеивался над нами и учил правильно произносить слова.

Изучая финский язык, я познакомился ближе с бойцами батальона карелов.

Был там финн Рудайнен, в которого я просто влюбился. Да в него и нельзя было не влюбиться; когда с ним говоришь, то, как с женщиной, внутренне подтягиваешься, невольно хочешь понравиться.

От него мы узнали подробно о народном герое Финляндии Якко Илка, который вооружил свой народ дубинками и целый год сражался с хорошо вооруженными шведскими рыцарями. От него мы узнали о том, что финские крестьяне не всегда имеют свой дом, а очень часто целые семьи снимают угол, и что в Финляндии на три миллиона жителей великое множество нищих.

Рудайнен нам рассказывал о своих

рузьях, с которыми он не так давно побтал на военном заводе.

Слушая его, мы вспоминали неразорвавшиеся мины, снаряды.

Там у нас есть друзья!

По вечерам, пристроившись у пыющей печи, этот седеющий солдат обил напевать финскую колыбельную сню. Мотив песни был плавный, груный, слова простые, как дыхание:

Пиум пиум кей хто хейляхта  
я лащип виатона нунахтаа  
паум паум эй ти ляуляхта  
я еуден капуанса тудитаа.

За дни моего пребывания у карелов части добровольцев перешли ближе к первой линии фронта. Говорили, что не сегодня—завтра начнется решительное наступление. Я начал беспокоиться. Позвонил в штаб. Через час меня вызвали к телефону, и я получил приказ вернуться в свой взвод. Неожиданно в дверь ввалились наш отсекр Дзугати и связист Голубев.

— Володя!

— Тимка!

Расцеловались.

Пока шоферы заправляли машины, я познакомил друзей с бойцами, рассказал о колыбельной песне, и вскоре при тусклом пламени свечи изба наполнилась грустной мелодией.

Закрыв глаза, видишь и колыбель, и одинокую мать у колыбели, и тихое мерцанье звезд за окном...

Квадратное осетинское лицо Дзугати от удовольствия расплывалось в улыбку. Песня и ему, видимо, напоминала далекую родину. И только финны кончили петь, как в комнате полились гортанные звуки, рожденные горными осетинскими реками:

Дедой фачанат нурай гурен...

Тут же были бойцы и других национальностей. И вскоре изба дрогнула:

В огороде верба рясна,  
Там стояла дивка красна...

А за окном щелкали лопавшиеся от мороза бревна.

## ВСТРЕЧА С АРОНОМ

Что ни день — ходили в разведку, в секрет.

Ночи казались бесконечными. За час, который надо было выстоять на посту,

каска, шинель, валенки — все обрастало мохнатой шерстью инея.

Караульным помещением чаще всего служил сделанный из ельника высокий шалаш-чум. Посредине чума пылал костер. Приходя из караула, бойцы располагались у огня. Пламя слизывали иней, отогревало колени, грудь. Отогрев грудь, мы подставляли огню спины. Пока отогревалась спина, грудь снова покрывалась инеем.

От костра отходили, как правило, после того, как у кого-нибудь вспыхивала шинель, брюки. «Вспыхнувший» боец спешил зарыться в снег. Посмеявшись над неудачником, мы снова шли на пост.

Шюцкеры, узнав о нашем прибытии, больше не появлялись. Бойцы, которым пришлось столкнуться с шюцкерами, считались счастливчиками. Все ждали отправления на передовую линию фронта.

В эти дни я встретился с Ароном.

Арон был жизнерадостнейшим человеком. В институте его можно было найти без труда. Если в аудитории раздавался смех, значит, там был Арон, значит, он, как всегда, удачно сострил. На фронте он также был самым популярным бойцом в батальоне.

— Иди, твой Арон приехал, — сказал разбудивший меня боец.

Я вышел.

У овина стоял высокий, стройный красноармеец, горбатый нос грозно выдвигался из-под каски, и только глаза были такие же добрые, как прежде. Шинель, которую при получении Арон никак не мог застегнуть, теперь свободно собиралась на животе в складки.

— Арон! Как живешь? — вскричал я, выходя из овина.

— Ничего, Володичка, — улыбаясь, ответил Арон.

— Как ничего, где твой живот?

— Я, Володичка, все лишнее вместе с противогазом сдал старшине, чтобы легче было в походах.

— Снимай лыжи, пойдем чаем угощу.

— Некогда. Я заехал тебя проведать. Стихи пишешь? Хочешь, я прочту?

Не дожидаясь согласия, Арон начал читать свои новые стихи:

Да, каждый стал расчетливым и горьким.  
Встречаемся мы редко, второпях,  
И спорим о портянках и махорке,  
Как прежде о лирических стихах.

До дружбы, может быть, другой не надо,  
тем эта, возникавшая в пургу,  
когда усталый Николай Отрада  
читал мне Пастернака на бегу.

...  
Если я домой вернусь целым,  
когда переживу последний бой,  
хорошенько выплусь первым делом,  
потом опять пойду на фронт любой.  
Бьют батареи. Вспыхнули зарницы.  
А над землянкой — медленный дымок.  
«И вечный бой, покой нам только снится...»  
Не Блок, — так я сказать бы это мог.

По дороге к штабу Арон рассказывал, как он научился ходить на лыжах и стрелять из автомата.

— Морозы вот только неприятная вещь. Я ведь южанин... хотя по анкете добровольцев числюсь уроженцем Рязанской губернии. Это ты меня надул. Все рассказывал об охоте в непроходимых лесах, я и решил в райкоме спекулировать этим. И когда у меня спросили: «Можете ли вы ходить на лыжах?» — я без запинок ответил, что детство провел на далеком севере.

...  
Обычно, провожая друга в далекий путь, в последний момент стараешься запомнить что-то характерное для него: улыбку, походку, взгляд.

Встречаясь в дни фронтовой жизни, мы знали, что, может быть, это в последний раз. Но тогда мы торопились. И, выйдя из штаба, свернули каждый по своей дороге, пожелав на ходу взаимной удачи.

Когда я узнал о смерти Арона, я никак не мог вспомнить, каким он был при нашей последней встрече.

И странно. Только что я сидел на скамейке и глядел через зеленые ветви акаций на голубую пустыню моря, как вдруг мимо меня прошел Арон в полном вооружении, как тогда, при встрече в Матилле. Он прошел так близко, что мне захотелось окликнуть его...

— Что с тобой? — спросила рядом сидящая девушка.

— Ничего, — ответил я и вспомнил, как мне принесли клочок газеты, на котором было написано:

«Володя, Арон убит...»

Тогда я не поверил записке. Я и теперь не верю в смерть моих друзей.

## НА ПЕРЕДОВУЮ ЛИНИЮ

Человек незаметно сживаетеся с ожиданием настолько, что в решительный

момент оказывается совсем неподготовленным. Так случилось и с нами. Приказ об отправлении на передовую линию показался неожиданным.

Теперь к нам подбросили новых бойцов, некоторых от нас забрали и, пугаясь с товарищами или записывая адрес на случай, нельзя было не грустить.

В строю стояли без единого слова все недоразумения разрешались молча.

И только когда выбрались на боковую дорогу, когда стали появляться патрули, караулы, мы облегченно вздохнули.

В лесу горели костры, люди у костров оживленно разговаривали. У элянок слышалось фыркание лошадей, стук топоров, приглушенный визг гамоники.

— Где же фронт? — недоумевали спрашивали мы.

— Это и есть фронт! — отвечали в ответные бойцы.

— Какой же это фронт, когда здесь шум, как на площади Пушкина?

— Ничего, там впереди потише...

Пройдя километров пять, мимо замаскированных автомобилей и складов с боеприпасами, мы снова очутились в заснеженном лесу, где не было и намека на жилище и лишь отдельные тропинки, уводившие в заросли, говорили о присутствии человека.

Вскоре наш проводник свернул на одну из таких тропинок, и мы очутились у замаскированного блиндажа. В блиндаже стояла самодельная железная печь, к потолку была привешена коптилка, сделанная из гильзы противотанковой пушки. Коптилка бросал свет на корни деревьев, торчащие земляных стенах, на зеленую хворостяную раскиданную по нарам, на капли пар примерзшие к потолку.

Не прошло и минуты, как в печь затрещал сухой хворост, на потолке ожили капли, и в блиндаже запахло весной.

## КОПАЙ-ГОРОД

Отбив у противника новую позицию бойцы копали блиндажи, землянки располагались в ожидании новых боев. И назвали это место Копай-город.

Через три дня наша рота выкопала себе новый квартал блиндажей. Сверху блиндажи замаскировали снегом и елками, внутри поставили жестяную

ечь, настелили нары. Снова пели песни, шутили, спорили о любви. А рядом то и дело ухали батареи.

Первое время при выстрелах орудий мы вздрагивали, песни умолкали, шутки обрывались, а теперь обращали внимание на батареи лишь тогда, когда они долго молчали.

— Что-то спят наши артиллеристы?

— Наверное, выходной себе устроили.

— Без них тут с тоски пропадешь, — рассуждали бойцы в наступившей тишине.

Вечерами приходили к нам бойцы полка, уже побывавшие в бою, рассказывали о себе, расспрашивали нас. Одиночество, в котором мы находились на хуторах, кончилось. Нас зазывали в соседние землянки, устраивали соревнования в пляске, в пении. В полку большинство красноармейцев были калининские и псковские.

Скобари, как называли псковских, были, пожалуй, самыми веселыми. Выходя плясать, они подзадоривали друг друга: «А ну, скобари, докажем!»

Гармоника взвизгивала, и плавно вступала кабардинка, а потом «барыня»; коньком была своя, псковская. Круг раздвигался, и бойцы кричали:

— Сафронова! Смирнова!

Прославленные плясуны, как и прославленные артисты, сразу не выходили. Тогда бойцы начинали грозить:

— Выходи, а то «северный паек» убавим!

— Лишим пайка вовсе! Выходи!

На круг выходил толстый мужчина лет тридцати трех, Сафронов, и таких же лет, похудее, — Смирнов.

— Чего хотите? — спрашивал Сафронов, глядя непонимающими глазами на нас.

— Давай псковскую! — кричали бойцы.

— Да ить мы в лесу росли, пеньку-богу молились.

— Давай, не ломайся! — кричали бойцы.

Сафронов снимал ремень, перевешивал его через плечо и, поглаживая живот, стоял будто бы спросонья.

Гармонист замечал, что плясуны готовы, брал аккорд, и...

Закидывая ноги, размахивая руками, Смирнов и Сафронов обволакивались пылью.

— С картинками! — кричали бойцы.

Плясуны становились друг против

друга, гармоника притихала, и близдаж оглашался частушками:

Милка зыбочку качает,  
Говорит: баа, баю,  
А за это бай-баю  
Я по сотенке даю.

Лезу-лезу на березу,  
Ой, какая высота!  
Гляну-гляну на милую,  
Ай, какая красота!

Милый чо, да милый чо?  
Милый, сердисься на чо?  
Чо лят люди чо сказали,  
Чо ли сам придумал чо?

.....

И только металлическое вздрагивание земли от выстрелов артиллерии говорило о том, что мы на войне.

## КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Блиндаж, где проходило комсомольское собрание, назывался клубом.

Это было просторное сооружение под землей, рассчитанное человек на четыреста. Потолок из толстых бревен внакат могли достать рукой только высокие ростом бойцы. Под ногами лежали огромные девятирики; «партер» — так называли бойцы эти бревна. Стены были украшены портретами вождей и героев Советского Союза. На сцене, сделанной из расколотых пополам бревен, стоял стол, накрытый кумачом, на столе — графин с водой и стакан. За спинами президиума боевые знамена полка. По углам висели фонари «летучая мышь». И только изгородь штыков да зеленая мостовая касок тесно сидящих бойцов говорили о необычайной обстановке.

Не без волнения мы ожидали открытия собрания. Придерживая рукой болтающиеся гранаты, на сцену вышел комиссар и начал говорить...

Представьте себе сотни людей, вооруженных с головы до ног: красные от напряжения лица, пламя фонаря, вздрагивающее, как бы пугающееся собственного света; клубы пара над головами сидящих; глубокие вздохи от выстрелов артиллерии; рядом кто-то шепчет о раненом; от усталости клонит ко сну, а на сцене стоит человек и, размахивая рукой, говорит...

И вдруг вы внезапно вспоминаете что-то близкое-близкое. Вы вздрагиваете, машинально поднимаете руку, и

вам кажется, что вы сказали эти слова. Вы поднимаетесь...

На сцену поднялся художник Дубчанов.

Он откинул со лба прядь черных волос и, подбирая русские слова, тихо сказал:

— Я родился Монголии. Работал Москва. Город Ленина никогда не был...

На этом слове Дубчанов оборвал свое выступление, поднес к глазам широкую ладонь и замер, сию секунду что-то припомнить.

В блиндаже наступила напряженная тишина. Кто-то сказал, что Дубчанов плачет...

Прошла минута.

Широкое туловище монгола было все в том же положении. Человек окаменел. А вместе с ним окаменели сотни комсомольцев и президиум, с лицами, обращенными в его сторону.

Напряжение достигло высшего предела, когда Дубчанов светлыми глазами рассматривал нас. Казалось, что он ни на секунду не обрывал своего выступления.

— Я счастлив. Я защищаю свою родину, — сказал он и, смущаясь, прошел в последние ряды.

На собрании были и не комсомольцы, и теперь многие старательно выводили заявления о приеме их в комсомол.

## ПЕРВЫЙ БОЙ

Утром нам скомандовали: «В ружье!» и повели на заставу.

От заставы вместе с другими частями мы двинулись в обход к реке Койт-Июки. Шли молча, растянувшись длинной цепью, таща за собой вооружение и санитарные лодочки. Осторожный хруст снега, глухое позвякивание оружия и шорох лыж бокового охранения. Заиндевшие лица были у всех белыми.

К ночи подошли к реке. Вокруг засыпанные снегом молодые березы да черные стволы многолетних сосен. Тишина. Со стороны противника также ни звука. Сугробы снега испещрены лыжными следами. Я то и дело хожу в штаб. На пути — ни души. Все залегло в ожидании приказа.

У телефона, укрывшись плащ-палаткой, сидит майор. Скоро будет светать. Промерзшие бойцы, зарываясь в снег, потихоньку ругаются.

Командир сидит в кругу удачной группы.

Двенадцать лучших бойцовшей роты, они пойдут первыми ДОТам.

Говорят шопотом. Окопавшись дом с товарищами, вглядываюсь лица. Голубев... Чубыкин... Дубчанов... Мурзин... Слипченко...

Неужели их убьют?

Но эту мысль гонит другая. Теперь о них думаю как о героях. Вот двенадцать человек, первые разбиты ДОТ противника. Все обошлось благополучно. Бойцы возвращаются до Родина их приветствует.

— Бобылев, пойдем с нами, — говорит Голубев.

— Нет, нет, Бобылев мне нужен перебивает командир.

Я прошу разрешения пойти перекладу.

Я молчу. Я простой боец. Но теперь мне становится легче. Товарищи знают, что я не трус, и в следующей операции меня поддержат.

Через час рассвет.

— Проводите меня в штаб, — говорит Мурзин, командир ударной группы.

Идем в штаб. Я стараюсь смотреть в сторону противника, но инстинктивно поглядываю на окопавшихся в снег. Жмусь к ним.

Теперь телефон перенесли к самой реке.

Штаб полка медлит с приказом. Скоро будет светать, и бойцы и командиры — все нервничают. Наконец майор откидывает плащ-палатку и отдает приказ:

— Вперед к ДОТам противника, без команды ни единого выстрела. Противник откроет огонь, идите вперед. Мы будем вас прикрывать. — Раздумывая и добавляет: — Если ранит кого, оттащите в безопасное место, мы поберем.

Все остальное было известно раньше. Подойти незаметно к ДОТам, забросать противника гранатами и толком захватить пленных.

Командир роты объясняет мне условные сигналы. Я должен спуститься к самому краю реки и следить за действиями ударной группы.

Ползу к берегу. На горе за моей спиной стоят пулеметы. Они будут нас прикрывать. Со стороны противника предательская тишина. Видимо, он нас все-таки слышал. Всего метров двести

ести пятьдесят разделяют нас. А в проз скрип снега слышен дальше. летает.

Окопавшись у льда реки, я смотрю лед уходящим товарищам. Растянувшись гуськом, они постепенно сливаются с туманом рассвета.

Позади зашуршал снег. Оборачиваясь. Командир окапывается рядом со мной...

Вдруг со стороны противника раздались сухие, трескучие выстрелы, и след за ними в небо взлетела осветительная ракета.

Свет!

Кто не радуется свету? В ночи даже огонек спички или светлячок папиросы делают нас веселей.

Свет!!!

Я падаю в снег. Злюсь на себя, что лохо замаскировался.

«Трус!» — проносится в сознании. Поднимаюсь...

— Ложись! — кричит мне командир, услышав движение.

Ни с боку, ни позади никого не видно. Все залегли. Белофинны усилили огонь. Невидимая рука обкладывает голову над моей головой. И вслед за этим я слышу новые для себя звуки: пиум... пиум... пиум...

Пули.

Голову поднять нельзя. Ракета держится в воздухе всего несколько секунд, но мне кажется, что она, где-то запуталась в облаках и что прошло уже очень много времени, а она все держится над нами, освещая каждый куст, каждый холмик.

И вот ты, вооруженный до зубов, ничего не можешь поделать, вынужден вдавливать свое тело в землю, а пули: пиум... пиум... пиум...

В небо взвивается наша ракета — красная. Это сигнал ударной группы — вернуться. Поход сорван.

Теперь уже пули летят стаями. Чем выше подымалась ракета, тем сильнее был огонь противника. Казалось, что она рождала огонь. Стреляли совсем близко. Можно было подумать, что белофинны вылезли из ДОТов, и еще момент...

Заговорили наши пулеметы. Противник смолк. Но стойло только нашим пулеметам прекратить огонь, как появились свистящие звуки: пиум...

— Открывайте огонь! — услышал я голос командира, когда ракета упала в снег.

— Куда стрелять? Я не вижу противника.

— Стреляйте по направлению полета пуль противника.

Начался слепой поединок. Тысячи пуль летели в нашу сторону. Среди них я безошибочно находил «свою» пулю и по направлению ее полета выпускал очередь за очередью в замаскировавшегося врага.

— Наблюдайте здесь до особого распоряжения! — говорит командир уже из ложины.

Теперь с нашей стороны стреляли пулеметы, винтовки, автоматы.

На льду никакого движения. Товарищи, наверно, убиты. Но об этом не хотелось думать.

С рассветом огонь утих.

Первые лучи солнца открыли трупы товарищей.

— Ты видишь трупы? — крикнули мне из ложины.

— Вижу, — спокойно ответил я.

— Следи за ними, может, кто-нибудь еще пошевелится, — дадим помощь.

Как все это просто, только что меня просили следить за товарищами, а теперь...

Глядя на присосших ко льду товарищей, я почувствовал непреодолимое желание подняться.

С восходом солнца выстрелы прекратились, бесцельно было открывать себя.

— Живые, выползай! — крикнули из ложины.

И вслед за этим, вздрагивая, залапали наши пулеметы, затрещали автоматы — прикрытие.

Поворачиваюсь. Ползу...

Патронная сумка, гранаты, подсумки, штык-кинжал — все свалилось на живот, мешает двигаться.

Двадцать метров до ложины.

От снега, попавшего за шею, в рукава, тело взмокло. Выстрелы становятся назойливыми, как грохот брички на мостовой, а подшлемник с каждым новым движением неотвратимо сползает на глаза...

Поднимаюсь.

Теперь я был ко всему безразличен, лишь бы сорвать с глаз подшлемник.

Срываю.

Пиум... пиум...

Иду, раскланиваясь пулям.

— Ложись!.. Застрелю!.. — кричат из  
лощины.

В этот момент голос человека для  
меня был призывом:

«Живи!!!»

Падаю. Перекатываюсь в лощину.

Майор ругает пулеметчиков, опоз-  
давших с прикрытием, командира ро-  
ты — за людей, оставшихся на льду...

Его никто не перебивает, но каждый  
делает то, что казалось в эту минуту  
важнее.

Санитары тащат лодочки с ранены-  
ми.

Раненный в ногу, улыбаясь, просит  
папиросу. Рука выброшена из лодочки,  
шлем, видимо, потерял на льду, кровь,  
стекающая из валенка, делает снег ро-  
зовым, как заиндевевшие кисти ря-  
бины.

Вспомнились наши разговоры по до-  
роге на фронт: «Одну пулю на случай  
ранения — лучше пристрелить себя,  
чем вернуться домой калекой...»

Теперь я не мог представить себе  
такого ранения, которое бы заставило  
меня покончить с собой.

«Руку оторвут... ногу... обе руки...  
обе ноги... — буду жить. Можно и та-  
кому жить, лишь бы видеть, слышать  
других».

Усталый, поднимаюсь.

— Бобылев, ты жив? — кричит мой  
друг Шаров, выскакивая из леса.

— Жив.

— Я знал, что тебя не убьют! Давай  
закурим! А там тебя похоронили! Наш  
взвод охраняет минную батарею! Ве-  
зут раненых! Послал бойца узнать, ко-  
го ранили. Лиц раненых не видно, ска-  
зали: «Из вашего взвода студента». Ну,  
я и отправился узнать точно. Так  
ты жив?

— Жив.

— Закуривай!

Шаров говорит веселым голосом, а  
лицо скучное, холодное.

— Странно? — спрашивает он меня.

— Нет. Обидно...

— Закуривай! — сует он мне папи-  
росу, отвернувшись от меня.

Противник, заметив движение на на-  
шей стороне, открыл огонь.

Штаб из лощины перебрался в глубь  
леса. Впереди на пригорке, захвачен-  
ные рассветом, окапывались бойцы.

— Диски! Диски давайте! — крикнул  
из-за прикрытия пулеметчик.

В лощине ни у кого из нас заряжен-  
ных дисков не было, а пули снайпера

методически ложились над головами  
окопавшихся бойцов, не давая возм-  
ности подняться.

Ко всему этому в лощину нач-  
падать мины противника.

Надо было во что бы то ни ст-  
спасти людей, которые прикрыв-  
нас, а теперь сами очутились под  
нем врага без боеприпасов.

Первая мина упала на лед метра  
пятидесяти.

Вторая мина упала в лощину мет-  
в пятнадцати от нас. Белый суг-  
вдохнул, как грудь огромного чело-  
ка, и разорвался черными осколкам

Телефон из лощины унесли. Бой-  
отползли дальше в лес.

— Отползем? — предложил мне I  
ров. — Лишние жертвы не нужны.

Из леса в лощину нырнул боец и  
уклюже пополз к замаскировавшему  
пулеметчику. Солнце, поднявшееся  
горизонтом, искрило снег, четко выд-  
ляя маскировочный халат ползущего  
бойца.

Мы с трепетом следили за ним. С  
стороны казалось, что можно бы-  
ползти осторожней, не поднимаясь вы-  
ше канавки, проделанной руками.

Боец полз, тщательно пряча голову  
и обнаруживая противнику спину.

— Спрячь спину! — крикнул я по-  
зущему.

Но, к нашему удивлению, он по-  
нялся на колени...

Забыв всякую осторожность, мы вы-  
тянули шеи, стараясь лучше рассма-  
треть его. Теперь он был от пулемет-  
чика метрах в семи, но эти семь мет-  
ров шли в гору, и снег вокруг был при-  
топтан. Видимо, решив ближе не по-  
ползать, боец стал снимать сумку с пу-  
леметными дисками. Мы ясно видели  
как он, изгибаясь, выворачивался и  
вспомогательных ремней...

Когда я подполз к нему, я прежде  
всего штыком выкопал в снегу углуб-  
ление, спустился в него и стал перево-  
рачивать его тело.

Странная вещь! Как я ни старался  
повернуть его, чтобы освободить сум-  
ку, он не переворачивался, а подавался  
вперед, напоминая брезент с водой.  
Казалось, что у убитого никогда не  
было костей. Пришлось разорвать сум-  
ку кинжалом.

Теперь, вытянув шею, я высматривал  
замаскировавшегося пулеметчика. Он  
лежал в десяти шагах от меня, знака-  
ми давая понять, чтобы я торопился.

Снайпер противника, убив смельчака дисками, перенес свой огонь на око-  
вшихся в снегу. Было видно, как пу-  
ли, словно удары невидимого хлыста,  
раздирали снег.

Не разгибаясь, я бросил диск в при-  
крытие пулеметчика. Он подхватил и  
рылся внутри прикрытия.

Обессиленный, я ткнулся головой в  
его.

Через минуту я услышал две корот-  
кие пулеметные очереди. Орудия к  
тому времени заставили замолчать  
жизни минометы. Вокруг стало тихо.  
поднял голову, солнце зажигало  
крытые сугробы, бойцы сползали в  
шину, толкая впереди себя пулемет,  
прикрытия вылезал пулеметчик.

Снайпер противника молчал.

Я хотел взять тело бойца с дисками  
снести в лощину, но его уже около  
меня не было. Когда Шаров перенес  
его в лощину, я до сих пор так и не  
вспомню.

Увидев меня, Шаров поднялся на-  
встречу и загородил дорогу.

— Ты не ранен?

— Нет, — ответил я, пытаюсь пройти  
наперед, чтобы помочь санитарам уло-  
жить бойца в санитарную лодочку.

— Я очень рад. Я очень рад, — бор-  
юта он, держа меня за руку.

В этот момент я подумал, что Ша-  
ров сошел с ума.

— Чему ты радуешься! — грубо ска-  
зал я, пытаюсь пройти мимо.

— Смотри, у тебя маскхалат поре-  
зан пулей, ты ранен.

Шаров снова держал меня за руку,  
указывая на плечо. Маскировочный ха-  
лат был искусно, как ножницами, по-  
резан пулей. Раны нигде не оказалось.

Перевернув бойца в санитарную ло-  
дочку, санитары, странно глядя в мою  
сторону, поспешно положили у его  
лица пустые пулеметные диски.

Диски по дороге расползались по  
лодочке, и санитарам приходилось при-  
держивать их рукой.

Бойцы, помогавшие санитарам, шли  
мне навстречу.

— Зачем они это делают? Нехоро-  
шо. Надо убрать диски!..

— А чего тут миндальничать, — рав-  
нодушным голосом перебил меня подо-  
шедший боец.

— Бобылев, он чудак. Что же, ди-  
ски-то самим нести придется, а им по  
пути.

Санитары были уже далеко.

Усталый, я опустился на снег...

Позже я узнал, что под пустыми пу-  
леметными дисками санитары прятали  
от меня лицо моего друга Николая  
Карповича Турочкина-Отраду.

## В ЭТИ ДНИ

Мы пошли на войну.

Мы решили пройти сквозь все испы-  
тания, потому что, кроме любви к жен-  
щине, мы знаем другую любовь, кото-  
рая вызывает седины у юношей и за-  
ставляет стариков и детей стиснуть  
кулаки. Любовь к земле, где ты  
впервые увидел солнце, зеленые луга,  
услышал грохот грома, писк желтого  
цыпленка и голос матери.

Мы мало пишем об этой любви к  
земле, мы мало говорим о ней в обы-  
денной жизни, но если кто-нибудь по-  
сягнет на эту родимую землю, мы  
оставляем все — любимую, стариков-  
родителей, — все оставляем и идем на  
самое тяжелое испытание — на войну.

Мы пришли на войну. Мы были уже  
в боях, слышали свист пуль, треск рву-  
щихся снарядов; видели трупы и кровь  
товарищей, и мы не испытали ни стра-  
ха, ни ужаса, потому что на войне все  
это происходит просто.

До этого дня на нарах можно было  
спать только на боку. Поднимешься —  
твое место уже занято. Тесно было.

Но вот я лежу, раскинув руки, ноги.  
Просторно. Поют песню. Любимую  
песню этих дней:

Раскинулось море широко,  
И волны бушуют вдали.  
Товарищ, мы едем далеко,  
Подальше от нашей земли...

Тихо, с надрывом, плывет над голо-  
вой песня, будит в воспоминаниях  
мысли о родине. Приятно становится  
на душе.

Время от времени кто-нибудь обры-  
вает песню и, ни к кому не обращаясь,  
говорит:

— Жалко ребят...

— Да, ребята были что надо, — под-  
держивает его другой.

И тогда перед глазами встают пав-  
шие товарищи.

Всего два дня назад мы слышали их  
голоса, делились с ними радостью и  
печалью, рассказывали друг другу о  
себе, записывали адреса для будущих  
встреч в Москве, уговаривались дру-  
жить. И вот их нет. О том, что их

убили, мы не думаем. Слишком тяжело думать об этом. Не укладывается в голову. Почтальон привозит письма, телеграммы.

— Дубчанов!.. Голубев!.. — выкрикивает почтальон.

А письма идут. Идут посылки. И долго еще будут идти, пока дойдет сообщение из штаба.

На минуту задумываются все. Тихо становится в блиндаже.

Капли пара ползут, ползут по скользким бревнам потолка... смотришь на них, а видишь лица, улыбки убитых.

Дубчанов! Широкое монгольское лицо, мягкая, кошачья походка. Откровенничая, он говорил:

— Буду воевать до тех пор, пока не пожму руку Михаилу Ивановичу Калинин.

Однажды я пришел в блиндаж к другу.

То, что я увидел, заставило меня остолбенеть. Завтра их, может, ни одного не будет в живых, а сегодня они слушают о битве на реке Калке. Увидев меня, Дзугати говорит улыбаясь:

— Проходи, садись, мы скоро кончим.

Я хочу поймать его взгляд, но, видимо, чувствуя мое желание, он продолжает лекцию, не глядя на меня.

Рассматривая бойцов, закуриваю.

С блокнотами и карандашами в руках они внимательно слушают Дзугати. Делая для себя заметки, боец приладил блокнот на дно гранаты. Теперь карандаш твердо упирается в лист бумаги.

— Чего задумался? Рассказывай! — убирая блокнот, говорит Дзугати.

Слушатели задают Дзугати несколько вопросов и расходятся.

Я смотрю на улыбающееся лицо друга, на глаза с густыми ресницами.

Дзугати предлагает махорку и садится рядом.

— Жалко Колю, парень-то какой погиб!.. Чего молчишь? Рассказывай!..

Дзугати мой друг по институту, и я не стесняюсь рассказать ему про свои душевные переживания после первого боя.

Выслушав меня, друг неторопливо заговорил:

— Да-да. Страшного ничего нет.

— Хочешь со мной пообедать? — поднимаясь, предложил он.

Мы вышли из блиндажа.

У кухни, ополаскивая котелки, тол-

пились бойцы. Дальнобойные и расположенные неподалеку, вели по позициям противника. После долго залпа вершины сосен вздрагивающая белых голубей.

## БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ

На фронте, как и в гражданской жизни, без работы скучно. Караул службу по роте мы не считали той.

— Да и что это за работа стоять карауле или заготавливать дрова кухни: вымотаешься не меньше, чем бою, а все на одном месте, — ворчат бойцы, собираясь в наряд.

Вот почему сегодня, как только получено боевое задание, мы сели в блиндаж. Нары в нашем блиндаже похожи на полки универсального мезинга. Журавлев разложил новые носки и портянки, готовясь переобуться. Коля Коновалов кулаками разглаживал еще влажный от стирки подшлемный отделенный командир Онихенко, а тот достал конверты и, заложив за щеку язык, старательно выводил карандашом адрес; тут же валялись ножницы, осколок зеркала, расческа: Орлов брался.

Другие бойцы протирали автоматы, укладывали в вещевые мешки «НЗ».

Сегодня нам предстояла работа. Артиллерийская подготовка началась еще с обеда. А в сумерках, надев маскировочные халаты, мы двинулись к озеру, у которого была расположена сопка Вредная. Сопка эта находилась вблизи нашей заставы, и с нее укрепленные белофинны обстреливали наши караулы, патрули, и даже, если сильно пылали на кухне дрова, прилетали самым блиндажам мины. Командованное отдало приказ взять сопку.

Снова под лыжами зашуршал снег и вереницы белых людей смешались белыми деревьями. Над головами визгом пронеслись снаряды, мин стряхивая с деревьев колючий иней, спугивая ленивых тетеревов.

Густой лес еще больше сгущал сумрак надвигающейся ночи, и вскоре мы очутились в заросли, где каждый холм, каждый куст, пугая, манил к себе неизвестностью.

Сбросив в лощине лыжи, мы, взмыслившие от ходьбы, поспешно зарылись с головой в снег. Усталость и постоянное недосыпание окутывали голо-

едкой дремотой. К счастью, лыжная  
жа дневального, которой он время  
времени рассталкивал нас через су-  
об, стращивала роковой сон.

В три часа ночи основные силы ско-  
лись в ложине. Орудия и минометы,  
влекавшие противника на правый  
ланг фронта, перенесли свой огонь на  
илку Вредная. На горе, впереди  
с, окопались пулеметчики. Стволы  
«таксимов» грозно нацелились; каза-  
сь, что и они воодушевлены нашим  
землением вперед.

Лейтенант Пальцев делал последние  
споряжения:

— Ползти группами по шесть-семь  
людей. Перерезать проволочное за-  
аждение и по сигналу — в атаку.  
руг друга из виду не терять. Не под-  
чайте, товарищи!

Зайдевшее лицо командира было  
окойно. Наша группа во главе с ко-  
идиром отделения должна была идти  
правого фланга.

Впереди заснеженная ледяная равни-  
а. Черное полотно ночи у подножия  
опки забрызгано красными и белыми  
ятнами рвущихся снарядов. Против-  
ик молчит. Мы знаем цену этого мол-  
ания.

Сгибаясь, сходим на лед. Провалива-  
сь по колена в снег, идем к сопке.

Первым идет командир, сбоку ме-  
я — Коновалов; позади нас — Орлов и  
Зверев; Журавлев идет замыкающим.

Метрах в двадцати сбоку от нас  
идет группа добровольцев; когда при-  
едемся до уровня снега, видны еще  
и еще белые комья маскировочных ха-  
лтов. Позади ползут санитары и бой-  
цы полка.

В небо взлетает осветительная ра-  
кета.

Падаем в снег. С соседней сопки  
сздаются пулеметные очереди. Уже  
накомые звуки: пиум, пиум! —  
росвистели над головами.

— Раненых нет? — слышен почти  
ветский голос санитаря, ползущего  
следом за нами.

— Нет, — отвечает Журавлев.

Ракета плавно опустилась в снег.  
Наши пулеметы открыли огонь по пу-  
леметам врага.

Ползем вперед...

Осветительная ракета, и следом за  
ней на лед падает мина. Тело инстинк-  
тивно сжимается. Грохот взрыва, и  
тонкий вибрирующий свист осколков...

— Раненых нет? — снова слышен за-  
ботливый голос юного санитаря.

— Нет, — зарываясь головой в снег,  
бурчит Журавлев.

Ползем вперед...

По звуку определяем типы ору-  
жия противника: белофинны стреляют  
из станковых пулеметов, из писто-  
летов-пулеметов «суоми», из миноме-  
тов. Изредка слышны винтовочные  
выстрелы.

Теперь в небо то и дело взмывают  
осветительные ракеты, в темноте ка-  
жется, что кто-то размахивает белыми  
гигантскими удилищами. В перерывах  
между осветительными ракетами над  
головой разворачивается почти бирю-  
зовое северное небо с белыми кувшин-  
ками звезд. Случайно глянешь вверх —  
и на мгновенье вокруг станет тихо-  
тихо.

Вдруг с шипеньем прямо перед нами  
грохнулся черный клубок. Закрываю  
глаза.

«Вот оно», — мелькнуло в сознании.

Резкое горячее дыхание. Оглуши-  
тельный грохот взрыва...

Кто-то нежно поднял меня вместе с  
льдиной и отшвырнул в сторону,  
сверху полил ровный проливной дождь,  
посыпались осколки льда. Стало тихо.  
Подымаю голову, впереди черная дыра  
проруби.

Поспешно отползаю от зияющей без-  
дны и ползу вперед. Впереди в снегу  
кто-то барахтается.

— Кто? — спрашивает Зверев.

С каской, сползшей на глаза, подни-  
мается Коновалов и тут же падает.

— Куда? Лежи, братка, — приглу-  
шенно говорит Журавлев, держа Коно-  
валова.

Взрыв снаряда был настолько оглу-  
шительен, что мы теперь не слышим ни  
винтовочных выстрелов, ни треска пу-  
леметов. И только красные и зеленые  
ленты стремительно проносятся над  
нашими головами — трассирующие пу-  
ли. При виде этих огненных лент не-  
волью ожидаешь порыва ветра, но  
ветра нет. Мы знаем, что его и не бу-  
дет. Тело, готовое противостоять ве-  
тру, расслабляется. Мы лежим без  
движения.

Белофинны переносят огонь дальше,  
за нас.

Не поднимаясь, мы ползем вперед,  
мы еще раз перехитрили смерть.

— Раненых...

Орлов обрывает санитаря.

Я поворачиваю голову назад, мне хочется увидеть лицо юного энтузиаста.

Санитар лежит, прижавшись ко льду.

— Давай отползай, — бубнит Коновалов, — там кинжальный огонь.

Санитар продолжает лежать. Поворачиваясь, ползу за Коноваловым. Коновалов толкает санитара в каску:

— Тебе говорят?

Голова легко поворачивается под рукой Коновалова. Из каски на маскхалат лениво течет кровь.

— Санитара! — кричит Коновалов в темноту.

Позади нас падают мины. Впереди видны короткие столбики проволочного заграждения. Впереди сбоку строчит пулемет противника. Нам видно красное пятно выскакивающего из пулемета пламени.

Журавлев толкает пулемет Дегтярева и длинной очередью бьет по светящейся точке. Орлов с ножами уже у проволочного заграждения. Мы с Коноваловым тянем к себе куски проволоки, комки отбрасываем в сторону.

На берегу отчетливо видно, как рвутся наши снаряды, раскидывая черные осколки блиндажей.

На левом фланге вспыхнули зеленые огоньки сигнальных ракет.

— Вперед! — еще лежа на льду, кричит Журавлев.

Обрывая обледеневшие полы халата, выхватываем гранаты, поднимаемся и бежим на берег.

— Вперед! За родину! За Сталина! — раздается по линии фронта.

У берега глубокий снег. Барахтаясь, как медведи, выползаем на берег. Прямо против нас, между деревьями, видна красная точка пулемета.

Журавлев бросает на сугроб свой пулемет и открывает огонь по пулемету белофинна. Мы с Коноваловым прыжками отбегаем в сторону за командиром. Журавлев продолжает поединок с белофинским пулеметчиком.

Пройдя метров сорок, видим за деревьями черный остов пулемета. Ствол пулемета беспомощно смотрит вверх. Пулеметчик стреляет не целясь.

Расстояние от нас до пулеметчика метров тридцать. Еще разгибаешь скованные льдом рукава. Бросаем сразу три гранаты — чья-то долетит...

Подымаем головы: пулемет лежит

лыжей вверх, рядом в предсмертных судорогах дергаются белофинны.

Бежим к ним. Навстречу бегут человека в маскировочных халатах.

— Свои! — кричит Орлов, замечая наше движение рук к гранатам.

Бойцы полка пробегают мимо нас — Вперед!!! За родину!!!

Все пятеро подходим к смертельно раненному пулеметчику. Плечо пулеметчика в крови...

Солнца еще нет, но рассвет уже колочит черную глыбу ночи. На левом фланге продолжается беспорядочная стрельба. Там, видимо, скопились новые силы врага.

Зажав в руках по гранате, спешим на помощь. Идем по тропинке, протоптанной врагом. То и дело попадаются трупы белофиннов, все они лежат с нами к передовой линии. Навстречу нам идут командир роты и Журавлев. Командир пожимает нам руки.

— Молодцы. Не подкачали. Все невредимы. Вот так и надо воевать...

Много ли надо человеку! Два ласковых слова начальника, и мы, промочившие и обледеневшие, снова готовы сворачивать.

— Я думаю, зараз треба туды, — указывая в сторону выстрелов, говорит командир Онищенко.

— Туда уже пошли, — перебивает его командир роты, затем, рассматривая нас, спрашивает: — Вы что, в прорубь попали?

— Прорубь в нас попала, — подгибаясь, отвечает Орлов.

— У берега, налево, есть неразбитый блиндаж противника. Идите обшукитесь, теперь и без вас обойдемся, — говорит командир роты и, проваливаясь по пояс в сугроб, уходит в сторону выстрелов.

С недовольными лицами мы идем разыскивать блиндаж.

— Гады, рукопашного избегают, — говорит Журавлев, рассматривая следы бежавшего врага.

К берегу спускаемся молча. Занедевшие стволы деревьев обглоданы осколками снарядов, белые сугробы снега зияют черными воронками, на ветках деревьев лежат хлопья неразвешенного дыма, вокруг тихо.

Впереди показалась черная дыра блиндажа, из блиндажа навстречу нам выходит санитар.

— Куда? — спрашивает он нас, гораживая вход.

— Обсушится, приказ командира вы, — отвечает Орлов.

— Идите, только тихо. Там... — санитар не договаривает.

Спускаемся в блиндаж. В печи жарко пылают сухие щепки, пламя свечи качивается, бросая по стенам тень нитара, склонившегося над нарами. А нарах лежит, раскинув руки, раненый белофинский солдат. При виде нас глаза раненого появляется испуг.

— Не бойся. Не тронем, — говорит Журавлев и выходит из блиндажа.

Мы переглядываемся и молча выходим за Журавлевым.

Орлов кинжалом обкалывает лед с ливели Зверева. Командир стягивает аленки, вытряхивает осколки льда, с рустом разворачивает обледеневшие ортанки и держит над пламенем котра. Из блиндажа выходит санитар.

— Это он вам прислал, — санитар протягивает портсигар с папиросами.

Мы окружаем санитаря, берем по папиросе, рассматриваем и снова кладем в портсигар.

Орлов вынимает кисет и, презрительно взглянув на санитаря, сворачивает огромную папиросу и передает кисет Звереву...

— А, по-моему, солдат тут ни при чем, и вы напрасно злитесь на него, — обидчиво говорит санитар.

Собственно говоря, мы даже и не злимся на белофинского солдата, но какое-то неприятное чувство от близости врага одолевает нас.

— Он простой солдат, офицер не предложил бы папиросы, а этот насильно, жестами убедил меня передать вам. Он не виноват, — продолжает санитар.

— Мы знаем, что он не виноват... — Журавлев не договаривает, берет у Зверева кисет и закуривает.

— Куда его? — спрашивает Орлов.

— В плечо и легкое, — отвечает санитар.

— Будет жив?

— Если успеет врач сделать операцию.

Санитар уходит в блиндаж. Мы усаживаемся у костра. Затыгиваемся дымом папиросы и сидим молча.

Неожиданно сбоку от нас свистит мина.

— Цэ далеко, — говорит командир, продолжая сушить портянки.

Следом за первой совсем близко разрывается вторая, третья...

Уходим в блиндаж.

Белофинский солдат лежит все в той же позе, — дышит часто, светлые глаза жадно впились в наши лица, желтые руки заметно синеют. Глаза у него широкие, голубые; взглянув в них случайно, трудно отвести взгляд.

Врача все еще нет. Санитар, чтобы не смотреть на раненого, рассматривает маскировочный халат.

На столе лежат финские газеты, пояс вооружения и портсигар умирающего. Под ногами грязь, мусор.

— Как скоты, жили, — негодует Журавлев, отгребая лопатой грязь в сторону.

— Им не до чистоты было, — рассматривая стены блиндажа, говорит Орлов.

Повернувшись спинами к умирающему, сидим молча. За блиндажем слышно, как рвутся мины.

— А где наш командир? — обводя нас взглядом, спрашивает Зверев.

Действительно, командира в блиндаже нет.

— Надо позвать его, храбрость не в этом заключается... — говорит Журавлев, ни к кому не обращаясь.

Я поднимаюсь, иду к выходу. Мельком бросаю взгляд на белофинского солдата. Широкие светлые глаза умирающего почти ощутимо цепляются за мой взгляд.

Толкнув дверь, выхожу из блиндажа. На вершину сопки легли первые лучи утреннего солнца, хлопья дыма от разорвавшихся снарядов синей паутиной окутывают белый кустарник, — командир сидит у костра и сушит портянки.

Сбоку пролетает мина. Пригибаюсь. Командир продолжает сушить портянки, прислушиваясь к свисту мины, рассуждает сам с собой:

— Чи попадэ, чи ни попадэ?

Мина разрывается, не долетев до него.

— Ни, знов нэ попала, — говорит командир.

— Товарищ командир, идемте...

Не договаривая, падаю в снег, мина свистит над нашими головами. Командир поворачивает голову ко мне и говорит:

— Ни, нэ пиду у блиндаж.

## КОПАЙ-ГОРОД

Ты не ищи этот город на карте,  
Мялкая!  
Ты все равно не найдешь.  
Ночью в землянках здесь —  
Полдень в марте:  
Звонко стучится капелей дождь.

Пахнут поленья бором смолистым,  
Хочется встать  
И умчаться вдаль...  
Только вдруг в двери  
Ветер со свистом...  
И мы повторяем:  
«Чортов февраль».

И мы проклинаем погоду лисью,  
Ложимся друг к другу еще тесней.  
Чтоб не было скучно,  
Читаем письма —  
Письма любимых  
И письма друзей.

Ни стариков у нас нет,  
Ни подростков:  
Здесь все одноклассники,  
И все друзья.  
И радость и горе мы делим просто:  
На фронте иначе  
Никак нельзя.

В рассказах у нас  
Не проходят мимо  
Ни детство, ни запах родных степей...  
Смешные,  
Мы хвалим своих любимых,  
Как дети хвалят своих голубей.

И я твои письма прочел во взводе, —  
Прости за тщеславие в моей крови.  
Я, может, впервые  
Вот здесь, на фронте,  
Понял великую силу любви.

## ЛОЖКА

— Все у тебя происходит ночью, —  
сказал мне товарищ, которому я прочитал несколько эпизодов из этой книги.

Да, все происходило ночью. Днем мы отдыхали в блиндажах, ходили, пригибаясь к земле, а ночью, — ночью выпрямлялись. Уходили в черный лес, подстерегали врага.

Так вот однажды ночью я стоял на посту. Неожиданно приходит караульный начальник, снимает меня с поста и ставит на мое место другого бойца.

— Иди. Тебя в штаб вызывают, — бросил он на ходу.

В чем дело? Почему с поста сняли? Кажется, провинностей за мной никаких нет.

Прихожу в штаб.

— Товарищ Бобылев, сходите, пожалуйста, к артиллеристам, прочитайте

им стихи, — говорит мне лейтенант, когда я в клубах пара ввалился в блиндаж.

— Товарищ лейтенант, я сегодня в наряде, — ответил я лейтенанту.

— За вас в наряде постоит другой боец. Идите...

— Товарищ лейтенант...

— Товарищ поэт, — перебил меня боец из артиллерийской роты, — я вас ждали, ждали, а вы не хотите идти. Наш лейтенант вас знает, он и же «северный паек» в обед пить стал. Говорит, что с поэтом будет в селее.

В блиндаже артиллеристов все было в сборе. С моим приходом боец подшивавший валенок, отложил свою работу. Другие также приподняли на нарах. Телефонист крикнул трубку:

— «Волгу» вызывай только по тревоге! — и сел, разглядывая меня.

Сорок человек сидели с выжидающими лицами.

Что сказать этим усталым людям. Разве им стихи нужны? Ах, где они слова, согревающие людей!

— Закуривайте. Устали, поди, угощая хорошими папиросами, говорит лейтенант.

— Да нет, я не устал. Я сегодня письма получил...

— Письма? — оживились бойцы. — Товарищ поэт, прочтите нам письма.

— Да ведь они личные, письма-то от друзей...

— Читайте, читайте. Дружба — она у всех одинаковая, — просили меня бойцы.

И я им прочел письма.

Читая письма, незаметно для себя вместе с бойцами повеселел.

Наконец, пожелав удачи, я попрощался.

— А как вы живете, товарищ поэт? — спросил меня на прощанье боец, подшивавший валенок.

— Живу как?.. Прекрасно. Только вот вчера пропала у меня ложка. Сегодня из-за ложки чуть без обеда не остался.

Фронтowому человеку известно, что такое ложка. И, услышав мою жалобу, боец стянул валенок, вынул деревянную ложку и протянул мне...

Тогда поднялся лейтенант. Он молча отвел в сторону руку бойца и крикнул в угол старшине:

— Выдать поэту ложку!

## ПАМЯТИ ДРУЗЕЙ

В эти дни мы спали в сутки не больше трех-четырех часов. Через день ходили в разведку на линию огня, а когда оставались дома, несли караул по роте. Теперь добровольцы все чаще встречались с противником. И с наступлением дня тревожные вести облетали блиндажи. Бойцы отали задумчивее. Наступил март.

Лекпом стал давать по две лепешки противощитовых витаминов, и после его ухода на некоторое время в блиндаже становилось тихо.

В эту ночь мы опять ходили на заставу. Возвратясь в блиндаж, я лег на нары вздремнуть. Спать не хотелось, я я лежал с открытыми глазами, рассматривая в щелях бревен оттаявшие листья брусничника. Солнечный день увел товарищей наружу, откуда доносилась их неторопливая беседа.

Но вот стало так тихо, что я nervозно повернул голову к двери.

— Бобылев, твоих поэтов убили! — еще в дверях закричал мне боец соседней роты, подал клочок газеты и вышел.

«Володя, Арон убит. Дзугати смертельно ранен...»

В первый момент эти страшные слова оглушили меня.

Арон убит. Дзугати... Дзугати смертельно...

...Мне было лет восемь. Он брал меня с собой на тягу. На моих глазах в траву падали нежные, с золотыми перьями вальдшнепы. Стоя на тяге, я полюбил прозрачное облако вечерней вари, крик чибиаса и коростеля. И теперь, когда сигналы троллейбусов и такси от весенних туманов становятся глухими, я с щемящей болью в груди вспоминаю далекую деревню в сизом пепле столетних осин. Там, в деревне, я впервые узнал настоящую любовь гордого человека.

Он не целовал меня в лоб или щеку, как это делают городские родители, не подкидывал на руках к солнцу; его руки всегда были заняты работой. И лишь в густом весеннем тумане, когда замирали голоса птиц и было слышно журчанье ручьев и шлепанье в лужу подтаявших сугробов, он останавливался среди дороги и прислушивался.

Сперва я думал, что он заметил в

темноте шилохвостов или гусей и ждет, пока они налетят; но птицы, окутанные черным туманом ночи, пролетели мимо, и свист их давно замер вдали, а он все стоял, вслушиваясь в случайные звуки. Затем нагнулся до уровня моих глаз и говорил, — не говорил, а шептал: «Хорошо!». Меня смущали его добрые глаза, я смотрел в сторону и лепетал за ним: «Хорошо!» Он знал, что я еще не понимаю, что именно «хорошо»... Он протягивал свои узловатые руки и говорил: «Они делают человека человеком».

Мои руки были тонкими и неуклюжими, как руки каждого восьмилетнего ребенка, и я прятал их за спину. Он улыбался.

Идя домой, я думал о слове «хорошо» и хотел, чтобы мои руки скорее стали похожими на его руки. Я знал, что про его руки соседи говорили: «золотые», а его самого называли гордым. Этого я долго не мог понять. Мне казалось, что люди его из зависти называют гордым.

Как-то на ярмарке к его дрогам подошли два деревенских старичка, они долго постукивали палками по подпоркам, колесам, и, отойдя в сторону, один из них как бы про себя заметил: «Гордая работа...»

Два года, как я не видел его. Мне пишут, что он стал мягким и робким... В его представлении учиться — это значит делать какую-нибудь вещь. Мои слова об Аристотеле и Руссо ему ничего не говорят, а про мою работу еще не могут сказать: «Гордая работа».

Я знаю, что он верит в то, что я любил все, что любил он, но я еще долго не увижу его: я не хочу его оскорбить. Я пишу ему, что я работаю...

— Можнo?—вслед за стуком вошел боец Орлов.

— Слышал? Гришу убили...

— Гришу? Какого Гришу?

— Ты разве не слышал, что Тихонов, Дзугати, Арон убиты?

— Гриша... Арон...

Я поднимаю с нар.

Сычов что-то бормочет и уходит.

«Коля Отрада... Гриша... Зачем они мне сообщают?..»

Рука судорожно сжала рядом лежащий автомат.

Я не хочу знать о смерти моих друзей.

Вошел Жорж.

— Слышал?

— Слыхал!

Жорж молча полез к вещевому мешку, достал кружку, аккуратно завязал мешок, снял с печи котелок с чаем, налил чаю, вернулся к нарам. Сел.

Я боялся, что он сейчас начнет говорить. Я заторопился и вышел.

Солнце по-весеннему ударило в глаза. У блиндажа стояли группами бойцы; те, которые считали меня другом, подошли ко мне.

— Тимка, Дзугати... Как жаль.

— А Арона... Гришу...

— Ребята, ребята какие!

— А ты не грусти... Война, брат... Ничего не поделаешь.

— Сволочи! Мы им покажем!..

— Ты куда же?

— Не тронь его,—услышал я, уходя в лес.

Весеннее солнце слепило глаза. Рассыпая искры снежинок, я тихо скользил по шуршащим сугробам. Березы, ели, которыми я раньше любовался, теперь рождали одну мысль: «чужие».

Снег, солнце — чужое. Все здесь чужое. А ребята — мои друзья...

Вот здесь никто не увидит...

Облокотившись на березу, я варежками зажимал глаза.

.....  
Что я друзьям напишу теперь?

С чем я домой вернусь?

К матери близкого друга в дверь

С вестью какой постучусь?

Как я скажу ей:

«Убит ваш сын...»

Где мне набраться сил?

## МИР

Жили оперативными сводками с Карельского перешейка и ожиданием решительного наступления.

Шли разговоры, что будто бы на нашем фронте вообще наступления не будет и что наша задача — вести активную оборону, делать вылазки, уходить в тыл противника, не давать ему покоя. Этим самым он не сможет перебросить свои силы на Карельский перешеек.

Мы этому верили и все же с часу на час ждали команду: «Вперед, в атаку!»

Слева и справа от нашего фронта по ночам была слышна канонада артиллеристов других полков. Мы прошли клином вперед, и теперь другие полки выравнялись по нас.

Двенадцатого марта нашему эска-

дрону и диверсионному взводу было дано боевое задание, для выполнения которого надо было уйти в тыл противника на семьдесят километров.

Мы снова оживились. Снова натерли лыжи, прилаживали наплечные сумки, чистили автоматы. Завтра в шесть выступаем.

Вечером меня вызвали в штаб пона бюро комсомольского комитета.

Прихожу в штаб. Там уже все собрание. Среди присутствующих узнаю институтских товарищей — Тишак и Василенко. Их роты были в этом полку.

Несколько текущих вопросов — затем основное — предстоящая боевая операция.

Бесшумно идем по дороге, разбитой полозьями артиллерии и копытами лошадей. На дворе потеплело. Лохматые ели, березы, белые сугробы снега — все подернуто синей дымкой, первая дыхание весны. Вокруг ни души, ни хижины на несколько десятков километров... Это для непосвященного человека. А нам здесь известен каждый сугроб, каждое дерево, под которыми скрываются блиндажи. Для нас не являются неожиданностью замаскированные заставы. Мы говорим пропуск и проходим вперед. Мы в Копай-горах. Впереди кварталы блиндажей добровольцев, по бокам пулеметная рота, артиллерия.

Март. Первая черная ночь.

Скоро затокует глухарь, косолапый хозяин трущоб вылезет из берлоги и шурясь от весеннего солнца, проковыляет к муравьиной куче. Озера осыплют кулики. Из тесных почек вырвутся нежные зеленые листья. Трава покроет развороченную снарядами землю.

Скоро сюда вернется жизнь!

Первая черная ночь.

Идем, разговаривая полушопотом. Сияющими глазами вспоминаем детство, рыбную ловлю, охоту, расхватаем волжскую стерлядь, днепровских сомов, окских лещей. Каждый говорит о своей любимой реке, — реке у которой проведено детство.

С сожалением говорим о том, чего не успели сделать, и только теперь по наступавшему понимаем пословицу: «Что можно сделать сегодня, никогда не откладывай на завтра».

Опьяненный первым дыханием весны и воспоминаниями о детстве, вхожу в блиндаж.

Бойцы спят.

«НЗ», полученный на трое суток, лежит около вещевого мешка, мигающее лампа копилки бросает тень с одной стены на другую.

Я сидел у печи, подбрасывая в пламя сухие щепки.

Вспомнил, что в своем медальоне смерти, как мы звали теперь опознавательный медальон, не написан адрес родителей.

Достаю медальон, открываю.

«Уроженец?.. область?.. село?... фамилия?..»

Зачем это?.. «На случай, если убьют, сообщить родителям...»

Может, лучше, если родители будут в неведении?..

Все равно ведь они узнают потом.

Запятав медальон в боковой карман гимнастерки, свернув папиросу, лег на вары. Было около четырех часов. Два часа, оставшиеся до выступления, надо было отдохнуть.

Сон на фронте был таким: лежишь, а рядом разговаривают, играют на гармонике. Ты все слышишь. Ты даже помнишь, сколько прошло времени с того момента, как ты лег.

Сплю.

Проходит час, другой, третий...

Почему не будят? Что случилось?

Начинаю тревожиться. Открываю глаза.

— Почему нет подъема?

— Поход отложили до особого распоряжения,—говорит Журавлев.

Пока командование выясняло причины задержки похода, бойцы развешивали онучи, носки, подстилали в валенки сено, приводили в порядок вооружение. Спать уже никому не хотелось. Все думали о решительном наступлении и готовились.

В приоткрытую дверь снаружи долетали обрывки слов бойца, ездившего в штаб за оперативной сводкой.

— Сводку не вывесили. Бойцы ползают говорить о мире...

— Опять «болтай-газета», — недобролюбно пробурчал Журавлев, направляясь к выходу.

— О каком мире там говорят?

Мы готовы были к далеким походам, к боям и отмахивались от этого слова, старались не слышать его: поверить этому — значит ослабить свое напряжение, сделаться небоеспособными.

Вошел политрук, и мы узнали о победе.

— Все на митинг,—закончил политрук и вместе с другими бойцами вышел из блиндажа.

Мир...

Я поднимаю голову. Оглядываюсь. Вещевой мешок давно сдвинулся в сторону, и теперь голова лежала на голом камне. Вспомнилось, как, строя блиндаж, мы пытались толком уничтожить эту лысую глыбу. Но после третьего взрыва решили оставить несдвинувшуюся часть. Оттаявший брусьевый обрешетчик весело обрамлял безжизненный профиль камня.

Расстегиваю пояс вооружения.

Неужели я носил все это?

Снимаю гранаты, подсумки, подпоясываюсь.

«Когда снимешь, будет казаться, что голый ходишь...»

Действительно, без вооружения таярю равновесие и сажусь.

Мутные капли пара застыли на бревнах потолка; печь давно погасла; угол отделенного командира оклеен финскими газетами; котелки, кружки валяются на нарах...

Луч солнца, проникший в оконную щель, искусно пронизывал пыль, сажу. В блиндаже сразу стало тихо и уютно, как у погасшего костра.

Иду к выходу. Вспомнились наши разговоры с друзьями: «Жить — это значит делать, творить, если не хочешь умереть раньше, чем перестанет биться твое сердце...» А как они хотели жить, работать, познавать мир, и вот их...

Неправда! Они здесь, со мной, во мне... Я их чувствую. Я с ними никогда не расставался, я буду жить и за них. Я пронесу их мысли, чувства вместе со своей жизнью.

У блиндажей снуют бойцы, пожимая друг другу руки, поздравляют с победой.

— Вот это Сталин, молодец!

— А кто сомневался в победе?

Перед глазами встает Москва, институт, рабочий стол... Голова кружится...

Земля вздрогнула, со свистом закачались сосны...

Мы разочарованно смотрим друг на друга. Стыд за себя, за преждевременную радость ударил в уши,—все стало на свое место.

За первым залпом последовал вто-

рой, третий, и... счет залпам потерян, а орудия все бьют без передышки. Мы даже и не подозревали, что рядом с нами такое количество артиллерии.

— У чому справа? Товарищ Бобылев, идите узнайте,—говорит командир отделения.

Иду к батарее.

Раскрасневшийся лейтенант кричит без передышки:

— Первая! Вторая! Третья! Четвертая!.. Огонь!!!

Выждав минуту, пока он передохнул, кричу ему на ухо:

— В чем дело?

— Мир! — кричит он в ответ и снова: — Первая!.. Вторая!..

— Какой же это мир? — кричу я.

— Мир! — кричит он мне на ухо, и снова: — Первая! Вторая!..

Затем указывает на снаряды. Снаряды красные, видимо, с листовками.

— Агитационные?!

Кивком головы лейтенант подтверждает.

— Они первые боевыми начали, мы им ответили, а теперь — агитационными, — говорит лейтенант. — До двенадцати часов имеем право. Первая!.. Вторая!..

Я бегу к своим. Сколько имелось в полку лошадей в этот день,—все они были в разезде. По дороге туда и обратно мелькали финские санки, русские дровни и верховые.

Ехали только галопом.

На ходу соскакиваю с саней и бегу к блиндажу друзей.

— Миша!

— Платон!

Мы жмем друг другу руки.

— Бриться надо, вот беда!..

— Ух, радости будет дома!..

Вокруг стола толпятся лейтенанты, бойцы. На столе консервы, галеты, «северный паек».

Спohватившись, пожимаю руки другим товарищам.

— Садись — сегодня праздник, — говорит лейтенант.

Друзья делятся водкой.

Смеясь и разговаривая, мы поднимаем кто кружку, кто обрезок бутылки.

Выпив, лезу за голенище. Ложки нет.

Десятки рук тычутся в консервную банку. Недолго думая, выдергиваю из-под ног хвою, обламываю сук, и ложка готова.

У стола шумно, весело.

От залпов орудий блиндаж вздрагивает, песок сыплется на хлеб, в консервы. Но этого никто не замечает.

## ГДЕ ТУТ ДОРОГА НА СССР?

Черная мартовская ночь. По бою озера — мелколесье. Снежные сугробы, изгибаясь, ползут, проглатывая куски сучья, закутывая стволы сосен.

Черная мартовская ночь.

В такую вот мартовскую ночь у опушки в деревне начинается заготовка дров на следующую зиму. В лес выезжают парни, девушки. С грохотом валят деревья, разбрасывая снег. Вокруг несколько километров стук топора, звон пил, понукивание лошадей. Осторожно в такой суматохе заблудится заяц и налетит прямо на топор дровосека или кто-нибудь придушит в сугробе тетерева, и тогда все бросают пилы и топоры, с шумом ловят зайца, рассматривают тетерева. А к вечеру следующего дня гурьбой идем за фуражом калючими лошадьми.

Черная мартовская ночь.

Приятно на морозе вынуть из-за пазухи кусок пахнущего человеческого потом хлеба, сала и закусить, сидя на накласте.

В такую вот мартовскую ночь я мечтал о красивой невесте, о централке и о лошади, которой не надо было бы помогать в раскатах...

А теперь я боец. Длинные бутылки гранат стучат по коленям, как тетерева после удачной охоты. А за спиной — вместо централки — автомат.

И я думаю, что нам предстоят войны, еще более жестокие, чем эта, и мы не дрогнем ни перед каким морозом, ни перед каким врагом, потому что нет в мире, нет в душе человеческой чувства, более сильного, чем то которое заставляет нас отстранить детские ручки, оставить любимую и стариков-родителей и идти на самое тяжелое испытание — на войну.

Большая дорога неожиданно раскопалась на две такие же большие дороги.

— По которой из них идти?

Впереди показалось несколько красноармейцев.

— Товарищи, где тут дорога?..

— Куда? — спросили красноармейцы, видя, что я замаялся. — Куда?.. На СССР?

И когда была произнесена фраза: «Где тут дорога на СССР?» — мы рассмеялись. Близким и родным повеяло от этой фразы. Сердце забилося, как у порога отцовского дома после разлуки.

Черная мартовская ночь.

Я слышу, как оттаивают деревья. Скоро лопнут почки... Затокуют глухари, и заботливый крик чибиса разорвется над синеющими полями...

Хотелось петь, плакать и целовать дорогу, которая вела на СССР.

## ДРУЗЬЯ

На расстоянии километра в четыре ряда стоят грузовые автомобили. По бокам дороги — костры, у костров — толпы красноармейцев.

У входа в аллею машин — триумфальная арка. Свежие сосновые столбы и доски густо обвиты зеленым ельником. К ельнику прикреплено широкое красное полотно. На полотне:

«Привет участникам героических боев с белофиннами».

Третьи сутки без сна, и спать не хочется. Встряхнувшись, идут от костра к костру, рассматриваю седые от инея шинели, красные от мороза лица, ищу друзей.

Урчанье моторов, смех у костров, треск горящего ельника — все смешалось, все проглатывает мои выкрики. По дороге мы узнали, что Григория Тиханова не только не убили, но даже и не ранили. Но где же Григорий? Где же те, которые остались живы? Как их найти в этой автомобильной путанице?

Спрашиваю у шоферов:

— Где машины для добровольцев?

Шоферы указывают на километровые аллеи:

— Там, тут, — все для добровольцев.

Толкаясь о борта машины, бреду от костра к костру, заглядываю под каски, — все не наши роты, все не мои друзья.

Вывившись из сил, бреду по обочине дороги, каску снял, подшлемник завернул так, чтоб меня видели от костров. Иду...

— Владимир!!!

Поворачиваю голову. Взвод лейтенанта Разумовича у костра.

— Григорий! Иван! Живы?

— Живы!

Целуемся, срываем друг с друга

подшлемники, толкаем друг друга в снег.

— Черти! Хотя бы побрились...

Окруженные бойцами взвода, пытаемся завернуть папиросы. То и дело от костра подбегают красноармейцы,жимают руки.

Наконец все институтские товарищи в сборе. Гурьбой усаживаемся подле костра.

Ласково потрескивает сухой ельник, откидывая пламя к нашим ногам. Мы сидим молча. Нам кажется, что мы не виделись вечность. И теперь мы подолгу смотрим друг на друга. В глазах у каждого тaitся что-то большое, невысказанное. И вдруг это невысказанное прорывается у всех сразу. Мы начинаем говорить. Получается пошкольному. Мы умолкаем, чтобы дать возможность высказаться одному. Снова сидим молча...

— Арона убили, — робко начинает Гриша, — Дзугати — тоже...

Мы переводим взгляды на Гришу. Он тут же умолкает. Он понимает наши взгляды. Не об этом надо говорить.

Снова сидим молча.

— Ребята, а давайте о них говорить не как об убитых, а как об отсутствующих. Это не сентиментальность: человек умирает не тогда, когда его кладут в землю, а тогда, когда о нем забывают живые...

Платона никто не перебивает: он прав, жизнь за себя для нас кончилась. Мы теперь будем жить большой жизнью. Надо и за них жить — за всех оставшихся на поле боя...

Платон прав: те, что погибли за родину, никогда не умрут.

## БОГАТОЕ СЕЛО ШУЯ

В помятых шинелях, с отеками ногами, выпрыгиваем из кузова машины, как дети из чужого огорода. Облегченно вздыхаем, и, может, впервые, только теперь доходит до сознания, что война окончилась.

Наскоро разбираем вещевые мешки, оружие и рассыпаемся по лесу. По домам расходимся отделениями: на войне мы привыкли считать другом того, кто рядом, кто может защитить тебя.

Дружба с институтскими товарищами не то чтобы остыла, нет. Война дала каждому что-то свое, новое, и

хотелось этому новому дать время окрепнуть, сделать его навсегда своим.

Хозяйка хлопочет у самовара. Сбившись в противоположном углу, сидят притихшие с нашим приходом дети. На наши кинжалы, гранаты смотрят завистливо, но подойти боятся. Старший сын одевается...

Мы переглядываемся: нам кажется, что сегодня праздник; сегодня люди должны только входить в дом... Юноша одевается и подходит к дверям.

— Куда же ты?..—спрашивает Коновалов.

— На работу! — отвечает юноша.

Уходит один. Мы ходили отделениями...

— На работу, — повторяем мы удивленно и краснеем. Что-то знакомое вспыхивает в памяти.

Сидящие в противоположном углу дети немного привыкли к нам: начинают перешептываться. Мы смотрим на них и проникаемся ко всему давно не испытываемым чувством — нежностью. Нам хочется всех целовать. Онищенко протягивает руки к ребенку и пытается его поцеловать. Ребенок с плачем убегает к матери.

— Она у нас чужих боится, — говорит мать.

Для нас слово «чужие» связано с командой: «В ружье!», «Противник...» А здесь родина; здесь все свои. Ребенок этого не знает. Ребенок не знает, каким чувством живет человек, вернувшийся с войны, но мы обижаемся на ребенка.

— Чудачка, — садясь на лавку, говорит Онищенко.

Хозяйка накрывает стол, хлопочет у самовара.

— Мамаша, а как у вас насчет водички?..

Хозяйка подает Коновалову ковш воды. Коновалов обводит ковшом у наших носов и, заглядывая на дно, пьет. Затем просит у хозяйки разрешения поцеловать ее.

— Вон молодых целуйте, — вспыхнув, отмахивается женщина.

Она не догадывается о том, что сейчас для нас матерью может быть каждая женщина. Мы вернулись с войны.

Хозяйка ласково смотрит на нас, но нам этого мало. Мы хотим родительской ласки. Хозяйка суетится у самовара, предлагает нам просушить портянки, раздеться.

— В избе тепло, разденьтесь, — говорит она.

Действительно, в избе тепло. Мы снимаем шинели; подумав, расстегиваем лыжные фуфайки, снимаем ватные брюки и решаем умыться. Умываемся горячей водой.

— Не бойтесь, воды хватит, — говорит хозяйка.

Но мы все-таки боимся, что воды не хватит. Мы научились заботиться о те варицах.

Приведя себя в порядок, садимся за стол. Время от времени осматриваем себя: как будто бы чего-то нехватает. Вспоминаем, что сняли теплое обмундирование, улыбаемся.

Услышав девичьи голоса, бросаемся к окну.

— Каки-е красивые, — растягивая слова, говорит Коновалов.

— Карелки, они красивые, — поддакивает ему Орлов.

Взглянув на стаканы в руках, смущенно возвращаемся за стол. Достаем консервы, галеты, сахар, хлеб, — у нас все свое. На хозяйскую закуску смотрим завистливо, но берем только для приличия: мы привыкли закусывать из своего вещевого мешка положенную долю.

За окном, по обе стороны реки раскинулись бревенчатые избы на высоких подклетах. Избы часто двухэтажные. Маленькие окна с резными наличниками, резные карнизы придают им вид боярских теремов. У самого берега реки рядами стоят абмары. Богатое село Шуя.

По улице снуют нарядно одетые девушки. В избу пришли сельские юноши. Все смотрят на нас, как на героев, как на людей, с которых берут пример. От этого желанье пить пропадает. Вспоминаются напутственные слова комиссара: «Держать марку бойца Красной Армии...»

Вылезаю из-за стола. Провожу рукой по бороде, решаю побриться.

Увидев бритвенный прибор, хозяйка любезно ставит на подоконник зеркало.

На меня смотрит обветренное, коричневое от мороза лицо со спутанными усами и бородой; глаза от бессонных ночей широкие, как у влюбленного. У рта резкие складки-морщины.

Я еще долго гляжусь в зеркало, пока сквозь сеть бороды угадываю знакомые черты.

Побрившись, достаю шинель, решаю выспаться. Поворочавшись на шинели, поднимаюсь.

Кто же спит теперь!..

За окнами проходят жители села — люди без вооружения. Как на редкость, гляжу на кепи, на яркие цветы платков...

Шагаю к двери. Ноги, привыкшие к лыжам, к проваливающемуся снегу, действительно цепляются за пол.

Пол...

На все гляжу по-новому.

Вспоминаю себя техником в лаборатории завода в Харькове; студентом Metallургического техникума в Запорожье; слесарем на заводе «Коммунар»; чернорабочим в котловане Днепростроя; киномехаником в Рязани; крестьянским мальчиком в детстве...

А теперь я боец.

Вдруг передо мною как бы захлопнули дверь, и я со страшной отчетливостью чувствую, что мною прожито двадцать пять лет.

Раньше я жил, не замечая времени. Пугал дату наступившего года с прошедшим. Порой мне казалось, что я живу очень-очень давно, порой казалось, что я еще ребенок...

Страница жизни перевернута. Я никогда не буду таким, каким был... И больно, и радостно на душе.

## НАТАША

Вошел Гриша.

— Что ж ты не спишь?

— А ты почему не спишь?

— А говорили: «Приедем — выспимся...»

— Говорили...

Говорили в тяжелые дни войны: приедем, первым долгом выспимся, погуляем, чтобы вспомнить юность, расцелуем девушек.

— Чего стоишь у окна, одевайся, пойдем в клуб танцовать.

— Идем, — говорю я, надевая шинель.

Зимой день только до обеда; не успеешь оглянуться, как вечер. В клубе уже играет патефон, и посредине клуба, откинув голову, кружатся вспотевшие бойцы.

У двери столпились девушки. Танцующих ребят мало, а в каникулы в Шую съехалось много девушек, да и любопытных собралось не меньше — посмотреть добровольцев-москвичей.

У девушек изящные туфельки, нарядные платья, а у нас — красноармейские гимнастерки, пропахшие потом, брюки-галифе, валенки, часто подшитые.

Пока я стою в нерешительности, Гриша уже увлек девушку в круг танцующих.

— Пойдемте, — говорю я совсем молоденькой ученице.

В ответ она показала белые, как кисть черемухи, зубы и покорно подала руку.

Засмотревшись на ее улыбку, я невольно остановился. Девушка задела валенок.

— Простите, — прошептала она, снова показывая кисть черемухи.

«Простите...»

Мне однажды боец бревном чуть голу не сбил, и в ответ я услышал: «Не разевай рот!» А здесь: «Простите...»

Как же зовут эту милую девушку?

— Зовут как? — переспросила девушка и, опустив ресницы, ответила: — Наташа.

Сколько мы ночей не спали? Кто говорит — шесть, кто говорит — восемь. Впрочем, это неважно: три месяца мы не видели девушек, и разве кто-нибудь решится в первую же ночь уснуть?

Танго сменяют фокстрот, полька; мы танцуем все без разбора — какая разница, лишь бы ощущать на своем плече легкое прикосновение руки девушки... Они охотно проведут с нами еще несколько часов.

— Вы такие веселые. Можно подумывать, что вы и выстрела не слышали, — говорит рядом танцующая девушка.

Товарищ замедляет движение и показывает ей порванный локоть гимнастерки:

— Вот пуля порезала, а друга убила.

Моя Наташа совсем ребенок, я не выдержал и спросил:

— Вы в пятом классе учитесь?

— Нет, в восьмом, — подтягиваясь, ответила Наташа.

— Сколько же вам лет?

— Шестнадцать... Без пяти месяцев.

Ей так хочется с нами быть взрослой, что она с удовольствием прибавляет себе еще несколько месяцев, в то время как из нас любой без боли сбросил бы десяток лет, чтобы снова почувствовать себя неловким, робким...

Опьяненные горячим дыханием девушек, мы не заметили, как наступила полночь. Надеваем шинели, берем девушек под руки и расходимся по селу, — девушек надо проводить домой.

— Давайте посидим еще где-нибудь, — предлагаю я Наташе.

— Мне спать не хочется. Я буду рада послушать о войне, — отвечает она.

Находим укромное крыльцо, усаживаемся. Март месяц такой непостоянный: снова задымила дорогу поземка, ударил мороз.

Накрываю плечи девушки шинелью; плотно прижавшись к горячему телу, сижу, слушая приятное воркованье восьмиклассницы.

— Кончу десятилетку, поеду в Москву... — говорит Наташа.

«Москва... Друзья...»

— Буду учиться, — продолжает Наташа.

«Друзья теперь тоже учатся... Неужели я их снова увижу?..»

Я чувствую, как мороз ползет по позвоночнику. Открываю глаза. Наташа, съездившись, постукивает каблучком; моя голова покоится у нее на плече; на горизонте вспыхнули первые лучи рассвета.

— Почему же вы меня не разбудили?

— Вы так мирно спали, — говорит Наташа, показывая кисть черемухи.

## МОСКВА

Когда нам сказали, что на рассвете мы будем в Москве, мы отказались от обеда, от ужина. Всех охватило волнение.

Тринадцать дней прошло с момента, как мы узнали, что вернемся в Москву. Тринадцать дней мы сдерживали себя в ожидании Москвы, готовились к встрече с друзьями, с Москвой. А вот теперь кажется, что это было всего час назад и что этот час тянется дольше, чем тринадцать дней.

— Утром Москва, — говорит мой сосед.

— Утром Москва, — говорю я, а у самого сердца готово остановиться.

Неужели правда Москва?..

Теперь поезд мчится не останавливаясь.

«Калинин».

«Дмитров».

«Клин».

Перегнувшись через перекладину сова, мы читаем мелькающие названия станций. И все-таки поезд идет медленно. Мы не знаем, куда себя деть. Мы развязываем вещевые мешки, укладываем вещи, снова развязываем... Наконец бросаем мешки на нары и, перегибаясь через перекладину, смотрим на бегущие навстречу сосны, березы. И сосны, и березы нам, пожалуй, три месяца надоели, но мы все же смотрим на них до головокружения.

— Проталина, — говорит мой сосед.

— Проталина, — повторяю я и вспоминаю далекое детство. Сейчас они так же как сосны, мелькают перед моими глазами. Милое детство! Кто от меня не думал в тяжелые дни жизни!

— Весна. Грач!

Теперь все навалились на перекладину и, перебивая друг друга, спорят в это время прилета птиц.

Здесь весна во-всю. Скоро сырые комья будут ухажать в ночи, сползая по журчащим ручьям.

Мне хочется крикнуть во все голубоватые связки:

«Жизнь!!!»

Нервное напряжение доходит до того, что я готов выпрыгнуть из вагона.

— Давай отойдем, — говорю я соседю.

— Жорж! Разве ты спишь?

— Нет, не спится. Мне хочется плакать...

— Почему же плакать? Разве ты не счастлив?..

Жорж молча пожимает мне руку.

Мы отходим...

Нам не дали отойти; на нас навалились задние.

— Вон дачное место; я сюда рыбачил, приезжал ловить.

— А я вот здесь купался. Это уж Москва!

— Чорт возьми, Москва!

Снаружи доносится грохот трамвая, сирены электропоездов, слышен горланый голос радио.

Москва!!!

— Где мой мешок?..

— Чей котелок? Кто забыл?

— Ты не видал мои перчатки?..

Москва! Все засуетились, потянулись к выходу. На перроне оркестр торжественно рассыпает туш...

Выскакиваем на перрон, вытягиваем шеи через головы товарищей, хотим увидеть своих.

Кто-то бросил букет мимозы. Мы на лету хватаем по веточке и украшаем петлицы. На трибуне идет митинг. Мы кричим «ура» и машем руками идущим мимо девушкам.

— Позавтракайте, потом пойдете, — говорит лейтенант.

— Не хотим!

И, как только кончился митинг, прощаемся с командирами и рассыпаемся по перрону в поисках друзей.

Кто-то хватается за меня за рукав.

— Узнаете? Я вас узнал сразу... Вы Подольские были вместе с Ароном! В какой теплушке он?..

— Арон... в другой роте... — отвечаю я товарищу. — Спросите у лейтенанта...

Товарищ бежит дальше, роняя по перрону цветы...

У выхода из вокзала толпятся добровольцы. То и дело к перрону подъезжают автомобили с поющими людьми, они скрываются за поворотом. Нам кажется, что очередь слишком велика, а автомобилей слишком мало.

— Так до вечера не доберемся до института, — говорит Платон, помахивая на дорогу.

Теперь, когда мы уже в Москве, можно и пешком добраться до центра...

— Куда? — преграждая нам дорогу, говорит полковник.

— Домой, товарищ полковник.

— На машинах поедете...

— Мы здесь близко живем! — кричим мы полковнику уже с дороги и поднимаем руку идущему в Москву грузовику.

Шофер останавливает машину.

— Из Финляндии?

— Из Финляндии!

— Добровольцы?

— Добровольцы!

— Садись! — шофер захлопывает зеркало кабины и дает полный ход. Мы с ним свою любимую:

Раскинулось море широко...

Машина выскакивает на центральную улицу. Выпрыгиваем из грузовика, бежим к такси. Москвичи нам аплодируют. Мы стоим в кольце аплодирующих людей и не знаем, что делать. Нас спрашивают, разглядывают добровольческие подшлемники, щупают шинели,жимают руки; нам кажется, что нас приветствуют все.

Неожиданно высыпаем на Никитский

бульвар. Женщины бросают очередь и, преграждая шоферу путь, бегут к нам.

— Откуда?

— Все вернулись?

— Молодцы ребята!

— Значит, скоро и наши приедут!

Оставив недобритыми посетителей, парикмахеры выскакивают в вестибюль.

Кассирша смотрит на недобритых посетителей и говорит нам:

— Пожалуйста, в женский зал. Женщины подождут.

У меня через плечо патронная сумка с блокнотами. Девушка думает, что я командир.

— Товарищ командир, компресс сделать?

— Давайте компресс, массаж — делайте все не спрашивая, — подтягиваясь, отвечаю я.

— Товарищ командир, сейчас домой?

— Домой, — отвечаю я и чувствую, что я не вру: друзья, институт — мой дом.

Родные... Я чувствую, что теперь я принадлежу не только родным. Я — боец. Я защищал не только отца с матерью, я защищал любимую родину. А разве эта девушка, что бреет меня, чужая?!

Я чувствую нежное, материнское прикосновение ее рук. Я чувствую на своей щеке горячую слезу. Я поднимаю голову.

— Почему вы плачете?

— У меня брат тоже на фронте...

Видя мой вопросительный взгляд, девушка добавляет:

— Он жив. Мы получили телеграмму.

— Почему же вы плачете?..

— Не знаю... Мы его так ждем... Я так волнуюсь...

Утреннее солнце раздвинуло шумные улицы Москвы. Мы идем по Тверскому бульвару, идем гурьбой, перерывая друг друга. Вспоминаем, что у нас шаг не красноармейский. Делаем друг другу замечание и идем, четко отбивая шаг, но ничего не получается, через пять шагов снова кто-нибудь из нас выбегает вперед...

Вот он, каштан... веселый садик Герцена... светлые окна института...

Почти бегом подходим к дверям:

— Тетя Соня!!!

Целуемся.

— Что вы, что вы! Лекция только

началась, — машет руками гардеробщица. — Не шумите.

Но мы уже у дверей аудитории.

Выбившись вперед, открываю дверь.

Историк вопросительно смотрит с кафедры. Одно мгновение студенты смотрят, пораженные неожиданностью, и...

Так прорвавшая плотину вода обрушивается на камень, лежащий на ее пути, ворочает его, ревя, крутится около него...

Я еще стою крепко. Ловлю друзей прямо в объятия. Я еще смеюсь... Но говорить не могу. Объятия друзей так горячи, поцелуи девушек так искренни, смеющиеся глаза так ласковы, что я постепенно теряю самообладание...

### ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Иду я в шинели, —

Мне все уступают дорогу,

Совсем незнакомые лица

Улыбкой встречают меня.

И в сердце стихает

Далеких походов тревога:

Не видел я в жизни

Счастливее этого дня.

Иду я в шинели, —

И нет на шинели отличий.

Следы от подсумков,

Подшлемника цвет голубой.

По ним узнают,

Что я был на земле приграничной,

По ним узнают,

Что ходил я за родину в бой.

Иду я в шинели, —

На землю спускается вечер.

Давно позабыл я

Границы и ночи и дня.

Куда б ни вошел я,

Везде приготовлены встречи,

Как сына родного,

Повсюду встречают меня.

За эти вот встречи,

За эти вот добрые лица

Придется —

Я снова

С винтовкой пойду в блиндажи,

И если случится...

Укажут вам холм на границе,

Не верьте могиле,

Не верьте рассказам —

Я жив.

Май—июль 1940 г.

Коктебель—Переделкино.

Конец первой книги

---

# ПОЭТЫ БЕЛОРУССИИ

В великой отечественной войне Советского Союза с гитлеровской Германией одно из почетных мест принадлежит белорусскому народу. На полях Белоруссии развернулись первые гигантские сражения. Заливая кровью белорусские земли, Гитлер мечтал о полном порабощении белоруссов. Но он жестоко ошибся в своих кровавых расчетах. Белорусские пуши, поля и озера были и будут советскими. Об этом свидетельствует самоотверженная борьба белорусского народа в рядах доблестной Красной Армии, об этом свидетельствуют славные боевые подвиги белорусских партизан в тылу фашистских полчищ.

Вместе со всем белорусским народом активно участвуют в народной войне с немецкими захватчиками белорусские поэты и писатели. Многие из них с первых дней войны ушли на фронт, начали работать в фронтовых газетах. Так, в фронтовой белорусской газете «За Советскую Беларусь» работают сейчас поэты и писатели: Михась Лыньков, Петро Глебка, Петрусь Бровка, Пимен Панченка, Максим Танк и др. В своих стихах и очерках они призывают белорусский народ к беспощадной борьбе с немецкими захватчиками, рассказывают о героических подвигах советских людей, воспитывают у своих читателей и слушателей неслышимую волю к борьбе, глубокую веру в окончательную победу над врагом.

Мужественно и уверенно звучат новые стихи народного поэта Белоруссии Якуба Коласа:

Не пошатнулись мы пред бурей,  
Не испугала нас беда!  
Бандит своей заплатит шкурой  
За наши села, города.

Чувство беспредельной ненависти белорусского народа к фашистскому зверю хорошо выразил народный поэт Белоруссии Янка Купала:

«Если враг сорвет яблоко, созревшее в нашем саду, оно разорвется в его руках гранатой!

Если он сожнет горсть наших тяжелых колосьев, зерна вылетят и поразят его свинцовым дождем!

Если он подойдет к нашим чистым студеным криницам, они пересохнут, чтобы не дать ему воды!»

В гневных и суровых стихах призывает Я. Купала свой народ истреблять наглых захватчиков:

Партизаны, партизаны,  
Белорусские сыны!  
Бейте врагов поганых,  
Режьте свору окаянных,  
Свору черных псов войны.

Вам опора и подмога —  
Белорусский наш народ.  
Не страшна бойцу тревога —  
Партизанская дорога  
Вас к свободе приведет.

За сестер, за братьев милых,  
За сожженный хлеб и кров  
Рвите из проклятых жилы,  
В пущах ройте им могилы —  
Смерть за смерть и кровь за кровь!

Партизаны, партизаны,  
Белорусские сыны!  
Бейте врагов поганых,  
Режьте свору окаянных,  
Свору черных псов войны.

Много хороших стихов написали белорусские поэты за время войны. Это стихи о героях белорусского народа Бумажкове и Павловском, о славных белорусских девушках-партизанках, о грозной расплате, о святой мести и близкой победе.

Каждый советский человек разделяет глубокую, страстную веру белорусского поэта:

Верю твердо: погибель врага ожидает.  
В край родимый я с песней победной вернусь.  
Пока звезды мерцают, пока солнце сияет,  
Беларусь не погибнет,  
Будет жить Беларусь!

(П. Панченка)

Близится время грозной расплаты. Фашистские полчища будут окончательно разгромлены — «! выйдзе Беларусь з палону».

Е. Мозольков

## Будет жить Беларусь!

Ты лети, мое слово, чрез поля и леса,  
Мчись туда, где родимого края краса.  
Белоруссия-мать, я твой преданный сын,  
Верным сердцем сыновним всегда я с тобою!  
Ты растила меня, в колыбели качала,  
Ты мне песни свои по ночам напевала,  
Собирала в дорогу с заботой в очах.  
Как люблю я задумчивый шелест берез,  
Волны ржи, блеск тяжелых предутренних рос  
На твоих заливных, на цветущих лугах.  
Тяжко думать, что там, на пожарищах, кровь,  
И все то, что до боли знакомо и дорого,  
Стонет нынче под властью взбесившихся псов,  
И что отчий мой дом оскверняется ворогом.  
И когда на привале привидится мне  
Древний бор, что ветвями гудит в вышине,  
Плеск озер голубых на заре  
И напевы дроздов, и чебрец в серебре, —  
Тогда гаснет тоска, затихает забота,  
Только ненависть в сердце пылает огнем.  
Нет, не вытоптать край мой поганому сброду,  
Нет, народ мой вовеки не будет рабом!  
Он, бесстрашный, сбирается в пущах дремучих,  
Воскрешая легенды в краине лесной,  
Что громит супостатов Гаркуша могучий,  
Что Кастусь Калиновский выходит на бой,  
Что встают из могил партизаны Дукоры,  
И все громче юнацкая слава гремит,  
Что бушует и пенится Нарочь, как море,  
Неман гневно клокочет и Припять кипит.  
Верю твердо: погибель врага ожидает,  
В край родимый я с песней победной вернусь.  
Пока звезды мерцают, пока солнце сияет,  
Беларусь не погибнет, будет жить Беларусь!

*Перевел с белорусского Е. МОЗОЛЬКОВ*

## Защитникам родной земли

И каждый миг, и каждый час  
Душой и сердцем я средь вас,

Друзья-бойцы, братья мои,  
Вогапы святой земли.

Велик простор, простор широк —  
На сотни миль ваш путь пролег.

Гевтон-фашист, бандит-вандал  
Вандитов полчища пригнал.

До под угрозой черной тьмы  
Слов своих не клоним мы.

Все, что у нас святого есть —  
Отчизну, волю, славу, честь, —

Мы пронесем сквозь дым и гром,  
Мы нечисть вражью разобьем.

Вот путь один для тех, кто смел.  
Сынам же тьмы и тлеть во тьме!

Друзья-бойцы! Идите в бой!  
Мы выполним свой долг святой

И над раскованной землей  
Взойдем сияющей зарей.

Пускай нам светит солнца день,  
А врага покроет тень!

---

## Песня пилота

(Посвящается бойцам - узбекам)

В лазурную высь улетает орел,  
И клетот его в поднебесье ушел.

Я выше орла поднимуся в простор,  
И громче орла запоет мой мотор.

Вершины средь туч, как алмазы, горят,  
Им первым лицо умывает заря.

Туман голубой белоснежных высот  
Оставит внизу мой орел-самолет.

На запад лечу я к любимой Москве —  
Отчизны своей я исполняю завет.

Живи, красота расцветающих нив,  
Хлопковых полей беспредельный разлив!

Заботливый труд, в кишлаках процветай,  
Водой-бирюзой по арыкам сверкай!

Звените, сады и ручьев голоса,  
Живи, свет очей, завитая коса!

Я крыльям моим дам могучий разбег,  
Пусть знают враги, как летает узбек.

На головы град им свинцовый пролью,  
Не дрогнет рука в беспощадном бою.

Народов семью не разрушить врагам,  
Все силы и жизнь я за братьев отдам.

Я — вольный орел необъятной страны,  
Нас Сталин ведет, и ему мы верны.

## Точите острее оружие!

Точите острее оружие,  
Товарищи и друзья!  
В огне и в крови отчизна —  
Родная страна моя.  
Фашистские танки топчут  
Поля и курганы ее,  
Над виселицами вьется  
Тучами воронье.  
В немецкой неволе стонут  
Лесные наши края...  
Точите острее оружие,  
Товарищи и друзья!

Приблизилось время мести,  
Ступайте же в смертный бой!  
Навеки покройте, братья,  
Славою боевой  
Клинки, что фашистов косят,  
Огонь, что врагов настиг,

Бураны, что заметают  
Проклятые кости их  
И песни о смелых, — песни,  
Ведущие в бой полки, —  
В которых звенят бураны,  
И полымя, и клинки!

Направьте свой путь на запад:  
Уж близок родимый край.  
Бор синий, земля родная,  
Своих сыновей встречай!  
Уж скоро с твоих просторов,  
С равнин твоих и холмов  
Весенние воды смоют  
Черную вражью кровь...  
Вставай, молодое утро!  
Заря над землей — сияй!  
Направьте свой путь на запад,  
Идите в родимый край!

*Перевел с белорусского ДМ. КЕДРИН*

КОНДРАТ КРАПИВА

## Прощанье

Враг идет. Прощай, родная!  
Будь жива-здоровая.  
Мне ль томиться, оставаясь  
Под родимым кровом?

Для того ли поливала  
Ты землю потом,  
Чтоб она теперь стонала  
Под фашистским гнетом?

Для того ли ты про волю  
Надо мной певала,  
Чтобы к немцу наша доля  
Под сапог попала?

Лучше пасть на ратном поле,  
Лечь свободным в яму,  
Чем пойти к врагам в неволю  
Нам с тобою, мама!

Я иду спасать свободу,  
Биться с гадом буду,  
Что несет с собой народу  
Кровь и смерть повсюду.

Будем живы, — будем рады  
Счастьем молодому,  
А пока не слошим гада,  
Не бывать мне дома!

*Перевел с белорусского ДМ. КЕДРИН*

## Возвращение

На Беларуси средь лесов,  
Среди заснеженных ночей  
Мать ожидает трех сынов,  
Героев родины своей.

Ей не уйти от горьких дум,  
Гнетет лесная тишина,  
Чуть скрипнет снег иль ветра  
шум —  
Старуха снова у окна.

. . . . .  
Июнь. Шел первый день войны,  
Гудели бомбы над селом.  
Прощались с матерью сыны.  
Сказали: мы еще придем!  
И в бой пошли за мирный край.  
Ушел к танкистам старший брат,  
А двое младших в темный гай, —  
Там партизанский ждал отряд.  
Несет разор и смерть война,  
И братьев ждет тяжелый путь.

Мать ожидает у окна —  
Из трех вернется кто-нибудь.  
Родная, слышишь ли порой,  
Как в тьме ночной грохочет лед?  
То старший сын, танкист-герой  
Машину грозную ведет.

Ни заграждения, ни рвы  
Его не могут задержать.  
Он бил фашистов у Москвы,  
Теперь к тебе он рвется, мать!  
Или не слышишь, как в снегах  
Леса гудят? То в поздний час  
О трех героях-сыновьях  
Они рождают бьель-рассказ.  
И если бы рассказ попал,  
Дошел к тебе на миг один,  
Узнала б ты, как смерть принял  
За Беларусь твой младший сын.  
Как хоронил его отряд,  
Бойца родного своего,  
Как клялся в мести средний брат  
И все товарищи его.  
И будет так. Узнает свет,  
Как бились мы в родном краю,  
И будет враг держать ответ  
За сына кровь, за боль твою!  
Не плачь же, мать, слезу утри.  
Пусть плачут матери врагов.  
Победный вижу свет зари  
В родных лесах среди снегов.  
Прогнав врага с чужой земли,  
Сойдутся братья у ворот,  
В краю, где жили и росли,  
Где мать родимая их ждет.

*Перевел с белорусского М. ГОЛОДНЫЙ*

## Родина

И шли века дорогами твоими,  
И ты прошла тернистые пути,  
И горбилась курганами немymi,  
Не в силах скорбь свою и боль нести!

Не раз с врагом пришлось тебе бороться,  
По черным пашням кровь твоя текла,  
Не раз мутились реки и колодцы,  
Огнем пожаров озарялась мгла.

Но под грозою вражеского шквала  
К свободе ты рвалась из темноты,  
Росла ты в бурях, силу закаляла  
И никому не покорялась ты!

Но вот пришел Октябрь грозой свободы  
На землю оскудевшую твою  
И солнцем просиял средь непогоды,  
Сплотил народы в дружную семью.

И радуга блеснула над полями,  
И зазвенела радость вольных нив.  
Кремлевских звезд негаснущее пламя  
Зардело, в будущее путь открыв.

И шли года, и ты неутомимо  
Росла и строилась. В твои леса  
Дремучие средь грохота и дыма  
Врезались новостроек корпуса.

И каждый год цвела ты садом новым,  
И как отца любимого дитя,  
Ты славила Октябрь певучим словом,  
Под лаской солнечной его цвета.

Прогоним мы врагов бесчеловечных,  
И скоро я к тебе опять вернусь,  
Ты снова расцветешь и будешь вечно  
Республикой советской — Беларусь!

*Перевел с белорусского М. ЗЕНКЕВИЧ*

## Герой

Краса земли моей свободной —  
Вольнолюбивый мой народ,  
В негодованьи благородном  
Ты мощно двинулся вперед.

К высоким подвигам привычен,  
Душою закален в боях,  
Ты встал, суров и героичен,  
На всех дорогах и путях.

Ты, злую гибель презирая,  
Фашистов повстречал свинцом.  
Не лучше ли земля сырая,  
Чем жизнь в позоре под ярмом?

Звонит оружие боевое  
В твоих нахмуренных лесах,  
И сотни, тысячи героев  
Рождает Беларусь в боях.

Громки дела их, величавы!  
Недаром, точно океан,  
Уже шумит над миром слава  
Про белорусских партизан.

И весть доходит в Кремль московский  
Из отдаленного села,  
Как бьет захватчиков Павловский,  
Сжигая гнезда их дотла,

Как под ударом Бумажкова  
Бегут немецкие полки,  
Как в чистом поле и в дубраве  
Берут насильников в штыки.

Боишься недруг наш жестокий  
Имен, прославленных в боях.  
Они наградою высокой  
Теперь увенчаны в веках.

Смелей же в битву вслед за ними,  
Сыны рабочих и крестьян,  
Краса и цвет страны родимой —  
Отряды смелых партизан!

*Перевел с белорусского ДМ. КЕДР*

## ОТОМСТИМ ЗА ВСЕ!

Смотрю, все смотрю я на запад,  
Туда, где посохли березы,  
Туда, где веселые песни  
В родимых полях не звучат.

И сердце сжимает мне ужас,  
И взгляд затуманили слезы,  
А руки, от гнева натужась,  
Сжимают винтовки приклад.

Повсюду могилы, руины,  
Дымят на ветру головешки,  
Не видно улыбки, усмешки,  
У всех опечаленный вид.

И в эту унылую осень  
Зерно осыпают колосья,  
И ветер проклятья разносит,  
И пуща тревожно шумит.

Одна под плакучею ивой  
В печали своей молчаливой,  
Горюя, грустя сиротливо,  
Сидит поседевшая мать.

Ни сына у ней не осталось,  
Ни дочки у ней не осталось,  
Одно ей на долю досталось —  
Весь век безутешно рыдать.

Ей сосны поведали шумом,  
Как били, как мучили сына.  
Лежит он на мшистой постели,  
Над ним колыхается бор.

Полуночным часом угрюмым  
Пропала красотка-дивчина.  
Фашисты, как псы, налетели  
И дочь увели на позор.

Страдалица-мать, не печалься!  
Придем мы! И лаской согреем  
Твое наболевшее сердце  
И слезы осушим в очах.

Ты видишь? Зарей на востоке  
Пылают знамена алея.  
Ты видишь? Горячее солнце  
Сверкает на наших штыках!

Родимая! Кончатся беды.  
За всех и за все мы отплатим,  
Отмстим мы фашистам жестоким,  
Придем мы на родину вновь.

На танках стальных мы проедем,  
Круша, по фашистам проклятым,  
И хлынет в болота потоком  
Поганая черная кровь.

*Перевел с белорусского М. ЗЕНКЕВИЧ*

---

## Любовь к жизни

Р а с с к а з

Как это случилось? Он не мог постигнуть того, что произошло...

...Клочками всплывает воспоминание. Он ведет своих бойцов по лесу... Огонь из засады, замешательство в рядах. Вася кричит, что их обошли. Он бросается вперед, бойцы за ним. Мелькают спины немецких автоматчиков... Что было потом?.. Сквозь глухую боль в мозгу робко возвращается сознание. Он вспомнил, откуда этот слепяще-белый свет, смявший, раздавивший его удар воздушной волны.

И вот они в плену. Лейтенант Иван Чаусов и боец Василий Кобзев в плену.

— Что будем делать, Василь?

— Что ж делать, Ваня. Деваться некуда.

— Уходить надо.

— На обеих дорогах патрули. Всю окрестность просматривают. Ни одного участка нет, где бы их не торчало до дьявола.

Был такой участок. Тут же, у края деревни. В конце его стоял всего один часовой. Но путь лежал через минное поле.

— А туда?

— С ума сошел.

— А что делать?

Темнело. Чаусов убедил Кобзева, что можно проползти через это поле, снять часового и уйти. Мины — против танков, они требуют более сильного нажима. Можно рискнуть.

— Идем, Василь.

Как только выдался момент, они теньями скользнули за плетни задворков.

Когда надо было вползти на животе на бурую грядку поля, в конце ко-

торого маячила фигура часового, Кобзев отказался.

— Не могу, Иван. Не ругай. Еще до войны с тобой все вместе делили. А сейчас ты на смерть идешь. Не могу я. Ваня, ты пойми: я слишком жизнь люблю...

— Идиот, что ж, я ее меньше твоего люблю? — Перед ним мелькнули жена, улица родного города и вся огромная страна, родина. — Спорить некогда. Если трусишь, уходи, не мешай.

Иван пополз один.

Разрыленная земля — смерть. Колышек — смерть. Веревка между невидимыми в темноте колышками — смерть. Нащупывая пальцами каждый вершок земли, каждую былинку впереди себя, весь обратившись в осязание, полз он, одолевая шаг за шагом поле, которое показалось необозримым, когда он лег. Зато фигура часового выросла и стала ближе. Это цель. От нее нельзя отрываться. Смерзшаяся, еще белоснежная земля в кровь растирала ему локти и колени.

Вот пальцы ощутили свежескопаный бугорок земли. Назад! Это смерть!

Три раза наползал он на свою неминуемую гибель. Когда он добрался до середины поля, с него лил пот. Фигура часового раскачивалась в зеленых кругах. Но останавливаться нельзя. Его отсутствие могли уже заметить.

В нескольких метрах от часового он услышал наплывающий звон. Неужели колокола с собой привезли? В глазах потемнело.

«Это в ушах звенит!» — успел он подумать и прижался лицом к холодной, сырой земле. Земля вернула ему силу. Он поднял мутный взгляд и пополз дальше. Рядом уже чернела стена бора. «Какие места! — просочилось в сознании. — Врешь, сволочь! — упрямо подумал он. — Наши будут эти места. На этой полянке, приеду сюда с Марусей, дачу себе построим.. Он даже приподнялся на руках посмотреть, где будет стоять дача. Опускаясь, он не грудью, не кожей — гимнастеркой, чувствительной, как обнаженные нервы, ощутил твердое прикосновение колышка. Его обжег ужас, а часовой оборачивался. Надо было ложиться. Упираясь на руки, локти и колени, скрючившись, выгнув тело над колышком, он прилег к земле. Когда он приподнялся снова, руки и ноги дрожали.

Но как клещи сомкнулись его тяжелые руки на шее у часового. Потом он бросился в темноту бора. До него донесся отчаянный крик. Он узнал

голос Кобзева; тот кричал явно для него:

— Не зна-аю!.. Не зна-аю!.. Давно ушел!

Прозвучал выстрел.

— Не выдал. Спасибо, друг.

Всю ночь шел Чаусов лесом. Утром был уже у своих.

Первые дни он отходил, а потом стал таким же, как прежде, лишь левое веко непрерывно мигало кому-то.

Вечерами товарищи часто просили его рассказать, как он собирался дачу строить у минного поля.

— Этот построит. Будьте уверены. Такие своего добьются. — И ласково трунили над ним: — С кем ты жить-то в даче будешь? Будет ли тебя любить твоя Маруся, такого моргуна?

— Будет. Куда ж она от меня денется? — Он ловко свернул такую маленькую в его тяжелых руках цыгарку. — Покойник Вася говорил: «Деваться некуда». А вот ей и вправду от меня деваться некуда, как и мне от нее.

## Имя отряда

На траве, сизой от росы, темнели стезжки — следы конских копыт. Стезжки вели к крыльцу, где у самых ступенек мелко дрожала осенним убором осина. Даже по этой осине было видно, что помещичий дом не из богатых.

Чапаев поднялся по ступенькам, вошел в полутемные сени. Опрокинутый у порога мешок с просом и распахнутые настежь двери говорили о спешном бегстве хозяев.

В нешироком зальце гулял ветер, врываясь в разбитые окна, шевелил на стене рисованную голубым и розовым боярышню в высоком кокошнике.

Василий Иванович прошелся по комнатам и остановился около груды книг. Среди книг лежала тоненькая брошюра с портретом чернобородого человека и с надписью «Гарибальди» на обложке.

Чапаев, хмуря светлые брови, прочел первую страницу и, уже не отрываясь больше от книжки, сел к раскрытому окну.

У крыльца Горбачев, питерский токарь, кричал на неполадивших коней. Петр Исаев весело толковал за окном про яблоки — белый налив. Где-то неподалеку бойцы затянули песню. Чапаев листал под знакомый шум страницу за страницей, пока не дочитал всей книжки до конца. Дочитав, он глянул в окно. За окном, в саду, ходил боец с перевязанной рукой, приминал ногой росистую траву, — искал упавшее яблоко.

— Иди, друг, сюда, — сказал ему Василий Иванович тихим от волнения голосом. — Иди, послушай, какой человек жил на свете...

И он снова начал читать вслух об огненной судьбе итальянца, о жизни,

которая вся — от начала до конца — была борьбой.

К окну подошел еще один боец, потом другой... Со всей усадьбы стали сходитьсь свободные от нарядов красноармейцы. Некоторые, боясь опоздать, лезли в сад через забор, трещали досками, и стоявшие у окна шипели на них сердито.

Василий Иванович читал медленно, внятно, задерживаясь на непривычных словах. Дочитав, положил ладонь на книжку, молча и долго поглядел на слушателей. Бойцы любили взгляд своего командира. «У него глаз круглый, соколиный», — сказал после вчерашнего боя Горбачев, любясь Чапаевым.

Иногда долгий взгляд скажет больше, чем речь.

Чапаев закрыл книжку и молча отошел от окна. В сенях звенели шпоры: шли с докладами командиры эскадронов.

Через два часа Исаев сунулся в комнаты, — хотел поговорить о Гарибальди, — и сейчас же вернулся: Василий Иванович все еще сидел с командирами за картой.

Только под самый вечер показался на крыльце Чапаев в накинутах на плечи шинели. Он поглядел вверх, прислушался. Ветра не было, а осина все шелестела листвою неумоимо. У конюшен уже горели костры. Шел к крыльцу Горбачев, и по его походке Чапаев знал: у токаря к нему дело не очень спешное.

Когда Горбачев подошел, Василий Иванович проговорил вполголоса:

— Шумит, все шумит осина, горькое дерево. Тихо, безветерье, а она все жалобится.

Горбачев привык, как к песне, к способности Чапаева говорить про далекие от боя вещи. Он помолчал и сказал не торопясь:

— Василий Иванович, там бойцы сговорились: хорошо бы назвать отряд именем Гарибальди. Так вот, просят твоего согласия.

Чапаев удивился. Верно, кругом самые мелкие отряды носят имена Рязина, Пугачева, Марата. Удивительным было то, что бойцы додумались раньше своего командира назвать часть именем героя.

— Что ж, будем гарибальдовцами, — сказал он, видимо, довольный.

— Гарибальдийцами, — поправил Горбачев таким тоном, что Василий Иванович сразу поверил ему и повторил: — Гарибальдийцами.

Утром выступали в поход на заре. Воронежские степи незаметно сливались с донскими.

Путь лежал на мальцевские хутора.

После трех переходов боевая strada повернулась по-новому. Из-за редких холмов стали появляться всадники на горбоносых дончаках и исчезали, стреляя на всем скаку.

Разведка донесла о растущих силах врага в тылу. Враг был еще мало изученный: бородачи с верхнего Дона, искусные в бою конными лавами, дерущиеся с молчаливой яростью.

Когда вражеское кольцо сомкнулось в тылу, бойцы перестали жечь по ночам костры. И в темноте Горбачев сказал Чапаеву:

— Сил у нас мало, Василий Иванович. Придется обоз кинуть.

Чапаев долго молчал. Трудно было гонять, сердится он на эти слова или обдумывает их. С обозом везли отбитые у белых винтовки.

Наконец Чапаев сказал:

— Обоз не кину.

Горбачев не сдержался:

— Надо пробиваться. Обоз нас свяжет.

— Обоз не кину, — повторил Чапаев.

— Чудес не бывает, Василий Иванович; сам знаешь, беляков раз в пять больше, чем нас.

— Ступай, проверь заставы! — приказал Чапаев.

И Горбачев поднялся. Он обошел все заставы, одну за другой. Бойцы лежали в секретах, сумрачные, молчаливые.

— Смотри, не курить, ребята, негромко попросил их Горбачев.

Возвращаясь, он думал: «Чудеса бывают». Чудом была тактика Чапаева — сокрушительно, насмерть бить врага с флангов.

Флангов больше не было, — было глухое кольцо вражеских войск.

Чапаева он нашел по голосу.

— Ладно, — говорил Василий Иванович, — дадим.

Перед ним стоял рослый человек в лохмотьях.

— Дадим, — повторил Чапаев, ну, иди теперь. Иди, только смотри побираться поодиночке.

Человек в лохмотьях попросил нездешним — рязанским — говорить «Счастливо оставаться» и исчез в темноте.

Горбачев присел на траву рядом с Чапаевым.

Чапаев сказал оживленно:

— Мальцев этот, думается, башиковитый буржуй был.

— Ты про мальцевские хутора? Или про Мальцева, что пароходы в Волге держал?

— А разве хутора не того самого Мальцева — пароходчика? Да ну его, не про него речь. Вот что скажи, товарищ: любишь ты хорошую сказку?

Горбачев привык к таким перебежкам Чапаева. Василий Иванович накануне боя говорить про сказку, про песню, про то, как лежат на Каппатах тучи — черным студнем.

— Не стало сил у молодца, обступила кругом вражья рать. Топнул он ногой в землю, — выросло из земли новое войско. Вот, Горбач. А ты говоришь!

— Так то ж в сказке, — засмеялся Горбачев.

— Богатырь всегда победит, — не слушая его, говорил Чапаев. — Как же богатырю жить без победы, ты только подумай про то, чудак!

Горбачев растерялся: уж не о себе ли говорит командир отряда? Вот ведь как может закружиться голова у человека...

Чапаев разостлал на траве шинель, прилег, закинул руки за голову. И медленно проговорил, глядя в черное — без звезд — небо:

— Богатырь наш народ... Богатырь! Раз он поднялся — никто его не осилит.

Только под самое утро, когда ста-  
ли поодиночке сходиться в лагерь  
Чапаева худо одетые люди с голод-  
ными лицами, Горбачев узнал всю  
правду о мальцевских хуторах.

Мальцев задумал основать в степях  
товарное, высокодоходное хозяйство.  
Батраков он нанимал на один сезон—  
на лето, держал их в дырявых бара-  
ках до тысячи человек и больше, а  
осенью всем им давал расчет. Соби-  
рались к нему обнищавшие мужики  
со всех губерний: псковские, витеб-  
ские, рязанские.

Осенью восемнадцатого года Маль-  
цев забыл, а может, и не захотел  
рассчитать батраков.

И сидела тысяча человек за дыря-  
выми досками, глядела в степь, голо-  
дала, думала о новой судьбе.

Мальцевские батраки были так  
смирны на вид, что белые расстреля-  
ли из них только двоих— на всякий  
случай— за то, что носили красные  
рубашки из старого кумача.

...Стояла на рассвете огромная тол-  
па у обоза, разбирала по рукам вин-  
товки.

Так появилась у Чапаева пехота.

Бой закипел к полудню. Кольцо бе-  
лых стало сжиматься, — бородачи,  
свесившись с седел, расстилали коней  
вымет, — неслись вперед без привыч-  
ного гиканья, в остервенелом молча-  
нии. Чапаев оглянулся на мальцев-  
ских: ни один из них не дрогнул.  
Пригнувшись, выставив вперед вин-  
товки, они ждали казаков. Лава бы-  
ла близка, видны стали яростно изо-  
снутые шеи коней, — за ними всадни-  
ки прятали свои головы... видно  
стало сверканье сабель. И тогда зара-  
ботал пулемет Петра Исаева.

— Огонь! — бешено закричал пехо-  
те Чапаев.

Вразнобой застучали винтовочные  
выстрелы. Не вытерпев, Чапаев ки-  
нулся сам к пулемету, дал три оче-  
реди. Лава, оставив убитых, откати-  
лась.

Ординарец, зная нрав командира,  
уже вел на рысях коня к пулемету.  
Чапаев вскочил в седло и выхватил  
шашку.

Исаев рывками повернул пулемет в  
сторону тыла: оттуда уже неслись то-  
пот, мчалась новая лава.

Петр Исаев стрелял, припав к пу-  
лемету, видел, как падают лошади, и  
всей спиной чуял за собой шум боя:  
шум откатывался, затихал вдали, —  
Чапаев с двумя эскадронами гнал бе-  
лых.

Казак, мчавшийся с тыла, рассу-  
пались, не доскакав до стрелковых  
цепей: опять ни один из мальцевских  
батраков не дрогнул.

И тогда Исаев повернул голову: от  
Чапаева скакал Горбачев — поднимать  
пехоту в атаку.

Кольцо белых было прорвано, враг  
обнажил свои фланги.

Пехота пошла в прорыв.

Чапаев ударил на врага с правого  
фланга и нанес ему страшный удар.

...Входила в село после победы во-  
инская часть: эскадрон конницы, по-  
том пехота, за ней опять конники.

Улицы, сперва пустые, скоро стали  
людными: Чапаева признали. И толь-  
ко дед у околицы все спрашивал,  
приставив ладонь к налитым старче-  
ской голубиной глазам:

— Чьи ж это?

— Чапаевцы.

— А пешие? У Чапаева все — на  
конях!

Рослый пехотинец в старом армяке  
обернулся:

— И мы — чапаевцы. Сегодня в  
бою заслужили.

## Штурман Сергеев

Р а с с к а з

Выйдя из душной, прокуренной насквозь землянки, Сергеев сладко потянулся и полной грудью вдохнул крепкий морозный воздух. Было темно, но черная мгла уже заметно серела и куда-то уходила. Метель прекратилась, будто оборвалась, и стало тихо, до странности тихо. Рассвет смутно обозначал наметенные за ночь сугробы и выдвигал из тьмы огромные, казалось, опухшие от снега вершины вековых сосен. Далеко, где-то в глубине леса, громко застрекотала сорока и смолкла.

«Как в сказке у деда Мороза», — слегка усмехнулся Сергеев, и его охватила приятная, расслабляющая дремота.

Веки медленно опускаются, закрываются глаза. И вот перед ним знакомый песчаный берег. Кричат чайки, спит солнце, а из заволжских степей нет-нет дохнет горьковатой полынью. Мысли причудливо переплетаются, путаются...

Резкий хруст снега. Сергеев быстро обернулся. Из соседней землянки, застегивая на ходу шинель, выскакивает юный метеоролог, предсказатель погоды и хороших настроений летчиков.

— Вася, — кричит ему Сергеев, — как дела?

— С часик только подождать, не больше! Погода движется на запад...

Вася мелькнул среди темной мглы и исчез. Слышен только скрип его шагов. Потом все стихает, и дремота снова путает мысли.

— Не высыпаясь я за последнее время, — сонно бормочет Сергеев.

И перед глазами опять знакомый берег: светловолосый Юриж весело лепечет, запуская пухлые пальчики в горя-

чий песок. Маруся, щурясь от солнца, гоняет комаров с голого сынишки.

«Мальчик мой, мальчик! — присится в сознании у Сергеева, — увили тебя?!»

Где-то застрочил пулемет и оборвался. Высоко в небе, будто метеор, прорезали предрассветный сумрак ленте шары трассирующих снарядов. Аэродром оживал. Техники и оруженники осматривали самолеты, проверяли моторы, пулеметы, подвешивали бомбы. По землянкам разносили завтрак для летчиков.

Привычная обстановка боевого лагеря сразу встряхнула Сергеева — все мысли теперь сосредоточились на выполнении очередного задания. Ну, было во что бы то ни стало разбить важную базу противника, убит пившегося у холмов среди колхозных полей. Немцы были хорошо защищены и всякий раз открывали с зловещим жестоким огнем. Их пулеметы и пулеметно-автоматы работают превосходно, сильно затрудняя точность прицела.

Сергеев весело улынулся и, закулив папиросу, произнес вслух:

— Ну, тут мы уже приноровили!

Он вспомнил последний рейд, когда самолеты их эскадрильи, подходя к цели, сами открывали огонь из пушек и передних пулеметов и быстро поджигали огневые точки противника. Это здорово выходило. Но лететь надо было еще опаснее, чем нападать. Сергеев напряженно сдвинул брови и задумался. Он искал способа, как лучше в условиях данной местности, уйдти от огня зениток...

Дверь землянки шумно отворилась

и снизу донесся недовольный голос командира эскадрильи:

— Эй, Сергеев! Коля! Твой гуляш давно застыл. Где ты пропадаешь? Этак мы не выполним расписания...

Сергеев взглянул на посетившее небо, потом на часы и бегом бросился к землянке. Догнав в узком коридорчике своего командира, он сказал с уверенностью:

— Я кое-что придумал, Федя. Сегодня мы, отбомбив, развернемся на Багринский лес, будем брить по вершинам, потом к березовой роще, а там...

— Правильно,—одобрил командир,— только нужно итти на больших скоростях!..

Уже гудел мотор, а в ушах Сергеева все еще звучали слова командира, кричавшего им в кабину перед самым вылетом:

— Помните: сигнал наземный — Т и треугольник, воздушный — две красных ракеты, правый и левый крены...

Через несколько минут под самолетом, как фарфоровое блюдечко, забелела равнина, а из-за ее краев, справа и слева, чернели лесные массивы. Молодой летчик Крылаткин набирал высоту — снежное блюдечко расширилось, а на поворотах резко перекачивалось то в одну, то в другую сторону, становилось почти ребром.

Крылаткин улыбается, оглядывается на Сергеева. Солнечные лучи играют в кабине, вспыхивая на металлических частях. Сергеев весело смотрит на своего товарища, такого широкоплечего, крепкого, жизнерадостного.

«Ладный парень, — думает он, — боевой...»

Снизу захлопали зенитки — самолет приближается к цели. Вот штук семь «Мессершмиттов» стоят на земле, чуть поодаль — склады горячего. Заработали передние пулеметы и пушка, потом бомбы. Высота не более пятидесяти метров. Опять и опять бомбы. Столб пламени взметнулся в воздухе... Сергеев и Крылаткин радостно переговариваются, что-то кричат друг другу, но даже сами себя не слышат среди грохота и гула моторов.

— Цистерны взорваны,—кричит Сергеев, — цистерны! Самолеты в щепки... Браво, Костя, браво! Ура!..

Но с двух сторон налетают враже-

ские самолеты. Слева совсем близко Сергеев побледнел, но твердо и уверенно взял врага на мушку. Короткая очередь, и левый истребитель отвалил. Быстро перенес огонь направо. Выпустил две очереди, и другой «Хейнкель» вышел из боя.

— Ура! — снова закричал Сергеев, но в этот момент весь самолет резко содрогнулся, туча осколков ворвалась в кабину, ранив и летчика и штурмана.

Сергеев на миг растерялся и тупо смотрел на стеклянный козырек, весь забрызганный кровью. Не успел он притти в себя, как ударило его по ногам. Боли нет, хотя ясно, что обе ноги прострелены. Усилием воли сбрасывает он с себя оцепенение и поворачивает голову — совсем рядом вышибло перегородку. Видно мечущееся пламя. Горит центропланый бак снизу...

У Сергеева пересохло во рту, а пламя разгорается, гасить нечем. Оглядывается Крылаткин, губы у него дрожат. Сергеев хватает блокнот, хочет писать курсы, но руки в крови, не слушаются, и он с трудом выводит пальцем на окровавленном козырьке:

«Разворачив... лес... 130°... садись...»

Силы покидают его, от бака загорается на нем одежда, и все же упрямая воля снова побеждает слабость тела.

— Прыгать нельзя, — думает вслух Сергеев, — высота пятьдесят... Нужно сесть, непременно сесть! Дотянуть бы до леса, хотя бы до леса...

Крылаткин, словно угадав его мысли, идет на посадку, но впереди немцы. Летчик дает газ, с трудом перетягивает через лес и садится на небольшой полянке, приземляясь на брюхо. Пробег кончается у самой опушки, плоскость даже зацепляет деревья...

Только сели — застрочил пулемет. Сергеев помог Крылаткину снять поскорее верхний колпак. Летчик выпрыгивает, Сергеев кое-как вываливается из пылающего самолета на землю и катится вслед за Крылаткиным к лесу, стараясь погасить в снегу горящую одежду. У опушки он вскакивает и бежит. На мгновенье у него темнеет в глазах, он останавливается, но потом снова бежит изо всех сил, ни о чем не думая. Время теряется, как и пространство. Сергеев видит свежие следы человека, но это не сразу доходит

до его сознания. Он продолжает бежать. Внезапно холодный пот выступает у него на лбу.

— А если это немцы? — беззвучно вскрикивает он и тотчас же слышит из-за огромного сугроба среди ольховой поросли знакомый голос:

— Сюда, Сергеев, сюда, — зовет его Крылаткин и подхватывает товарища под руку.

— Что-то меня шатает, — говорит Сергеев и только теперь чувствует боль в ногах, но Крылаткин тащит его дальше...

Наконец выбрались из леса. Перед ними развернулась снежная равнина с бесчисленными огненно-красными сугробами, будто подожженными заходящим солнцем. Здесь совсем тихо, лишь где-то вверху странно трещит и дребезжит самолет. Зоркие привычные глаза быстро находят черную точку и через несколько секунд различают двойные плоскости...

— Наш! — радостно крикнул Крылаткин и замахал шапкой.

— Примус, — засмеялся Сергеев и вдруг повалился на Крылаткина.

Голова его закружилась, черная мгла надвинулась со всех сторон. Откуда-то появились Маруся и Юрик и вместе с ним неудержимо падают вниз, в бесконечную глубину, и сразу все исчезает...

Снова предрассветные сумерки на затерявшемся среди снегов боевом аэродроме. Зеленые шары с фосфорическим блеском прорезают ночную мглу, и опять этот терпкий горьковатый запах степной полыни...

Сергеев открывает глаза.

Прямо против себя он видит на стене портрет Сталина, и все становится понятным. Он у себя, у своих. Над ним склоняются люди в белых халатах пахнет аптекой. Сергеев медленно уснаавливает, что он в госпитале. Со знанием постепенно проясняется. Он чувствует, как весь его организм наполняется теплом и жизненной силой. Догадывается, что ему переливают кровь, и вдруг слезы наполняют глаза.

— Будем жить, будем драться, — радостно произносит он.

Врач наклоняется к нему, что-то говорит, но Сергеев не слушает. Радость захватывает все его существо. Улыбаясь, он взволнованно шепчет:

— Родина, и все, все родные и дорогие...

Потом успокаивается и говорит врачу строго, суровым голосом:

— Скажите только правду — летать буду?

Врач понял его.

— Будете, — серьезно, по-деловому сухо отвечает он, — полетите недели через две. За это я ручаюсь...

## Я это видел

Германия! Саван тебе мы соткем!  
В него мы тройное проклятье вплетем!

Гейне

Можно не слушать народных сказаний,  
Не верить газетным столбцам.  
Но я это видел! Своими глазами!  
Понимаете? Видел! Сам!  
Вот тут — дорога. А там вон — взгорье.

Меж ними вот этак — ров.  
Из этого рва подымается горе,  
Горе — без берегов.

Нет! Об этом нельзя словами...

Тут надо рычать! Рыдать!  
7000 расстрелянных в волчьей яме,  
Заржавленной, как руда.

Что эти люди? Бойцы? Нисколько.

Может быть, партизаны? Нет!

Тут лежит курносый Колька —

Ему 11 лет;

Тут вся родня его, хутор «Веселый»,  
Весь «Самострой» — 120 дворов.

Милые... Страшные... Как новоселы  
Их тела заселили ров.

Лежат, сидят, сползают на бруствер,  
У каждого — жест удивительно свой!

Зима в мертвце заморозила чувство,  
С которым смерть принимал живой.

И трупы бродят, грозят, ненавидят...

Как митинг, шумит эта мертвая тишь!

В каком бы их не свалило виде —

Глазами, оскалом, шеей, плечами

Они пререкаются с палачами,

Они восклицают: «Не победишь!»

Вот у обрыва повис хромоножка,

А все-таки черный костыль торчит!

Вот ястребок, покивав немножко,

Вспрыгнул на груди — и труп ворчит.

Бабка. У этой монашке отретье.

В левой орбите застыл сургуч.

Но правое око — глубоко в небо

Между разрывами туч.

А горло таким насыщено каржом,

Такие в нем клокочут слова,

Что тронь — и рванется с хрипением  
жарким

Отречение от божества!  
Значит, и в этой дремучей, мшистой,  
Вороньей мистике вспыхнул свет.  
«Коли на свете живут фашисты —  
Стало быть, бога нет!..»

Рядом истерзанная еврейка.

Тут же — детеныш. Совсем как во

сне:

С какой заботой детская шейка  
Повязана маминым серым кашне.

О материнская, древняя сила!

Идя на расстрел! Под пулю идя!

За час! За полчаса до могилы

Мать от простуды спасала дитя.

Но даже и смерть для них не разлука!

Не властны теперь над ними враги:

И рыжая струйка из детского уха

Стекает в горсть материнской руки.

Иди же! Клейми! Ты стоял над бойней!

Ты за руку их поймал — уличил!

Ты видишь, как пулею бронебойной

Дробили нас палачи.

Так загреми же, как Дант, как

Овидий!

Пусть зарыдает природа сама —

если

все это

сам ты

видел,

И не сошел с ума!

Но молча стою я над страшной

могилой.

Что слова? Истлели слова.

Было время, писал я о милой,

О чмокании соловья...

Казалось бы — что в этой теме такого?

Правда? А между тем,

Попробуй найти настоящее слово

Даже для этих тем.  
 А тут? Да ведь тут же нервы, как  
 луки!  
 Но струны... глуше вареных вязиг  
 Нет. Для этой чудовищной муки  
 Не создан еще язык.  
 Для этого нужно созвать бы вече  
 Из всех племен, от древка до древка,  
 И взять от каждого все человечье,  
 Все оплаканное за века —  
 И если бы каждое в этом хоре  
 Давало по слову, близкому всем,  
 То уж великое русское горе  
 Могло бы добавить семь!  
 Да нет такого еще языка...  
 Пусть окровавленный ваш закат  
 Не мог я оплакать в неслыханных  
 строфах,

Но есть у нас и такая речь,  
 Которая всяких слов горячее:  
 Картава, сыплет ее картечь!  
 Гаркает ею гортань батарей!  
 Вы слышите грохот на рубежах?  
 Она отомстит! Бледнеют громилы  
 Но некуда будет им убежать  
 От вашей кровавой могилы.  
 Ослабьте же мышцы. Прикройте  
 Травую взойдите у этих высот.  
 Кто вас увидел — отныне навеки  
 Все наши раны в душе унесет.  
 Ров... Поэмой ли скажешь о нем?  
 7000 трупов... Евреи... Славяне...  
 Да! Об этом нельзя словами:  
 Огнем! Только огнем!  
 1942 г.  
 Керчь

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

## ТЫЛЫ ВОЮЮТ

Чем крепче тыл, тем крепче фронт,  
 А штатских  
 людей  
 нет!  
 Если выходит наш горизонт  
 Знаменами наших побед,  
 И то это значит, что ты и я  
 И каждый из нас овладел  
 Делом новым, делом литья  
 И тысячью всяких дел.  
 Идет в атаку Иван Серов  
 За родину свою.  
 Но сколько невидимых мастеров  
 Его окружают в бою!  
 И тот, кто штык ему отливал,  
 Кто шил сапоги, и тот,  
 Кто в звонкой песне его призывал:  
 «Красноармеец, вперед!»  
 Иван Серов атакует редут.

Навстречу выскочил враг —  
 Две марки стали схватились тут,  
 Тут смертью становится брак!  
 Тут винт с винтом — лицом к лицу  
 С гвоздем сражается гвоздь —  
 Литейщик здесь помогает бойцу  
 Пронзить врага насквозь.  
 Но вот фашиста Серов одолел.  
 Слава ему! Ура!  
 Но славьтесь и вы, незаметных  
 Воинственные мастера.  
 И ты, разливавший металл. И ты  
 Строгавший для ружей стволы.  
 Войну  
 ведут  
 не только  
 фронты -  
 За ними воюют тылы.

## Баллада о ленинизме

В скверике на море,  
Там, где вокзал,  
Бронзой на мраморе  
Ленин стоял.  
Вытянув правую  
Руку вперед,  
Вел он со славою  
Вольный народ.  
Даже неграмотных,  
Темных людей  
Звал этот памятник  
К высям идей;  
Массы, идущие  
К свету из тьмы,  
Знали: «Грядущее —  
Это мы!»

Помнится сизое  
Утро в пыли.  
Вражьи дивизии  
С моря пришли.  
Черепом мечена,  
Как сама смерть,  
Видит неметчина  
В скверике — медь.  
Ловко сработано!  
Кто ж это тут?  
«ЛЕНИН».

Ах, вот оно...

Аб<sup>1</sup>  
Гут.  
Кони хвостатые  
Взяли в карьер.  
Нет  
статуи.  
Гол  
сквер.  
Кончено! Свержено!  
Далее, в круг  
Введен задержанный  
Политрук.

Был он молоденький...  
Смотрит мертво...  
Штатский в котике  
Выдал его.

Люди заохали...  
(«Эк, маята!»)  
Вот он на цоколе  
Подле шеста;  
Вот ему на плечи  
Брошен канат,  
Мыльные каплицы  
Петлю кропят...

«Пусть покачается  
На шесте!  
Пусть он отчаётся  
В красной звезде!  
Всплачется, взмолится,  
Хоть на момент,  
Здесь, у околицы,  
Где монумент,  
Так, чтобы жители,  
Ждущие тут,  
Поняли! Видели!  
Ауф!<sup>1</sup>  
Гут!»

Белым, как облако,  
Стал политрук.  
Вид его облика  
Страшен, но вдруг  
Он пред оравую  
Вражеских рот  
Вытянул правую  
Руку вперед —  
И, как явление,  
Бронзе вослед  
Вырос  
Ленина  
силуэт.

<sup>1</sup>Аб — по-немецки «вниз».

<sup>1</sup> Ауф — по-немецки «вверх».

Этим движением  
От плеча,  
Милым видением  
Ильича  
Смертник молоденький  
В этот миг  
Кровною родинкой  
К душам приник...

Будто о собственном  
Сыне — навзрыд  
Бухтою об стену  
Горе гремит!  
Плачет, волнуется,  
Воет народ —  
Площадь, улица,  
Пляж,  
грот...

Мигом у цоколя  
Каски сверк!  
Вот его, сокола,  
Вздернули вверх;  
Вот уж у сонного  
Очи зашлись...  
Все же ладонь его  
Тянется ввысь —  
Бронзовой лепкою!  
Назло зверью!  
Ясною, крепкою  
Верой в зарю!

Так над селением  
Взмыла рука  
Ставшего Лениным  
Политрука.

---

ИЗ ОСТИНА ДОБСОНА

## Рондо

Не Меч, но Право — твой оплот. Врагов  
Лился поток в твоих полях, как лава.  
Тевтон крушил своей рукой кровавой  
Дворцы и храмы старых городов,  
Мечтая ужаснуть своей расправой.

Пусть ряд руин — налево и направо,  
Пусть много полегло твоих бойцов,  
Не может тот погибнуть, чей покров  
Не Меч, но Право.

Бог в помощь, Бельгия! Твой рок—суров,  
Но щедро мы заплатим долг. Ты — славой  
Излечишь язвы от своих оков  
И встанешь вновь прекрасной, величавой!  
Бог в помощь тем, кто собрался на зов:  
«Не Меч, но Право!»

*Перевод Валерия БРЮСОВА*

---

## Послание с Карпат

1

О, как давно не приходили письма!  
Они как будто проясняли муть.  
Клубятся тучи.  
Мгла тупая виснет,  
Змеєю выползает бурый путь.  
Шумят леса.  
И бродит дым горбатый.  
Развернут фронт.  
Не спи, моя любовь!  
Во сне ты видишь мокрые Карпаты  
И черную мою  
Густую кровь.  
Шумят леса.  
Я никому не верю,  
Я вглядываюсь в злую темноту.  
Мир на меня накинуд шкуру зверя  
И шелковую снял с меня  
Мечту.

2

Опять провеяла зима...  
Весна!  
Ручьи кричат.

Но без тебя  
Земля сама  
Раздвинулась,  
Как ад.  
Ведь ты мой свет,  
Мое тепло  
И глаз моих огонь.  
Мне опостылело седло  
И опротивел конь!  
Я звал тебя,  
Шепча, как стих,  
Я ждал до темноты.  
Мир потемнел в глазах моих,  
Когда прощалась ты.  
Уже повеяли среди скал  
Прохладою листы.  
Дохнул рассвет.  
А я искал  
Везде  
Твои черты.  
И нет деревни грустной той,  
И нет угла в избе,  
Где я не проходил с тоской,  
Мечтая о тебе!

(1915)

Перевел с аварского НИКОЛАЙ БЕРЕНДГОФ

## Встреча

Рассказ народного ополченца

— Это вы так зверски расправлялись с окрестными жителями?

— За всю мою службу в немецкой армии я никогда ни над кем не производил расправы.

— Мы это расследуем. Ваше воинское звание?

— Имею чин генерал-майора, команду дивизией.

— То есть командовали? Ваша дивизия не существует, разгромлена, а частью вместе с вами в плену. Ваша фамилия?

— Визмер.

— Ваша фамилия Визмер? А имя?

— Сикст...

Наш командир заволновался.

— Вы Сикст Визмер?.. В каком чине вы были в тысяча девятьсот шестнадцатом году?

— В чине капитана.

— Вы фашист?

— Называйте так, если вам угодно. Я национал-социалист.

— Давно?

— Всегда я считал, что немцы должны господствовать над миром.

— Всегда считали? Верно, палачом, насильником и зверем вы были всегда. Вы меня узнаете?

— Нет, не узнаю.

Наш командир обратился к дежурному:

— Уведите пленного.

Я спросил командира:

— Ты, Ваня, когда-нибудь встречал этого фрукта?

Грачев отмахнулся:

— Об этом как-нибудь после. А ты

иди сейчас к своим ополченцам, а жи им — они заслужили отдых.

Солнце палило. Но под березками опушки, где расположились на отдых народные ополченцы, было прохладно.

Когда я подошел, пожилой ополченец, старый друг Вани Грачева, только что закончил какой-то рассказ.

Все сидели молча, видимо, подленившиеся впечатлениями.

— На том, значит, все и кончилось, тебя взяли в плен? — спросил рассказчика кто-то из ополченцев.

— Какое там кончилось! Этим и началось. Тут-то я и узнал, как они есть люди, когда в глубь их ты ны забрался. Да и теперь я лучше ображаю, что такое фашисты, когда оглядываюсь назад и вспоминаю плен у немцев в тысяча девятьсот шестнадцатом году. Старая-то их вошница при Вильгельме как думала? пруссаки должны господствовать над немцами, а немцы надо всем миром.

Ну вот, а теперь лозунг: «Гитлером над немцами, а немцы над всем человечеством». Корешки у гитлеровцев давнишние, и раз суждено нам их conhecer, то глубоко надо рыть. И знайте вам про наши старые испытания не пользы будет. Случаи все обыкновенные, да люди-то жуткие! И вспомнить о них уж лучше бы пулеметную очередью по их нынешним проклятым выродкам.

Привели нас к немецкому штабу. Заорал фельдфебель, как залаял, — э он скомандовал; солдаты потасова-

на две шеренги, то криком, то пин-гом, то прикладом.

Встали мы, стоим. Вышел офицер, воротник плаща бобровый; краги—зеркало; шея тощая, высокая; уши мясистые, длинные; голова узкая, без лба; глаза глядят — не смотря, даже на своих, а уж на нас — как пустое место мы перед ним.

Как вякнет — ну, прямо собака, четное слово, да с хрипотцой такой: эв, гав! Это он отдал приказание. На нас он больше и смотреть не стал, даже в сторону отошел и отвернулся.

Сейчас же солдаты пошли по шинелям: пояса кожаные стали с нас снимать. В одну кучу бросают медные пряжки, в другую — ремни. Распоясавшись мы сделались, шинели распутались юбкой. Неловко без привычки и даже как-то совестно перед своими же, — это уж совсем, значит, разоружили. Потом пошел обыск.

Обобрали у нас все мелочи. И начали подводить по-трое к столам для записи. Все бы ничего, да вдруг офицер подходит к одному нашему парнишку, веснушчатому такому, и пыряет его пальцем не прикасаясь. Помаши к себе солдата, который его обыскивал, и показывает ему вниз, на ноги. Солдат стащил с парнишки сапоги. А у него, глядь, нож сапожничий за голенищем — утаил при обыске! И так это он заметил нож, удивляюсь, ведь отвернулся.

Бросил он еще какое-то приказание в нашу сторону, как плюнул. Парнишку схватили четыре солдата с винтовками, а он к офицеру:

— Ваше благородие, сапожник я, инструмент это мой.

Офицер еще что-то сказал. Сейчас же подхватили и разоружили солдата, что парнишку обыскивал и ножа у него не обнаружил.

А парнишку завели за барак. Тихо стало... Потом — команда. Потом зык... Неужели расстреляли? За такую то малость?

Вышел из-за барака переводчик. В руках у него сапоги. Поднял их вверх, показал нам — глядите, мол — и говорит: «Кто старший, пусть возьмет сапоги... расстрелянного, он расстрелян за обман немецких военных властей». И бросил сапоги нашему правому фланговому. А был это Ваня Грачев, городской, развитой человек, рабочий, из металлистов. Ваня вздрогнул,

но никак не отозвался, будто не его касалось.

Чего же в этом особенного, что он никак не отозвался! А вот офицер и это сейчас же подсмотрел, улыбнулся и, видимо, с этой минуты взял Ваню на заметку как человека с характером. Смотрю я, как сказали о расстреле, так лица у наших у всех потемнели, мглистыми сделались. Ваня и крикни: «Не верьте! Запугать хотят!» Офицер неторопливо шевельнул рукой, сделал солдатам знак, и Ваню тут же увели.

Потом уж к нам его присоединили, когда нас в лагерь в глущь Германии, на реку Везер, привезли и мы выходили из вагона. А веснушчатого мы так и не видали больше. Не знаю, что с ним сделали.

От первой встречи с прусским офицером — а он был третий пруссак, по-прусски вышколенный — разгорелся в груди огонь! Вначале, когда нас, по милости царского проходимца полковника, окружили и взяли в плен, я тоже думал: вот все и кончилось, и потянется, мол, ожиданье без известного срока, пустое, как смерть, и вялое, как зимняя спячка. Но нет, снова надобились и храбрость и выдержка! Офицер-то, оказывается, тоже с нами приехал. Он был помощником коменданта лагеря, чин имел капитана—хауптман по-немецки, звался Сикст Визмер. Сикст, говорят, какое-то древнее и очень сердитое и воинственное имя. Страху он на нас нагонял, видно, для того, чтобы сразу себя перед нами поставить. Я и сказал себе тогда: что ж, повоюем! Вы опыты над нами производите, скотинку послушную хотите получить, да мы не из таких, что легко поддаются.

Местечко для лагеря было отведено чудное, на отлогом скате горы. Речка внизу текла. Леса на вершине чернели, оттуда смоляной дух ветром доносило. Простор кругом. А люди наставили на горном скате в четыре ряда сто барачков и в каждом по сто двадцать пленных.

Огородили все это колючей проволокой в два человеческих роста, сделали через каждые сто шагов площадки для пулеметов и расставили по всем площадкам часовых, — ребят, правда,

все больше уже покалеченных на фронтах, усталых, с тоской в глазах, но тертых на войне и злых на все, как черти.

Через трое суток нас перевели в лагерь. Кого только там не было! И русские, и англичане, и французы, и бельгийцы, и поляки, и литовцы, и итальянцы, и румыны, и даже один японец. Вавилонское смешение языков. Все были в одинаковом положении. Но немцы держали всех розно, по особым баракам каждую нацию.

Новичками старожилы очень интересовались. Но как только узнавали, что новички прямо с фронта, — интерес пропадал. Что можно про фронт спросить и узнать? Люди про фронт все уже знали и знать больше не хотели. А вот если оказывалось, что новички из другого лагеря, то их окружали и выпытывали, как там живется.

— Эссен гут? Работ филь?

Ну, конечно, больше спрашивали мы. Про «эссен» нам ответили: «Дерьмо и мало, баланда на первое, а на жаркое — пареная репа или брюква». Про «работ» ответили: «Филь и поганая» — каменоломня в горах, к городу шоссе ведут, канал роют, «очень филь и очень поганая».

В это время лагерю было не до нас. От какого-то солдата или унтера узнали, что будут отбирать людей на прифронтовые работы. Рассказывали, что погонят рыть окопы — русских во Францию или во Фландрию, а французов и бельгийцев — в Россию; про англичан неизвестно; их будто бы боялись трогать. Говорили, что будут действовать уговором или увозить обманом; потому, мол, про первые партии пленных, угнанных на окопы, во Франции и России узнали и к немецким пленным тоже что-то лихое применили, и немцы опасаются, как бы их людям в плену не пришлось расплачиваться, и поэтому от нас будут отбирать расписки, что мы, мол, едем добровольно, и расписки эти будут представлять международному Красному Кресту, если случится протест.

«Вы еще их хитрость не знаете. У них все на подвохе и на коварстве делается. Это зря говорят, что все на насилии только. Насилие легче перенести. А он не только над тобой насильничает, а еще норовит тебя же в дураках и в бесчестных оставить. Берегитесь, ребята», — предупреждали нас старожилы.

Ваня Грачев как услышал, что будут посылать нас на прифронтовые работы, задумался. И все ходил мрачный, мрачный. Я в упор спросил его: «Можно ли глашаться или не соглашаться? Можно ли как-нибудь побороться или нет? Никак?» Он ничего не ответил, будто не расслышал. Все ходил вперед по сеням барака и что-то обдумывал, ходил, как тигр в клетке. Ему бы растерзать надсмотрщиков, куда ни кинься, со всех сторон железная решетка.

В эту-то минуту в барак вбежал Щепетис, — был у нас такой тихий и добрый товец пленный.

Щепетис был из лагерных старожилов. Немцы на каждые сто новичков в барак оставляли двадцать обжитых для разных надобностей: и для рядкам обучить, и для наблюдения, наверное. Но Щепетис, уверяли, был не из согладатаев: уж слишком его немцы презирали, уж слишком он был ничтожен. Его не раз отгоняли от моего, где он собирал объедки. Из-за этого болезни он не мог выполнять дневной урок, больным врач его не признавал и потому немцы держали его на полпайке. Он голодал, попрошайничал, унижался и постоянно трепетал и перед врагами и перед своими.

Увидав Ваню, Щепетис как-то юлил около него, будто затем и прибежал, чтобы найти Ваню. А подошел сразу не решался.

— Чего тебе, Щепетис? — спросил его Ваня. Щепетис съежился, и будто ждал удара.

— Ничего, ничего, господин Грачев, вот на работу поедем скоро, попутешествуем, Германию посмотрим, Францию и Бельгию, говорят, увидим...

Ваня вдруг вспыхнул:

— Да неужели кто своей волей поедет? Да неужели мы будем помогать врагу? Нет, товарищи, так нельзя, это никто не сделает.

Я и понять не мог, чего это Ваня вдруг взорвало; человек он был робкий, сдержанный. Видно, Щепетис кому-то нулся его сердца, когда оно кипело.

А тут как раз и Визмер входит сени, так неожиданно, что дежурный еле успел крикнуть: «Ахтунг!» (смирно). Мне даже показалось, что он шел по пятам за Щепетисом и нарочно подговорил его навести барак на разговоры о работах.

За Визмером вошел переводчик, а за

верный пес капитана — фельд-  
бель из комендатуры, молодой па-  
сть, лет двадцати пяти, Фриц Шусс...  
Визмер мотнул Шуссу рукой на Ваню.  
Шусс без слов понимал своего госпо-  
лана.

— Что кричал этот человек? Вы  
спрашивали? Переведите, — обратился  
Шусс к переводчику. Тот перевел.

Наши потом рассказывали, будто он  
се переврал, только одно уловил, что  
Ваня говорил против прифронтовых  
убот.

Визмер посмотрел исподлобья на Ва-  
ню, ничего не сказал, только грозно  
пошел мимо нас. Такая уж у него  
была повадка: либо ничего не гово-  
рить перед пленными, либо изрекать  
риговоры, как неумолимая судьба.

— Ну, Визмер доконает, живьем  
съест Грачева, — сказал один из ста-  
жилов.

Надо бы Щепетиса взять под подо-  
ржание, а Ваня поступил иначе. Наутро  
ему досталось хлебные пайки делить.  
Кудные пайки, сто восемьдесят грам-  
мов, и мы каждой крошкой дорожи-  
ли... Только и было пищи, что хлеб, —  
шмандато тюремная да брюква паре-  
ны без жиру, без соли противны были  
вот, — а жрать, конечно, всегда хоте-  
лось... ну и доходило чуть не до дра-  
ки при дележе; порции нам давали не  
по весу, а на-глазок. Вот Ваня, вместо  
убот, и поручи Щепетису раздачу...  
Вот поднялся протест: «Не ему, тебе  
вертели». А Ваня: «А я ему передо-  
вляю».

С Ваней не стали спорить. А он по-  
вернул Щепетиса спиной к нарезанным  
порциям, дал ему список людей в ба-  
шке и начал так: коснется палочкой  
к порции и спрашивает: «Кому?», а  
тот, не видя порции, называет из спи-  
ска фамилию и отмечает крестиком,  
кто получил. Очень все остались до-  
вольны.

После раздачи хлеба Ваня взял Ще-  
петиса с собой на прогулку. О чем он  
нам разговаривал — не знаю, но  
только, вернувшись, Ваня сказал мне:  
— Вот сволочь Визмер. У него це-  
лая система. Наверное, из Щепетиса  
они вытешут шпиона, если только мы  
вспасем его. В нем есть что-то не-  
хорошее.

Так он сказал про Щепетиса, а этот  
Щепетис потом отплатил ему одолже-  
нием. Но об этом сказ будет впереди.  
Мы сидели с Ваней Грачевым один

раз перед вечером на порожках бара-  
чного крыльца — сумерничали, как го-  
ворят в деревне.

Стоял, не ошибиться сказать, ноябрь.  
Небо было серое. Тихо, моросил мел-  
кий дождичек. И, как в осеннее не-  
настье, кругом все было сонное — как  
бы дремало, отдыхало. Речка внизу ту-  
манилась. У нас с Ваней уже завяза-  
лась дружба. Но скажу по совести, не  
я угадал тогда в нем достойного че-  
ловека, а он сам отличил меня среди  
других и избрал товарищем, как потом  
оказалось, на всю жизнь. Все вы знае-  
те, как он предан революции и какой  
работник! А в молодые годы он и по-  
давно не любил сидеть без дела. В  
первый же день по приходе в лагерь  
он заговорил с германским солдатом,  
уже пожилым, лет сорока пяти, по-  
фамилии Бауер, по имени Ганс. Пока-  
зал на себя пальцем и говорит: «Я —  
Ганс, ты — Иван, я — Иван, ты —  
Ганс». Тот понял, что, значит, они  
тезки, и засмеялся. А Ваня Грачев ему  
и говорит: «Работ филь», — значит,  
много работы, «эссен», — значит, еда, —  
Ваня махнул рукой, то есть, значит,  
плохая. Бауер оглянулся, нет ли кого  
из своих, из немцев, и улыбнулся в  
знак согласия. Тогда Ваня прибавил:  
«Дойтч (немец) солдат — гут, русс  
солдат — гут, кайзер — тьфу, царь —  
тьфу!» Бауер нахмурился и отошел.

Мы ждали: донесет он на Ваню?  
Нет, не донес. А к вечеру — не знаю  
уж, как они поладили — Бауер принес  
Ване словарь и книжечку — самоучи-  
тель немецкого языка. С этого же ве-  
чера Ваня начал учиться по-немецки.

К знакомствам с людьми он был до  
страсти охоч — поладил с немецкими  
солдатами, а уж о пленных и говорить  
нечего! Среди французов стал он пер-  
вый гость и друг; окружают они его, а  
он рассказывает: Франция домой топ-  
топ — и показывает, будто идет; «ма-  
дам жена — гут, киндер дети — гут,  
войне капут». Французы хохочут:  
«Камарад русс — гут, дойтч — ка-  
пут». А с одним французом он  
даже подолгу говорил. Слова у них  
одинаковые нашлись. Слышал я, как  
они один вслед за другим повторяют:  
социализм, республик, Париж — комю-  
на, революцион; имена разные называ-  
ют — Жорес, Вальян, Гэд. И даже Ва-  
ня такое слово про одно имя сказал,  
что француз растрогался и крепко  
Ваню обнял. Я потом интересовался,

что же это за слово нашел Ваня, что француз так обрадовался. Оказалось, что «оппортюнист». Значит, они даже в каких-то тонкостях друг друга поняли.

Так вот мы сидели с Ваней на крыльце, и у него в руках был самоучитель немецкого языка. Вдруг кричат: «Ахтунг!» — значит «смирно». И появляется перед нами капитан Визмер. Он шел, как всегда, ни на кого не глядя. Но кругом видел, подлец, что ему и видеть не надо бы. Почуял он звериным чутьем, что Грачев здесь, ехидно улыбнулся и пошел прямо на него. За капитаном шел его верный пес, фельдфебель Шусс.

Они еще не успели подойти, а уж глупая морда Шусса и его потухшие глаза загорелись злорадством. Он и сам, конечно, не знал, что произойдет, но заранее ждал какой-то пакости и радовался. Визмер остановился перед Ваней, надел на левую руку перчатку и вытащил из его кармана самоучитель. Он прочитал заглавие, посмотрел в упор на Ваню, как бы раздумывая. Потом спросил у него через переводчика: «Кто родители?» Ваня ответил: «Крестьяне». Визмер почему-то просиял, выругался: «Рабы, славянские свиньи», затем разорвал книжечку поперек и передал Шуссу, что-то вякнув ему, а сам ушел. Шусс начал рвать каждую половинку еще на-двое, каждую четверть опять на-двое, пока не дошел до мелких клочков. Клочки он передал Ване Грачеву и приказал отнести их в мусорный ящик. Шусс, конечно, ждал протеста. Но Ваня, видно, приберегал протест для более важного случая. Он бросил разорванную книжку в ящик, только сказал: «зер» — значит по-немецки «очень» — «культур» — «зер культур». Шусса это взорвало. Шусс зашипел, заорал, стал брызгаться слюной. Он кричал, что капитан считает русских свиньями, что русские должны пахать немецкие поля, а не учиться языку благородного немецкого народа, что вполне достаточно плетки, чтоб заставить славянских рабов понимать приказания и желанья немецкого господина.

На другой день переводчик прочитал Ване выдержку из приказа по лагерю: «Относись поощрительно к разумному культурному труду военнопленных, предпринимаемому по их склонности в рамках лагерного внутреннего распорядка и без какого-либо ущерба для обязательных работ внутри и вне ла-

геря, приказываю подвергнуть военнопленного рядового Ивана Грачева строгому аресту на 3 суток в темной камере, с выдачей ему в течение этого срока лишь хлеба и воды, за нарушение моего приказа за № 00843 запрещającego военнопленным держаться у себя печатные и рукописные материалы без наложенного на каждой странице разрешительного штампальной цензуры». Подписи: комендант лагеря генерал Адольф фон Блауштедт, капитан Сикст Визмер, фельдфебель Фриц Шусс.

Слухи о нашей отправке на прифронтовые работы совсем было поприкрыты, но однажды ранним утром произошло событие, которое подтвердило.

На дворе было еще совсем темное, когда нас разбудил зловеющий горный «тревога». Свету не дали. Когда одевались, в бараке было так темно, что хоть закрой, хоть открой глаза — все равно ничего не различишь. Заставили солдатские приклады в сенях. Заорал Шусс: «Выходи!» За ним солдаты: «Выходи». Переводчик прокричал: «Забирай все свои вещи и все что вдали казенное».

Нас выстроили перед бараками. Окружили солдатами и повели куда-то через весь лагерь. Падал первый снег — липкий, мокрый, но веселый. Крыши поля белели. Лагерь еще спал. Снег брезжил только в кухне и в бараке перед которым мы, наконец, остановились. Переводчик крикнул: «Дезинфекция!» Старожилы сказали, что это не всегда: перед отсылкой из лагеря работы пленные проходят через дезинфекцию, чтобы не занести заразу на население «истинно немецкое». А деле-то увидели, что это была не дезинфекция, а просто издевательство над беззащитными людьми.

Подали команду: «Ахтунг!» Из толпы появился Визмер. Он обошел строй. Никаких замечаний не сделал. Только на какое-то лишь мгновение задержался около Вани Грачева, ехидно улыбнулся и ушел. Кое-кто из нас слышал, как он сказал про себя: «Швайне хунде» — значит по-немецки «свинские собаки»; но это говорила Шусс, и все фельдфебели, и унтер-офицеры при встрече с пленными.

Нас вогнали в большую сдвоенный барак, разделенный пополам пере-

родкой. В перегородке было прорезано что-то на манер окошка кассы на вокзалах, только по размерам несколько юбольше. Барак был совершенно пустой — ни нар, ни скамеек. Шусс отдал команду, переводчик перевел, что надо раздеться догола, связать в один жгут одежду, белье и все вещи, кроме ботинок, обувь же держать в левой руке, затем построиться в одну шеренгу. Затем командовали «направо», и мы стали по одному, подходить к окошку сдавать наши узлы, получать номерки. Номерок велели надеть на застегнуть правой руки, снова найти свое место в шеренге, построиться и в строю ждать команды.

Шусс зажал в левой ладони часы и наблюдал за быстротой всех операций. В правой руке у него был офицерский стэк. Замешкавшихся он подгонял стэком. И, видно, его занимало, как по-разному звучит удар стэка по голому телу: кто поплотней, на том стэк при ударе хлопает; а кто похудощавей — стэк слегка подсвистывает; впрочем, по если удар придется по плечу, по лопатке, по крестцу, а если по ягодицам — то получается то же самое глухое хлопание. Когда Шусс все это на опыте установил, его розовая морда заскучала. Он передал нас баверу, а сам удалился, пробормотав в подражание Визмеру: «Швайне хунде» — «свинские собаки».

Все пленные уже отдали вещи в окошечко, все уже стояли в шеренге, голые, с номерками на запястье правой руки, с обувью в левой, а никакого приказа, что делать дальше, не было. Мы уже начали зябнуть. Наконец какой-то голос прокричал что-то в рупор с улицы, — двери раскрылись, и нам приказали переходить в строю, не ускоряя шага, через улицу в барак-баню. Пленные спотыкались и падали, босые ноги скользили, караульные солдаты беспокоились, что нарушается строй, что это может увидеть Визмер, бранились и грозили прикладами, а то и ударяли, если кто, скажем, падая, выронит из левой руки сапоги или же, того страшней, станет подниматься да возьмет сапоги не в левую руку, а в правую.

Барак, куда нас перегнали, служил предбанником. В нем стояли длинные неглубокие колоды или, как у нас в Москве их называют, кояги; такие обыкновенно ставят перед деревенски-

ми трактирами для засыпки корма лошадям. Колод стояло шесть, и при каждой колоде по-четверо солдат, двое из них с бритвами, а двое с машинками для стрижки. Мы по очереди подходили вначале к солдату с машинкой, — он обстригал голову наголо; потом к солдату с бритвой, — тот сбрасывал волосы на всем теле. Работа шла быстро. Ни машинка, ни бритва не точились, не до того — некогда. При стрижке машинка больно дергала волосы. При бритье кровь по всему телу текла ручьями, кожа саднила от вонючего поддельного мыла. Один высокий тощий фламандец стоял по середине барака и молча плакал от обиды и от боли, — он был покрыт фурункулами и при бритье не давался, отмахивался, отдергивался и заслонялся. Солдат сердился, нервничал и нанес ему глубокие порезы; фламандец толкнул солдата, тот закричал. К ним подбежал Шусс, зашипел, затопал ногами. Рука его потянулась по привычке к воротнику пленного, хотелось ему взять и потрясти непокорного. Но ворота-то не было! Шусс схватил фламандца за кожу под кадыком. Но фламандец был очень тощ, рука Шусса соскользнула. Шусс заорал: «Ах, ты бунтовать! Ну-ка пойдись сюда!» Шусс подошел к висевшим на стене «правилам внутрилагерного распорядка». «Читай», — Шусс показал фламандцу на параграф, где говорилось, что «за всякую попытку сопротивления военным властям» полагается пленному смертная казнь. Фламандец понял, подо что его подводят, и побелел. Почти все фламандцы хорошо понимали по-немецки, — языки-то родственные.

Все притихли. Шусс торжествовал. Его розовые щеки сияли, и подлые глаза светились, как гнилушки. Выждав, Шусс объявил, что он доложит о «попытке сопротивления», что фламандца предадут военному суду.

Опять рука его по привычке потянулась к воротнику пленного. Теперь уж Шусс взбесился от повторного «сопротивления», — воротника-то все-таки не было у голого. Шусс размахнулся. Но из рядов вышел Ваня Грачев. Мне было видно его лицо. Да, можно было испугаться! И Шусс испугался! Рука его во-время остановилась. Ваня неподвижно стоял перед Шуссом. Шусс попятился. Англичане захлопали в ладоши.

В это время вошел Визмер. На что уж англичане бесстрашны и невозмутимы, но и они сразу почувствовали, что может случиться что-то страшное, и в один миг перестали хлопать.

Визмер сделал несколько шагов молча, равнодушно и будто ничего не замечал. Но при своей собачьей наблюдательности он все разом увидел. Лицо у него посинело. И подумать не решаюсь, что бы он мог с Ваней и с фламандцем сделать. Он уж руку положил на револьвер. Но тут подвернулся Шусс; растерявшись, он все не подавал команды. Визмер остановился и сжал кулаки. Наконец Шусс крикнул упавшим голосом: «Ахтунг!» Тогда весь гнев Визмера обратился на него:

— Как вы подаете команду? Что это за беспорядок!

Шусс вытянулся, сделал шаг вперед, но не посмел сказать ни слова. Грачев же заговорил. При первых его словах Визмер мотнул рукой в воздухе и дал Ване понять, что он стоит перед капитаном не по форме. Ваня, следуя солдатской привычке, выпрямил корпус, расправил грудь и вытянул руки по швам. Визмер кивнул. Ваня рассказал, как все произошло. Переводчик подбежал, чтобы переводить. Кто-то из англичан фыркнул: так смешны они были четверо — два немца в мундирах и со всеми знаками отличия и два пленных, фламандец и наш Ваня, оба голые, но вытянувшиеся, как того требует военный обычай.

Пока Ваня говорил, Визмер рассматривал его, как рассматривают вещь. Он, конечно, не понимал, что тот ему по-русски объяснял, но следил за изменениями в голосе и за выражением лица. Когда Ваня кончил, Визмер пронзительно взглянул на нас. Может быть, он хотел вызвать солдат на подмогу? Барак был наполнен пленными, и, случись какая заворонка, капитану не могли бы немцы-парикмахеры — ни те, что брили, ни те, что стригли. Он как будто испугался, и не нас, а того, что мы заметить можем, что ему стало жутко. Тогда он пересилил себя и, чтоб показать, что он не боится, прошел по нашему фронту голых людей, вооруженных лишь сапогами. Прошел, проворчал свое обычное «швайне хунде», постоял перед Ваней в угрожающей позе.

После этого он решил, что теперь уже нет у пленных сомнений в том,

что он нас не боится. Тогда он вел фламандцу показать свой номерок — двести тридцать пятый — и сказал Шуссу громко:

— Я прусский офицер. У меня равны. Вы должны были знать, номер двести тридцать пятый бо... Но вы этого не знали, а узнав, не обратили во внимание. И тем вы заставили немецкого солдата производить бесполезный труд. Вы дали также возможность пленным сомневаться в абсолютной безупречной целесообразности действий германских военных властей. Вы будете наказаны.

Визмер повернулся и ушел, улыбка еле заметно. А может быть, мне показалось.

Поступок Визмера был для нас неожиданным, — мы были еще новички, и вызвал разные толки.

Вечером на поверке огласили очередной приказ по лагерю.

«...фельдфебелю Шуссу объявить мечание по службе за нераспорядительность...»

— Молодец капитан Визмер!

Дальше шло о фламандце:

«...за попытку затруднить лагерьному служебному персоналу...»

Мы насторожились — какое будет наказание?..

«...три месяца тюремного режима, применением усиленных работ по нормам, которые будут для сего случая установлены лагерным врачом».

— Вот тебе и Визмер! Мерзавец!

— А врача-то, врача они везде зовут. Лицемеры. Почитать, подумаешь, самое дело что-то, а тут просто жестокость и открытое издевательство. Узнаете, увидите этого врача... Вежливый, любезный, улыбающийся, маленький остряк... Инструкция устанавливает четыре категории по здоровью. Первая категория — айнци — по-немецки — годен для всех без исключения тяжелых работ; потом «айнци А» — годен для тяжелых работ в пределах своей профессии; эту категорию выдавал только каменщикам и землемерам; дальше «цвай» — годен для всех работ, кроме крайне тяжелых; третья категория — годен только для легких и четвертая — освобожден от всех работ. Рассказывают, было частенько: остряк-врач дружески похлопал по плечу человека с грыжей или чахоточного и под смехом скажет:

— Ах, мой милый, что ты напрасно

просишь, я без твоей просьбы вижу свое состояние, я же опытный врач, ю, голубчик, вторую категорию — годен для всех работ, кроме крайних «железных» — я даю только умирающим, ты же еще, к сожалению, не умираешь. А третью, милый, — только мертвым, только даю мертвым, под это ты же пока еще не подходишь; надеюсь, подойдешь обязательно со временем. А четвертую? Четвертую не даю никому, да и некому давать, как сам жеешь сообразить, не посылать же маведникам в рай.

Наконец в приказе было и о Ване (врачеве:

«...за обращение с жалобой непосредственно к капитану вне установленного инстанционного порядка...»

— Ну, ну, нашли все-таки за что... Что же дали?

«...три дня специального ареста».

— А что же это такое «специальный арест»?

— Узнали, хлебнули мы и этого наплетка. Это дело-то у немцев изобретось случайно: немецкая быстрая оперативность и приспособление обстоятельств для военных нужд!.. Видите ли, в том году урожай блох был очень большой... Чего урожай? Да блох, говорю, — да, да, блох, чего смеетесь, летом в жару пройти в лагере по песчаным дорожкам нельзя было, из-под ног тучами прыгали. К осени стали блохи жаться к теплу, в бараки. А в бараках частые дезинфекции. Вот капитан Визмер и учел «тактическую обстановку». Он приспособил специальный барак для блох. Туда для блохиного тепла складывали разную ветхость, изношенные негодные матрасы, одеяла. В серединочке барака вроде клетки соорудили, в клетку пищу для блох живую сажали... Какую пищу? Да нашего брата, пленных... Верите ли, в полчаса человек покрывался весь блохами. Сам Визмер приходил смотреть, а врач однажды зашел и хохотал, бедняга, до слез, до боли в боках...

Вот в такую-то штучку нашего Ванюшу и вконопатили. Сволочи. Подметки они его не стоят, все эти Визмеры. Какого человека... Ну, да я это не для того, чтобы вас разжалобить... Мы, признаться, и сами с ним после смеялись... над этой сволочью, конечно... как смеются над уродами.

В блохах люди сидели не без дела.

Арестованному выдавали картонки на манер карт от лото, корзинку пуговиц и тупую иглу с нитками. Надошивать пуговицы на карты в определенном порядке. За это платили... Еще бы! А как же! Это считалось вольной, необязательной работой... За гросс, то есть за сто сорок четыре нашитых пуговицы, четверть пфеннига, восьмую копейки... За день можно было смело заработать полкопейки...

Слухи о посылке нас на работу все больше подтверждались. Вскоре после дезинфекции нам назначили врачебный осмотр. Пригнали всех в больничный барак, заставили раздеться, выстроили голыми и стали по-двое вызывать в комнату к врачу. У входа там сидел санитар. Вначале надо было расписаться у него на личной карточке, что «прошел индивидуальный врачебный осмотр и никаких претензий к медицинскому персоналу лагеря» не заявляешь.

Врач курил сигару. Он весело пошучивал и вообще держался, как всегда, приветливо.

Он не беспокоил пленного своим прикосновением; только окидывал его беглым взглядом на расстоянии трех шагов и кричал санитару «айнц» — первая категория. Санитар записывал в карточку: «годен на все тяжелые работы без исключения». А если какой пленный задерживался и начинал просить освидетельствовать его поближе, то врач весело прерывал его и потирапливал:

— Проходи, проходи, все ясно, голубчик: женских болезней у тебя нет, пятнистой чумы — тоже, трупный запах от тебя есть, но пока легкий, хоть и очень неприятный...

Так все были отнесены к первой категории и признаны годными для всяких тяжелых работ без исключения.

Ваня Грачев отказался расписаться до того, как его осмотрят. Санитар вскочил с места, — не знаю, от неожиданности или от возмущения, — и хотел было куда-то бежать. Но врач засмеялся и остановил его:

— Вы хотите позвать конвойных? Останьтесь. Не требуется. А вы, голубчик (это к Ване), когда вам придет острое желание расписаться, — а оно обязательно придет, я как врач могу вам это предсказать, — можете ходатайствовать, чтобы я вам это позволил.

Но спокойствие врача было только видимое. Скоро мы узнали, что отказ Вани всполошил немцев до чрезвычайности. Врач побежал докладывать о поступке Вани самому генералу фон Блауштерну. К генералу вызвали капитана Визмера. Было долгое совещание. Вызывали на совещание и фельдфебеля Шусса. Сам генерал всех вызванных лично инструктировал и немало на них кричал.

Надо вам сказать, что все происходящее в лагере быстро становилось известным. Пленные узнавали секреты администрации. Тайны пленных узнавала администрация. Объясняли это так: были в лагере среди пленных доносчики — на своих товарищей доносили немцам; эти доносчики вертелись постоянно около немцев и бывали даже иногда в комендатуре: через них-то и просачивались секреты администрации.

Дошло до нас также, что будто на совещании решено было на каждую сотню пленных выбрать одного уполномоченного и что этот уполномоченный должен быть за старшего на работах, куда нас отвезут, что старшим будут даны какие-то льготы и какие-то права над остальными, что предложат самим пленным выбрать этих уполномоченных. Еще рассказывали, что генералу было доложено особо о Ване Грачеве и приняты о нем какие-то специальные строгие решения.

Все эти слухи усиленно распространялись. Их поддерживал сам Шусс. Мы считали, что Ване надо быть готовым к тяжелому наказанию.

Слухи подтвердились. Пришел как-то вечером к нам в барак Шусс и объявил официально о предстоящих выборах уполномоченных. Мы выслушали, пожались, потолклись на месте, пока Шусс не велел разойтись. И вдруг он подозвал к себе Ваню. Подозвал, что-то ему тихонько сказал и увел за собой. Двое из наших слышали, как Шусс сказал: «Вы будете говорить с капитаном».

Ваня вернулся часа полтора спустя после поверки. Как мы ни устали от работы, но многие не могли уснуть, не узнавши, вернется ли Ваня и зачем его звали. Странную вещь рассказал он нам, будто просидел он все время в приемной Визмера. Не зовут его в кабинет и не зовут. Проходят разные люди, а о нем как забыли. Потом, ко-

гда в приемную привели троих новых пленных, вышел из кабинета Визмера писарь и сказал Ване громко так, чтобы пленные слышали: «Ваша просьба о личном разговоре капитана уважить не может. Он занят».

И Ваню отвели обратно.

Что за притча? Неприятно мне было все это от Вани слышать, хотя я ему и верил. А остальные наши очень усмехались.

На другой день в барак вкатился свитой сам капитан Визмер. На выстроили фронтом. Шусс приказал переводчику прочитать разъяснение работам вне лагеря и об уполномоченных. Шусс объявил также, что господин капитан Визмер рекомендует нам выбрать уполномоченным Ваню Грачева.

Вот и разберитесь в чем дело. Ваня же перед тем нас уверял, что у него не то что сговору, а и просто разговору никакого с капитаном не было. За какие же это хорошие дела Визмер его вдруг выдвигать станет?

Только что Визмер со свитой вышел, как сейчас же вернулся Шусс и подозвал к себе Грачева.

— Господин Грачев, пожалуйста, замолчи.

Грачев, мы видели, заколебался, хотел что-то возразить, но Шусс твердо сказал, что действует по приказу генерала.

Когда Грачев ушел, нам ни смотреть друг на друга, ни разговаривать не хотелось. Что тут подумать, что поделять? Все можно забыть, но такой боли, какую мне в этот вечер, да и не мне одному, причинил Визмер, я ему и его банде никогда не забуду. Как они знают все низкое в человеке и как умеют на этом играть!

Вернулся Грачев еще позже, чем накануне. Барак не спал. И хотя свитой был выключен, казалось, что и в темноте видно, как все смотрят на Грачева. Сразу поднялись все головы с жестких горьких подушек, и нары как будто ошетились. Грачев это почувствовал. Он оstanовился посреди барака. И начал говорить. Хорошо, что в темноте. В темноте голос не врет.

Он рассказал, что опять его заставили просидеть зря в приемной капитана и потом, как в прошлый раз, отослали ни с чем. Ваня сказал, что это страшная провокация, что его хотят убить морально за то, что он посме-

выступить против прифронтовых работ, чтоб предотвратить его выступления в будущем и лишить его влияния на всех.

— Думайте обо мне, что хотите, но мне прошу и открыто это повторю перед немцами, — пусть меня слышат сей-таки доносчики и провокаторы, какие появятся среди нас, — прошу вас, не сдавайтесь и не соглашайтесь добровольно ехать на работу по системе вильгельмовской военщины и укрепление прусского милитаризма. Это время, когда победоносная революция сметет их с лица земли!

Каждый из нас страдал от всяких несправедливостей на свете. Каждый из нас знал цену врагам. Неужели мы поверим им, а не нашему человеку? Мы мы поверили своему. Мы поверили, что среди нас есть светлые, незапятнанные люди. И мы тут же, в каком-то порыве, выбрали единогласно Гречева нашим уполномоченным. Мы же доносчики и немецкие холуи не смели разинуть рта.

Вотром мы объявили Шуссу, что, имея волю и рекомендацию господина капитана, барак единогласно выбрали Гречева уполномоченным по баракам. Этот мерзавец, видно, уже все узнал от доносчиков, поэтому рожа его не выказала никакого разочарования. Он сказал, что капитан будет очень доволен баракком.

Через час принесли сообщение, что капитан Визмер утвердил наш выбор. Тут многие из тех, кто поверил Гречеву ночью в темноте, стали при дневном свете сомневаться в его чистоте и честности.

День этот обещал быть обычным ладным днем. Как обычно по субботам, в перерыве между работами, в барак заявлялся солдат Крэбс с двумя подручными. Крэбс ведал стиркой белья. Приемку белья для стирки он производил тут же в бараке. Это даже не приемка была, а своего рода ревизия.

Крэбс когда-то жил в западной Польше и был комми-вожатером одной польской галантерейной и бельевой фабрики. Он говорил кое-как по-русски. Голова его, лицо и шея были так жирные, что солдатская бескозырка едва держалась на голове.

Крэбс был от природы оптимист, хотя и любил жаловаться на свою судьбу.

— Два года Крэбс на война стрелял вшей и не выстрелял себе никакой богатства... Ах, любезный оккупиртес гебит, то есть оккупирован область... ах, как там любезный... девочки ласкают воин, дешевый покупка всякий... ах, как любезный... Вот куда мой хотел дорваться... я пылал лететь на поле битвы, но имела боль на желудок, боль на голова, боль на спина, боль на длинный и короткий конечности, то есть на рука и на нога. И мне поручили охота на вша. После война меня будет спросить красotka: что делал на война, какой был герой? Разве я буду ответить — я воевал паршивый русский-французский вошь... Ах, какой грустный преотвратность в мой судьба!

Крэбс хотел было вздохнуть, но вместо печального вздоха получилась довольная улыбка, — этот человек был все-таки оптимист.

— Ах, умный человек везде любезно... здесь ваш Крэбс все любят. Крэбс может найти вша, может не найти вша... никто не хочет бриться в кровь и гулять голый на снег... Все желают дружить с ваш Крэбс.

Мы подходили с бельем по очереди. Когда очередь дошла до Вани Гречева, Крэбс долго рассматривал его белье, раздумывал, пожимал плечами и, наконец, сказал:

— Покажи мне твой спальний место... Очень прекрасно. Аусгецайхнет! Теперь покажи мне твой вещи... Очень прекрасно!.. Но, позвольте, зачем здесь крадений казенный шесть штук белье? Абсолютно чистый, абсолютно митий без стирка! Это — скажете — божий чудо? Нет, папаша-мужичок, это свинский кража! Швайне хунде, свинска собака! Это тебе не вшивый твой деревня! Здесь Германия, здесь в Германии не бывает никакой кража! Да золь ман зофорт мельден... Сейчас должен писать рапорт капитану! Щепетис, ходи сюда! Ты имешь свидетель быть... и давать подпись...

Щепетис подскочил, сияя собачьей почтительностью. Крэбс подsunул ему какую-то бумажку. Щепетис расписался, вытянулся и сказал:

— Данке зер, господин Крэбс!

Это значит по-немецки «очень благодарю». Крэбс презрительно усмехнулся:

— Глупый идиот! Дурачья голова!

Щепетис ответил жалкой улыбкой. Кто-то в уголке нарочно очень громко сплюнул. Крэбс подскочил. А Щепетис пошел на свое место на нарах и свернулся калачиком, как собака, получившая пинка.

Уходя, Крэбс решил поиздеваться над Щепетисом. С порога он обернулся:

— Щепетис, вставай смирно, я хожу вон!

Щепетис вскочил, собрался вытянуться, но его остановил Грачев:

— Щепетис, лежите, отдыхайте. Крэбс шутит, он ведь сам рядовой.

Лицо Щепетиса сморщилось в жалкую гримасу, но все-таки он вытянулся и стоял так, пока Крэбс не вышел из барака.

Мрак был в наших душах. Что же нам думать о Грачеве? Щепетис торчал перед нами, как выпотрошенное немцами чучело человека. Весь гнев барака обратился на него.

Кто-то бросил в Щепетиса портянкой:

— Проглоти, подлипала!

За портянкой полетели тряпки, сапоги, подушки. А он стоял, боясь пошевелиться. Ваня подошел к нему и хотел взять его ласково за плечо, но Щепетис пугливо отскочил и занес руку, защищаясь от удара.

— Я вас не трону, Щепетис. При чем тут вы?

Щепетис заплакал, как баба. Мы тогда не знали отчего.

В барак пришли шестеро солдат с винтовками. Четверо встали, по-двое, у выходных дверей, а двое остальных сорвали с Вани гимнастерку, связали ему руки назад и полуголого, с непокрытой головой выволокли наружу.

Из наших кое-кто уткнулся в подушки или закрылся с головой одеялом; другие стояли у окон подавленные, разбитые. Я выскочил из барака. Догнал шествие. Вокруг набралась уже кучка любопытных и равнодушных зевак. Я пошел в хвосте, — никак не мог придумать, как можно защитить Ваню. От бессилия казался себе низким Иудой.

Грачева привели на центральный лагерьный плац, от которого лучами расходились лагерные улицы.

Там его, полуголого, привязали к позорному столбу. И так Ваня должен

был стоять сутки. Конечно, никто считал позором то, что называли позором наши гнусные враги. Но среди пяти тысяч пленных всякие бывали. А на груди у Вани болтался плакат «ВОР». Наверху, над головой — надпись: «НАКАЗАН ЗА КРАЖУ, ЧТО ОН УКРАЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЕГО ТОВАРИЩЕЙ». И ходились люди, которые, не зная Грачева, проходя мимо, зубоскалили и останавливались и рассматривали Ваню, как зверя, иные даже показывали ему кулаки и грозились.

К вечеру пошел сильный снег. Я мог спать всю ночь. К утру небо прояснилось, и поднялся сильный ветер. Мы до утренней поверки не смели выходить из бараков. Когда нас погнали на работы, я хотел подойти к Грачеву и дать ему попить из бутылки, но в сговоре, стоявший около Вани, отогнал меня прикладом.

Во время перерыва Ваню привели два солдата — сам он идти не мог. Мы положили его на нары. Он лежал, закрыв глаза и широко разинув рот. Был очень бледен. И рука его была не горячая, а холодная. Я этого и не ожидал.

Грачев так пролежал около часа, и встало. Я сидел у его изголовья. Ваня открыл глаза, огляделся, как будто узнавая, где он, узнав, крепко выругался. Выругавшись же, засмеялся.

— Раз русский человек ругается значит, жив. Попить бы мне и хлеба бы!

Только что я хотел дать ему хлеба как в барак вошел врач. За врачом шел санитар. За санитаром — фельдфебель Шусс, за фельдфебелем — шестеро солдат с винтовками. Четверо из них встали у выходных дверей, двое подошли к Грачеву. Значит, окончательное наказание! Какое же?

Врач отвел руку Грачева, потянувшуюся ко мне за хлебом.

— Нет, голубчик, рановато пить. Вам предстоит легкое развлечение. Перед спортивными упражнениями кушать не полагается. Примите-ка лучше валерьянки. Санитар, померьте температуру у пленного. Кстати, дайте этому шутнику расписаться, что у него нет претензий к медицинскому персоналу лагеря. Ах, его милость не знает.. Пожалуйста, как вам угодно. Никаких насильий... Придет время, а просит сам и тогда подпишет...

«... было объявлено в приказе, Ваня «стражу» лишился звания уполномоченного и наказывался «подвешиванием на двадцать минут». Выставление на штрафному столбу не считалось наказанием. Это называлось «апелляция к общественному мнению». Ей-богу, так называлось, не шучу и не выдумываю. Солдаты увели Грачева на подвешивание. Что же такое подвешивание, спрашиваетесь? Да я уж и не знаю, как называть ли? Сомневаться будете, уверите, а ведь это только истинная правда, и я ничуть не хочу вас запугивать этим или на немцев наговаривать небывлицы в лицах. Спросите-ка солдат, которые были в ту войну в плену.

Любого спросите — наших русских, французских, бельгийцев спросите, англичан — все знают, что подвешивание широко практиковалось, и могут тоже подтвердить.

Меж двух столбов подтягивали человека на ремнях, на полотенцах, а то и на веревках подмышками. И он висит, не касаясь земли, так на полвершка от полу. Что тут особенного, говорят? А вы из любопытства попробуйте!

Этот это мука! В первые же секунды голова перестает держаться и виснет вниз. Вся кровь бросается в ноги, и тело делается таким тяжелым и ненужным, как чужое. В ушах начинается шум. Иногда кровь показывается из носа. Язык сохнет. Поясница... Да что сказать, в самом деле... Лучше и не вспоминать. Достаточно, бывало, человек повисеть минуты три-четыре и он теряет сознание. А тут сейчас же и так. Ведь что выдумали: врач присутствует! Какой же сволочью должен быть такой врач!

Потерял человек сознание, врач секундой махнет, — развяжите, мол, — человека отвязывают, ставят, а он падается и падает, стоять не может, его бережно кладут на пол, — скажут, мол, полежи, сделай такое одолжение, нам не жалко, и даже могут валерьянки выпить, а если рот не может раскрыть, то к носу нашаренного спирта ткнут, — нюхай, изволь, сколько душе угодно. Мерзавцы!

У многих после этого происходило разрушение во внутренних органах. Многие очень жаловались, на почки.

Но не это самое страшное! Эка важность помучиться от боли, — на то мы и солдаты. Но в один-то раз все твои двадцать или даже десять минут не отбарбанишь. Тогда врач дает расстрочку на три-четыре дня. Приходи, мол, ежедневно и виси минутки по четыре, а то и по три, как хочешь. Новички на эти льготы очень поддавались, а негодяй-врач давал их охотно: знал, мерзавец, что делал. Так вот, самое-то страшное и было идти во второй, в третий раз... Придет человек с подвешивания и первый час отдыхает, и дышит, и говорит, и даже, глядишь, улыбается, — словом, как все, живет... А как немножко отойдет у него боль и усталость, как подумает он вдруг, как вспомнит, — опять идти — да лучше бы в воду!.. И так будет ходить до следующего утра, без сна, без покоя метаться будет в тоске, в отчаянии... «Ты куда идешь?» — «Подвешиваться». Я одного, не зная в чем дело, спросил, а он, вместо ответа, так меня в грудь ткнул, что я упал.

Ваня Грачев очень крепкий человек. Он первый день набрал десять минут. В три приема. Три раза отвязывали его, — сознание терял, — три раза давали валерьянку. Он и после третьего раза просил опять повесить его. Но своих сил уж не было, а солдаты отказались поднимать его. Измучились, говорят, с ним. Это нам тезка Грачева, Ганс Бауер рассказал, он был в наряде.

В три дня Ванюша отбыл свои двадцать минут. В первый день, я уж сказал, — десять минут, во второй — шесть, а в третий — четыре.

После первого тура он даже книжку пробовал читать. «Три мушкетера». Но недолго, — бросил и сказал: «Скучно и глупо».

После второго тура он был мрачен и молчалив. Только перед уходом в барак, где подвешивают, он мне сказал:

— Вот она хитрая механика-то, — никто за мной не пришел, никто силой уже не тащит, а я сам иду, взглянул на часы и иду сам к чорту в горло... Вот так подлое рабство и во всем прочем держится нами самими.

Когда Грачев все отбыл, он целый день лежал, как после болезни. Под вечер к его месту на нарах подошел Щепетис. Он присел у ног Вани и тихо все вздыхал. Случилась минута,

когда около Вани остались он да я. И вдруг Щепетис позвал Ваню:

— Иван Егорович, а Иван Егорович...

Грачев открыл глаза и приветливо ему улыбнулся.

Щепетис признался, что это он подкинул в ванины вещи казенные рубахи.

Сделал он это по приказанию Шусса и Визмера.

— Зачем же ты слушался?

Да Шусс грозил ему отрезать... Щепетис показал рукой, что отрезать... И Щепетис испугался.

Он стал клясться нам, что он готов в огонь и в воду за Ваню... Заплакал жалкими слезами...

— Прости меня, Грачев.

Руку протянул. Ваня, превозмогая боль и слабость, поднялся... и плюнул Щепетису в лицо...

— Провокаторов мы не прощаем... Пошел прочь...

В тот же вечер Шусс объявил на проверке, что, по распоряжению капитана, Грачев может быть восстановлен в звании уполномоченного (немцы не называли прифронтовые работы иначе как внелагерные), если того заслужит примерным поведением.

— Еще не поздно поправить дело, Грачев. Еще не поздно, это тебе говорит фельдфебель Шусс, а фельдфебель Шусс никогда не ошибается и всегда все знает... Подумай, Грачев.

На следующее утро был объявлен сбор на плацу для тех, кого отправляли на прифронтовые работы.

Я заснул с тяжестью на сердце. Среди ночи проснулся, и вдруг мне стало ясно, что Ване грозит гибель: у меня даже пальцы похолодели. Я подполз к его изголовью, решил разбудить его. Он дышал прерывисто. Я приподнял голову и вижу: лежит он с открытыми глазами, не спит, как и я.

— Ваня, ты должен бежать до рассвета.

Мы знали от Трикса место, где можно пролезть под колючей проволокой, а в остальном надо было положиться на удачу и на сметку.

Ваня только горько упрекнул меня:

— В такую-то минуту разве я могу оставить товарищей?

Было еще темно, когда занял на дворе сигнал для сбора. Ваня был

очень слаб, одеваясь, два раза сел на нары отдыхать.

Когда нас вывели из барака, во углах лагеря забили барабаны: сырой предрассветный ветер, гудя звуки.

Под барабанный бой нас построили на плацу. Но начальство не появилось. И темнота не редела.

Стоя в рядах, мы ждали. Солдаты поживались от холодка. Шусс и другие фельдфебели сошлись в кучу угрюмо молчали.

Никто не знал, чего мы ждем. В тучи поредели, в щель прорвалось бледное солнце. Как будто то ждали: сейчас же на крыльце казармы появился фон Блауштерн с большой свитой. Откинутые полы плащей пылали красной подкладкой. Офицеры были в плащах с бобровыми воротниками. Рядом с генералом капитан Визмер. А позади свиты даты катили с десяток пулеметов.

По плацу из конца в конец пошла команда: «Ахтунг!»

Конвойные замерли, мы тоже.

Фон Блауштерн отделился от свиты шага на два и пошел по нашим рядам. Свита следовала за ним, а позади катили пулеметы. Генерал шел медленно и каждому казалось, что именно он внимательней всего осматривает. Взгляд его был пронзительный, но какой-то безучастный.

Молча прошел он по рядам и так молча удалился. Свита последовала за ним. Все вошли в казарму. Из офицеров на плацу остались только Визмер. Пулеметы стояли на стороне, шагах в пятнадцати от нас.

Долго стоял он молча перед фронтом, рассматривая нас и чуть-чуть улыбаясь обычной ехидной улыбкой. Потом подал знак, забили барабаны. Еще раз сделал знак, барабаны замолчали. Визмер без единого движения как будто окаменелый, тихо сказал как бы про себя:

— Горе побежденным!

Помедлил и потом громче:

— Горе побежденным!

Солдаты, стоявшие за ним, вскинули винтовки к плечу. Визмер улыбнулся и Шусс. Визмер продолжал:

— Вы — побежденные.

И опять подождал немного.

— И когда побежденный непокорный победитель его уничтожает.

Снова подождал.

— Если будет нужно, мы уничтожим каждого из вас, кто будет противиться нашим целям и нашим приказам.

Визмер помолчал подольше.

— Уничтожим всех до одного.

Визмер сделал еле уловимое движение рукой. Пулеметчики разделились на два отряда, и каждый из отрядов шел по нашим флангам. Солдаты же с ружьями наперевес зашли с фронта к тылу. Визмер продолжал:

— Уничтожим всех до одного!

Он еще раз выждал долгую минуту.

— Или же вам будет даровано величайшее благо — жизнь! А вы отдайте нам ваш труд. В этом закон войны.

Еще выждал и закончил:

— Повинуйтесь!

Последнее слово он не проговорил, прокричал. Сейчас же отвернулся и, взглянув на нас, медленно пошел прочь, воображая, что он подобен розному богу.

По команде фельдфебелей солдаты пустились наведенные на нас ружья, остроились, пулеметчики соединились один отряд, и вся эта армия удалилась вслед за Визмером. Мы остались ждать перед Шуссом, как было до появления грозных богов, сошедших к нам для устрашения.

Я почувствовал, что многим из нас действительно стало страшно. И Шусс это, очевидно, чувствовал.

Он весело крикнул:

— Грачев, два шага вперед! Подойди к столу.

Шусс взял напечатанную на машинке расписку и прочитал громко:

«Выражаю добровольное согласие на отправку меня на работы вне лагеря по усмотрению германской администрации».

Шусс положил листок перед Грачевым.

— Подпишись, Грачев, вот здесь, пишу...

Расчет немцев был мне ясен — покажи страх, надо заставить подписаться Грачева. Если Ваня подпишется, то во всем остальных деле пойдут, как в масле, если же Ваня не подпишет, то его сейчас же возьмут под стражу, а тем еще подбавят страху остальным.

— Подписывайся, Грачев, первый, ты уполномоченный по работам.

Ваня стоял перед Шуссом бледный после бессонной ночи и от слабости. Он

отрицательно покачал головой. Шусс закричал:

— Подписывайся!

— Никогда! Ни за что! Что бы вы со мной ни сделали! — громко крикнул Грачев, чтоб все слышали.

— Ах, ты так...

И Шусс по своей привычке занес руку, чтоб ударить Ваню. Грачев спокойно сказал:

— Не посмеешь...

Шусс размахнулся и ударил.

Но сейчас же полетел наземь. Его сшиб ударом ноги в живот Трикс, выскочивший из рядов. Шусс было вскочил на ноги, но получил затрещину от меня. Немецкие солдаты растерялись. А может быть, они и не хотели спешить на выручку Шусса. К нам подбежали еще два англичанина, приятели Трикса: И мы впятером начали тузить фельдфебеля. Но все это продолжалось короткое мгновение, как вспышка огонька, в который плеснули керосином. Нас сейчас же розняли. Мне, Ване, Триксу и двум приятелям Трикса надели наручники. Заиграл горн тревоги. Пулеметы заняли позиции на своих площадках вокруг колючей проволоки. Пленных всех загнали в бараки.

Что было дальше в лагере, я не знаю. Нас пятерых увели в комендатуру.

Долго били. Я потерял сознание и очнулся только на другой день, поздним вечером. Около меня стоял Бауер, тот самый, который доставал самоучитель немецкого языка для Вани. Он тихонько шевелил меня прикладом:

— Вставать!

Нам сказали, что по распоряжению генерала нас, в наказание за бунт, отправляют на осушку болот. Мы подивились мягкости кары. Но дивились недолго. При посадке в вагон Бауер шепнул Ване, что мы заочно приговорены полевым судом к смерти, что нас везут в соседний город и там в тюрьме приведут приговор в исполнение. Ваня что-то тихо сказал Бауеру. Тот нахмурился, задумался и ничего не ответил.

Нас посадили в товарный вагон, в котором было уже пятеро арестованных. Все пятеро оказались немецкими солдатами. Они, как и мы, были приговорены к смерти: трое за бунт, один за бегство с поля сражения, а пятый «за общение с врагом».

Задвинули дверь и заперли вагон снаружи. Мы слышали, как Шусс обходил вагон со всех сторон, проверяя прочность и надежность запоров.

Потом мы слышали, как после осмотра запоров и засовов кто-то подошел к вагону и, повидимому, еще раз хотел убедиться, все ли в порядке. Слышно было, как рука торопливо шарилась по стенке вагона, ища замок: повидимому, проверявший не захватил с собой фонаря. Звякнул замок, — громыхнул железный засов, потом возившийся около замка быстро отбежал от вагона, и все замолкло.

Поезд еле успел тронуться, а Ваня уже вошел в знакомство с немцами. Трое из них держались кучкой вместе, сидели посреди пола, разговаривали и на нас посматривали с интересом. Четвертый немец забился в угол. Он пугливо и враждебно озирался на своих и на нас. Щеки его пылали, глаза воспаленно блестели. От молчания он переходил к быстрому крикливому бреду, все время повторяя одно слово: Изер, Изер, Изер...

Это был полусумасшедший. Он бежал с фронта на канале Изер, помешавшись от страха. Его приговорили к смерти за оскорбление офицера, который его задержал и хотел вернуть на поле битвы.

При сильных толчках вагона он полами шинели закрывался с головой, как бы защищаясь от снаряда, а потом начинал плакать.

Пятый немец был здоров, но он сторонился нас и своих еще больше, чем сумасшедший. Трое приговоренных «за бунт» рассказали нам, что этого судили за снисходительное отношение к бельгийцам: он кого-то пожалел, не донес и даже в чем-то помог. Во время рассказа он косился и, наконец, стал ругаться: чего вы, мол, врагам рассказываете такие вещи; я, мол, если меня помилуют, заглажу ошибку и уже теперь докажу проклятым бельгийцам, что такое немецкий солдат. «Да ведь приговор-то твой утвержден». Но он не верил, что надежды больше нет, и старался держаться подалеже ото всех нас, как от преступников.

Грачев попросил меня и Трикса помочь ему отодвинуть подвижную стенку вагона. Оказывается, Бауер после осмотра перевесил замок только на одно кольцо, и дверь осталась неза-

пертой, хотя замок и висел на своем месте; в темноте это сошло, да и было сделано-то перед тем, как поезду тронуться.

На подъеме, когда поезд сильно сбавил ход, мы открыли узенькую щель и приготовились прыгать. Трое немцев решили прыгать с нами. Сумасшедший долго не мог понять, что ему предлагают, а когда понял, то отказался.

— Боюсь... больно будет... ногу сломать можно, расшибиться боюсь.

Пятый же грозил поднять тревогу и замолк, только когда один из немцев несколько раз ударил его.

Мы и англичане прыгали первые. Немцы согласились прыгать после нас. Тогда законопослушный немец подбежал к своим и стал их уговаривать.

— Этих-то, этих-то, врагов-то и пускайте.

И он было вцепился в Ваню; его оттащили немцы.

Прыжок обошелся без беды. Мы решили разделить на две компании. Итти впятером было опасно.

— У меня есть карта и компас. Поделим по-братски, — сказал Трикс перед расставанием.

Мы с Ваней взяли карту, она и я надеялись разобраться в местности по звездам, по луне; днем же будем отсиживаться по ямам и в лесах. А Трикс уверял, что знает карту Западной Германии наизусть. Наверное, сказал так, чтоб нас склонить к тому, что нам удобней. Хороший был парень, этот английский сержант. Англичане — они хорошие товарищи в несчастье.

Простился с нами Трикс угрюмо и неласково, — может, скрыть хотел волюньку.

Ну, а о том, как мы по ночам шли, а днем отсиживались в лесах, как перешли границу, — рассказывать не буду. Мало ли чего бывало. Всего не перескажешь.

В харчевне, в голландском городе Маастрихте, сидели мы с Ваней за столом зеленой голландской водки, под названием «шкидам». Лучше ли нашей? Крепче, пожалуй, но наша поогневей будет. Сидели мы и блаженствовали. Жизнь вернулась!

— А надолго ли такая минута отдыха? — сказал Ваня. — Мне, знаешь, думается все, что я и Визмер, мы до-

ны когда-нибудь встретиться... Ему не удалось меня повесить, и мне не пришлось его уничтожить. Надо же нам друг с другом рассчитаться. И пусть сердце, рассчитаемся мы с ним окончательно, если доведется толкнуться в равном бою. Ведь мы с ним к разному на свете стремимся, цели у нас с ним противоположные. Он то тоже понял, потому и возненавидел меня с первой минуты, как увидел...

Рассказчик замолк. И ополченцы долго еще сидели около него, не спрашивая, не обсуждая.

А перед вечером мне пришлось поехать к концу разговора нашего командира Грачева с пленным немецким генералом, Сикстом Визмером.

Визмер сидел, смотрел в пол. Грачев говорил стоя:

— Видите, вас узнали и вас уличают ваши жертвы — дети, женщины, вас обвиняют даже ваши солдаты, против вас факты. Отвечайте же.

Визмер, не поднимая головы, сказал:

— Пощадите!

— Теперь вы просите пощады. Не найдется на всем свете суда, который бы оправдал ваши злодеяния и пощадил вас.

Сентябрь, 1941 г.

## Два кургана<sup>1</sup>

Догорела за шестью горами  
Предосенней ночи вестница,  
Приоткрыла красными руками  
Золотую щеку месяца.

Глянул месяц в придонские дали.  
На дорогу,  
Что промеж татарников,  
И лучи его заколыхались  
На холодных пиках всадников.

А у всадников под чекменями  
Сердце жаркое полно тревогою,  
Пыль под горбоносими конями  
Клубом ходит,  
Вьется над дорогою.

Едут, едут казаки из дома  
Крупными отрядами и малыми  
И у шляха правый берег Дона  
Чествуют недолгими привалами.

На привалах тех  
Не курят трубок,  
Не играют песен с гиками,  
Не обносят молодецкий кубок,  
А копают землю пиками.

Той землей пахучей,  
Нерожалой  
Насыпают картузы казачьи  
И несут  
Налево от привала, —  
И глядит  
Им степь в глаза горячие —

По ромашкам  
И по травам диким,  
Той дороженькой примятою,  
К свежему кургану-горемыке,  
Что понурил голову косматую.

Высыпают землю ту  
С поклоном,  
Вытирают руки начисто,  
И спешит к нетерпеливым коням  
Круточубое казачество.

До рассвета насыпают рьяно,  
А курган растет и ширится,  
И сползает с головы кургана  
Черная  
Земля-кормилица.

Загляделся месяц,  
Пред рассветом  
Стал звезду соседнюю  
расспрашивать,  
Ту звезду, что васильковым цветом  
Не устала небеса раскрашивать:

— Ты скажи,  
Красавица-цветенье, —  
Завсегда мы были дружными, —  
Почему казачье ополченье  
Мчится к северу  
Во всеоружий?

Не видать ли где кровавой драки;  
Вороны ль беду накликали?  
Да еще скажи:  
Зачем казаки  
Во степи курган насыпали?

И в ответ звезда заговорила:  
«Вороны беду накликали:  
Двигается  
Невиданная сила,  
Славится двенадцатью языками

<sup>1</sup> В верховьях Дона существует предание о двух курганах, будто бы насыпанных казаками в 1812 году. Первый курган был насыпан тогда, когда казаки шли на защиту родины от Наполеона. Второй курган возведен после победы.

Мчит карьером  
И идет парадом,  
Хвалится мундирами цветистыми;  
Вражья пушки  
Раскаленным градом  
Землю русскую  
Долбят неистово.

Держит силу ту  
Во львиной лапе  
Погруженный в думы нехорошие,  
Горбоносый,  
В треугольной шляпе,  
Человек на белой лошади.

Супротив его,  
Орла достоин,  
Бьет крылами в гущу непогодины  
Одноглазый  
Старый русский воин  
И зовет орлят великой родины.

Грозен клич его  
К борьбе и мщенью —  
Стать за родину  
Рядами дружными,  
Тотому казачье ополчение  
Читится к северу во всеоружии».

И умолкла спутница,  
Логасла,  
Побледнел румянец месяца.  
На востоке весело и красно  
Заграла утренняя вестница.

А когда протопал  
День высокий  
На закат своей дорогой старенькой,  
Между звезд  
Поплыл золотощекий  
Месяц  
Над пылающей Москвой-рекой.

И Москва не блещет куполами,  
Не гордится башнями узорными —  
Машет огненными волосами,  
Бровнями грохочет черными.

А по улицам багряно жарким  
Свищет,  
Рыщет вражья конница.  
За Москвой-рекой  
И на Варварке,  
Задыхаясь, воют звонницы.

Им в ответ  
Ревет река протяжно,  
Дышит жаром в берега шипучие...  
Где же скрылся ты,  
Народ отважный?

Где твои сыны,  
Россия, лучшие?

Может быть, на бородинских  
флешах  
Храбрецов доклеывают вороны,  
А другие  
В горе безутешном  
По России скачут во все стороны.

Только по дорогам незаметно,  
Чтоб бежали в страхе ратники. —  
В лагере  
Тарутинском несметном  
Притаились пешие и всадники.

А в лесах российских, пожелтелых  
Меж стволов видны казачьи  
бороды.

Жалят пиками в набегах смелых,  
Над дорогами  
Кружат, как оводы.

Не пройти к Москве  
Обозам вражьем,  
Не найти  
Врагам квартир обещанных;  
А мороз  
В Москву приходит важный:  
Поцелует —  
Остаются трещины.

И когда  
Новорожденный месяц  
Появился голубой и маленький,  
Снежный плат  
Блестел у перелесиц,  
Россияне поодели валенки.

И услышать  
Месяцу досталось,  
Как победно,  
С грохотом  
Да с гиками,  
Под Тарутиным судьба смеялась  
Над двенадцатью языками;

Как на лагерь конницы Мюрата  
Из-за леса,  
На врага постылого,  
Понеслась казацкая расплата  
Лавой  
От села Стремилова.

Заработали казачьи плечи,  
Шашки хлынули наотмашь  
И с потягами,  
Застучали выстрелы навстречу,  
И пахнуло кровью над оврагами.

Взвыли вражья пушки, багровея,  
Но не дрогнули длиннородые.

Кинулись донцы на батарею,  
Языками пик  
Прислугу пробуя.

Опрокинули...  
Сломили... И в погоню...  
Нелегко бежать  
От наших воинов —  
Лютый ветер послабей, чем кони,  
Что донской водою вспоены.

В колесо согнул противник спины.  
А под башнями на Красной  
площади  
На прощанье  
Порасставил мины  
Человек на белой лошади.

По Смоленской,  
По дороге скользкой,  
По снегам,  
По войлоку багряному,  
Озираясь, торопилось войско  
К западу далекому, желанному.

Под метельным посвистом  
Не сытно,  
Сквозняки гуляют под мундирами,  
Да в мохнатых чашах  
Неусыпно  
Стережет крестьянин с вилами.

Взгляд его прищуренный не ласков...  
За врагом Кутузов гонится.  
А в тылу  
Казак старочеркасский<sup>1</sup>  
Джигитует,  
Водит конницу.

И все звонче казаки косили  
Беглецов  
Иступленными пашками. —  
И мешки ограбленной России  
Становились гренадерам тяжкими.

И все крепче прижимал  
И жалил  
Хладнодышащий хозяин севера,  
А они все к западу бежали,  
В огонек спасенья веруя.

Замолкали  
И клонились ниже,  
Волочились на коленях далее.  
Чудилась им музыка Парижа  
И лимонный ветерок Италии.  
Но над нами, налитые жиром,  
Не спеша,

Кружили вороны,  
Покрывая радугу мундиров  
Крыльями иссиня-черными.

А на Волгу,  
На Урал  
И к Дону  
Прилетали ветерки-живители,  
Приносили низкие поклоны  
От сынов,  
От славных победителей.

И до звезд казачки у кургана  
О желанных говорили шопотом,  
Чтобы не прогневать великана,  
Не прослушать  
Дорогого топота.

Вот уже и Дон, весну почуяв,  
Громыкает ледяными пушками,  
Полноводно по лугам кочует  
С рыбами  
И с хрупкими ракушками.

И пришел,  
Примчался жданный вечер,  
И вздохнули  
Придонские жители:  
На закате  
Из-за гор,  
Как свечи,  
Показались пики победителей.

Топотом наполнилось Придонье,  
Песнями  
Да посвистами жаркими.  
По-над степью  
Уж дрожал спросонья  
И метал лучами яркими  
Тонколицый  
Любопытный месяц,

А под ним, коней качая  
взмывленных,

Казаки,  
С потертых седел свесясь,  
Целовали жен  
Губами пыльными.

Подымали чарки на привале  
И, хвалясь  
Победою крылатою,  
За Россию-гордость выпивали,  
За казачество,  
За атамана Платова.

А потом, землю нерожалой  
Картузы наполнив заново,  
Возвели направо от привала  
Молодой курган каштановый.

<sup>1</sup> Платов.

Не достал он старого кургана  
Головой до шелкового пояса.  
Восемь суток подымался рьяно  
И блеснул травой  
И успокоился.

Каждым утром налетали роем  
Ветерки играть травой некошеной,  
Иль, хромая,  
Запоздалый воин  
Приближался с картузом  
поншенным.

Вот уже дожди заморосили,  
А донцы  
Кургана не досыпали.  
Многим за родимую Россию  
Умереть на долю выпало.

Многим от руки Наполеона  
Помирать пришлось под снежной  
замятью...  
. . . . .  
И остались во степи, у Дона

Два кургана вековечной памятью.

И стоят они поныне гордо,  
Устремив на шлях глаза пытливые.  
У подножия веселый город  
Развернул работу кропотливую,

А со склонов,  
Лишь заслышат топот,  
Ковыли тончайшими поклонами  
Посылают серебристый шопот  
Всадникам с багряными знаменами.

К западу донцы проедут с песней,  
На курганы взглянут  
И поклонятся.  
А все тот же месяц в поднебесьи  
За седыми облаками гонится.

Светит месяц по-над хуторами,  
По-над Доном,  
Над донской пшеницею,  
Над заводами и над дворцами,  
Над громадой — Красною столицею.

## Денис Давыдов

Под тонкий шумок самовара,  
В сторожке бы встретить ночлег,  
Но конь, поджидая гусара,  
Копытами выдолбил снег.  
— В дорогу, отец!  
Без дороги  
Мы нынче по лесу махнем,  
А свалимся с ног,  
И в берлоге  
Под лапой медведя соснем...  
Рассвет занимается синий,  
И трубку лесник закурил.  
Вокруг эполетами иней  
Мужицкие плечи покрыл.  
— Далеко ли, близко ль до цели?  
Скатилась звезда под рукой.  
Сухие угрюмые ели,  
Как пики, стоят над рекой.  
— Привал, коли кони ослабли,  
За пояс заткните кнуты!  
Эх, сабля,  
Гусарская сабля  
Из молнии кована ты!  
Тебя и орел не догонит,  
И пуля тебя не возьмет...  
Храпят осторожные кони,  
Звенит под копытами лед.  
Стихи бы писать на привале  
Про эту морозную мглу...  
Мы музу свою привязали,  
Ее приторочив к седлу.  
Буря загудит над лесами,  
Скачи, да назад оглянись.

А рифмы звенят под усами,  
И ус расправляет Денис.  
Он смотрит вперед торопливо,  
В холодный предутренний дым  
Промерзшая конская грива  
Сугробом встает перед ним.  
Смотри да посматривай в оба...  
— Эй, кто там, а ну, подходи!  
Сугробы,  
Сугробы,  
Сугробы,  
Сугробы до звезд впереди.  
Он видит спаленные крыши  
И скованных рек берега,  
Здесь в каждом сугробе отыщешь  
Казацкою пикой врага.  
Глухая лесная поляна.  
И сосен завьюженный ряд  
Поют о былых партизанах  
И песню сурово хранят.  
Дениса не спрячет могила.  
Звенят вдалеке удила,  
И сабля его не скосила,  
И пуля его не взяла.  
Попрежнему молча и строго,  
Тряхнув удалой головой,  
Спешит он по зимним дорогам  
Навстречу страде боевой.  
И, вспомнив ли схватки былые,  
Иль мирной беседы часы,  
Он крутит седые, седые  
Свои боевые усы.

## Хаджи Мурат

### Неизданные варианты

Ниже мы печатаем несколько неизданных черновых вариантов повести Льва Толстого «Хаджи Мурат». Одни из этих вариантов находят себе соответствие в основном тексте повести и представляют черновые редакции отдельных глав, другие были по тем или иным причинам отброшены автором. Черновые наброски носят незавершенный характер, но тем не менее они представляют большой интерес.

Это было на Кавказе в 50-х годах, в то время, когда горсть горцев, являясь духовно религиозному миру своему Шамилю, успешно боролась уже несколько десятков лет с этим шестидесятимиллионным государством. Успех горцев надо было приписать тому, что русские баловались войну, поддерживали войну, убивали рцев и губили жизни своих солдат только затем, чтобы иметь случай разбить и получать кресты и награды, а такое же тому, что горцы голодные, вранные, с средневековым оружием и теми пушками и снарядами, которые они отнимали у русских, из последних сил, с отчаянным религиозным упорством боролись за свои дома, за свои семьи, за свою веру. Шамиль, когда-то силач, джигит, окруженный ореолом религиозного величия, жил в Веденях, только изредка являясь народу свою высокую величественную фигуру, решал судьбу его подчиненного ему народа, разордал, казнил иногда целые семьи, целые аулы, изменявшие газавату — священной войне, и через своих избранных наивов управлял всем краем преступных гор Аварии и Чечни. Из пяти наивов, управлявших и воевавших с русскими, один Хаджи Мурат давался перед всеми своим необыкновенным личным молодечеством, отстой и счастьем, благодаря которым делал необыкновенные набеги, являясь в русские города и мирные и всегда счастливо уходя от нападающих.

В 51 году Хаджи Мурат пользовался такой славой среди народов Аварии и Чечни, что Шамиль стал подозревать его в измене, стал следить за ним, стеснять его, отнимать у него его имущество. Хаджи Мурат, еще с молодости имевший счеты с Шамилем, не перенес этих нападок и решил прямо восстать против Шамиля.

★

Было раннее осеннее утро, когда по крутой каменной дороге, ведущей в аул, расположенный на крутой горе, закутанный башлыком, в бурке, из которой торчало ружье, подъезжал Хаджи Мурат с молодым аварцем Сафедином. Весь аул курился дымом из плоских крыш нагроможденных почти друг на друга в полугоре саклей. Вверху была площадь, на площади мечеть с минаретом, и на минарете мулла только что прокричал призыв к молитве. Хаджи Мурат не поехал в гору, а, сказав несколько слов Сафедину, повернул влево и, обогнав двух женщин в желтых рубахах, несших кувшины на головах, подъехал к сакле, врытой в полугоре, и остановился. На крыше поднялся из-под овчинной шубы старик и, сказав: «селям алейкум» и получив ответ, спросил, кого ему нужно. Хаджи Мурат открыл лицо и улыбнулся. Старик узнал его и тотчас же полез по лестнице вниз и взялся за стремя, приглашая слезть. Старик был чеченец — тесть Хаджи Мурата, во второй раз жена-

того на чеченке из этого аула. Хаджи Мурат слез и вошел в саклю. Спавшие на полу у камина поднялись и убрали подушки и кошмы. Старший внук побежал на площадь звать хозяйина, шурина Хаджи Мурата, женщины убрали саклю, положили пуховики, ковер и предложили Хаджи Мурату снять оружие и садиться.

Скоро прибежал с горы в туфлях на босу ногу и в расстегнутом овчинном тулупе с истертой палахой на затылке бритой головы, широко размахивая руками, сам хозяин, спавший в мечети.

Поздоровавшись и помолившись по обычаю богу, приставив руки к лицу, хозяин, приказав женщинам готовить еду, сел на корточках против Хаджи Мурата и начал разговор о том, что было нужно знать Хаджи Мурату. Хаджи Мурат открыл зятю свое намерение передаться русским, от него же требовал, чтобы он съездил в горы, где была задержана его семья, и постарался бы выручить ее, за что он обещал ему сто червонцев, дав тотчас же в задаток десять золотых, и, кроме того, он просил дать ему проводника до того места, где началась русская цепь. Шурин выразил полное сочувствие намерению Хаджи Мурата и обещал послать сына, знающего все дороги, обещал позаботиться о семье. В душе же он только желал одного, чтобы Хаджи Мурат как бы скорее уехал от него. Вчера только был объявлен приказ Шамиля всем горцам взять или убить, если не дастся, Хаджи Мурата и доставить его к Шамилю. Шурин сам не выдал бы его, особенно теперь, когда он был его гостем, но боялся, как бы не узнали в ауле, где все известно, и не потребовали бы его выдачи.

Во время разговора вошли две женщины. Одна с кумганом и тазом для омовений перед едою, другая с низким столиком, на котором были лепешки, блины, сыр и баранина. Женщины, не поднимая глаз, молча и тихо поставили принесенное перед гостем и неслышно вышли, мягко ступая по земляному полу. За едой Хаджи Мурат разговаривал и шутил с хозяином и Сафедином, не обращая внимания на шум и говор на улице перед саклей. Закусив, Хаджи Мурат стал надевать оружие и вышел. Громко говорящая толпа замолкла. Сафедин подал лошадь, старик взялся

за стремя, и Хаджи Мурат выехал никем не тронутый с Сафедином хозяйским сыном. Но только что выехал, как начался говор, спор, крик. Одни требовали ехать остановить его, другие говорили, что этого не надо

★

Хаджи Мурат с двумя спутниками, не ускоряя хода, спустились в долину, переехали по каменистому броду ручей, поднялись на горку. Сафед крикнул по-орлиному. Ему ответил таким же криком. Солнце уже вышло из-за гор и клало резкие тени деревьев в лесу, покрытом росой. Всадники въехали в лес и, проехав чащу, выскочили на долину, где паслись стонные четыре лошади и у которых сидело четыре горца: рыжий старик широколицый, с могучими плечами, аварец, черноглазый чеченец и молодой, длинный, кривой горец. Это были вместе с спутником его Сафедом пять человек его мюридов, которые с ним вместе выходили к русским.

Чеченец с кривым горцем, которых он посылал лазутчиками в Воздвиженское, тотчас же стали рассказывать ему, как они были у русских, самого князя, и как он сказал, что завтра ждет их на Аргуне.

Хаджи Мурат одобрительно кивнул головой. Потом, достав золотой, да племяннику и расстался с ним. Им успели они еще сесть на лошадей, чтобы ехать, когда по той дороге, по которой они приехали, раздались топот лошадей и крики. Это, очевидно, жители аула ехали за ним, желая его держать его или, по крайней мере, для очистки себя перед Шамилем, сделать вид, что они хотят задержать его. Лицо Хаджи Мурата вдруг покраснело. Он вскочил на лошадь, достал из чехла винтовку — его спутники сделали то же — и выехали из чащи на дорогу. Жители аула были шагах в ста пятидесяти.

— Что надо? — закричал он им. Взять, свести к рыжей собаке Шамлю? Ну бери! — крикнул он, поднимая винтовку.

Жители аула молчали. Хаджи Мурат повернул лошадь и стал спускаться вниз, постоянно оглядываясь. Когда он переехал на другую сторону долины, те все стояли и что-то кричали ему. На той стороне долины б

лес. Хаджи Мурат с свитой в него, и преследователей можно было видеть.

Шурина указал дорогу и провёл Хаджи Мурат с свитой поперёд. Впереди в лесу слышны удары топоров, треск падающих деревьев и русский говор.

Тут самую ночь, когда Хаджи Мурат въезжал к аулу в крепости...

★

Самый близкий к русским владениям был чеченский аул Маиур-Туп. И в этот аул вечером 20 ноября 1852 года въезжал Хаджи Мурат с своим войском мюридом Сафедином. Оба в бурках, оттопыривавшихся рукавами, и лица обоих были закутаны в башлыки. За седлом у Сафедина была переметная сума.

Аул, в который они въезжали, весь был окутан дымом из плоских крыш, на которых сидели почти друг на друга в горах, саклей. Народ был весь на крышах и на пути к фонтану от него. В тихом воздухе было слышно звон железных топоров, ударявшихся о камень дороги, и само собою все стали рассматривать въезжавших всадников.

Хаджи Мурат не поехал в гору, а спустился влево, на еще более крутой подъем. И на подъеме остановил лошадь у второй сакли справа. На крыше поднялся старик в овчинной шубе, сказав «селям алейкум» и получив ответ, опросил, кого нужно? Хаджи Мурат открыл лицо и кивнул головой, указывая глазами на дверь сакли. Лицо старика вдруг изменилось, и он, покачивая головой на худую загорелую шею, быстро полез по стене вниз с крыши. Слезши, он схватился за стремя Хаджи Мурата и кивнул что-то по-чеченски в отверстие без стекла, служившее окном сакли. Старик был тесть Хаджи Мурата, во второй раз женатого на чеченке из этого аула. Две женщины с кувшинами, наполненными водой кувшинами на головах, одна в желтой башке, в красных шароварах и зеленом бешмете, другая в красной рубашке, синих шароварах и желтом бешмете, подходили в это время к той же сакле. Одна была жена шурина Хаджи Мурата, другая ее тринадцатилетняя дочь. Старик что-то повелительно сказал женщинам, и они поспешно молча,

нагнув головы и отворачиваясь, прошли в дверь сакли. Из-за сарая выбежал черноглазый мальчик, которого старик дед тотчас же послал в мечеть за сыном. Введя Хаджи Мурата в саклю, старик стал снимать с него бурку и оружие, вошедшая же старуха принесла пуховики, ковер и, поздоровавшись с Хаджи Муратом, постелила все в переднем углу.

Оставив при себе кинжал и два пистолета, Хаджи Мурат сел на пуховики и стал, очевидно из приличия, спрашивать старика о здоровье его, его сыновей и внуков. Старик, сидя на пятках, коротко отвечал и, когда вопросы кончились, опустив голову, помолчал, потом тяжело вздохнул и стал говорить о том, что только нынче утром были здесь мюриды Шамиля, разыскивающие Хаджи Мурата. Хаджи Мурат спокойно слушал и ничего не отвечал, а только спросил у вошедшего Сафедина, расседлал ли он коней.

— Нет, — отвечал Сафедин.

— Якши, — одобрил Хаджи Мурат и стал в тишине прислушиваться к звукам голосов наружи. Послышались быстрые шаги человека, стучавшего каблуками по камням, и шурина, захватившись, в расстегнутом овчинном тулупе и в туфлях на босу ногу, с истертой папайхой на затылке бритой головы, широко размахивая руками, вошел в саклю. Поздоровавшись и помолившись по обычаю богу, приставив руки к лицу, он сел на корточки против Хаджи Мурата и начал разговор о том, что было нужно знать Хаджи Мурату. Шурина сказал, что мюриды были и уехали, но что надо быть осторожным, потому что они могут вернуться, а кроме того и жители аула могут попытаться задержать Хаджи Мурата. Хаджи Мурат ничего не сказал на это, а только спросил, может ли шурина дать ему проводника, с которым он мог бы послать своего мюрида к русским, с тем, чтобы установили последние условия и место встречи.

Из слов Хаджи Мурата шурина понял, что Хаджи Мурат имеет намерение дожидаться у него возвращения своего мюрида, и это очень огорчало и пугало его. Он однако не показал вида этого и обещал тотчас же послать своего меньшого брата проводником. Когда меньшой брат был призван, Хаджи Мурат сказал ему, что его пять человек мюридов ожидают его в

лесу за Аргуном, чтобы он спросил Аслан-Бека и проводил бы его к русским. Аслан-Беку уже все приказано. Ответ же Хаджи Мурат подождет здесь.

Во время этого разговора вошли опять женщины: молодая в желтом, с кувшином и тазом для омовения перед едой, и другая девочка — с низким столиком, на котором были лепешки, блины, сыр и баранина. Хаджи Мурат замолчал, как только вошли женщины, и молчал все время, пока они, не поднимая глаз, установивши принесенное перед гостями, выходили из сакли. Он продолжал говорить только тогда, когда совершенно затихли мягкие шаги женщин по земляному полу.

Окончив наставление меньшому шурину о том, что он должен делать, Хаджи Мурат омылся и принялся за еду, пригласив с собою и Сафедина.

★

Кондицкий был десятилетний солдат из Западного края. У него всегда были деньги, родные присылали ему. Кроме того он сам был и портной и шорник, и зарабатывал деньжонки. По службе он был неисправен и слаб, но он оказывал услуги начальству и его не обижали. Другой солдат Никитин был тонкий, ловкий, белокурый красавец из крестьян Орловской губернии. Дома остались молодая еще мать и три брата с женами и ребятигами. Петр был не женат и пошел охотой за брата. Но солдатская служба так показалась тяжела ему, что он стал пить, когда мог и было на что, и даже раз попытался бежать, сам не зная куда, только чтобы избавиться от тоски, которая съела его. После того как его жестоко наказали за побег, он махнул на себя рукой и еще хуже затосковал, так что вошь заела его, и только ждал случая, когда мог напиться. Несмотря на это, товарищи почему-то любили, ждали его и в особенности мрачный Панов, бывший его дядька.

— Ну что ж, давай и мне покурить, — сказал Петр своим особенно приятным ласкающим тенором, садясь на корточки подле Кондицкого.

— А что своего не заведешь? — сказал Кондицкий. — Вот дай дядя Антоныч откурится.

— Хорошо, как тебе из дома посылают, а мои от меня ждут.

— Ну, чего захотели, — прогово-

рил Панов, отрываясь от трубки каждым словом выпуская набран дым. — Наш брат — отрезанный мот. Откуда что взяты. А что и был — самому нужно. Сказано: ский слуга... вот и вся. Ну, реб докуривай да и туши.

Никитин расчистил перед собой стья и ветки и лег на брюхо, при губами к трубке.

— А сказывают Слепцова, генер убили, — сказал Кондицкий.

— Как же, ротный сказывал, подтвердил Панов. — Видно, при час.

— Уж очень смел был, — сказал Кондицкий.

— Тут смел, не смел, кому обр но, — пробурчал Панов. — Ты сапоги снимаешь? — обратился к Никитину, который откурился и скивал с себя сапоги.

— Да смотрю — стоптал.

— То-то, стоптал, нехорошо дишь, легче ступать надо.

— Ох, хороши сапоги продавал хонов, — сказал Кондицкий. — домой идет.

— И счастье же человеку, вздохнув, сказал Никитин.

— Счастье? Куда он пойдет: братьям пахать, тоже не сахар.

— Ну нет, — заговорил своим хим, ласковым голосом Никитин, — бы не знаю, дядя, что дал, только пожить дома. Хоть бы глаз взглянуть на них. Выедешь, бьж весной надвоем пахать, жеребята и ют, у нас две кобылы — хорошие и ки были — не знаю целы ли, грачи жаворонок, земля мягкая, идешь сой ногой — точно гладит тебя.

И Никитин долго вспоминал про ревенскую жизнь и работы, и сем стариков и детей. Кондицкий, ме тем, задремал; слышно было, как всхрапывал, а Панов сидел прислон шись и молчал, только гневно отк ливаясь.

— Это, брат, оставить надо, — с дито проговорил Панов, — да и те говори. На то секрет.

— И рад бы оставить, — продол своим нежным, умильным голосом китин, — да не могу, сном не зась вином не залью. Только и думка, про домашних. И покаюсь тебе, Ан ныч, на-днях ушел за крепость. Дум бегу опять.

— Уж пороли ведь тебя, — сказал

— А все-таки не могу, хочу бежать  
все. И сам не знаю куда, а бе-

— То-то дурак, — сказал Панов. —  
пороли тебя. Я бы из тебя дурь...

не договорив, остановился. Пока  
сидели, небо заволокло и ветер  
сдул сучья деревьев и поднимал  
падавший лист. Панов остано-

— Это не птица, человек, — сказал

— Смотри, ребята. Не зевать.

Никитин толкнул локтем Кондицко-  
Все трое взялись за ружья, и щел-  
ки взводимые курки: два вместе,  
третий один после. По дороге шел  
то. Вероятно, услышав звуки, шед-  
остановился. Солдаты выбежали  
дорогу и окружили двух человек в  
деревянных одеждах.

— Стрелять не надо, моя генерал  
— сказал один из них.

— Ружья нет, пистолет нет, шашка  
Генерал айда. Генерал крепко  
дело. Дело хорошее нужно.

— Вишь дрожит весь, сердешный.  
не боится, долги ли убить, — ска-

— Панов, — что ж веди, что ль,  
— сказал Кондицкому. — А сдашь,  
люди опять.

★

— А слышал, Слепцова-то генерала  
убили, — сказал Панов, выпуская дым  
каждым словом.

— Как же, ротный сказывал, —  
сказал Авдеев. — Уж очень смел

— Тут смел, не смел, кому обрече-  
но, — пробурчал Панов.

— И как это люди не боятся, —  
сказал Авдеев, — я вот страх боюсь, —  
видно похваляясь тем, что он боит-

— Как это засвистят пули, так у  
меня вся душа в пятки уйдет. Кабы не  
судьба, убежал бы не знай куда.

— Бегай, не бегай, все одно, — ска-  
л Панов, — она найдет виноватого.

— Да это как есть. Видно, уж надо  
жизнью.

— И чего это, я подумаю, господа  
войну идут, — сказал Никитин. —  
Хорошо, нашего брата забреют, за-  
бьют, тут хочешь, не хочешь, тяни

двадцать пять лет, пока сдохнешь. Ну  
они-то чего не видали? Хотя бы Слеп-  
цов этот?

— И судишь ты по-дурацки. А  
служба? — сказал Панов. — Царю и  
отечеству значит.

— А жалованье-то, — сказал Ав-  
деев, — что генерал-то получает.

— Получает-то получает, да и спу-  
скает опять все, — сказал Никитин. —  
Тоже посмотришь на них, как швы-  
ряют деньгами-то, хоть бы наш рот-  
ный, опять, сказывают, из ящика наши  
денежки взял.

— Этот отдаст, — сказал добро-  
душно Авдеев. — Барин хороший, —  
сказал Авдеев.

— Они все хороши. Ему денежки  
нужны, а и роте нужны, — прогово-  
рил Никитин.

— Это, брат, не наше с тобой дело.  
Как рота хочет, — сказал Панов. —  
Как рота рассудит.

— Известное дело, мир — большой  
человек, — сказал Авдеев. И сейчас  
же после этих слов Авдеев заснул, и  
из-за неперестававшего шелеста ветра  
по макушкам послышалось сопенье и  
даже всхрапыванье.

— Ты говоришь служба, — продол-  
жал Никитин, — хорошо тому слу-  
жить, кто что выслужит, а наш брат  
служи, не служи, либо пулю в лоб,  
либо спину выдерут. Вот и служба  
наша.

— Все не то ты говоришь, — сер-  
дито проговорил Панов, — да и тише  
говори, на то секрет.

— Я-то говорю, что скучно мне, —  
понизив голос, сказал Никитин. —  
Так-то скучно, так скучно. Как нака-  
тит это на меня, и не знаю, что над  
собой бы сделал: либо убегу, либо по-  
вешусь.

— Мало пороли тебя, — сказал Па-  
нов.

— Что ж, что спину пороли, а на  
душе все то же осталось.

— То-то дурак, — сказал Панов. —  
Видно дурака в семи водах не выва-  
ришь. Кабы ты мне попался в руки, я  
бы из тебя дурь-то выбил.

★

Хаджи Мурат замолчал, ясно вспомя-  
нув морщинистого, с седой бородкой  
деда серебрянника, как он чеканил се-  
ребро своими жилистыми руками и за-  
ставлял внука говорить молитвы.

Вспомнился фонтан под горой, куда он, держась за шаровары матери, ходил с ней за водой. Вспомнилось, как мать в первый раз обрила ему голову, и как он в блестящем медном тазу, висевшем на стене, с удивлением увидел свою круглую синеющую головенку. Вспомнилась худая собака, лизавшая его в лицо, и особенно запах дыма и кислого молока, когда мать его давала ему лепешки.

— Да, так мать не пошла в кормилицы, — сказал он, встряхнувши головой, — и ханша взяла другую кормилицу, но все-таки любила мою мать. И мать водила нас, детей, в ханский дворец, и мы играли с детьми ханскими, и ханша любила нас. Ханов было трое: Абунунцал-Хан, молочный брат Османа, Умма-Хан, мой брат названный и друг, и Булач-Хан меньшей, тот, которого Шамиль сбросил с кручи. Да это после. Лучше всех был Абунунцал, — сказал Хаджи Мурат. — Джигит был.

И Лорис-Меликов удивился, увидав, как слезы выступили на глаза этого мужественного человека, когда он сказал это.

— Вместе впятером мы джигитовали и вместе воевали. Мне было 18 лет, когда Кази-Мулла окружил Хунзах и требовал, чтобы ханша перестала дружить с русскими и приняла хазават. Она не хотела. Но я тут в первый раз узнал про хазават и хотел принять его.

— Что такое хазават? — спросил Лорис-Меликов.

Он знал, что значит хазават, но хотел слышать, как понимает это слово Хаджи Мурат.

— Хазават значит то, что мусульманин признает власть над собой только аллаха и тех, кого поставил над ним аллах. Если же он во власти неверных, то должен биться до тех пор, пока не умрет или не освободится.

— Так, — сказал Лорис-Меликов, — как же это было, что ты тогда еще хотел принять хазават?

— А было это так, что тогда в одной стычке я в первый раз убил человека.

— А много ты убил людей на своем веку, — сказал Лорис-Меликов, — сколько?

— А кто же их считал. Но тот человек, которого я убил тогда, был шейх.

— Правду сказать, — помолчав, сказал Хаджи Мурат, — я не стал мюри-

дом тогда оттого, что мне было жить хорошо. Я жил в дворце с ханами. Ханы любили меня, как брата, и ни в чем не отказывали мне. Я провел молодость в бедности, и стал жить в богатстве. «Кто не видал дня, тот дне зажигает свечу», — говорят старики. Так и я, когда попал в богатство старался все еще и еще прибавить

★

Донесение это было получено в Петербурге на третий день рождества, и на другой день граф Чернышев повесил его в своем портфеле в Зимний дворец для доклада Николаю Павловичу. Чернышев, укравший имение настоящего Чернышева, сосланного в каторжные работы за бунт 14 декабря 1825 года, тщеславный, безразличный, наглый человек, естественно, не навидел честного, хотя и придворного Воронцова и всячески, хотя и с осторожностью, старался уронить его во мнении государя, невольно уважающего заслуженного старика, высоко стоящего во мнении всего русского общества. И распоряжение о Хаджи Мурате Воронцова, всегда слишком, по мнению самого государя, ласкающее азиатов и заискивающее у них, можно было представить так, как ошибку, которая была бы еще новым поводом к вызываемому Чернышевым недовольствию государя против Воронцова.

Миновав часовых, ординарцев, флигель-адъютанта, Чернышев оглядел перед зеркалом свой редеющий кок, поставил на место крест на шею и одну большую эполету. Он взял подмышку портфель у адъютанта и, вслед за вышедшим из двери министром внутренних дел, вошел к государю.

Государь в мундире своего полка, — он ехал на смотр, — сидел за огромным заложеным бумагами письменным столом и своими стеклянными, тусклыми глазами тупо смотрел на вошедшего. И всегда полузакрытые глаза Николая Павловича нынче смотрели тусклее обыкновенного, и под ними были синеватые подтеки. Он так же был затянут и выпячивал грудь, но и лицо, и вся фигура его говорили об усталости. И действительно, он с трудом встал нынче в обычное время, так как он заснул только в два часа ночи и долго еще не мог заснуть от волнения.

Причиной этого было то, что в двенадцатом часу ночи он, простившись с женой, пошел не спать, а на свидание, в предназначенную для этой цели комнатку в Зимнем дворце, на свидание с двадцатилетней девушкой, женой гувернантки шведки, которая на маскараде собрания так заинтриговала его и пленила своей белизной, прекрасным сложением и нежным голосом, что он назначил ей свидание во дворе ночью. Она действительно пришла, была еще милее без маски, чем казалась в маске. И она, получив от него обещание обеспечить ее мать, только во втором часу через ту же заднюю лестницу и маленькую дверь, по которой вошла, ушла от него. Он смотрел теперь на входящего Чернышева, ничего не думая, только испытывая некоторую сонливость и желание быть одному. Длинное лицо его с длинными над зачесанными височками и длинным носом, подпертое высоким воротником, из-под которого висел орден, было более обыкновенного холодно и неподвижно. Чернышев тотчас же обратил по движению его бровей, что он был в духе, и решил воспользоваться этим расположением его против Воронцова. Кроме разных распоряжений и следствий над обличенными в воровстве провиантскими чиновниками и перемещениях войск на польской границе, было еще дело о студенте медицинской академии, покушавшемся на жизнь профессора. Все эти и другие бумаги лежали у него на столе, и он передал их Чернышеву. На полях были замечания с грубыми орфографическими ошибками. На последней резолюции о студенте было написано: «*Заказывает смертную казнь. Но, слава богу, смертной казни у нас нет. И не надо вводить ее. Провести 12 раз казнь 1 000 человек. Николай.*»

— Прочти, — сказал он Чернышеву. Видно, очень довольный своим этим мнением. Чернышев прочел и наклонил голову в знак почтительного удивления и потом, взглянув на свою папку, начал докладывать: одно дело о беглом арестанте и суд над офицером, в карауле которого он жил; другое о переименовании полка из 54-го в Нежинский; еще о полке Расоловском, оскорбившем офицера; еще о назначениях и производствах; о благодарности за смотр и,

наконец, о донесении Воронцова о Хаджи Мурате.

Николай Павлович слушал все, держа своими большими белыми руками с одним золотым кольцом на безымянном пальце листы доклада и глядя осовелыми глазами в лицо Чернышева.

— Подожди немного, — вдруг сказал он и закрыл глаза.

— Ты знаешь?

— Знаю, ваше величество.

Чернышев знал, слышав это не раз от Николая Павловича, что, когда ему нужно решать какой-нибудь важный вопрос, ему нужно было только сосредоточиться на несколько мгновений, и тогда на него находило наитие, и решение составлялось само собой, неизменное и самое верное, и ему стоило только выразить его. Так он решил вопрос о студенте, который должен быть прогнан сквозь двенадцать тысяч. Так он решил еще нынче утром вопрос о двух миллионах государственных крестьян, которых он присвоил себе силой, приказав перечислить их в удельные; для того же, чтобы не дать повода всяким вралям ложно перетолковывать это, держать это дело в тайне. Так он и теперь решил дело о Хаджи Мурате и вообще о кавказской войне. О Хаджи Мурате он решил, что выход Хаджи Мурата означает только то, что его, Николая Павловича, план войны на Кавказе уже начинает приносить свои плоды: что Хаджи Мурат вышел, очевидно, оттого, что исполняется его план постоянного тревожения Чечни, сжигания и разорения их аулов. То, что план его еще перед назначением Воронцова в 1845 году был совсем другой; что он тогда говорил, что надо одним ударом уничтожить Шамиля, и что, по его повелению, была сделана несчастная Дагестанская экспедиция, стоившая столько жизней, он должен был забыть для того, чтобы говорить, что его план состоял в постоянном тревожении чеченцев. Но он не забывал этого и гордился и тем планом постоянного тревожения, несмотря на то, что эти два плана явно противоречили друг другу. Лесть, подлость окружающих его людей довели его до сомнения до того, что он не видел своих противоречий, считал себя выше здравого смысла и наивно верил, что ему стоит только помолчать и подумать, и первая мысль, которая взбредет в его

ограниченную и одуренную голову, и будет священная истина, продиктованная ему самим богом. Так он наивно говорил, что в то время, как он сам распорядился повешением пяти декабристов и сам подробно расписал, что и как должны делать войска и барабаны, его любимый музыкальный инструмент, когда подведут пятерых казнимых к виселицам и что тогда, когда их повесят, говорил, что он в это время с императрицей в церкви молился о вешаемых по его приказанию и рецепту. Теперь наитие его кончилось тем, что он сказал:

— Правда, старик слишком возится с этими разбойниками. Надо твердо держаться моей системы разорения жилищ, уничтожения продовольствия в Чечне, и тогда все будет хорошо. Так и напиши ему. О Хаджи Мурате ничего не пиши, а об набегам напиши, что я жду исполнения моих предначертаний.

★

В небольшом укреплении на передовой чеченской линии был в это время воинским начальником батальонный командир Иван Матвеевич Петров, старый кавказец, женатый на дочери фельдшера, красивой, белокурой, бездетной, уже не молодой женщине.

В укреплении стояли две роты, и в одной из них служил разжалованный за побег арестанта в Петербурге молодой гвардеец Горохов. За Марьей Дмитриевной ухаживали все офицеры и все приезжие, и все, зная неприступность Марьи Дмитриевны, ухаживали самым платоническим образом. Только между Гороховым и Марьей Дмитриевной установились отношения более близкие, чем со всеми другими, и Горохов невольно часто сравнивал свои отношения к семье Петрова с отношениями героя из «Капитанской дочки» к семье коменданта, с той разницей, что жена Ивана Матвеевича, Марья Дмитриевна, была для него, по чувствам, которые он к ней испытывал, заодно и капитаншей-матерью и Машей. Он был и благодарен ей за ее материнское попечение о нем и вместе с тем был влюблен в нее, и она знала это, и это было ей приятно, но делала вид, что не только не знает этого, но что этого и не может быть. Горохов был так молод, природа Кавказа так хороша, и сама Марья Дмитриевна, свежая, здо-

ровая, тридцатипятилетняя женщина так добродушно-ласково улыбалась ему своими красными губами, открытая сплошные, блестящие белые зубы, что Горохов, не сознавая этого и горюя о Петербурге, чувствовал себя совершенно счастливым.

Вскоре после его приезда был набег, в котором Горохов в первый раз услышал свист пуль и с радостью почувствовал, что он не только не боится, но ему весело то, что на него смотрят и видят, что он не боится. После набега Иван Матвеевич похвалил его и представил к Георгию. Все это было очень радостно, особенно потому, что при всем этом чувствовалось присутствие и участие милой женщины и происходило среди удивительной по красоте природы.

В первых числах июня Горохов схвативший лихорадку и ночью выдержав пароксизм, вышел из своей квартиры в солдатском домике и направился за хинином к фельдшеру жившему рядом с домом Ивана Матвеевича. Солнце уже вышло из-за гор и больно было смотреть на освещенные им белые мазанки правой стороны улицы, но зато, как всегда, весело и успокоительно было смотреть на во, на удаляющиеся и возвышающиеся, кое-где покрытые лесом черные горы и на матовую цепь снеговых гор как всегда, старавшихся притвориться облаками.

Горохов смотрел на эти горы, дышал во все легкие и радовался тому, что он живет, и живет именно он на этом прекрасном свете. Радовался он немножко и тому, что он такой молодец, так показал себя вчера хорошо, радовался и тому, что он по отношению Марьи Дмитриевны с его толстой косой, широкими плечами, высокой грудью и ласковой улыбкой играет роль Иосифа Прекрасного, радовался тому, что он честный человек, хороший друг Петрова, не хочет жалить ему изменой за его доверие гостеприимство.

★

Хаджи Мурат, посоветовавшись Гончагой, решил, въехав в кусты дать отдохнуть коням. Слезши с лошадей и стругнув их, Хаджи Мурат с своими мюридами села в кустах, они равнили заряды, поели, расстелили бурки и четверо легли, один стоял и

Ночь была темная, соловьи, мешали слушать. Около полудня Хаджи Мурат поднял своих людей и хотел ехать дальше, но Гончаров, главное, Курбан не соглашался. Хаджи Муратом, говоря, что и их не вынесут, не отдохнув. Хаджи Мурат остался. Они дрема-ли, глядя на лошадей, слыша приближающееся к кустам шлепание чмоканье лошадиных ног и голоса людей. Это была погоня. Победа Хаджи Мурата не удалась из-за неожиданной случайности: в то время, как он с своими спутниками, кружил по рисовому полю, жилец аула, Баларджика со-бравшись в этих самых кустах, где и произошли события.

Видя конных, старик спрятался в кусты, только когда верховые выехали в кусты и не могли видеть. Встретив этого старика, Карганов не видел его, не видел он конных, и не сказал, где он их видел. Подъехав к кустам, Карганов окружил их. Хаджи Мурат, услышав шаги и голоса, увидев толпы конных, окруживших его, решил попытаться пробиться из-за них. Но не успел он дойти до кустов, как просвистела пуля, уда-лившись в сук, и началась стрельба по кустам. Хаджи Мурат и его мюриды рассыпались по кустам и стали от-ступать. Из них ни в кого не по-пало ни с первых выстрелов рани-ли только человека. Начинало светать, и были конные и пешие, и Карганов, верхом стоявший позади мю-ридов. Стрельба затихла, и Кар-ганов выехал вперед, закричал:

— Не перебежь всех. Нас много. Не бойся, Хаджи Мурат. Отдайся на милость князя. А то погибнешь.

Хаджи Мурат не отвечал, а из кустов выстреливали винтовки, и под Карганов упала лошадь, и ранило еще одного человека.

— Ну, молодцы, вперед, в шашки, — крикнул своим милици-онерам Карганов. Но милиционеры не двинулись вперед и только наобум продолжали стрелять по кустам.

Хаджи Мурат уже хотел садиться на лошадей и пытаться пробиться из-за кустов. Милиционеры обра-дываясь этому, уже стал растрено-вать коня Хаджи Мурата, когда по-пали крики подъехавших вы-сочайших Каргановым елисуйцев. Их

было человек двести, и вел их Гаджи-Ага, когда-то кулак Хаджи Мурата, живший с ним в горах и потом пере-шедший к русским, с ним же был Ах-мет-Хан, сын врага Хаджи Мурата. Гаджи-Ага выехал вперед и закричал:

— Эй, Хаджи Мурат! Не уйдешь теперь. Сдавайся, или отрубим тебе голову.

— Бери, холоп русских свиней, — крикнул Хаджи Мурат. — Изменник святого дела. Иди! Бери. — И он вы-стрелил, но пуля миновала Гаджи-Агу. И на этот выстрел ответили сотни выстрелов, направленных в кусты по лошадям и людям. Пули, как град, посыпались по кустам и ранили лоша-дей. Одна, разорвав треногу, треща бросилась по кустам, другая зашата-лась.

— Режь лошадей, — крикнул Хад-жи Мурат и, подойдя к своей лошади, заржавшей при его приближении, по-лоснул кинжалом по шее лошади. Кровь хлынула.

Из ямы Хаджи Мурата видно бы-ло врагов, перебежавших от куста к кусту. Им же он был почти не ви-ден. А между тем, он, положив винтовку на край ямы, целил не промахиваясь. Офицер милиции в чер-ной папахе впереди других выскочил из-за куста, желая забежать за сле-дующий, но не успел он сделать ша-га, как винтовка щелкнула, дым пока-зался на полке, и офицер повернулся, зашатался и упал.

Рыжий Гончаго также редко вы-пускал выстрелы даром и всякий раз радостно визжал, когда видел, что пули его попадали.

Как только кто из мирных высовы-вался из-за дерева, он падал или хва-тался за грудь или живот.

Товарищи Хаджи Мурата делали то же. Только Муртазил не стрелял, но, лежа подле Хаджи Мурата, заряжал и подавал ему то свою, то его винтов-ку. Курбан сидел за своей убитой ло-шадью и пел «Ля иллаха иль аллах» и не торопясь стрелял, но не попадал, потому что дурно целил. Сафедин дро-жал всем телом от нетерпения бро-ситься с кинжалом на врагов и стре-лял тоже дурно, потому что смотрел на Хаджи Мурата.

Только Гончаго не пускал ни одного заряда даром.

Первый из мюридов Хаджи Мурата был ранен Гончаго. Пуля попала ему

в руку. Он обтирал кровь о черкеску и продолжал стрелять. Потом был ранен сам Хаджи Мурат. Пуля пробила ему плечо. Хаджи Мурат вырвал из бешмета вату [и] заткнув рану, продолжал целить и стрелять. Когда мирные увидели, что Хаджи Мурат ранен, они радостно завизжали, и Гаджи-Ага опять закричал ему, чтобы он сдавался. Все равно ему не уйти от них.

— Не уйти и вам от меня, — кричал Хаджи Мурат, заряжая ружье.

— Трусые, пьяные мыши, — кричал Балта, не сидя, как другие за лошадью, а перебегая от дерева к дереву и стреляя в нападавших.

— Давай бросимся в шашки, — проговорил Сафедин.

— Погоди еще. Стреляй. — Сафедин взялся за ружье и тотчас же выпустил его. Пуля попала ему в лоб, и он с корточек спустился назад и упал навзничь. Опять мирные, увидав, что убили одного, закричали и закричали, но не решались итти в кусты.

Увидав, что Сафедин убит, Хаджи Мурат велел Муртазилу взять от Сафедина заряды и подать ему. У него уже не оставалось. Муртазил подполз к Сафедину и выбрал. Балта был тоже ранен в шею и, плюя кровью, сидел за кустом. Курбан пел и стрелял медленно и дурно и скоро был убит. Пуля попала ему в грудь. Гончаго вылез из ямы и исчез куда-то. Хаджи Мурат один отстреливался, и неприятели придвигались все ближе и ближе. Еще пуля попала Хаджи Мурату в левую руку, и он опять вырвал кусок ваты и стал, лежа в яме, затыкать рану.

Враги думали, что он убит, и визг поднялся со всех сторон, и человек пять подбежали шагов на десять.

— Убит, убит, — закричали горцы и бросились к яме. Но тотчас же остановились.

Из ямы поднялся весь черный и в крови Хаджи Мурат и из пистолета убил ближайшего. Опять нападавшие остановились. И тут Хаджи Мурат выскочил из ямы и с кинжалом наголо бросился в их середину. Он не успел добежать до врагов, как еще две пули попали в него: в шею и грудь, и он упал.

Он умирал и вдруг понял это. И вспомнился ему его враг, сам высокий, рыжий Шамиль, с своим ложным величием, и сын Магома, и преданный

Сафедин, который с раскрытым, как птенцов, ртом лежал подле него.

«Его воля, алла бисмилла иль хил, — подумал он. — Так надо, так будет», и его охватило торжественное спокойствие.

Все думали, что кончилось. Вдруг его страшная, окровавленная голова, бритая, без папахи, подняв из-за лошади, он поднялся весь замерли.

Смушение нападавших продолжалось недолго. Еще две пули ударил в грудь Хаджи Мурата. Одна попала в один из тех золотых, которые бы зашиты в его бешмет, и отскоком другая попала в сердце.

Хаджи Мурат упал навзничь и не двинулся.

Тогда Ахмет-Хан подбежал и упрямил кинжалом по голове, но сторона не попал по шее, а по черепу, сделав ненужную рану.

Потом он уже наступил на шею свернув левой рукой окровавленную голову набок, совсем отсек ее.

Кровь хлынула из артерий, и плоть головы дернулась и замерла в век.

Вот эту смерть напомнил мне раздавленный репей-татарин на дороге

★

Хаджи Мурат чувствовал, что умирает. Он вспомнил о враге со Шамиле и не почувствовал к нему какой злобы, вспомнил о враге Гаджи Ага, который сейчас только ругал и хочет убить. К нему он почувствовал себя точно так же равнодушным. Вспомнил о сыне и не почувствовал никакой особенной любви к нему, вспомнил Зоронцово, об его власти и блестящих роскоши, и ему стало скучно думать об этом, вспомнил о своей старухе матери Патимат, как она молодая дела под короной и вокруг нее в запахе кизячного дыма и кислого молока, и ему это было приятно. Он думал все это и между [тем] продолжал лгать начатое. Все могучее тело собрало свои последние усилия и, мимо воли его, выскочило из ямы кинжалом наголо бросилось в середину врагов. Одного он зарезал кинжалом, но в это же время две пули попали в него, в шею и в грудь, и упал. Но тотчас его окровавленная бритая голова без папахи опять по-

зад землей, и, опираясь на руки, поднялся весь.

Постоял так недолго и быстро, докошенный, упал на лицо и уже завнулся. Ахмет-Хан подбежал и рвал кинжалом по голове, но сторжен попал по шее, а по черепу, сделавшую рану. Хаджи Мурат не кричал, но еще чувствовал. Его удивляло, зачем его стучат по голове. Но было последнее его ощущение. Не он уже ничего не вспоминал, чувствовал.

Узнав, что он не попал по шее, Ахмет-Хан наступил ногой на шею и, вырвав [ее] и размахнувшись из всех отсек своим большим кинжалом всю кровью голову от туловища. Вырвалась из артерий, и челюсть выдернулась и замерла навеки. Эта-то смерть напомнила мне разный рельеф — татарина — на до-

★

Бутлер был полон той воинственной силой, которой подчиняются все во время войны и к которой особенно тяготеет и величественная и нежная природа предгорьев Кавказа. Его только радовала самая настоящая охота, к которой по временам обязывала его его служба, но его прельщала и вольные, производимые одними офицерами их полка Богдановича набеги и нападения на отдельных солдат. Офицер этот, славящийся в своем кругу своей храбростью, ходил с войском охотниками-солдатами по дорогам и там, засевши за камнями или камнями, выжидал проезжающих горцев и нападал на них, и приноравливал их головы. Бутлер не видал этого, но таинственность и опасность такой охоты на него привлекла его, и он хотел в первый раз, как Богданович пойдет в за-вещание с ним.

Бутлер, как и все военные, был полон тем особенным эгоизмом, который только о себе, и совершенным неведением о последствиях своей деятельности для неприятеля, которые зависят от различных условиях, но все же той опасностью, которой сопровождается на войне всякий участник в ней. Всякую минуту в опасности не только жизнь, но военная слава, честь. Постоянно занят

тем, чтобы не только не струсить, но показать пример храбрости. И это чувство так поглощает всего человека, что уже ему некогда, и он не может думать о неприятеле, о том, от кого он в опасности и на ком проявляет свою храбрость. Это с особенной силой испытывал впечатлительный Бутлер. Он с особенным наслаждением вспоминал последний набег, и никогда ему и в голову не приходила мысль о тех страданиях, которые испытали и испытывали жители аула вследствие этого набега.

★

Фельдфебель 2-й роты вызвал людей на вечернюю зорю. Солдаты в коротких полушубках вышли из казарм и своих домиков, стали лицом на восток, и сильные и звучные мужские голоса песенников стройно пропели «Отче наш». Потом фельдфебель передал отделенным унтер-офицерам полученный от ротного приказ выступить завтра с топорами до зари на рубку леса. Кроме того, выставлять секрет за шах-гиринские ворота. Черед был в эту ночь за 2-й ротой.

— Панов! — крикнул фельдфебель.

— Здесь, — густым басом отвечал отслуживающий двадцать четвертый год, три раза раненный сухой, мускулистый унтер-офицер с щетинистыми усами.

— Авдеев! — крикнул еще фельдфебель.

— Здесь, — отозвался бодрым голосом скуластый, широкоплечий солдат, как гуттаперчевый мальчик вскакивая на ноги.

— Никитин! — продолжал фельдфебель.

— Я, — отвечал ленивым голосом, нахмуренный, с низкими плечами и выдающимися лопатками рябой солдат, дожевывая кусок сухаря.

— Бондаренко!

— Мы, — отозвался с раскрытым ртом и поднятыми бровями кривоногий солдат с хохлацким лицом.

— В секрет за шах-гиринские ворота, — объявил фельдфебель.

— Слушаем, ладно, — отозвался Панов.

— Готов! — крикнул Авдеев.

Никитин не отвечал и только кивнул головой, зная, что фельдфебель видит его.

Через час, когда уже было совсем темно, четыре солдата вышли из укрепления.

★

В то время, как Николай, сидя в литерной ложе Большого театра, любовался в одно и то же время и фрунтовой выдержкой балерин, сразу поднимавших восемьдесят мускулистых обтянутых трико ног, любовался и самыми женскими формами этих балерин, в это самое время сотни, тысячи, десятки тысяч людей — матери, жены, отцы, дети мучались, неся страшные нравственные и телесные страдания по распоряжению этого одного человека.

Томились годами, сходя с ума и умирая от чахотки в казематах крепостей, добрые, образованные, умные лучшие русские люди, виновные в том только, что они хотели избавить Россию от грубого своеволия Аракчеевых и им подобных и, в ущерб своим годам, дать свободу миллионам и миллионам рабов, обращенных в животное состояние бесчеловечными помещиками. Томились и гибли в казематах, острогах, ссылке десятки тысяч поляков, опять лучших людей своего общества, только за то, что они хотели жить соответственно вековым преданиям своего народа, любили свое отечество и готовы были пожертвовать всем для достижения этой цели.

Умирали забитые насмерть палками тысячи людей за то, что они исповедывали веру отцов и не признавали себя перешедшими в ту веру, в которую зачислило их начальство.

Гибли сотни тысяч солдат в бессмысленной муштровке на учениях, смотрах, маневрах и на еще более бессмысленных жестоких войнах против людей, отстаивающих свою свободу в Польше, в Венгрии, на Кавказе. Все это делалось по воле этого одного человека.

Он, несомненно он, был виновником всего этого и он не мог не знать этого, потому что знал, что все эти ужасы делались по его приказанию. Если же что делалось и не по прямому его приказанию, то он мог остановить, прекратить то, что делалось. И если он не останавливал, не прекращал, то он не мог не знать, что он был виновником всех совершавшихся злодейств. Он был, несомненно, виновни-

ком ужасных совершающихся действий и вместе с тем он был искренно уверен, что он не только был злодеем, но был благодеем своего народа и всего человечества самоотверженно служащий и своему народу и всему человечеству. Как было? Как мог установиться в действиях этого человека этот страшный и заставлявший его принимать свою действую жизнь за подвиг самоотвержения и образец добродетели?

Точно таким же великим считался называемый им своим благодеянием его лживый, сластолюбивый жестокий, фарисей, *благословенный* брат, отцеубийца, посредством Аракева забивавший насмерть тысячи людей, говоривший, что он уложит нами дорогу от Чудова до Петербурга прежде чем согласится отступить от нелепой мысли военных поселений точно таким же считал себя его частный и безумный отец, не только такую же, но в сто раз хуже всех людей мира считала себя ужасная — мужубийца, блудница бабка, движимая только тщеславием мерзкой старческой похотью, которую потворствовали и которую восхваляли все окружающие ее.

Точно таким же непогрешимым великим считал себя и глупый негодяй Николай, ошалевший, как и они, от власти и сопутствующей лести и убитый любовниками своей распутной жены. Так же не только стыдились своей гадкой жизнью, гордились ею все те распутные, лживые и безграмотные бабы и девицы, которые царствовали до него по велению Петра.

Когда стоящий в строю с палкой в руке солдат бьет проводника сквозь строй казнимого, нравственно виновность этого солдата почти ничтожна. Если он откажется бить, будут бить. И потому нравственная ответственность солдата, бьющего своего собрата, почти не существует. Офицер, который участвует в таком деле, уже более ответственен. Правда, он потеряет свое обеспеченное сравнительно почетное положение, если откажется участвовать в жестоком деле, но он не подвергается физическому насилию и может найти средства существования, хотя бы и в

его, помимо офицерства. И потому офицер уже более нравственно ответственен, и для того, чтобы участвовать в злом деле, оправдывая себя, должен уже подвергнуться нравственному извращению. Чем выше начальник, чем обеспеченнее его положение, тем легче он может устроить свою казнь, отказавшись от участия в казни, тем он нравственно ответственнее, тем ум и сердце его должны быть извращеннее. Человек же, как госу-

дарь, который ничего не теряет, отказавшись от казни, жестокого, злого дела, и ничего не выигрывает от него, и вместе с тем позволяет, требует, предписывает злые дела, как предписывал Николай казнь студента и тысячи других злых дел, должен быть существом с совершенно извращенным разумом и закаменевшим сердцем.

Таков был в высшей степени и Николай Палкин, как прозвал его истерзанный им народ русский.

---

## Жизнь начинается снова

Еще гремели отголоски боя,  
Еще земля зияла сотней ран,  
Когда разорванным, поспешным строем  
Вошли в село отряды партизан.  
Враг отходил.  
Зловещий блеск пожарищ  
Слепил глаза усталые твои.  
Ты так спешил к себе домой, товарищ,  
И не нашел ни дома, ни семьи!  
Ты понял все.  
Сурово сжались губы...  
Звала работа. Родина звала.  
Везде валялись вражеские трупы,  
Везде росли заботы и дела.  
Еще рвались снаряды у окраин,  
Вот целый дом,  
Хоть рам и стекол нет,  
Но на дверях поломанных хозяин  
Кусочком угля пишет:  
«Сельсовет».  
Вошел и положил на подоконник  
Наган, еще горячий от свинца,  
Обветренной, шершавою ладонью  
Слезу скупую быстро стер с лица.  
И огляделся воспаленным взглядом,  
И кажется, — минуты не прошло,  
Послышались шаги... Все ближе... Рядом...  
И сразу, сразу ожило село!  
Как дорог первый пыл рукопожатий!  
Как мягок взгляд твоих усталых глаз,  
Когда ведут односельчане, братья  
Короткий свой, взволнованный рассказ!  
Еще гремели отголоски боя,  
Но жизнь стояла за твоей спиной,  
Когда, оставив поле боевое,  
Ты начал разговор о посевной.

---

**Воспоминания**

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Воспоминания товарища Аллилуева — положительный фактор в историко-партийной литературе. Воспоминания, или, выражаясь простым слогом, мемуары резко отличаются от аналогичного вида произведений буржуазных «общественных деятелей». И надо прямо сказать: они являются в лучшую сторону. Хотя редко и редко выходит из сферы событий, участником которых он являлся всю его жизнь, умонастроение и переживания столь наполнены идеями рабочего класса, что книга не только приобретает глубокий социальный смысл.

Известительный характер изложения облегчает чтение воспоминаний, хотя они написаны скупой и даже сухой манерой. Но самое главное — это то, что они захватывают читателя своим живым содержанием. Причем, читая в эти воспоминания, читатель словно будет думать, стремясь не только дополнить автора как в обычных описываемых событиях, так и в художественной разрисовке исторических факторов борьбы российского пролетариата. А это я считаю одним из больших достоинств мемуаров товарища Аллилуева.

Воспоминания, например, картину вероломного преднамеренного убийства Кецели в Метехском замке, которую описывает автор. Картина эта полна драматизма. Но революционеры, видя расправу царских сатрапов над пленником, делают все, как было в сражении, чтобы нанести еще больший удар и тем самым

достойно почтить память своего товарища, отдавшего жизнь в борьбе за рабочее дело.

Воспоминания товарища Аллилуева охватывают многочисленные события партийной жизни и революционной борьбы, главным образом в Закавказье, в частности — в Тифлисе и Баку. Но в них, в этих воспоминаниях, нет ничего областного, парцеллярно-локального, оторванного от общей освободительной борьбы российского пролетариата. Поэтому они столь же интересны для ленинградца, как и для тбилисца.

Правда, грузинские меньшевики затратили немало своих усилий, чтобы с самого начала изолировать революционное движение тифлиских рабочих и направить его в узкое и мелкое русло оппортунизма под знаменем буржуазного национализма. Но, как известно, все эти попытки потерпели полный крах. Направляемая товарищем Сталиным и его ближайшими соратниками, революционная борьба тифлиских рабочих и рабочих всего Закавказья уже в те годы развернулась как неразрывная составная часть общероссийской революционной борьбы. И если меньшевики только «представительствовали» на поверхности тогдашней «общественности», поднимаясь, как пена в половодье, то революционные марксисты, руководимые товарищем Сталиным, делали настоящую историю победоносной революции рабочих и крестьян.

Воспоминания товарища Аллилуева не только знакомят читателя с исто-

рией революционного движения в Закавказье, но вместе с тем они облегчают глубокое понимание истории большевизма в целом. Достаточно сказать, что в Тифлисе были такие махровые меньшевики, как Ной Жордания, Рамишвили, Церетели и другие. Борьба с ними товарища Сталина, который возглавлял большевиков Закавказья, была не менее ожесточенной, чем борьба в Питере. Эта борьба формировала и закаляла ленинско-сталинские кадры большевистской партии. Товарищ Аллилуев почти непрерывно находился в самом пекле этой борьбы, отстаивая большевистскую линию среди рабочих масс. Вот почему его простое и, вместе с тем, правдивое описание всего того, что он видел, слышал и делал в те годы, приобретает огромный общественный интерес.

Признаюсь, я читал эти воспоминания с большим наслаждением и получил такое удовлетворение, какого у меня, пожалуй, никогда не было при чтении мемуаров разных «знаменитостей» прошлого. Думаю, что и на других читателей они произведут сильное впечатление.

В частности, наши колхозники достаточно ясно увидят, откуда появились, как формировались и закалялись большевики. На конкретном примере самого автора воспоминаний они увидят, как крестьянская беднота выталкивалась из деревни, лишаясь земли и хозяйства, как из крестьянской бедноты выходили большевики, прошедшие суровую школу борьбы на капиталистических фабриках и заводах.

Наши рабочие найдут здесь историю своего класса, славную историю его борьбы, преисполненную революционным романтизмом.

Широкие массы советской интелли-

генции, студенты и вообще люди, которые изучают марксизм-ленинизм, черпнут отсюда много ярких и страстных к основным теоретическим положениям «Краткого курса истории ВКП(б)». Профессура и преподаватели истории партии, надеюсь, будут называться этим богатым и ценным источником. Для пропагандистов и га товарища Аллилуева станет существенным пособием.

Одним словом, выход в свет воспоминаний товарища Аллилуева надо души приветствовать и пожелать, чтобы нашлись талантливые подражатели его примеру.

Сергея Яковлевича Аллилуева, вероятно, мало знает наша молодежь. А человек он очень интересный. В своих воспоминаниях товарищ Аллилуев называет себя бунтарем. И действительно, я знаю его как бунтаря, только в лучшем понимании этого слова. Бунтарство его всегда носило характер революционно-пролетарского действия, направленного на защиту угнетенных.

Сергей Яковлевич является, как все те люди его поколения, которые до конца остались честными большевиками, практическим строителем коммунистической партии. Всю свою неиссякаемую энергию он отдавал и отдает великому делу партии Ленина-Сталина, сиречь делу рабочего класса и всех трудящихся, борясь и работая всегда с присущей ему смелостью и настойчивостью.

От души желаю товарищу Аллилуеву поскорее закончить свои воспоминания и сделать тем самым еще одно большое дело для партии, для рабочего класса, для всего советского народа.

М. Калинин

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Отец умирал.

Желтый, как воск, с воспаленными глазами, он судорожно метался по кровати, корчился, хрипел. Он был без сознания. Лишь к концу третьего дня отец вдруг пришел в себя и тихо сказал:

— Дети! Где мои дети?

Но нас к отцу не пускали.

— Холера — прилипчивая болезнь, — печально говорила соседка, прию-

тившая нас. — Вот умрет когда, вы дети домой.

В тот же вечер отец умер. Его тело, уложенное в наспех сколоченный гроб, отвезли на кладбище. Мать и молча бросила в могилу горсть земли и тихо, до обиды спокойно, произнесла:

— Вот и остались мы без отца.

Она не плакала.

Но вот могила засыпана, пора у-

ить домой. Мать прижала к себе детей, обхватила руками.

— Сиротинушки... — все так же тихо произнесла она. — И на кого ты нас оставил?! — вдруг громко протянула она и зарыдала. Заплакали и дети. И так, всхлипывая, шли мы по телу — мать и четверо ребят. Старшему было девять лет, младшему — два года.

Потянулись мрачные, голодные дни. Летом мать занималась на поденные работы, зимой обшивала крестьянок. Она работала с утра до сумерек; не разгибаясь, сидела за иголкой. Но прокормить семью все же не могла. Во всем была нехватка. Старшего брата забрал дядя, я подолгу гостил у тетки, сестры матери, проживавшей в соседней деревне. Это выручало мать. С двумя ребятами ей легче жилось.

С тех пор прошло около семи десятков лет. Оглядываясь назад, в далекое прошлое, я вижу родное село, избу с крыльцом, пошатнувшимся от времени, корову Краснуху с белым пятном на спине. Помню, как горько оплакивали мы Краснуху, когда мать, доведенная нищетой до отчаяния, продала ее.

Перед глазами всплывает сельская улица. Посредине села, прочно упираясь в землю, стояла церковь. А дальше, за базарной площадью, в низине, застыл большой и сумрачный пруд, окаймленный ветлами. В знойные летние дни мы, ребяташки, бросались в мутную, покрытую зеленью воду, оглашая воздух звонкими голосами. Частенько после купанья, проголодавшись, мы небольшой слаженной стайкой производили опустошительные набеги на сады и огороды. Особой любовью пользовались у нас сады, приывавшие к нашему двору и принадлежавшие священнику отцу Капитону и хромому дьячку Елисею. В садах было хорошо. Стояла по-особому торжественная тишина. Лишь ветерок, пробегая по вершинам деревьев, лениво шевелил тяжелые ветви. Но как бы лирически ни настраивали картины садов, деревья трясали мы энергично и безжалостно.

Однажды пришел я домой радостный и возбужденный. Мать была уже дома. Увидев мои карманы, наполненные яблоками, она подошла ко мне и дрожавшим от гнева голосом спросила:

— Где ты взял яблоки?

Я попытался соврать, сказал, что мне их дали.

Мать, не сводя с меня глаз, повторила:

— Где ты взял яблоки?

Я понял, что шутить дальше нельзя. Я признался, что лазил в чужой сад и... сорвал. Мать, не говоря больше ни слова, зажала мою голову между ног, стянула с меня штаны и усердно отстегала березовым веником. Я мужественно перенес наказание, но с той поры стал испытывать отвращение к березе.

Часто бродили мы по окрестным лесам, собирали всевозможные ягоды. Я знал все извилистые тропинки, скрытые в зарослях малинника. В конце лета, когда в лесах поспевали дикие яблоки, груши, орехи, мы пропадали там с утра и до захода солнца.

Но неумолимо надвигалась осень. Небо покрывалось тяжелыми, хмурыми тучами. Непрерывно шли дожди, шумел ветер. Становилось холодно.

Осенью 1874 года, восьми лет, вместе со всеми, пошел и я в школу. Здесь было весело и шумно. Во время перемен мы играли, прыгали друг через друга, вели дружеские разговоры. Хорошо было в школе!

Но радости моей скоро пришел конец. Как-то вызвали мою мать в школу и предложили внести деньги за учение. Мать растерянно развела руками.

— Нет денег, — сказала она.

— Без денег учить не можем.

— Не учите.

Ровно через месяц меня перестали учить.

— Почему в школу не ходишь? — удивленно спрашивали меня товарищи.

Я молчал, понуро отходил в сторону. Меня душили горькие слезы обиды. Я страдал от стыда и не хотел сознаться в том, что меня исключили из школы за неуплату денег.

— Чубук, — пренебрежительно говорили ребята. — Чубук и есть!

Когда ударили первые морозы, мать упросила дьячка Елисея учить меня грамоте. Учил Елисей по псалтырю и заботился больше всего о том, чтобы я никогда не лазил в чужие сады и питал почтение к старшим.

Зима оказалась для меня самым трудным временем. На моих еще не окрепших плечах лежало тяжелое бре-

мя — помогать Елисею по хозяйству и запастись топливом для нашей избы. Ежедневно я отправлялся в лес, собирал сухой валежник и вязанку за вязанкой тащил домой.

Изредка и зимой выпадали счастливые дни. Это бывало во время первых заморозков, когда пруд покрывался слоем льда. Я носился по гладкой, прозрачной броне пруда, вызывая зависть у своих сверстников. Одетые в овчинную одежду и валеную теплую обувь, они стояли на берегу, боясь двинуться на тонкий еще лед. Но пример был заразителен, и они один за другим, сначала робко, затем все смелее, спускались с берега. Тонкий лед, не выдержав тяжести, начинал злое ще трещать. Тогда я командовал:

— Ложись!

Я опускался на лед и медленно полз к берегу, увлекая за собой ребят.

Весной мать нанялась на работу в имение помещицы Трежесковской, в четырех верстах от нашего села. Туда же она забрала меня и моего младшего братишку. Вскоре из Москвы приехали дети помещицы. Ее старшая дочь Юлия изъявила желание заниматься с ребятами, не посещавшими школы. Таких набралось человек десять. Собирались мы в помещицьем саду, в беседке, укрытой густой зеленью.

Нашу учительницу часто навещал ее жених, помещик Деев. Это был молодой, красивый человек. Он окидывал взглядом беседку, удивленно пожимал плечами, постоянно задавал один и тот же вопрос:

— Долго вы будете обучать их?

— Погуляйте в саду, — отвечала учительница.

Деев терпеливо ожидал.

В июле, в один из воскресных дней, госпожа Трежесковская с дочерью отправились в церковь к обедне. Во время службы Юлия заметила, что на нее пристально смотрит молодая деревенская женщина с большими черными глазами. Юлия заинтересовалась ею и узнала, что она солдатка и зовут ее Малашей.

Однажды Юлия встретила с солдаткой. Малаша рассказала ей, что вскоре после ухода мужа в солдаты у них пала лошадь. А тут приближалась весна — нужно было готовиться к пахоте. Свекровь надумала сходить к Дееву и попросить у него помощи.

Деев, выслушав слезную просьбу старухи, обещал помочь. Потом, будучи вспомнив о чем-то, заметил:

— Да, вот что. В начале мая приезжает ко мне мать. Ей нужна горничная. Ты пришли-ка невестку, а уж землю подниму.

Старуха поблагодарила барина за милость и ушла.

Через несколько дней конюх Деева привел на крестьянский двор мерина Деверь Малаши, Захар, приняв лошадь, растерянно обратился к Малаше:

— Уж ты тово, послужи барину. Ты видишь, какого мерина он прислал нам — прямо ветер!

Свекровь, провожая сноху, сокрушенно напутствовала:

— Чует мое сердце, что не уберешь себя. Да делать нечего, голод стучит к нам!..

Едва Малаша прибыла в имение, Деев начал приставать к ней. Малаша сопротивлялась. Тогда Деев вызвал ее ночью к себе, запер дверь и ключ положил в карман...

В конце лета старая барыня уехала в Москву, затем уехал и Деев. Малаша, отслужив обусловленный срок, вернулась к свекрови. А через день тот же конюх увел обратно в имение мерина.

Юлия выслушала рассказ Малаша и ничего не сказала. Прошло некоторое время, и по имению Трежесковской разнеслась весть: Юлия покончила жизнь самоубийством.

Так внезапно, и на этот раз печально, закончились мои занятия с третьим по счету педагогом.

Вскоре после этой грустной истории с нами, детьми слуг помещицы, произошел комический случай. Как всегда, в усадьбе заготавливали всевозможные варенья и ягодные наливки. В большом амбарном помещении мылась и выпаривалась посуда, из огромных в плетенках бутылей прямо на двор вытряхивалась ягода от прошлогодних наливок. Когда работницы ушли обедать, мы набросились на ягоды, как воробьи на просо. К нам не замедлили присоединиться домашние животные и птица. Вернувшись с обеда, работницы были поражены необычным зрелищем. У амбара валялись в неподражаемых позах дети и что-то бессвязно бормотали. По всему двору бродили, падая и поднимаясь, гуси, утки, куры. Старый

Кротатый козел неестественно прыгал: молодой медвежонок, привязанный на цепь, то скулил, то яростно рычал и рвался, пытаясь приблизиться к ягодам. Все были навеселе.

Работницы спешно принялись скрывать следы своей оплошности. Награждая каждого увесистым пинком, они вывели нас на задний двор, за копошню. Туда же пригнали козла и вьсть опьяневшей птицы.

Осенью мы с матерью вернулись в все село. Здесь обучать меня взялся

местный грамотей, землемер-самоучка, уже четвертый по счету учитель. Но вскоре началась русско-турецкая война, и землемер, как запасной солдат, был мобилизован в действующую армию и отправлен на фронт.

Мобилизация вызвала всеобщую панику. По селу начался плач и причитания. Голосили матери, жены, сестры, малые дети. Сами мобилизованные крепнулись, скрывали свое горе, подбадривая себя заунывными песнями да водкой.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Летом 1878 года мать отвезла меня на Дон, в станицу Урюпино — ныне город Урюпинск Сталинградской области. Она определила меня мальчиком в магазин галантерейных товаров купца Гавриила Гавриловича Гремячевского.

Мой приезд в станицу совпал с окончанием русско-турецкой войны. У донского казачества существовал старый обычай: возвращаясь из военного похода, каждый из них считал своим долгом привезти родным и друзьям подарки. Мужчинам — отрез материи на мундир или заготовки на сапоги, женщинам — обувь, платье, богатую шаль, полушалок или нарядный платок.

Местные купцы, прослышав об окончании войны, задолго до возвращения казаков готовились к бойкой и прибыльной торговле.

Мой хозяин не имел особых шансов на бойкую торговлю: галантерейные прилавки не привлекали внимания казаков. Соседа-купцы добродушно шутили над Гремячевским, советуя приобрести побольше разноцветных дамских панталон.

— Хорошо пойдет этот товар! — говорили они.

Но Гремячевскому было не до шуток. Войдя как-то утром в магазин, он окинул взглядом полки, заставленные дамскими шляпами, перчатками, лентами, кружевами, пуговицами, гребнями, заколками, и сказал:

— Так, брат, мы с тобой не наторчем! Надо новые товары завезти. Верно, Сережка?

— Верно, — подтвердил я. — Нужны новые товары!

— А как ты думаешь, какие? — лукаво взглянул на меня купец.

Не подумав, я выпалил:

— Иконы, Гавриил Гаврилович!

— Иконы? — удивленно повторил купец. И, неожиданно обрадовавшись, добавил: — А ведь и верно, иконы сейчас пойдут. После войны это, пожалуй, ходкий товар.

Вскоре Гавриил Гаврилович уехал в Москву за новыми товарами. Там он закупил иконы, кресты, металлические хоругви.

Гремячевский не прогадал: казаки складчину покупали божественные товары и как дар преподносили местной церкви.

— Ты вырастешь человеком коммерческим, — говорил мне Гавриил Гаврилович, подсчитывая барыши. — Ты, брат, с большим соображением!.. В нашем торговом деле без соображения нельзя: хочешь бойко торговать — думай, соображай. Вот как!..

У Гремячевского я прослужил три года. Время тянулось медленно и однообразно. Каждый день повторялось одно и то же: выполнял мелкие работы по хозяйству, зазывал покупателей, слушал сплетни да пересуды хозяйской родни.

Жизнь была нестерпимо скучная. Как избавиться мне от магазина, от скупой и сварливой хозяйки, от этой серой и однообразной жизни? Уйти? Но куда? Что я умею делать? Как прожить?

Жить бы мне у купца Гремячевского долго-долго, если бы не поскандалил я с хозяйкой. А вышло это так. Однажды рано утром, когда на дворе еще было совсем темно, хозяйка разбудила меня.

— Воды принеси, — сказала она, —

самовар раздуй, помои вынеси, дров накопи!

— Все?

— Пока все, — вполне серьезно ответила она, — когда сделаешь, скажи. Работы хватит!

— Это я знаю, — одеваясь, сказал я. — У вас всегда работы хватит.

— Что? — вдруг багровея, спросила хозяйка. — Что ты сказал?

— Что слышите.

— Ах ты, сукин сын! — вскрикнула хозяйка и схватила меня за волосы. — Ты с кем же разговариваешь?!

Мне стало больно. Я вырвался из ее рук и, показывая кулак, предупредил:

— Не подходите, убью!

Пораженная хозяйка вытаращила глаза и вдруг завопила на весь дом:

— Спасите, убивают!

В тот же день я сложил свои нехитрые вещи в узелок и с первым поездом отправился в Борисоглебск, куда незадолго до этого перебралась моя мать с сестренкой и младшим братом. Они покинули село после того, как пожар уничтожил нашу избу.

В Борисоглебске жизнь текла ровно и неторопливо. Днем торговали многочисленные магазины и лавки, лениво дымили паровые мельницы и маслобойный завод, изредка со станции доносились гудки паровозов. По вечерам, когда зажигались редкие огни, на главной улице начиналось гулянье. Сотни людей медленно двигались по мостовой, шурша подметками. А над улицей, над гуляющими, сгущаясь, клубилась пыль.

Мать моя служила прислугой у местного доктора. Я же, по протекции доктора, поступил подручным приказчика в магазин бакалейных товаров.

В магазине я пробыл недолго. Однажды в базарный день хозяин, присмо-

тревшись к моей работе, всплеснул руками:

— Ты что, разорить меня хочешь?

— Почему? — непонимающе спросил я.

— Почему, почему!.. — зло сказал хозяин. — Если стоят весы, так, по-тоному, надо отвечать товары точно?

— А как же?

Хозяин пожал плечами.

— Или ты притворяешься, или тебя учеником еще держать надо. — Потом хозяин оглянулся и, убедившись, что его никто из посторонних не слышит, зашептал: — На пуд фунт не довесь, на фунт—золотник. Неужто тебя этому прежний хозяин не обучал?

— Я обманывать никого не буду! — решительно заявил я.

— Да разве это обман? — удивился хозяин. — Так испокон веков ведется. И тебе нечего артачиться!..

Приказчик, не умеющий обманывать покупателей, обвешивать и обсчитывать их, хозяину не нужен. Я это понял и ждал со дня на день увольнения.

И день этот наступил. Как-то вечером, после ужина, хозяин перекрестил лоб и сказал мне:

— У нас с тобой разные характеры. Не сойдемся, видать. Покинь магазин.

— Ладно, покину...

— Покинешь? — недоверчиво переспросил он.

— А что же делать? Покину!

Хозяин, видимо, обрадованный тем, что я спокойно принял весть об увольнении, с чувством сказал:

— Люблю честных людей, сильно люблю!

Коммерсант из меня не вышел. Надо было искать другую работу.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мне повезло. В мае 1882 года я поступил в Борисоглебские мастерские Юго-Восточной железной дороги. Меня направили учеником слесаря в паровозоремонтный цех.

Первые шесть месяцев я получал ежедневно по десять копеек. А рабочий день начинался с шести часов утра и кончался в шесть с половиной часов вечера.

Зимой в мастерских было очень хо-

лодно: чугунные печи, стоявшие там, тепла почти не давали, зато все время дымили.

В обеденный перерыв изнуренные рабочие садились вокруг печек и, давясь дымом, закусывали. Неохотно перелбрасываясь словами, съедали свои завтраки и вновь становились к станкам. К концу дня рабочие изнемогали от усталости. Когда долгожданный гудок возвещал окончание смены, лю-

валили инструмент и, не умы-  
ли, брели домой. Они валились на  
и спали до утра. И так каждый

шкам было совсем туго. Рабо-  
ы также по двенадцати с поло-  
часов, получали же около трех  
в месяц. А угол и стол обхо-  
ь в семь рублей. Мать и сестра  
ивали из своего скудного зара-  
эту разницу — четыре рубля —  
вали мне. Через два года я стал  
ить пятьдесят копеек в день.

ез пять лет, в 1887 году, я  
ил срок своего ученичества. К  
времени я уже зарабатывал  
в день. Жить стало легче!

Борисоглебск с его базарной  
адью, вечно покрытой густым  
пылью, с его тихим и скучным  
м мне надоел. Я решил по-  
ь счастья в другом месте, побы-  
в крупных городах, посмотреть  
их людей. Дождавшись весны, я  
принял путешествие по земле  
мой.

Первым городом, в котором я оста-  
лся, был Елец. По внешнему ви-  
ду благоустройству он ничем не  
отличался от Борисоглебска. В нем  
были такие же узкие улочки с не-  
высокими домиками, наполовину врос-  
шие в землю, такая же пыльная пло-  
щадь. Жизнь здесь шла так же раз-  
но. Поработав полтора месяца в  
местных железнодорожных мастер-  
ских, я направился дальше — в Мо-

скове у меня не было ни одно-  
законного. Несколько дней я бро-  
дил по людным и шумным улицам,  
испытывая жуткий и растерянный.  
На третий вечером я познакомился с каким-  
то человеком, казавшимся рабочим.  
Я спросил его, не знает ли он, где  
можно найти работу. Не отвечая на  
вопрос, он в свою очередь спро-

Ты откуда приехал?

Сказал, что из Ельца.

Из Ельца? — повторил он. —  
Плохо там?

Плохо. В мастерских плата ко-  
пейная, а день длинный.

— Тут еще хуже! — сокрушенно  
сказал рабочий. — Работы нет, а  
если найдешь — не обрадуешься.  
Здесь жили бы таянут похлеще, чем в  
Ельце.

Что оставалось мне делать? Я по-

ходил еще денек по Москве, полюбो-  
вался ею и... поехал в Ковров. Отту-  
да рукой подать до Нижнего-Новго-  
рода. Не долго думая, я пустился в  
дальнейший путь.

Так, путешествуя по земле русской,  
я видел жизнь рабочего люда. Жили  
люди всюду одинаково. Тот, кто рабо-  
тал, кто добывал уголь и нефть, кто  
водил паровозы и пароходы, кто де-  
лал одежду и обувь, — сидел голод-  
ный, в нетопленной квартире, разде-  
тый и разутый. А богатство все, добы-  
тое трудом рабочего и крестьянина,  
прожигали хозяева, которые сами не  
работали.

В Нижний-Новгород я приехал в  
разгар всероссийской ярмарки. Я бро-  
дил по ярмарке среди разношерстной  
и разноязычной толпы и изредка при-  
слушивался к разговорам. Говорили  
все больше о торговых делах, о при-  
бывающих баржах с товарами, о це-  
нах. Какой-то парень, окруженный  
однолетками, с восторгом рассказывал  
о том, как в трактире танцевала голая  
женщина.

— Хорошо там, где нас нет! —  
вдруг отчетливо донеслось до меня. Я  
оглянулся и увидел двух пожилых  
мужчин. Я подошел к ним. Оказалось,  
что они приехали в Нижний искать  
работу. Но работы не было. Один из  
них предлагал ехать дальше, на юг, а  
другой возражал.

— Там что, другая страна, что  
ли? — спрашивал рабочий с длинными,  
желтыми от табачного дыма уса-  
ми. — Куда ни пойдешь — все Ра-  
сея. Она велика, Расея, да толку в  
ней мало. Пойдем домой! — решитель-  
но заключил он.

Разговор этот, понятно, меня не  
обрадовал. В тот же день я сел на па-  
роход и направился в Уфу, где, по  
моим расчетам, находились главные  
мастерские Самаро-Златоустовской же-  
лезной дороги — в то время началь-  
ной магистрали новостроящегося вели-  
кого сибирского пути.

В Казани я пересел на другой па́ро-  
ход, шедший по Каме и Белой до  
Уфы. Я стоял на палубе и смотрел на  
грузчиков, заканчивавших погрузку  
парохода. Внизу, на пристани, мета-  
лись люди. Одни доставали билеты,  
другие закупали продукты на дорогу,  
третьи прощались. Прошел, шепеляво  
напевая какую-то грустную песенку,  
слепой старик с босоногим мальчиком-

поводырем. У билетной кассы, вытянув вперед левую руку, сидела молодая женщина с ребенком. Женщина была прикрыта разноцветными лохмотьями. Придерживая правой рукой ребенка, она непрерывно повторяла:

— Подайте Христа ради!

Мимо нее проходили люди — мужчины и женщины, взрослые и дети, и никто не подавал ей. Нищих было так много, что на них не обращали внимания.

— Куда путь держишь? — вдруг раздался чей-то голос. Я оглянулся. Рядом со мной, облокотившись на перила, стояли три человека.

— В Уфу, — обрадованный возможностью познакомиться с людьми, ответил я.

— Уфимский или так, впервые едешь? — спросил один из них, высокий человек, с лицом, покрытым дряблой кожей.

— Впервые. Хочу поискать счастья в уфимских мастерских.

— Та-ак, — протянул высокий человек. — И мы люди рабочие. Едем в Златоуст. — Потом подумал и живо добавил: — Позволь, а какие же мастерские ты ищешь в Уфе-то?

— Как какие? Главные, Самаро-Златоустовской дороги.

Высокий человек засмеялся.

— Так ведь не в Уфу тебе ехать, — сочувственно сказал он. — В Кинель. Мастерские-то в Кинели.

Я стоял, ошарашенный этой неожиданной вестью.

— Что же теперь делать? — растерянно спросил я.

— Садись на другой пароход, доезжай до Самары, а там — Кинель рядом! — посоветовали мне новые знакомые.

Продав с их помощью за полцены билет до Уфы, я сел на тот же пароход, на котором ехал из Нижнего. Как только пароход отошел, я встретился с молодым человеком, конторщиком управления Самаро-Златоустовской железной дороги. Разговорились. Услышав о том, как меня отговорили ехать в Уфу, он рассмеялся.

— Мастерские находятся в Уфе, а не в Кинели, — сказал конторщик.

«Зачем же они обманули меня?» — подумал я. Вспомнив, с какой готовностью они взяли у меня билет до Уфы, я понял, в чем дело. Чтобы избавиться от лишнего конкурента и

выручить товарища, не имевшего денег на дорогу, они направили меня другую сторону, выманив тем самым за гроши билет.

Повидимому, мне суждено было тешествовать. Пароход шел полным ходом, величественно разрезая волны. По берегам, спускаясь к самой воде, стояли, тесно прижавшись друг к другу, огромные деревья. Мы ходили новым знакомым по палубе и любовались чудесной русской рекой.

— Красиво! — не отрывая взгляд от ровной глади воды, произнес конторщик.

— Красиво! — подтвердил я.

Помолчали. Потом конторщик так сказал:

— Слышь, друг. Ты помочь мне можешь?

— Если в силах буду, помогу. От чего не помочь!

— Я еду из отпуска, понимаю, издержался в пути. Дай до Самары три рубля — есть хочется.

Я дал. Конторщик сразу же накупил себе продуктов.

Когда мы прибыли в Самару, конторщик пригласил меня остановиться у его родных. Я с большим удовольствием и радостью принял приглашение, потому что мои средства подошли к концу.

Утром я отправился бродить по Самару в поисках работы. Мои попытки не увенчались успехом. Надо было двигаться дальше, на восток, в Уфу. Мой новый знакомый достал мне проездной бесплатный билет, и я после трех дней пребывания у гостеприимного попутчика выехал из Самары в Уфу.

В Уфу я приехал, как поменяется! в конце июля. Был праздничный день. Оставив на хранение багаж у стационарного сторожа, я отправился знакомиться с городом. Уфа представляла собой грязный и невзрачный город. Я брел по улицам, заставленным обеих сторон одноэтажными деревянными домами, вышел на базарную площадь, покрытую грязью, отбросами и лужами. На площади были расставлены торговые ряды и трактиры. Все было одинаково!

Я купил себе хлеба и печенки и пошел в первый попавшийся трактир. Трактир был полон людьми всех возрастов и профессий. Эта обездоленная масса, собравшаяся из разных мест

искала работы на сибирском  
Но свободных рук было больше,  
надо. Не находя работы, люди  
свали все, что имели, чтобы хоть  
время утолить голод. Многие были  
сты и разуты. Свои давно не мы-  
тела они прикрывали грязным  
м.

устроился у буфета за маленьким  
шюком, потребовал себе два ста-  
чая и стал закусывать. Ко мне  
шел один из посетителей тракти-  
попросил табаку на папиросу. Я  
положил ему выпить чаю и заку-  
. Оказалось, что он тоже рабочий-  
арь, приехал, как и многие другие,  
нать свое счастье на новой доро-  
е в течение месяца не может по-  
ть работы.

ром я отправился к проходным  
там. Там стояла толпа безработ-  
ожидая начальника мастерских.  
омтрелся. Кругом были усталые,  
ожденными лицами люди. Вдруг  
ле мелькнуло знакомое лицо.  
был тот самый высокий человек,  
рый направил меня в Кинель. Я  
и было подойти к нему и пожу-  
ь, но тут появился начальник ма-  
ских. Толпа заволновалась. На-  
дик беспомощно развел руками.

— Работы нет, — сказал он. — На-  
прасно ходите сюда!

Я стоял в стороне и, когда началь-  
ник, кончив беседу, направился в кон-  
тору, догнал его. Он с неудоволь-  
ствием и досадой остановился. Я, то-  
ропясь, рассказал ему о своем затруд-  
нительном положении, попросив дать  
мне хотя бы временную работу, чтобы  
иметь средства и вернуться об-  
ратно на родину. Начальник, хмуро  
выслушав меня, потребовал справку с  
места прежней работы. Он бегло про-  
бежал бумажку и, возвращая ее, пред-  
ложил:

— Приходи завтра в контору. Офор-  
мим в паровозный цех.

Радости моей не было границ.

В ноябре наступило время призыва.  
Я выехал в Новохоперск и там пред-  
стал перед призывной комиссией.  
Меня внимательно выслушали, осмо-  
трели и забраковали по состоянию здо-  
ровья.

Я вернулся в Борисоглебские ма-  
стерские. Много городов объехал я,  
много мест исходил. Передо мною  
расстилалась огромная, беспредельная  
страна. Повсюду я видел нищету,  
страдание, горе. Тяжело жилось тру-  
дющемуся человеку!

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Летом 1890 года я познакомился с  
Юхим-слесарем Москвичевым. Это  
пожилой человек с жесткими гу-  
ми бровями, нависшими над глаза-  
мными и живыми. Москвичев бы-  
л на Кавказе и часто рассказывал  
об этом благодатном и теплом  
е. Однажды он неожиданно пред-  
стал:

- Поедем в Тифлис! Поедем, а?

- В Тифлис? Что там делать?

- Поедем! Работу найдем! — уве-  
риво заявил Москвичев.

Мысль о поездке в Тифлис меня  
влекла. Днем и ночью я бредил  
вразом. Я уже мысленно путешест-  
вовал по нему, взбирался на горы,  
дышал ароматный воздух кавказских  
гор.

Ждал я в это время вместе со ста-  
рой матерью. Услышав о предпола-  
гаемой поездке, она стала усиленно  
говаривать меня. Мать была увере-  
на, что Кавказ — это дикий край. По-

мню, как она меня, взрослого, двадца-  
тичетырехлетнего парня, пугала горца-  
ми, будто бы способными среди бела  
дня резать человека. Я смеялся, го-  
ворил матери, что все это вздор, чья-  
то выдумка. Она обиженно пожала  
плечами и сказала:

— Вся земля об этом знает, а ты  
будто и не слыхал.

Действительно, правительство не-  
устанно прививало такие взгляды на  
Кавказ, чтобы тем самым оправдать  
свою жестокую и кровавую политику,  
проводившуюся там.

Но никакие уговоры не могли меня  
удержать. Меня тянуло на Кавказ, как  
перелетных птиц тянет на юг, к солн-  
цу...

Да и спутник мой, Москвичев, то-  
ропился. Ему тоже хотелось скорее вер-  
нуться на юг. Он страдал запоем и  
потому боялся тронуться в путь один.

В августе мы, наконец, выехали во  
Владикавказ. В пути Москвичев запыл.

Во Владикавказе нам пришлось задержаться на несколько дней до полного отрезвления Москвичева, и как только он пришел в себя, мы пустились в путешествие по Военно-Грузинской дороге до Тифлиса.

Суровая природа Кавказа произвела на меня сильное, незабываемое впечатление. Вдоль дороги тянулись величественные, с сверкающими под солнцем снежными вершинами горы. Горы, нагроможденные в хаотическом беспорядке, были местами покрыты густой щетиной лесов. В глубоких ущельях, меж отвесных гранитных утесов, стремительно и с шумом мчались горные реки.

В Тифлис мы прибыли на шестой день. Здесь мы разыскали Осинникова — нашего общего знакомого по Борисоглебским мастерским. Он помог нам найти квартиру, дал живообразно немного денег и весело напутствовал:

— Желаю счастья!

Москвичев вскоре поступил слесарем в ремонтно-паровозный цех железнодорожных мастерских, я — в токарный.

Мне дали пробу — заделать раковины у вновь отлитого и обработанного паровозного цилиндра. Во время работы ко мне подошел мастер токарного цеха Карл Христианович Блюмберг — высокий плотный старик с густой, во всю его широкую грудь, бородой. Он постоял некоторое время возле меня и вдруг стал браниться. Ему показалось, что я разделал слишком большие гнезда внутри цилиндра. Потрясая своей широкой бородой, он кричал:

— Сапожник! Тебе сапоги латать надо, а не в цехе работать! Смотри, что ты наделал, — испортил внутреннюю часть цилиндра!..

Я вспылил:

— Сапожник не я, а тот, кто отливал цилиндр.

В самом деле, цилиндр был отлит отвратительно. Он походил на решето.

Мастер уставился на меня своими серыми глазами.

— Так... — многозначительно произнес Блюмберг. Затем круто повернулся и ушел, дымя сигарой, которую он почти никогда не выпускал из своего густо заросшего рта.

Едва мастер скрылся из виду, ко мне подошли двое рабочих — Шалы-

гин и Жабин. Они пожурили меня: горячность и сообщили, что литейный бригадир Плотов — виновник бракованного цилиндра — является близким приятелем и протеже Блюмберга. Плыгин и Жабин в заключение сказали, что я напрасно стараюсь и трачу время, все равно мне придется уйти, и тому что Блюмберг не потерпит так дерзости. Перспектива остаться (работы мне не улыбалась, да и профессиональная гордость не позволила бросить начатое дело).

Через два дня принимать цилиндр пришли помощник мастера токарного цеха Эргард и помощник мастера паровозного цеха Пшидборский. Они показали, что дефекты нового цилиндра после заделки раковин не так существенны, и цилиндр приняли. Вскоре явился и Блюмберг, более дружелюбно и заинтересованный в признании пригодности цилиндра, отлитого его другом. Узнав, что цилиндр принят, он меньше меня обрадовался. Не выходя из рта сигары, похлопал меня по плечу и добродушно сказал:

— Ну, хорошо, молодец, а грубияну мастеру не полагается.

Гнев сменился на милость, и я остался работать в Тифлисских железнодорожных мастерских.

Токарный цех находился в старом низком и тесном помещении. По всему цеху были тесно расставлены станки, приводившиеся в движение общими трансмиссионным валом при помощи ремней и шкивов. Вдоль стен стояли верстаки с тисками допотопной конструкции. Здесь работали слесари.

Цех никогда не отапливался. Зимой в нем было холодно, повсюду гуляли сквозняки. Освещался цех тысячами керосиновыми лампами; из-за ветра врывающегося в помещение, лампы всегда коптели. У каждого станка так же находилась керосиновая коптилка трубчатой горелкой. Копоть наполняла цех удручающим смрадом.

Рабочий день здесь продолжался десять с половиной часов. Но, по правилу, два-три часа приходилось работать сверхурочно — в мастерских шли заказы со всей Закавказской дороги. После двенадцати — четырнадцати часов работы, бывало, возвращаешься домой разбитый, вялый. Итти куда-нибудь сил не хватало — не успеешь лечь в постель, как уже слышишь гудящий в мастерские.

особенно тяжело было осенью. По-  
ж Дидубе, в котором жило боль-  
шинство рабочих, не имел ни моще-  
е улицы, ни тротуаров, ни освеще-  
е. По вечерам поселок погружался в  
ронцаемую темноту. На работу  
мы по непролазной грязи, по-  
ая то и дело в ямы и глубокие  
и.

мастерских заняты были главным  
изом люди пришлые. Среди рабо-  
е было мало грузин. Часть рабочих  
еяла из осевших солдат, окончив-  
е срок службы в войсках местных  
визонов. Мастерами работали пре-  
ещественно иностранцы.

работе прошло около двух лет.  
ной 1892 года у меня произошел  
редной конфликт с мастером Блюм-  
гом. Вышло это так. В прежнее  
мя на каждом предприятии имелось  
сколько рабочих, выполнявших фун-  
ии ябедников-шпионов. Мастера вся-  
ки поощряли таких людей, прибли-  
или к себе, принуждая их доносить  
всех недовольствах правилами внут-  
него распорядка, строгостью цехо-  
ого начальства и так далее. Люди с  
дой, рабьей душой имелись, конеч-  
и в Тифлиских мастерских.

Как-то после получки, сидя с това-  
рами в духане за бутылкой вина, я  
чем-то возбужденно заговорил. Один  
товарищей обратил внимание на то.  
ю столяр вагонного цеха Стрекалов,  
девший за соседним столом, с на-  
еженным вниманием прислушивается  
нашему разговору. Товарищ, понизив  
еос, сказал, что он его знает как  
искала и соглядатая при мастере ва-  
онного цеха Неймане и что его надо  
сасаться. Через несколько минут  
рекалов встал из-за стола, прошел к  
уфету и, возвращаясь обратно, оста-  
овился у нашего стола. Я спросил  
ю, что ему нужно. Усмехаясь, Стре-  
калов ответил, что хочет послушать  
жные речи. Мне не понравилась его  
одлая улыбка, и я дал ему пощечи-  
у. Он оторопел, растерялся, потом  
просил:

— За что ты ударил меня?

— Сам знаешь, за что дают поще-  
шну...

Стрекалов сконфуженно повернулся  
покинул духан.

На другой день меня вызвал в свою  
юторку Блюмберг. Он набросился на  
меня, стал кричать, что я грубиян, по-  
ил рабочего вагонного цеха. Здесь

же находился и мастер Нейман. Когда  
Блюмберг немного утихомирился, я вы-  
разил удивление, что Нейман взялся  
за неблагодарную роль расследовать  
скандалы, возникающие в духане меж-  
ду выпившими людьми.

Нейман побагровел. А Блюмберг,  
вызвав табельщика, сказал, указывая  
на меня:

— Запишите этому грубияну штраф  
три рубля!

Посоветовавшись с товарищами, я  
штраф не принял и взял расчет. Вско-  
ре я выехал в Батум.

Батум — очень красивый город. С  
одной стороны его обступают горы, с  
другой — море. Волны ударяются о  
прибрежные скалы, дробясь и превра-  
щаясь в мельчайшие брызги. Шипя и  
пенясь, обессиленные и раздробленные,  
они убегают обратно, в пучины мор-  
ские.

В Батуме я поступил слесарем в ме-  
ханический цех завода Ротшильда, из-  
готовлявшего жестяные банки для ке-  
росина и деревянные ящики для упа-  
ковки банок.

Однажды в одном из цехов заба-  
стоvalа бригада слесарей по наладке  
и ремонту станков. Один из рабочих,  
Продонов, изменил своим товарищам и  
вышел на работу. Но в одиночку Про-  
донов не мог справиться со всеми  
станками. Тогда мастер Май пришел в  
наш цех и стал уговаривать пойти ра-  
ботать вместе с Продоновым. Заме-  
нить бастующих никто не согласился.  
Увидев меня, мастер Май обрадовался.

— Ты что, новичок?

— Да.

— Хорошо, — мастер вплотную при-  
двинулся ко мне. — Ты понимаешь,  
плохой народ пошел: нужно работать,  
а они, видишь ли, бастуют. Плохо де-  
лают.

Я молчал, продолжая свое дело.

— Пойдем ко мне в цех. Там тебе  
прибыльная работа найдется, — пред-  
ложил Май и взял меня за руку.

Я отвел его руку и, пытаясь казать-  
ся спокойным, сказал:

— Не могу и не хочу быть со-  
общником Продонова.

— Сообщником? — взвизгнул ма-  
стер и, безжалостно коверкая русские  
слова, продолжал: — Сообщник не хо-  
чешь быть? Продонов — умный че-  
ловек, культурный, у него голова  
есть...

— Ну, пусть он и работает у вас.

Мастер вдруг остыл и, глядя на меня в упор, сокрушенно и сочувственно заговорил:

— Ах, молодой человек, как жаль тебя. С таким характером ты угодишь в Петропавловку.

Я в то время совершенно не был искушен в политике, и слова мастера меня смутили.

— Смотри же... — многозначительно добавил Май.

— Мне и смотреть нечего. В Петро-

павловку сажают преступников, а я преступник.

— Ну, знаешь, сделать преступником можно каждого, — сказал Май ушел.

В Батуме начались непрерывные дожди, и у меня появились приступы злокачественной малярии. Отношения мои с мастером обострились, болезнь изматывала, настроение было подавленное и я, никому ничего не сказав, оставил Батум.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

В начале ноября я уже вновь работал в Тифлисских железнодорожных мастерских. Пока я был в Батуме, в токарный цех поступило несколько новых рабочих, прибывших из Центральной России. Один из них, Федор Майоров, был человеком развитым, он много читал, следил за рабочим движением в Западной Европе. Майоров познакомил меня с Федором Афанасьевым. Механик Афанасьев был активным участником революционного движения. Все свои силы он отдавал организации рабочего люда. Этот человек обладал неисчерпаемым запасом энергии.

На вид Федору Афанасьеву можно было дать лет тридцать, хотя было ему значительно меньше. Большой, сутуловатый человек с бледным лицом и горящими глазами, он казался сухим и неприветливым. Но едва он начинал говорить, как от всей его немного сумрачной фигуры, от его слов веяло теплом.

С Федором Афанасьевым мы быстро сошлись, я приходил к нему запросто, как к товарищу, и до ночи слушал его рассказы. Здесь, в комнате Афанасьева, впервые в мою голову закрались сомнения в правильности существовавшего на земле порядка. Просто, убедительно развивал свои мысли Афанасьев. Русский рабочий живет плохо. Эту жизнь надо улучшить. Но как? Хозяин, капиталист, добровольно не согласится поступиться хотя бы копейкой из своих прибылей. Значит, надо силой заставить его. Но один рабочий ничего не сделает. Его скрутит приказчик, его побьет полицейский, суд его посадит в тюрьму. Что же остается делать? Объединиться и дру-

жно всем вместе бороться против капиталистов. Сначала надо разбить царя, войска и полицейских, поддерживать капиталистов. Справившись с царем, то есть с самодержавием, мы сможем уничтожить и капиталистов.

Афанасьев в Тифлисе не сидел сложа руки. Однажды он познакомился с конторщиком из железнодорожных мастерских. Разговорились. Оказалось, что оба хотят учиться, читать. Чтобы быть все время вместе, решили поселиться в одной квартире. К ним присоединился солдат Рохлин, отбывший военную службу. И вот сдружившаяся тройка сняла квартиру на окраине города, в полуподвале Красногорской улице. К трем друзьям-товарищам приходили гимназисты-студенты и изредка рабочие мастера.

Здесь читались и обсуждались книги народнического характера и, главным образом, беллетристика. Иногда завязывались оживленные споры социально-политические темы.

Помню, как-то вечером зашел я Афанасьеву. В комнате сидел высокий, плечистый молодой человек. Что-то читал.

— Познакомься, мой сосед по квартире, — сказал Афанасьев.

— Ты его в мастерских-то не видел? Он там конторщиком служил. Конторщик кивнул головой и продолжал читать. Читал он ровно, четко, лишь сильно окая. Кончив читать, стал рассказывать, как пешком он пробирался в Тифлис.

В Одессе, работая грузчиком, он познакомился с молодым грузином, назвавшимся князем. Князь был в бедственном положении: по его словам,

кто-то обокрал, и теперь он не может вернуться домой. Грузчик решил помочь ему. Он сказал, что доведет его до Крыма, а если там не удастся попутчика для князя, то и в Тифлиса. Прошли Крым, миновали Кавказ, пошли по Военно-Грузинской дороге. Князь мечтал:

«Приду домой, где был? Путешествовал! В баню пойду... ага! Ест же много... ах, много! Скажу матери — очен хачу ест! Скажу отцу — рады мэнэ! Я видэл мыного горя! Жизнь видэл — разный! Босяки очен проший народ! Встрэчу когда, дам соль, павэду в духан, скажу — пей во, я сам был босяк! Скажу отцу о тэбэ... Вот человек, был мэнэ как проший брат... Учил мэнэ».

Рассказывал конторщик мастерски, дело, то и дело вставляя в ткань повествования диалоги, народные слова выражения:

«Еще издали, верст за пять, я увидел столицу Кавказа, сжатую между двух гор. Конец пути! Я был рад чему-то...»

Стемнело. Город зажигал огни. Это было красиво: огоньки постепенно, один за другим, выпрыгивали откуда-то во тьму, в которую спрятался город.

«Слушай! Ты дай мэнэ этот башлык, чтоб я закрыл лицо... а то узнают мэнэ знакомые, может быть...» Я дал башлык. Мы идем по Ольгинской улице.

«Видишь станцию конки — Вейский мост? Сыди тут, жди! Пожа-рста, жди! Я зайду в адын дом, рощу товарища про своих, отца, мать...»

— Ты недолго?

«Сэйчас! Адын момент!»

Он быстро сунулся в какой-то темный и узкий переулок и исчез в нем — всегда».

Молодой человек кончил рассказывать, вдруг поднялся со стула и, поднимая мою руку, сказал:

— Мы так и не познакомились. Как ваша фамилия?

Я назвал.

— А моя Пешков. Алексей Пешков! — внятно повторил он. Спустя много лет, в тюрьме, кто-то из товарищей дал мне книжку Максима Горького. Читая рассказ «Мой спутник», я вспомнил молодого конторщика и его рассказ о том, как он вместе с князем пробирался в Тифлис.

Знакомство с Федором Афанасьевым и его друзьями начало пробуждать у меня интерес к общественной жизни. Я потянулся к книге, стал прислушиваться к спорам и сам начал принимать в них участие. Это было время, когда в Тифлисе, как и по всей стране, начиналась острая борьба между народниками и марксистами.

В декабре 1892 года в токарном цехе возник первый кружок. Его создал Федор Майоров. В кружок, помню, входили: Майоров, Жданов, Рогачев, Ленге и я. Федор Афанасьев снабжал нас книгами.

Занятия в кружке меня увлекали. Передо мною открывался широкий и просторный мир. Читая новые, ранее не известные мне книги, слушая беседы и рассказы Афанасьева и Майорова, я учился лучше и зорче вглядываться в жизнь, вдумываться в события, происходившие в цехе, в мастерских, связывать какое-нибудь маленькое, казалось бы личное, дело с общим делом своего класса.

Поворот в сознании, ломка старых привычек и представлений произошли у меня, понятно, не сразу. Постепенно, день за днем, под впечатлением книг и бесед с товарищами, под непосредственным впечатлением суровой жизненной школы, у меня стали появляться мысли о необходимости борьбы с существующими порядками. Из одиночки-бунтаря, не способного подчинить свои действия определенной идее, я вырастал в сознательного участника общей борьбы рабочего класса.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Наступила для меня третья по счету весна. Повсюду слышался веселый гомон птиц. Бурно и шумно нес свои воды Кура, опоясывающая Тифлис. Повсюду появился ярко-зеле-

ный покров травы. Хорошо весной на Кавказе!

В апреле мы, члены кружка, решили вырваться из смрадной атмосферы цеха: сговорились, что каждый из нас

пригласит с собой по одному товарищу. Составилась группа в десять человек. В ближайший воскресный день мы выехали поездом до станции Авчалы, находящейся за несколько километров от Тифлиса.

Мы взяли с собой продукты, кое-кто по бутылке вина. Один товарищ, как бы случайно, захватил пару книжек о рабочем движении в Западной Европе.

Расположились на небольшой поляне, окруженной молодыми деревьями. Горный воздух был наполнен чудесным ароматом трав и цветов.

Федор Майоров вынул из кармана книжку и начал читать про себя. Кто-то предложил читать вслух. Это заинтересовало всех. Затем Майоров заговорил о рабочем движении в европейских странах, о первомайском празднике. Незаметно в беседу втянулись все. Каждый стал приводить примеры бесправного положения рабочих, тяжелых, каторжных условий труда. Потом речь зашла о мастерских, о порядке в отдельных цехах, о произволе мастеров.

Помню, Иван Рогачев рассказал о том, что бригадир обойного отделения Котельников, при благосклонном попустительстве мастера вагонного цеха Неймана, открыто, у всех на глазах, расхищает ценные материалы: парусину, клеенку, ковровую обивку, дорожки.

— Все об этом знают, — сказал Рогачев, — и мастер знает и начальник цеха. Но молчат. У самих совесть нечиста.

У меня появилась мысль описать эти воровские проделки и сделать карикатуры на Котельникова и Неймана. Мое предложение всем понравилось. Уже через несколько дней по мастерским от рабочего к рабочему переходил небольшой журнальчик, изображавший воров и их покровителей.

В том же году осенью наш кружок выпустил прокламацию-листовку, написанную от руки и оттиснутую на примитивном гектографе в нескольких десятках экземпляров. Помню, с каким волнением сочиняли мы первую прокламацию. Писал ее Федор Майоров; он прочел нам ее, по нашим указаниям изменил некоторые слова и торжественно сказал:

— Ну, теперь можно печатать!

Кто-то переписал прокламацию, потом сделали первый оттиск.

— Замечательно! — радостно произнес Федор Майоров, обводя всех своим взглядом. — Смотрите, как получается!..

Эта листовка, наивная по содержанию, произвела на нас огромное впечатление.

Рано утром, когда рабочие направлялись в мастерские, они увидели расклеенные на стенах листовки. А на завтра поздно ночью к Майорову и мне явились жандармы.

Это было мое первое знакомство с жандармами. Вели себя они корректно, обыскав квартиру и ничего не найдя, миро раскланялись и ушли.

Обыск, произведенный жандармами, побудил нас усилить конспирацию. В мастерских возникло несколько новых кружков. Чем больше становилось кружков и кружковцев, тем сильнее возрастала наша осторожность. Прежде чем кого-либо вовлечь в кружок, мы тщательно выясняли, что собой представляет человек, прощупывали его со всех сторон и лишь после этого приглашали на занятия.

Мы сами были еще недостаточно подготовлены, подчас вопросы рабочие ставили нас в тупик, но наши беседы начинали пользоваться большой популярностью, особенно среди грузинской молодежи, получившей с первой половины девятых годов большой доступ в мастерские.

Так в труде шло время. В 1893 году я женился; в июле следующего года родился сын Павел, а через два года родилась дочь Анна.

Я обжился в Тифлисе. С каждым днем моя собственная судьба все теснее переплеталась с судьбой огромного рабочего коллектива мастеровских.

Мы с Майоровым вступили в марксистский кружок, созданный Федором Афанасьевым. Кружок объединял машинистов и помощников машиниста депо Тифлис. Кроме нас двоих, в кружке занимались Строганов, Маругин, Идзиковский, Скородумов, Иванов и Малиновский. Мы регулярно собирались и читали «Капитал» Маркса.

Как-то во время занятий товарищи предложили мне перейти из мастерских на работу в какое-либо депо. Было мое удивление, кто-то из товарищей сказал:

— Не удивляйся, Сергей. В Тифлисе достаточно нашего народа, а на д

никого нет. Придется всерьез  
встать за работу.

В то время мы узнали о существовании в Тифлисе социал-демократической организации «Месаме-даси». Рабочие-грузины рассказывали нам о лучших статьях, появлявшихся в тифлисской газете «Квали» («Борозда») и принадлежавших членам «Месаме-даси». Чем занималась эта организация, какова была ее сущность, какие цели она преследовала, мы толком не знали. Имея о «Месаме-даси» довольно смутное представление, мы, рабочие-грузинцы, тем не менее надеялись, что социал-демократическая организация, встав прочно на ноги, серьезно возьмется за работу на предприятии города.

Ты поезжай на дорогу, — напутствовали меня товарищи, — а здесь покажут себя образованные марксисты.

Почему не поехать? Поеду! — Я уже и начал готовиться к отъезду в июне девяносто шестого года, в последний до одурения день, я получил назначение в депо станции Михайловныне Хашури, на должность помощника машиниста.

Станция Михайлово представляла собой небольшой железнодорожный узел. Отсюда, кроме главного пути Закавказской железной дороги, шли две ветки: одна к курорту Боржом, другая в сторону — древний город с полуразрушенной крепостью.

Минеральные воды Боржома вывозились в Россию и за границу. Вывозились также лесные материалы. Для успешных разработок лесных богатств была построена узкоколейная железная дорога от Боржома до местечка Бакуриани.

Вдоль дороги один за другим возникали санатории.

А в Михайлове, в стороне от санаториев и курортов, на зыбком болоте находился рабочий поселок, вечно окутанный туманом. В поселке тучами носились малярийные комары. Скрыться от них не было никакой возможности. Все жители болели малярией. Не избежали этой участи и мы — вся моя семья. Сильно страдал от малярии третий мой сын — Федор, родившийся в Михайлове.

В депо я проработал более двух лет. Мне пришлось ездить на двухтрубных четырехцилиндровых паровозах системы Ферли с двумя самостоятельно вращающимися тележками. Эти паровозы специально обслуживали горный участок Сурамского перевала с крутыми подъемами и закруглениями.

Несколько раз я пытался организовать в депо кружок, но мне это не удавалось. Зато часто я беседовал с рабочими, читал им книги, а иногда газеты.

В девяносто восьмом году, окончательно обессиленный малярией, я переквалифицировался помощником машиниста в депо Тифлис.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Скоро после переезда в Тифлис я познакомился с рабочими-грузинами Григорием Телия и Ваном Стура. От них я подробно узнал о деятельности «Месаме-даси». Они рассказали, что внутри этой организации происходит борьба, что против руководителя «Месаме-даси» Ноя Жордания выступают молодые члены организации. Основной состав «Месаме-даси» — Ной Жордания, Григорий Ниношвили, Исидор Рамишвили, Карло Чхеидзе, Петр Гелейшвили и другие — отстаивает мирную революционную пропаганду марксизма, союз рабочих с либеральной буржуазией, сотрудничество грузин-рабочих с грузинами-буржуа и воспекает прогрессивность капитализма. Другая часть «Месаме-даси», значительно меньшая по составу

и более молодая по возрасту, наоборот, говорит о необходимости иметь нелегальные революционные газеты, поднимать рабочий класс не только против самодержавия, но и против капиталистов, считает, что рабочий класс должен быть руководителем революционной борьбы и что ни о каком единстве грузин-рабочих с грузинами-буржуа не может быть речи.

В те далекие годы имя Ноя Жордания было окружено ореолом истинного борца за дело рабочего класса. Понятно, что для нас, рабочих, слабо разбирающихся в марксизме, выступления против Ноя Жордания и его взглядов казались необычайно смелыми и дерзкими. Помню, с каким жгучим интересом и любопытством расспрашивал

я об именах смельчаков, рискнувших поднять свой голос против Жордания, Рамишвили, Чхеидзе. Мне назвали три имени — Александра Цулукидзе, Владимира Кецховели и Иосифа Джугашвили. Так впервые я услышал о трех друзьях-товарищах, положивших начало революционной марксистской социал-демократии в Закавказье.

Особенно интересным человеком, по рассказам Георгия Телия, оказался самый молодой из этой тройки — Иосиф Джугашвили. Сын горийского сапожника, он рано познал нужду. Когда Иосифу исполнилось восемь лет, его отдали в духовное училище.

Как только Иосиф попал в училище, он сразу пристрастился к книгам. Он любил читать, беседовать о прочитанном с товарищами, пересказывать содержание книг. Чем больше он читал, тем понятнее становилась ему жизнь на земле. Одного лишь не понимал он: чем занимался бог. Создал землю, людей, жизнь? Но, читая книги, Иосиф понял, что жизнь началась сама по себе, без чьей-либо помощи. Чем же, в таком случае, занимается этот старец, именуемый богом?

Иосиф обратился к своему товарищу Владимиру Кецховели с вопросом:

— А как ты думаешь, есть ли бог?

Владимир пожал плечами.

— Трудно сказать. Почитай вот книгу — многое поймешь! — и он протянул Иосифу книгу Чарльза Дарвина.

Иосиф прочел Дарвина. Захлопывая книгу, он сказал самому себе:

— Так я и знал. Бога нет!

Закончив училище, Иосиф переехал в Тифлис — в духовную семинарию. Ему хотелось учиться, проникнуть в тайны науки, стать образованным человеком. А здесь его пичкали сведениями о пресвятом духе и о том, на каком языке заговорила валаамова ослица. Видя, что занятия в семинарии ему многого не дадут, Иосиф доставал книги о Галилее, Копернике, Дарвине и тайком читал их. Он запоем читал литературу о Великой французской революции, Парижской Коммуне, по истории России.

Иосиф познакомился и близко сошелся с русскими революционерами, сосланными на Кавказ. Он вошел в их среду, получал у них запрещенные книги, с увлечением слушал их рассказы.

Однажды, будучи в городской библиотеке, Иосиф достал «Капитал». На завтра он привел в библиотеку товарищей и вместе с ними стал переписывать книгу. Переписывали они долгие чередуясь и помогая друг другу. Наконец, переписав «Капитал», они по вечерам изучали его.

В 1896 году, шестнадцати лет, Иосиф создал в семинарии первый марксистский нелегальный кружок. Через год в Тифлис приехал, скрывшись от надзора полиции, Владимир Кецховели. Он одобрил затею Иосифа предложил свою квартиру для занятий кружка.

Допоздна засиживались кружковцы у Кецховели. Затаив дыхание, слушали они увлекательные беседы о рабочем движении, о революционерах России, о Ленине.

Иосиф очень любил стихи. Сидя однажды у Владимира, Иосиф сказал:

— Тебе нравится Пушкин?

— Очень.

— А Руставели?

— Конечно, нравится.

Иосиф подумал немного, затем сказал:

— Скажи, когда ты читаешь книги великих поэтов, у тебя не появляется желание самому писать стихи?

Владимир посмотрел на товарища.

— А ты... ты пишешь?

— Пишу! — зардевшись, ответил Иосиф.

— Ты почитай мне. Помнишь нашу зусту?

— Помню.

Иосиф начал читать стихи, которые напечатаны в газете «Иверия» под подписью Сосело. Читал он ровно и рошно, четко произнося каждое слово. Неожиданно он воодушевился, протер руку и громко произнес:

И знай, кто пал, как прах, на земле  
Кто был когда-то угнетен,  
Тот станет выше гор великих,  
Надеждой яркой окрылен.

Закончив читать, Иосиф сказал:

— Видишь, слабые стихи.

— Мне нравятся, — заметил Владимир. — Все, что служит освобождению рабочего класса, хорошо. А твои стихи помогут нам в нашей борьбе.

У Кецховели Иосифу было хорошо. Но, возвратившись в семинарию, он чувствовал, что она, вся ее обстановка давят его.

Иосифа часто вызывал к себе ректор семинарии монах Серафим.

— Ну, все буянишь? — сверля Иосифа глазами, спрашивал монах. — Умный юноша, очень умный, но непокорный. Смотри, отобьешься от ста-

Иосиф не ладил с начальством. Ему не был простор, свет, а в семинарии была тяжелая, гнетущая обстановка. Иосиф не скрывал своего недовольства. Он высмеивал начальство, не выполнял его приказов.

По обычаю, в великую пятницу семинаристов оставляли без пищи. Из семинарии уйти тоже никуда нельзя было, а есть хотелось. Как быть? Семинаристы обратились к Иосифу. Тот, подумав, собрал со всех деньги и уверенно сказал:

— Сейчас будем обедать.

Иосиф подошел к служителю, о чем с ним пошептался. Не прошло и пяти минут, как у семинаристов появились булочки с копченой колбасой.

— Только смотрите, чтоб не заметили! — предупредил служитель. — И чтоб пищи не погибли.

— Не бойтесь, друзья, — сказал Иосиф, аппетитно поедая колбасу. — Не пропадут наши души.

Едва он произнес эти слова, как в комнату вошел слуга ректора семинарии. Слуга сразу же удалился и вскоре вернулся вместе с ректором. Но колбаса была уже съедена, и семинаристы, как ни в чем не бывало, мирно беседовали о пользе религиозных праздников.

Особенно к Иосифу придирался инспектор Абашидзе. Он писал на него доносы, часто обыскивал его ящик, пытаясь обнаружить незволенные книги. Однажды Иосиф так увлекся книгой, что не заметил, как к нему подкрался Абашидзе. Тот налетел, выхватил книгу и злобно произнес:

— Что, попался?!

Но Иосиф вырвал книгу обратно. Инспектор рассвирепел.

— Разве ты не видишь, с кем имеешь дело?

Иосиф протер глаза.

— Вижу перед собою черное пятно, и больше ничего.

Георгий Телия, красочно, со всеми подробностями описавший мне жизнь молодого семинариста, закончил:

— Теперь он у нас кружок ведет. Приходи, интересно!..

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Иосиф Джугашвили, или, как его называли рабочие, Сосо, начал руководить кружком в железнодорожных мастерских недалеко от моего возвращения в Тифлис. Кто-то из товарищей, кажется Ваню Стурца, с восторгом рассказал о первой встрече Сосо с рабочими. То и дело заглядывая в маленький листок с заметками, Сосо говорил:

— Вот стоит захотеть рабочим, и станоятся мастерские, не пойдут поезда. Хозяева, конечно, помчатся в полицию, к губернатору, те пришлют войска и заставят рабочих снова нести свой каторжный труд. Значит, не только против хозяев-капиталистов, не только против помещиков, а против всего строя, против царизма должен вести борьбу пролетариат.

Но чтобы бороться против самодержавия, надо организоваться. Как это сделать? Сначала надо создать кружки по всем заводам, из кружков самые лучшие, крепкие, смелые рабочие войдут в организацию, которая должна

руководить и кружками, и забастовками, и всем революционным движением. Такая партия уже есть — это партия рабочего класса, марксистская социал-демократическая рабочая партия. Нужно объявить себя ее членами и на деле, своей работой и борьбой доказать, что мы достойны ее.

Кружковцы Георгий Телия, Прокофий Долидзе, Георгий Лелашвили и другие были очень довольны своим пропагандистом. Беседы он вел на популярном и понятном для них языке. Он рассказывал о значении организации сил рабочего класса, о стачечной борьбе, терпеливо разъяснял все трудные вопросы.

Однажды во время беседы Сосо весьма нелестно отозвался о Ноее Жордания. Никто в то время не позволял себе вслух высказывать такое резко отрицательное мнение о руководителях «Месаме-даси». На другой день один из кружковцев сообщил о выступлении Сосо организатору кружка. Тот передал об этом Сильвестру

Джибладзе, рекомендовавшему молодого пропагандиста. Джибладзе провел сообщение. Многие кружковцы, несмотря на популярность Жордания, встали горой за своего пропагандиста, и инцидент был исчерпан. Постепенно рабочие свыклись с резкими критическими выступлениями пропагандиста против того или иного лидера большинства «Месаме-даси». Так, разногласия, раздиравшие тифлисскую социал-демократическую организацию, были перенесены в кружки, в мастерские на обсуждение рабочих.

Мне также захотелось встретить трех молодых революционеров, послушать их, побеседовать с ними. К этому времени я был переведен из депо в железнодорожные мастерские слесарем токарного цеха.

По-иному выглядела теперь революционная работа в мастерских. Кружки уже не являлись разрозненными единицами; они составляли часть социал-демократической организации, работали по единому плану. Во главе кружков стояли Иосиф Джугашвили, Сильвестр Джибладзе, Миха Цхокая, Александр Цулукидзе, Владимир Кецовели, Михо Бочоридзе. Не разбираясь во всех деталях споров и борьбы, происходивших внутри «Месаме-даси», многие рабочие мастерских инстинктивно чувствовали, что правы молодые революционеры, что права меньшая, молодая часть «Месаме-даси».

Между тем разногласия внутри «Месаме-даси» становились все большими, заходили все дальше. Однажды члены «Месаме-даси» собрались в редакции газеты «Квали». Владимир Кецовели — друзья звали его Ладом, — выступивший одним из первых, заявил:

— Мы считаем, что должна быть организована нелегальная типография для печатания грузинской революционной газеты. Надо расширить число рабочих кружков и начать организованные выступления рабочих, забастовки и демонстрации. Свыше двух десятков кружков уже создано.

— Кто вам разрешил это самоуправство? — перебил его Ной Жордания.

— Революционная необходимость, — ответил Ладом. Помолчав, Ладом затем добавил:

— Значит, вы против нелегальной газеты? Ну, что ж! Мы ее сами создадим.

И друзья демонстративно покинули редакцию, вызвав гнев и возмущение всего собрания.

Сосо, исключенный из семинария, работал в это время в Тифлисской физической обсерватории, а Ладом поступил в типографию Хеладзе. Сдружившись с рабочими типографии, он начал печатать там небольшие книжки — «История куска хлеба», «Кто чем жавет», «Сон и явь».

Сосо, просматривая книжки, сказал:

— Все это, конечно, очень хорошо, но этого недостаточно. Нам нужна собственная типография!

— Ты прав, Сосо. Но будет и своя типография.

Шли дни, и я мало-помалу становился активным членом организации. Я познакомился с высланными из России социал-демократами Иваном Лузиным, Ипполитом Франчески, Клавдией Коган, Анной Красновой, встречался с ними, постоянно беседовал. У них я впервые всерьез познакомился с учением Маркса и Энгельса как с теорией революционной партии.

Однажды в токарном цехе я встретил нового рабочего. Это был невысокий человек лет двадцати пяти с простым лицом, с глазами, умно и лукаво смотревшими из-под густых бровей. Повидимому, я засмотрелся на него, потому что вдруг услышал его деланно суровый голос:

— Чего смотришь, узнал разве?

— Нет, не узнал, — торопливо ответил я, собираясь уходить.

— Значит, незнакомый? — вдруг улыбнувшись, тепло спросил молодой рабочий.

— Значит, незнакомый! — улыбнулся и я.

— Давай знакомиться — в одном цехе работаем! — сказал рабочий и протянул мне руку. — Калинин. А тебя как зовут?

— Аллилуев.

О питерском рабочем Михаиле Ивановиче Калининe, сосланном в Тифлис за участие в петербургском «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса», я слышал от Лузина и Франчески. Прежде чем попасть на Кавказ, Михаил Иванович около десяти месяцев просидел в тюрьме. В тюремной камере он много читал, вел большую переписку, следил за жизнью фабрик и заводов Петербурга. Передавали, что

Переписка доставила немало хлопот жандарму, специально приставленному проверять его корреспонденцию. Уграмотный жандарм, с трудом разбиравший в смысл писем, подолгу разговаривал с ними и, наконец, не выдер-

— Ты поменьше писал бы, — сказал он, — а то умучился, читавши твои письма...

— Ну, какое дело, — ответил Калинин, — ты читай поменьше письма, тогда легче будет, не утруждай себя напрасно.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Выступила весна. Окрестные горы покрывались мягкой шелковистой травой, в деревьях появились молодые побеги. В середине апреля нас, кружковцев, повестили о предстоящем в следующем воскресенье первомайском митинге. Судя по тому, как тщательно и энергично готовилась маевка, видно было, что организует ее знающий, опытный руководитель. В самом деле, маевка — не кружок. Если в кружке участвовало десять человек, то на митинг предполагалось вывести несколько сот рабочих. Дело большое, новое, необычайно сложное. Несмотря на сложный характер подготовки, никто из начальства в мастерских ничего не знал.

Сосо Джугашвили, ставший во главе всей подготовительной работы, помог группе рабочих выбрать место для маевки, проверил их выбор и одобрил. Одному из товарищей, художнику-самоучке, он предложил изготовить красное знамя. На знамени были нарисованы портреты Карла Маркса и Фридриха Энгельса, написаны лозунги на русском, грузинском и армянском языках.

В субботу двадцать второго апреля, накануне маевки, нам сказали, чтобы рано утром мы направлялись группами по два-три человека за казачью деревню, в сторону монастыря Святого Антония, где нас встретят товарищи, знающие место маевки. Я шел на митинг с двумя товарищами. Выйдя за город, в горы, мы встретили пикетчика. Он взглянул на нас и спросил:

— Пароль?

Мы сказали пароль.

Пикетчик указал нам тропу. Было темно. Изредка тут и там мелькали огоньки — у пикетчиков, как и у коммюнистов, обычно в такую рань направлявшихся в монастырь, были фонари. Мы вышли к Соленому озеру, расположенному в двенадцати верстах от Тифлиса.

Здесь, у Соленого озера, в стороне от дороги, ведущей в монастырь, собралось человек пятьсот. Солнце поднялось из-за гор. Растаяла легкая дымка предутреннего тумана. Люди оживились и, никем не сдерживаемые, взволнованно заговорили. Многих я узнал. Здесь были рабочие из мастерских, депо и других предприятий Тифлиса.

Внезапно по древку взвилось пламенеющее под солнцем знамя с портретами Маркса и Энгельса и призывными лозунгами.

Запели «Марсельезу», и эхо песни отозвалось далеко в горах:

Отречемся от старого мира,  
Отряхнем его прах с наших ног!

Песня нарастала, поднималась все выше и выше:

Нам не нужно золотого кумира,  
Ненавистен нам царский чертог.

Звонко, словно птицы, вырвавшиеся из тесных клеток на простор, пели все эти люди. Песня их нарастала, становилась грозной:

Мы пойдем в ряды страждущих  
братьев,  
Мы к голодному люду пойдем,  
С ним пошлем мы злодеям  
проклятья,  
На борьбу мы его поведем.

А в вышине, колеблемое ветром, развевалось красное знамя. Взволнованные люди украдкой, чтобы не видели соседи, то и дело смахивали невольно навертывавшиеся на глаза слезы радости и торжества.

Но вот песня затихла, и кто-то возвестил начало митинга. Первое слово получил молодой черноволосый человек с резко очерченным смуглым лицом. Окинув взглядом народ, он вытянул вперед руку и горячо, страстно заговорил. Это был Сосо Джугашвили. Он говорил о том, что Первое мая — праздник пролетариата, когда

рабочий класс всего мира демонстрирует свою сплоченность и готовность к будущим боям. Восстановить его речь невозможно. Он бросал слова сильные и огненные. Слушая Сосо, каждый из нас испытывал какое-то особое, непередаваемое волнение.

Трудно было измерить подъем и воодушевление, охватившее людей. Со всех сторон послышались возгласы:

— Да здравствует Первое мая!

— Долой самодержавие!

Вслед за Сосо говорил Ваню Стуруа, Михо Бочоридзе и Захарий Чодришвили. Их речи, подготовленные ими под руководством Сосо, явились гневным протестом против грубого произвола хозяев, против жестокой эксплуатации рабочих.

Возвращались мы с маевки счастливые, полные решимости бороться и победить.

После маевки борьба между большинством «Месаме-даси» и революционным меньшинством разгорелась с новой силой. В Орточалах, на Бере и в саду близ железнодорожной станции Авчалы состоялось несколько конспиративных собраний актива тифлисской социал-демократической организации. На собраниях выступали сторонники обеих групп. Чувствовалось, что Ной Жордания все дальше уходит от революционной борьбы, от марксизма. Мы, рабочие, на собственном опыте убеждались в том, что мирным путем, без ожесточенной борьбы свою жизнь не улучшишь. Вот почему мы шли за грузинской революционной молодежью и ссыльными революционерами.

Споры начались и у нас в мастерских. Однажды вечером у Захария Чодришвили собралась группа рабочих. Здесь, помню, были М. Бочоридзе, В. Стуруа, Н. Выгорбин, В. Бажанов и А. Аравишвили. Разговорились о «Месаме-даси». Большинство из нас придерживалось взглядов Сосо Джугашвили и его группы. Лишь Арчил Аравишвили с пеной у рта отстаивал позицию Ноя Жордания.

— Что сейчас главное? — спрашивал Арчил. — Конечно, не забастовки. Нужно создать легальные кружки, воскресные школы, обучать в них рабочих. А уж потом, когда рабочие достигнут необходимого для этого уровня в своем развитии, их можно будет вести на забастовки.

— За такую теорию буржуазия тебе спасибо скажет, — проговорил Ваню Стуруа. — Ты понимаешь, что ты говоришь?

— Понимаю, очень понимаю! — Арчил начал горячиться. — Я сам рабочий, я хорошо знаю свой народ — грузинский народ не может сейчас устраивать забастовки.

— Почему?

Арчил зло посмотрел на Стуруа.

— Почему? — повторил он. — Потому, что он не захочет! — И дальше Арчил заговорил о том, что русские ссыльные — это люди, не знающие местных условий, не понимающие душу грузинского народа.

Особенно гневно говорил Арчил о грузинской революционной молодежи.

— Это беспочвенные мечтатели, думающие переделать мир. Они молоды, задорны. Когда подрастут, они утихнут и станут, как все.

В это время к Чодришвили пришел Сильвестр Джибладзе. Сильвестр снисходительно улыбнулся и, указывая на Арчила, изрек:

— Вот вам образец рабочего, обладающего здравым смыслом. Берите пример с Арчила, не увлекайтесь беспочвенной революционностью.

— Это не беспочвенная революционность, — заговорил молчавший до этого Захарий Чодришвили, — это дело, нужное рабочему. Да, рабочему! — решительно повторил Захарий.

Энергичный, решительный, скромный, Чодришвили являл собой прекрасный пример беззаветного служения рабочему классу. Ради революционного дела, ради своего класса он шел на любые жертвы, брался за любую, самую трудную и опасную работу. Замечательный организатор-пропагандист, он обладал способностью подчинять своему влиянию широкие массы, поднимать их на борьбу. Захарий Чодришвили — создатель подпольных типографий, организатор первых рабочих кружков, сторонник и активный помощник революционного меньшинства «Месаме-даси» — Цулукидзе, Кецохели и Джугашвили.

— Ты так думаешь? — после некоторой паузы спросил Джибладзе, обращаясь к Чодришвили...

— Уверен в этом, — ответил Чодришвили.

— Ну, дело твое... Можешь так думать, — сказал Джибладзе, вставая. — Время покажет, кто из нас прав...

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Юле стояла нестерпимая жара. В жарком воздухе был накален. Люди шли по цеху, едва не падая от духоты, сирада, усталости. Каждому хотелось скорее закончить смену и вырваться из этого ада. И когда раздавался гудок—звук у него был глухой, тупой,—рабочие облегченно вздыхали. Но очень часто это была преждевременная радость. Едва начинал дробно и реветь гудок, как бригадиры появлялись:

— Не выключать станки! Сверхурочная работа!

Гудок замолкал, обрывался, а в цеху попрежнему шумели трансмиссии.

Рабочие мастерских широко процветали сверхурочные работы. В некоторых цехах отдельные группы рабочих проводили у станков по восемнадцать часов в день. Сначала возможность поработать несколько лишних часов радовала. Но чем глубже внедрялась система сверхурочных работ, тем все ниже становились расценки. За последние десять лет заработки снизились примерно на сорок—пятьдесят процентов. Если в девяностых годах слесари получали по рублю за девять с половиной часов работы, сейчас рубль можно было получить рабочий день плюс два-три часа сверхурочной работы.

В токарном цехе рабочий по обточке вагонных колес получал поденную плату—шестьдесят копеек в день. Чтобы обеспечить прожиточный минимум, каждый рабочий должен был зарабатывать по пятьдесят рабочих дней в месяц. Иначе говоря, после смены нужно было провести в цехе дополнительно еще пять-шесть часов. Некоторым неделями не выходили из мастерских, спали тут же у станков.

В особенно тяжелом положении оказались чернорабочие. Те из них, кто имел сверхурочных работ, зарабатывали по двенадцати рублей в месяц.

В июле рабочие, доведенные почти до отчаяния, потребовали повысить расценки и отменить сверхурочные работы.

Но не весь коллектив понимал важность отмены сверхурочных. Многие считали, что администрация, удовлетворив требование об отмене сверхурочных работ, одновременно оставит прежнюю плату. Мы разъясняли, что

сверхурочные работы наносят большой вред здоровью, порождают безработицу, понижают поденную оплату. Но что казалось понятным передовым людям мастерских, боялись понять отсталые пожилые рабочие, обремененные большими семьями. Эта категория рабочих очень туго поддавалась пропаганде. В мастерских вспыхнула борьба, принявшая самые неожиданные формы. Наиболее воинственно настроенные рабочие поколотили кое-кого из стариков.

События назревали. В конце июля состоялось несколько собраний-массовок, прошедших ночью в ближайших горах. На одно такое собрание рабочих токарного цеха пришел Михаил Калинин. Помню, обсуждался вопрос о забастовке. Калинин указал на трудности, которые придется испытать рабочим, а особенно многосемейным.

— Надо правде смотреть в глаза,— сказал он. — Пока мы готовимся к забастовке, полиция и жандармерия тоже не спят. Возможно, они не преминут произвести среди нас аресты, внести замешательство в наши ряды. Готовы ли мы к этому? — спросил Михаил Иванович. Он не успел ответить на свой вопрос, как десятки людей, слушавших его, затаив дыхание, дружно, в один голос бросили:

— Готовы!

Лицо Калинина озарила хорошая, теплая улыбка.

— Да, мы готовы,— решительно продолжал он. — Ничто не должно нас пугать и не испугает. Мы, социал-демократы, знаем, что всякая борьба требует жертв, а наша борьба — это священная борьба за дело рабочего класса, класса создателей, класса тружеников.

Подготовку к забастовке взяли в свои руки революционные социал-демократы, вопреки большинству «Месаме-даси», пытавшемуся сорвать забастовку. Сосо Джугашвили, Иван Лузин, Михаил Калинин поднимали рабочих на открытую борьбу. Душой забастовки был Сосо: молодой, необыкновенно подвижный, деятельный — человек неиссякаемой энергии. Он выступал на митингах и попрежнему занимался в кружках. Не имея доступа в мастерские, Сосо встречался с рабочими на их квартирах. Уже тогда, на заре революционной деятельности в

Закавказье, Сосо проявил свои способности замечательного конспиратора. Один из самых неутомимых организаторов забастовки, он оставался неизвестным полиции. Как мастерски скрывался Сосо от взоров шпииков и агентов жандармерии, видно хотя бы из того, что в огромных материалах охраны, относящихся к забастовке, имя Сосо даже не фигурирует.

В постановлении № 199, подписанном отдельного корпуса жандармов ротмистром Цысс, ход событий рисуется так:

«11 июля рабочие токарного цеха численностью до 200 человек скопом потребовали прекращения вечерних работ, на которые обязательный наряд назначался только в экстренных случаях.

Просьба рабочих была удовлетворена, в продолжение двух дней им было предоставлено на вечерние работы не ходить, но, несмотря на это, желающие работать ходили, и работы продолжались без изменения и всякого ущерба для дела.

Находя несправедливым предоставление возможности стремящимся подработать, не желавшие ходить на вечерние работы 13 июля потребовали от начальника мастерских совершенного прекращения вечерних работ путем остановки машин. Требование это удовлетворено не было, машины не останавливались, и желающие работать, несмотря на увещания и брань со стороны оставивших работу, ежедневно в количестве до 60 человек являлись на вечерние работы. Администрация мастерских, видя, что требование об отмене вечерних работ исходит не от всех рабочих, положение о вечерних работах оставила без изменения, сохранив за собой право в экстренных случаях назначать рабочих на вечерние работы по своему усмотрению и помимо их желания, подвергая неявившихся взысканию. Тогда не желавшие подчиняться этому рабочие стали подстерегать ходивших на вечерние работы товарищей и наносили им побои.

Все поступавшие в управление сведения о лицах, препятствовавших посещению вечерних работ и путем насилия не допускавших рабочих в мастерские, были неопределенны, так как лица эти действовали преимущественно по вечерам и даже ночью, закрыв

головы башлыками, закутавшись в фуфляки и нападая по нескольку человек на одного.

Параллельно с этими проявлениями насильственных действий в управлении поступали также указания на ход и неопределенные, но упорные слухи о подстрекательстве рабочих со стороны политически неблагонадежных лиц и на усиленную агитацию их среди наиболее развитых рабочих и административно высланных. Сведения эти как подтвердили последующие события, были совершенно справедливы, но вследствие крайне осторожного характера действий подстрекателей и очень ограниченного числа наблюдательного состава управления, принужденно безотлучно находиться при рабочем занятом наблюдением за одновременно происходившими в городе пятью стачками, свелись лишь к глухим указаниям на то, что какой-то студент разъясняет рабочим ненормальность положения, что токарь Лаврентий Самчуашвили отплевывается в Париж будто бы на выставку, но в действительности с намерением ознакомиться с положением рабочих в Западной Европе, что прибывшие из С.-Петербурга, Харькова, Москвы и Риги студенты-практиканты волнуют рабочих, что рабочие время от времени устраивают в разных местах города сходки и что наконец, в Тифлисе есть социал-демократический центр, которому собственно и принадлежит во всем движении руководящая роль, но кто были членами этого центра, в то время установить не представлялось положительной никакой возможности.

21 июля начальником Тифлисского отделения были указаны заподозренные в подстрекательстве рабочих мастеровые Аллилуев, Самчуашвили, Бажанов, Выгорбин, Татаринев, Мачабели и Рабинович и тогда же было приступлено к выяснению их местожительства и установлению за ними наблюдения.

25 июля бригадир токарного цеха Пфунд, получив срочную работу, приказал рабочим своей бригады явиться на вечерние работы. Токари Федот Татаринев и Захарий Киктев заявили, что они утомлены и не явятся. Пфунд доложил о происшедшем цеховому мастеру Блюмбергу и представил Татаринова и Киктева, согласно правительственному постановлению, к увольнению. Татаринев и Киктев

ушли, а значительная же часть ей отправилась к мастеру и просить, чтобы их не увольняли. Другой день, 26 июля, Татаринов вместе явились в мастерские и, обратившись к мастеру, спросили, где им работать; мастер им ответил, что отказ от вечерних работ они уволены могут явиться за расчетом. Общественность это распространилось не только по всему цеху, и в отместку жалобу рабочие, оставив станки, потребовали от Блюмберга отчисления Пфунда, как лица, будто бы домогавшегося имущества жены, и вновь стали просить об увольнении на службе Татаринова и его жены. Получив на это отказ, рабочие разошлись обедать, затем, возвратившись, вновь на работу не стали, а потребовали свои прежние требования.

Ввиду такого вызывающего поведения рабочих, Блюмберг доложил о том начальнику мастерских, который выразил свое согласие на оставление Кикелидзе и Татаринова в цехе. Узнав о решении начальника мастерских, рабочие приступили к работе и работали до вечера спокойно.

27 июля рабочие токарного цеха, получив предъявленное накануне требование об удалении Пфунда и вторично получив на это отказ, потребовали, чтобы отказ этот был бы им изложен письменно. В то же время рабочие вагонного цеха предъявили совершенно новое требование об удалении бригадира Гамкрелидзе. Одновременно с этой частью рабочих вагонного цеха требовала отмены вечерних работ, а токарный цех предъявил требование об отмене ст. 16 положения о мастерских, обязывающее каждого рабочего, в случае неявки, немедленно доводить сведения мастера о причинах ее, под угрозой за неисполнение этого требования подвергнутым штрафу, как за прогульный день.

В продолжение всего этого времени продолжалась забастовка рабочих хотя и не было, но работы производились кое-как, многие рабочие в мастерские не являлись и случаи насилий над более злонамеренными из них повторялись непрерывно. К рабочему Редькину, высказывавшийся<sup>1</sup> против стачки,

27 июля во двор вошел неизвестный ему человек и избил его палкой и в тот же день на улице был побит палками бригадир Калюшка<sup>1</sup> и прочие другие, кроме того мастер токарного цеха Блюмберг получил частное предупреждение о том, что и его собираются побить.

На бывших 27 и 28 совещаниях администрации края с участием чинов губернского и полицейского жандармских управлений и начальника Закавказских железных дорог, инженера Веденева, ввиду категорических заявлений последнего о том, что движение рабочих не носит угрожающего характера, было постановлено: к предупредительным арестам не приступать, дабы тем не вызвать раздражения рабочих.

29 июля прошло спокойно, но по поступившим в этот день агентурным сведениям нужно было ожидать возобновления требований в вагонном цехе, ввиду чего в тот же день снова состоялось совещание, на котором инженер Веденев заявил, что хотя видимое положение дела со вчерашнего дня и не ухудшилось, но он считает возникновение стачки неизбежным и, не считая себя в состоянии ее предупредить, просит применения энергичных административных мер. Совещание признало необходимым принятие решительных мер по усмотрению и. д. начальника Тифлисского губернского жандармского управления, усиление полицейского надзора за мастерскими и постановление вывесить объявление рабочим с указанием, что производимое ими нарушение порядка в мастерских не может быть далее терпимо, а потому им объявляется, что рабочие, замеченные в возбуждении других или в выполнении лично беспорядков, будут подвергнуты строгим взысканиям, а именно: понижение денежной платы и увольнение от службы, почему для пользы их самих им дается совет прекратить беспорядки.

Воскресенье 30 июля прошло спокойно, в частях города, населенных рабочими, были выставлены усиленные полицейские караулы, было учреждено наблюдение за трактирами, садами и другими увеселительными местами и нигде не было заметно сходок или скопления рабочих.

Ошибка. Должно быть: «высказывавшийся».

<sup>1</sup> Калягин.

В понедельник 31 июля работы шли правильно.

В ночь с 31 июля на 1 августа были произведены обыски и арестованы рабочие: Федор Татарин, Василий Бажанов, Николай Выгорбин, Лаврентий Самчуашвили и Сергей Аллилуев, на вредную деятельность которых поступили наиболее веские указания чинов полицейского жандармского управления и агентурные».

Первого августа, как всегда, мастерские начали работать.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Итак, я в одиночной камере Метехского замка. Едва меня втолкнули в камеру, я свалился на койку и заснул. Мои нервы были порядочно расшатаны, усталость необычайно велика.

Внезапно до меня донесся какой-то шум. Я открыл глаза. Сквозь большое, покрытое грязью, окно пробивался слабый свет. У изголовья койки стоял столик. Посредине тяжелой мрачной двери виднелся маленький глазок. Стены были грязные, закопченные, с потолка свисала паутина.

Шум усилился. Это открывали двери камер. Я чувствовал — приближается надзиратель. Наконец загремел засов и моей камеры. Двери раскрылись, и ко мне вошел старший надзиратель. Он осмотрел камеру и, ничего не говоря, удалился. Вновь загремел засов.

Приход надзирателя сразу восстановил в моей памяти все, что произошло ночью. Я шел с конспиративного собрания. Ночь стояла тихая. Жара спала, и воздух был необыкновенно свежий. Над городом распростерлось огромное небо, усеянное звездами.

На улице было пустынно и тихо. Лишь изредка, торопясь, проходили одинокие прохожие. Вдруг сразу, с двух сторон, появились полицейские. Они окружили меня, и я понял, что арест неизбежен. Среди полицейских я заметил пристава.

— Аллилуев? — полувопросительно произнес пристав и, не дожидаясь ответа, приказал полицейским:

— Взять!

Я начал ходить по камере. Три шага туда, три обратно. Мало. Я уменьшил шаги — получилось четыре шага. Раз, два, три, четыре... Может

После завтрака рабочие токарного цеха, узнав об арестах, остановили паровые машины. В цехе наступила мертвая тишина.

Прошло некоторое время, и в корпусе токарного цеха бурлящим потоком влилась масса рабочих-вагонников. Рабочие двинулись в другие цехи, увлекая тысячи людей за ворота мастерских. Оттуда они направились к поворотному кругу. Там их ждал забастовавший коллектив депо. После короткого митинга все разошлись по домам. Забастовка началась!

Быть, пять получится? Надо еще уменьшить шаги. Раз, два, три, четыре, пять.

Вновь загремел засов. Мне принесли жидкий чай и кусок черного хлеба. Я поел. Что дальше делать? Спать? Не хочу. Ходить? Негде. Я снова стал осматривать камеру. В углу я увидел большого паука. Неторопливо и удивительно спокойно, не чувствуя опасности, плел он свои прозрачные сети. Беспokoиться ему действительно нечего было. Его никто не трогал. Ни один заключенный не согласился бы лишиться единственного удовольствия наблюдать за деятельностью живого существа — паука.

У стола, на табурете, лежала тряпка. Зачем она здесь? Может быть, помыть камеру? Я влез на подоконник и начал протирать стекло. Давно немытое стекло поддавалось с трудом. Но вот одна клеточка протерта, вторая, третья... В камере стало светлее. Потом я влез на стол и приступил к чистке стен. Копоть сходила медленно.

— Что делаешь? — услышал я сердитый голос.

Я взглянул на дверь. Кто-то смотрел в глазок.

— Навожу чистоту... грязно здесь.

— Ну, убирай. Это можно, — сказал тот же голос. Глазок закрылся.

Я продолжал уборку камеры. Разделавшись со стенами, я начал начищать до блеска кружку. Но вот камера приведена в порядок. А что дальше? Было рано, солнце еще не пригревало.

Что происходит в мастерских? Объявлена ли забастовка? Кто, кроме меня, арестован? Вопросы всплывали без конца. Но кто мог ответить на них? Тюрьма молчала. Тюремный покой

от времени нарушался лишь ключей, грохотом железного или скрежетом ржавых петель в какой-нибудь камере и снова наступала мертвая ти-

ожиданно я услышал гул многих ков. Я опять взобрался на подоконник — тогда это еще не возбранно — и стал смотреть во двор. Двор с трех сторон был окружен каменными корпусами замка. Четвертой стороны высилась крепостная стена с въездными воротами, обнесенными железом. Во дворе начиналась получасовая прогулка угловыми сторонами, под утроенным наблюдением часовых, гуляла группа осужденных на каторгу. То и дело раздавался звон кандалов.

Я просидел на подоконнике долго. Сменялись заключенные — они шли по сменам. Одних выводили на прогулку, других вводили в камеры. Уже? — слышались удивленные вопросы.

Иди, иди! — подталкивая заключенных, незлобно говорили часовые. Привыкли к размеренной и однообразной жизни тюрьмы, прогулкам, к необходимости строго по часам водворять заключенных обратно в камеры, привыкают ко многим скучным, неизбежным человеческим обязанностям. На уголовных часовые покрывали, на политических смотрели со страхом и недоумением.

— В камеры! — кричал один из часовых, молодой парень, видимо, недавно сменивший простую крестьянскую одежду на казенную форму солдата. — В камеры!

Половые, понутив головы, медленно и неохотно покидали двор.

Закончилось обеденное время. Прогулка закончена. Двор опустел. Вновь пришла тишина — тяжелая, гнетущая. Я спустился с подоконника и по-

прежнему продолжал ходить по камере. Раз, два, три... Раз, два, три, четыре... Раз, два, три, четыре, пять... Так продолжалось до вечера.

Ночью я не мог заснуть. В голову лезли разные мысли. Я перебрал в памяти свою жизнь — смерть отца, село, путешествие по стране, Тифлис. Тридцать четыре года прожил я на свете. Многое познал я за эти годы, многое увидел. Одно было ясно: отступлений нет. Книжки, кружки, собрания, борьба — все это мое, родное, близкое, и как бы временами ни было трудно, но какие бы препятствия ни встречали меня, я не отступил от революционного дела, ставшего сущностью моей жизни.

Не спалось. «Остановились ли станки, замолчали ли мастерские? Удалась ли забастовка?» — с такими тревожными мыслями шагал я по камере.

На рассвете парашник из уголовного принес мне очередную кружку чая и хлеб. Воспользовавшись минутным отсутствием надзирателя, я спросил его:

— Не знаешь, что на воле делается?

— Мы все знаем, — самодовольно ответил уголовный. — В мастерских забастовка, в депо — тоже. Многих из вашего брата в тюрьму посажали!..

Действительно, тюрьма день ото дня заполнялась новыми рабочими — участниками забастовки. Обычной тюремной тишины как не бывало. Молодые рабочие, заключенные в камеры, перекликались друг с другом через форточки, перестукивались, шумели. Все чаще и чаще раздавались голоса надзирателей и часовых:

— Не шуметь!

— Замолчать! Не перекликаться!

Но в тюрьме нас было уже много. Мы почувствовали в себе силу. Тюремное начальство, однако, тоже не сдавалось. Многих оно наказывало, переводило в подвальный этаж — в камеры, многим запрещало прогулки.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

И ни строги были тюремные правила, но постоянно проникали сведения с воли. По рассказам, доходившим в тюрьму, события в Тифлисе развивались.

Сначала за мастерскими и депо забастовали рабочие и других предприятий города. Это окончательно встре-

вожило местные власти. Они всячески старались сорвать забастовку, распространяя провокационные слухи, пуская в ход угрозы, сея среди семей рабочих панику. Особенно усердствовало железнодорожное начальство. Начальник дороги Веденеев собрал паровозные бригады и, опасаясь затяжного харак-

тера забастовки, обратился к ним с призывом самим производить текущий ремонт паровозов.

— Вы, — говорил он, — еще, наверное, не забыли, как обращаться с молотком и как держать в руках напильник. А гаечный ключ вы никогда из рук не выпускали. Я предлагаю вам немедленно взять необходимый инструмент и по старой привычке приступить к ремонту больных паровозов. Это даст нам возможность поддерживать нормальное движение поездов и вместе с тем сломить упорствующих забастовщиков в мастерских депо.

Машинисты и их помощники были немало удивлены откровенно циничным предложением начальника дороги. Они ожидали, что, собирая их, Веденеев, в связи с забастовкой в мастерских, коснется положения паровозных бригад, также испытывавших большую нужду. Между тем об этом он не обмолвился ни одним словом.

Предложение Веденеева до глубины души возмутило собравшихся. Однако никто не считал нужным возражать ему. И Веденеев, покидая собрание, был уверен, что паровозники поддержат его и выйдут на ремонт.

Но едва начальник дороги скрылся из виду, как рабочие заволновались. Они решили не только отклонить предложение Веденеева, но и самим начать забастовку. Правда, старики-машинисты пытались удержать молодежь от этого шага. Но назавтра несколько машинистов и около пятидесяти помощников не вышли на работу.

Зная, что власти не остановятся перед самыми крайними мерами, чтобы принудить помощников машинистов к работе, забастовавшие паровозники на сходке в муштаиде решили во избежание арестов покинуть город и всем собраться у монастыря Иоанна Задзенского, расположенного в десяти верстах от Тифлиса в горной, лесистой местности, возле станции Авчалы. Эта мысль всем понравилась, и, захватив с собой продукты, забастовщики, с помощью местных жителей, по одному стали пробираться по узким, скрытым в зарослях, тропинкам к монастырю.

Когда власти узнали, что помощники машинистов присоединились к забастовке, к каждому из них на квартиру явились полицейские или жандармские чины с требованием немедленно прибыть в депо и, согласно

графику, приготовить паровоз и следовать с поездом номер такой-то. Чины получили директиву: кто откажется выходить на работу, сажать в тюрьму. Но вот полицейские и жандармы заходят в одну квартиру — хозяина нет, в другую — тоже нет, в третьей — пусто. Куда же девались помощники машинистов? Кто-то донес, что они скрылись у монастыря. К монастырю направился отряд конных казаков. За метив прибывших на станцию Авчалы казаков, бастующие спустились с вершины горы в противоположную сторону и в обход вернулись в Тифлис. Дома многих из них в тот же день арестовали.

Метехская тюрьма оказалась переполненной заключенными. Но это властям было мало. Однажды группа рабочих — в ней насчитывалось около трехсот человек — собралась к тому полицейскому участку и потребовала освободить арестованных участников забастовки. Пристав и полицейский мастер приказали разойтись по домам. Рабочие отказались.

— Не разойдетесь — арестуйте всех! — пригрозил пристав.

— Не уйдем, пока не выпустите наших товарищей! — в один голос ответили рабочие.

Тогда пристав вызвал отряд солдат и под конвоем отправил всех в губернскую Орточальскую тюрьму, находящуюся на окраине Тифлиса. Арестованные продемонстрировали через весь город. По пути следования их тепло приветствовало население, мелкие торговцы подносили им продукты, папиросы, табак.

Заключенные из губернской тюрьмы вскоре были высланы на родину по месту прежнего жительства. Посадка поездов происходила на ближайшей от тюрьмы станции Навтлуг.

С десятого августа начался спад забастовочной волны. С каждым днем в мастерские выходило все большее число рабочих. Пятнадцатого августа забастовка окончилась. Требования бастующих не были удовлетворены, забастовка сыграла свою роль. В ее участвовало четыре тысячи рабочих железнодорожных мастерских и депо. Впервые тифлисские рабочие почувствовали силу своей организации.

По определению отдельного корпуса жандармов ротмистра Цысс, «статья в дело и главных мастерских Закавказья

и железных дорог была всецело изведением социал-демократической партии».

Ввиду совершенно особых условий — пространно повествует далее он, — при которых происходили аресты, выяснить своевременно деятельность и личный состав революционных кружков, влиявших на работу, было совершенно невозможно... Заключение под стражу также не дало никаких результатов, так как ввиду исполнения тюрьмы, наполовину уже занятой лицами, привлеченными к другим дознаниям, одиночное заключение могло быть осуществимо, в одной из камер необходимо было разместить от двух до пяти человек, а в камерах № 17 и 24 в каждой было по сорока человек. Заключенные имели возможность настолько сговариваться, что показания их, как стандартное повторение одним другого, в его существенного делу не дали. Полученная первоначально некоторая информация в показаниях лиц, заключенных в разных камерах, также быстро исчезла, так как, вследствие крайнего благоустройства местных мест заключения, между арестованными продолжали постоянные сношения, искоренить которые тюремная администрация была бессильна. Заключенные не только свободно переписывались между собой, но даже передавали из камер в камеру деньги, переговаривались сигналами между собой и с заключенными товарищами и в самой камере публично читали письмо как-то студента, надо полагать, заключенного по делу социал-демократической пропаганды среди наборщиков — Владимира Карлова Родзевича-Белевича, призывавшее их быть стойкими в своих показаниях. Взамен угнетенного состояния духа, вызываемого одиночным заключением и отсутствующего внимания, заключенные были веселы, развлекались прекрасно и с течением времени держали себя все более и более вызывающе. В камере затевались игры и песни, надзиратель делал замечание и требовал прекратить, арестованные коллективно жаловались в грубость надзирателя. Парашник отказался передать записку в соседнюю камеру, арестованные потребовали перемены парашника, якобы уличенного ими в мошенничестве и вымогательстве, а когда им было в этом

отказано, то они исписали стены неприличными словами и бранью по адресу начальника тюрьмы и жандармских офицеров и на наложенное за это на них дисциплинарное взыскание — лишение на несколько дней прогулки, с криком и шумом заявили, что это «белый террор». «Нахальство» арестованных дошло до того, что в самой тюрьме стали составлять и читать революционные стихотворения... Принятая вначале система — ввиду неимения места заключать в одну камеру по несколько человек, привлеченных по разным дознаниям, привела к совершенно отрицательным результатам, так как она послужила лишь к более широкому ознакомлению заключенных с ходом дознания и дала возможность интеллигентам, заключенным вместе с неинтеллигентами-рабочими, заниматься пропагандой».

В Метехской тюрьме после подавления забастовки вновь наступила гнетущая тишина. Потянулись длинные, ничем не заполненные дни, унылые и однообразные.

На воле у меня оставались жена и трое детей. Свидания с семьей я еще не имел. Как они живут, что подделывают, — неизвестно. Как-то я получил передачу — продукты. Развернув посылку, я обнаружил в ней записку. Жена коротко сообщала о событиях последних дней, о ребятах. Она писала, что у нее и других жен арестованных неплохое настроение, что они стараются не падать духом.

После месячного пребывания под стражей нам, наконец, дали свидание с родными. Двадцатиминутная беседа с семьей доставила мне большую радость. Мой старший сын, шестилетний Паша, прильнул ко мне и без конца повторял:

— Пойдем домой...

Я смеялся, обещал скоро вернуться. Но сынок не отставал:

— Нет, пойдем сейчас с нами!

В это время надзиратель, присутствовавший при свидании, объявил, что время истекло и свидание закончено. Жена взяла за руки ребят и, понуриив голову, медленно пошла к выходу. Дети заплакали.

— Идем с нами! — сквозь слезы кричал Паша. — Идем домой!..

Сердце сжималось от боли.

Пошел второй месяц нашего заклю-

чения. Тюремщики, оправившись от временного замешательства, часто напоминали нам о наших вольностях.

— Кончились ваши песни, — говорили они, — а то, видишь ли, распелись, как в театре.

Старший надзиратель одиночного корпуса Левченко время от времени ехидно и зло ворчал.

— Якие же вы политики, коли не знаете, как держать себя?.. — спрашивал он и утомительно долго рассказывал о том, как вели себя серьезные люди, народники, сидевшие спокойно и тихо, не нарушая тюремного режима. — А это что же такое, разве вы политические? Еще молоко не обсохло на губах, а они кричат: «Не тронь нас!», горланят песни, как в кабаке.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Прошло шесть недель. Как всегда, рано утром загремел железный засов, двери открылись, и в камеру вошел парашник. Он налил кружку чая, положил на стол кусок хлеба и сказал:

— Куда-то нынче водят вашего брата.

Вскоре вновь загремел засов.

— Одеваться! — сурово бросил старший надзиратель, остановившись в полуоткрытых дверях. — Ну, живей!

Меня повели по узким лабиринтам тюремных коридоров. Спустившись по лестнице вниз и миновав служебные помещения, я, наконец, оказался в большой озолоченной солнцем комнате. За письменным столом, покрытым зеленым сукном, сидел жандармский ротмистр Лавров и что-то писал. Не поднимая головы, он произнес:

— Садитесь.

Я сел.

Лавров писал быстро и энергично, то и дело зачеркивал, перо безжалостно скрипело. Закончив писать, он поднял свои черные помутневшие глаза и еле приметно улыбнулся.

— Вы Аллилуев, не так ли? — спросил он, придвинув ко мне портсигар.

Я подтвердил.

— Закуривайте, — заботливо сказал Лавров. — Пожалуйста, не стесняйтесь!

— Не курю.

— Не курите? — удивился ротмистр. — Может быть, чаю хотите?

Но дело, к сожалению, не огранивалось лишь нотациями и увещаниями. День ото дня режим в тюрьме становился строже, условия ухудшались.

Метехский замок со всеми своими постройками стоит высоко на отвесной скале. Внизу, у подножья скалы шумит и бурлит неугомонная Кура стремительно неся свои мутные воды. Много повидал на своем веку замок. В его мрачных казематах томилось немало передовых людей, пламенных революционеров. Не раз и не два стены замка обагрялись горячей кровью. Да и Кура, быстрая и веселая, много приносила горьких слез, слез, рожденных великой и неизбежной скорбью народной.

— Не хочу. Пил.

Ротмистр откинулся на спинку кресла и, пуская дым, заговорил:

— Вы, конечно, знаете, почему мы арестовали вас. У нас нет никакого желания держать в тюрьме сотни людей. Мы вас выпустим, — повторил он, — если... если вы нам назовете организаторов забастовки. Согласны?

Я взглянул на Лаврова, на его худое, испитое лицо, на всю его тиснувшую фигуру, и чувство брезгливости и омерзения охватило меня. Я вслыхнул, хотел схватить со стола пресс-папье и ударить им Лаврова.

— Никого не знаю, — еле сдерживая себя, сказал я.

— Не знаете? А этих вы узнаете? Лавров протянул мне несколько фотографий.

Пока я рассматривал снимки, Лавров не сводил с меня глаз. Я чувствовал, что он следит за выражением моего лица. Возвращая фотографии, как можно более равнодушно произнес:

— Никого не знаю. Не встречал.

— Так-таки не встречали? А вы нам прыгните память, может быть, вспомните.

Конечно, я всех узнал. Это были фотографии активных революционеров — Владимира Родзевича, Павла Пушкарёва и Прокофия Джапаридзе. Родзевича и Пушкарёва я хорошо знал, а с Джапаридзе познакомился на нелегальном собрании незадолго до

товки. Все трое были арестованы  
или также в Метехском замке.  
Вспомнили? — вкрадчиво спро-  
сил Лавров.

Я их не знаю.

Где вы с ними встречались? —  
он, пытаясь сбить меня, бросал  
слова Лавров.

Я их не знаю.

Давно знакомы?

Я их не знаю.

Они часто бывали в мастерских?  
Не знаю.

Когда вы впервые встретились с

Никогда не встречался.

Довольно дурака валять! —  
грозно закричал Лавров. — Вы  
знаете и извольте отвечать. Когда  
вы впервые встретили? Ну?..

Молчал.

Лавров вышел из себя. Его напуск-  
ное спокойствия как не бывало. С  
каждой минутой он все больше оже-  
ждался.

· Кто организатор забастовки?

· Не знаю.

· Они бывали на собраниях?

· Не знаю.

· Когда было последнее собра-  
ние — не оставляя попытки сбить  
с толку, торопливо спрашивал Лавров.

Не знаю.

С семинаристами встречались?

Нет.

Кого вы знаете из грузин?

Знавал фамилии грузин — лавоч-  
ник, духанщиков, рабочих.

Кого еще знаете?

Больше никого.

Грузин-семинаристов знаете?

Нет.

— Сгною в тюрьме! — не своим го-  
лосом закричал Лавров. — Вы у меня  
спрашивайте!

Прокурор, пришедший во время до-  
проса и долго молчавший, вдруг спро-

· У вас семья есть?

ответил, что имею жену и трех  
детей.

Прокурор пожал плечами и удивлен-  
но произнес:

— Вы человек взрослый, культур-  
ный и так варварски относитесь к  
жене. Непостижимо! — воскликнул  
— Ваше молчание может печально  
взяться на семье. Вы это должны  
понимать... — Прокурор подошел к окну  
и задернул шторы.

— Фу, какое горячее солнце.

В комнате наступил полумрак.

— Мы ничего не требуем невозмож-  
ного, — назовите зачинщиков, и вы  
будете освобождены. Посмотрите, ка-  
кой день солнечный! — Прокурор бы-  
стро раздвинул шторы, и в комнату  
ворвалось солнце, — яркое, горячее,  
ослепительное. — Вы сегодня же мо-  
жете быть на воле. — Затем, понизив  
голос, прокурор продолжал: — Никто  
ничего не узнает. Вы назовете орга-  
низаторов, и мы оставим вас в покое.

Я дрожал от гнева. Чувство нена-  
висти переполнило мое сердце. Я бо-  
ялся, что не сдержусь и с кулаками  
наброшусь на прокурора и ротмистра.  
К счастью, прокурор неожиданно замолк.  
Ротмистр Лавров протянул мне  
протокол и сквозь зубы процедил:

— Ничего, вы заговорите... В оди-  
ночку! — приказал он вызванному  
жандарму.

Я вновь оказался в камере. Насту-  
пила реакция, нервы не выдержали, и  
я загрустил.

С воли пришли нерадостные вести.  
Как только в мастерских и депо начал  
налаживаться порядок, начальство уво-  
лило всех рабочих, во-время не став-  
ших к станкам. Железнодорожное  
жандармское управление объявило по-  
становление о том, что все лица, арес-  
тованные за участие в стачке, ли-  
шаются права работать на железных  
дорогах России.

Распоясались и домовладельцы. Они  
выкинули на улицу семьи арестован-  
ных. Моя семья тоже вынуждена бы-  
ла переехать к матери.

В конце октября меня перевели в  
общую камеру. В ней уже находились  
помощник машиниста Иван Киясов и  
студент Павел Пушкарев, сидевшие  
до этого тоже в одиночках. В тот же  
день в общую камеру водворили и  
Владимира Родзевича. Встретились мы  
восторженно. Каждый из нас так со-  
скупился по живой человеческой речи,  
что говорили мы до самого рассвета.  
Да и было о чем говорить!

Общая камера была чуть-чуть боль-  
ше одиночки. Койки стояли вплотную  
друг к другу. Ходить по камере, от-  
считывать шаги уже нельзя было.

Утром следующего дня в нашу ка-  
меру перевели еще одного заключен-  
ного — Никифора Беридзе, бригадира  
токарного цеха. Беридзе очень осу-  
нул, был бледен, подавлен. Он рас-

сказал нам, что его несколько ночей подряд вызывали на допрос. Ротмистр Лавров угрожал сгноить его в тюрьме или выслать на долгие годы в Сибирь. Мы, как могли, успокаивали Беридзе, доказывали, что у Лаврова нет и не может быть никаких оснований держать его дольше, чем всех нас. Мы сказали ему, что если нас перевели в общую камеру, то можно надеяться на скорое освобождение. Но Беридзе попрежнему оставался мрачным и подавленным.

— Выше голову, старина! — говорил Родзевич, обращаясь к Беридзе. — Не унывай и не поддавайся на провокацию! Пойми, что Лавров, видя твою слабость, стремится еще больше запугать, чтобы вытянуть из тебя все, что ему нужно.

— Что ты?! — вытаращив глаза, пугливо выкрикивал Беридзе. — Разве я не понимаю?.. Но тяжело, очень тяжело!..

Через пару дней каждого из нас вновь вызвали на допрос к Лаврову. Беридзе повели последним. Пробыл он на допросе больше, чем мы, и вернулся в камеру разбитый, в совершенно подавленном состоянии.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Я остался в Тифлисе под гласным надзором полиции. В декабре поступил работать на маленький механический завод Рукса.

Возвращаясь однажды с работы, я встретил Ипполита Франчески и его жену Клавдию Коган.

— Аллилуев, — тихо сказал Франчески, — приходите сегодня к нам. Я вас познакомлю с интересным человеком.

— С кем?

— Приходите — узнаете!

Вечером, сгорая от любопытства, я направился к Франчески. Там я застал человека моих лет, с высоким, выпуклым лбом. Это был Виктор Константинович Курнатовский.

Курнатовский усадил меня подле себя и стал расспрашивать о работе, о настроениях рабочих. Голос у него был глухой, негромкий. Слушая меня, он изредка, приложив руку к уху, переспрашивал:

— Что? Как вы сказали?

Несмотря на то, что Курнатовский

— Ну, как? — бросился к нему Родзевич.

— В Сибирь грозитя отправить, — ответил Беридзе и свалился на койку.

В начале ноября Родзевича, Пушкова, Киясова и меня освободили из тюрьмы. Мы вышли на волю все вместе. Стоял прекрасный осенний день. Ослепительно сияло солнце. Улицы были многолюдны. Мы шли по городу, не в силах говорить от радости. Воля! Воздух! Солнце! Кончилась нужная, однообразная жизнь в тюрьме впереди — свобода, семья, увлекательная работа. Мы пожалели друг друга руки и разошлись в разные стороны.

Беридзе вышел из тюрьмы немного позже нас. Он был окончательно сломен. Впоследствии выяснилось, что Лавров все-таки принудил Беридзе стать осведомителем и он кое-что выдал. По выходе из тюрьмы Беридзе удалось опять поступить в мастерские. Но вскоре его разоблачили как провокатора, и один из рабочих в время ночной смены ранил его. Тогда Беридзе перевели на дорогу осмотчиком поездов, где он в конце концов был убит.

плохо слышал, у нас завязалась живая, непринужденная беседа. Он меня сразу покорила. Мне казалось, что я его давно знаю, что это не первая встреча. По его вопросам я понял, что Курнатовский уже в курсе всех событий. Неожиданно Виктор Константинович спросил:

— Что вы читаете?

Я сказал, что еще несколько дней назад в кружке я пытался познакомиться с «Капиталом» Маркса.

— Маркса надо серьезно читать, — сказал вдумчиво, задумчивым голосом Курнатовский. — Если одному трудно, собирайтесь группой в три-четыре человека и читайте. Рабочие должны знать Маркса. — Курнатовский молчал, потом тихо добавил: — Ну, Ленина вы знаете? Слышали о нем? Ленин — большой человек, самый большой из революционеров.

Сейчас, спустя сорок лет, трудно передать детали этой беседы. Помню, Виктор Константинович нарисовал замечательный портрет Ленина, востор-

его светлым умом и несокрушимой волей.

Женщины суровый, Курнатовский как-то особому мягко рассказывал о себе, о его жизни в ссылке. Глаза Курнатовского, обычно смотревшие одно и строго, были сейчас теплыми и лучистыми.

Идем Виктор Константинович спрашивает:

— Как рабочие относятся к «Месаме-да-си», к спорам внутри нее?

— Сказал, что среди рабочих есть сторонники большинства «Месаме-да-си», есть и сторонники меньшинства.

— Ну, а у кого больше сторонников — у стариков или молодых? — спросил Курнатовский и, не ожидая ответа, продолжал: — Конечно, популярности у стариков пока больше. Но только пока. Рабочий класс быстро раскусит их...

Виктор Константинович произвел на меня сильное впечатление. Его мужество и смелость, его твердость и прямота в оценках, его страстная преданность революции, энциклопедическая эрудиция покорили многих товарищей.

Виктору Константиновичу мне еще рассказывали еще русские революционеры. Курнатовский родился в семье врача. С детства у него появилась страсть к смелым и рискованным предприятиям. Когда однажды он сошел на очередное «путешествие» по морю, его лодка перевернулась; вода затонула Курнатовского, попала ему в рот, вызвав болезнь, притупившую ум.

Будучи гимназистом, он познакомился с народниками и с тех пор в своем сердце отдался революционной деятельности. Девятнадцать лет Виктор Константинович уже изучал марксизм, отбросив в сторону народничество. Многие книги не смогли удовлетворить Курнатовского, и он начал вести индивидуальную пропагандистскую работу. Наблюдение осенью 1886 и зимой 1887 гг. в С.-Петербурге за лицами, — которым мы в «Докладе особого совещания», — принадлежавшими к так называемой «Союзной студенческой организации», выяснило, между прочим, участие в этом преступном кружке студента С.-Пб. ун-та Виктора Курнатовского, находившегося, между прочим, в близких сношениях с студентами Канчером и Гаркуном, принимавшими непосредственное участие в

злойском замысле 1 марта 1887 г. и ныне осужденными. Вслед за арестом этих лиц Курнатовский особенно сблизился с другим членом означенной организации, сыном коллежского советника Николаем Евстафьевым, который в мае 1887 г. также арестован по обвинению в составлении преступной прокламации».

Курнатовского арестовали. Как властям ни хотелось привлечь его к суду — ничего не вышло: обыск, произведенный у Виктора Константиновича, ничего не обнаружил. Однако его все же исключили из университета и выслали на родину, в Ригу. Курнатовский, как рассказывает «Доклад особого совещания», «в этом городе не прекратил преступных связей с Петербургом, а из донесений нач-ку Лифл. губ. жанд. управления в ноябре 1887 г. усматривается, что Курнатовский успел организовать в Риге кружок учащейся молодежи, преследовавшей противоправительственные цели. Кружок этот дальнейшего развития не получил, так как Курнатовский скоро уехал в Москву».

Будучи в Москве, сообщают материалы жандармского управления, «Курнатовский в 1888 г. вел переговоры о совместной революционной деятельности с петербургским кружком». Виктор Константинович организовал здесь рабочие и студенческие революционные кружки, придав им социал-демократическое направление, и постоянно устраивал сбор пожертвованных в пользу политических ссыльных. Его деятельность не могла не остаться бесследной. Курнатовского арестовали и сослали в Шенкурск Архангельской губернии.

Ссылка не укротила революционного пыла Виктора Константиновича. В Шенкурске он продолжал упорно изучать марксизм, возглавил марксистский кружок, созданный из ссыльных революционеров. Отбыв три года ссылки, Курнатовский выехал в Воронеж. Но, убедившись, что в России за каждым его шагом неотступно следит жандармерия, он решил уехать за границу, чтобы там основательнее подготовиться к революционной работе. Покидать родину ему не хотелось. В личном письме Курнатовского, перехваченном жандармским управлением, мы читаем:

«Свободы я жду со страстным нетерпением, хотя далеко не с радост-

ным чувством. Чувствую, какую массу знаний еще надо приобрести, чтобы быть сознательным и достойным представителем того дела, за которое хочу взяться. Причиной нерадостного чувства служила, однако, не эта необходимость приобретать знания, — нет, эта необходимость является лучшим светочем жизни, а то, что я предвижу, что не скоро и с трудом найдется такая деятельность, которая была бы плодотворным осуществлением того, чем я живу, о чем давно мечтаю и в чем вижу цель своей жизни. А если уеду за границу, так тогда это воплощение моих заветных мыслей и прямо отсрочится на несколько лет. Вот где источник моего невеселого настроения. Эта страстная жажда чувствовать, что и я не даром живу на свете, что и я сделал, что мог, для изменения существующих условий, и необходимость еще на несколько лет отказать от деятельности и создают мучительное чувство противоречия».

С трудом получив заграничный паспорт, Курнатовский выехал в Цюрих. Живя за границей, он ни на один день не прерывал связи с Россией, снабжал русские кружки литературой, оказывая им постоянную помощь. Как неутомимо Виктор Константинович работал в Цюрихе, видно из сообщения «Доклад особого совещания»:

«22 августа н. ст. 1893 г. сотрудник Азеф из Карлсруэ сообщил, что в Цюрихе между 8 и 11 августа происходили заседания представителей разных кружков заграничных городов, причем от Цюриха были представителями: Курнатовский, Полинковский, Шмулевич, Коган, Теплов и М. Слепян. Основан новый социал-демократический союз, редакция брошюр для рабочих передана Плеханову; переправка в Россию пока поручена Волховскому, с которым по этому поводу эмигрант Теплов имел 14 августа переговоры от имени союза. Союз этот имеет связи с Петербургом, Екатеринославом, Нижним-Новгородом, Харьковом и Одессой».

Русская полиция и жандармерия не прекращали слежку за Курнатовским и за границей. Узнав о том, что Виктор Константинович возвращается в Россию, они выслали на границу своих агентов, которые и арестовали его. Курнатовский вновь оказался в ссылке, на этот раз в Восточной Сибири.

Здесь, в ссылке, Виктор Константинович встретился с Владимиром Ильичем Лениным. Надежда Константиновна Крупская впоследствии писала:

«Раз мы ездили к Курнатовскому. Был он очень хорошим товарищем, очень образованным марксистом, а тяжело сложилась его жизнь. Суровое детство с извергом-отцом, потом ссылка за ссылкой, тюрьма за тюрьмой. Ни воле почти не работал, через месяц другой выбывал на долгие годы, жизни не знал.

Осталась в памяти одна сцена. Идем мимо сахарного завода, где он служил. Идут две девочки — одна по старше, другая маленькая. Старшая несет пустое ведро, младшая — с свеклой. «Как не стыдно, большая заставляет нести маленькую», — сказала старшей девочке Курнатовский».

Отбыв сибирскую ссылку, Курнатовский выехал в Женеву. Там в это время уже находился Ленин, уехавший из ссылки немного раньше Виктора Константиновича. По предложению В. И. Ленина, Курнатовский перебрался на Кавказ.

Я встречался с Виктором Константиновичем несколько раз. Я видел его на собраниях, в кружках, неоднократно слушал его речи. Помню, на каком-то собрании он рассказывал, как они в ссылке под руководством Ленина принимали протест против манифеста «экономистов» — людей, отказывавшихся от революционного марксизма, отрицавших необходимость создания самостоятельной политической партии пролетариата.

— Ной Жордания и его последователи, — говорил Курнатовский, — ничем не лучше всех этих легальных марксистов и экономистов. Результаты работы у них одинаковы. И те и другие мешают нам строить революционную партию пролетариата.

Сразу же по приезде в Тифлис Виктор Константинович связался с молодежью из «Месаме-даси». Он горячо и убежденно поддержал Сосо Джугашвили и его группу. Человек с благородным сердцем, с доброй, отзывчивой душой, он является для каждого из нас, рабочих, учителем и редким товарищем.

Будучи почти на двенадцать лет старше Джугашвили, он не считал зазорным для себя прислушиваться к

ю. Виктор Константинович одним из первых разглядел пламенное сердце его, его гениальный ум, его страсть и преданность делу партии, делу революции. Сосо и Курнатовский быстроружились и вместе повели наступление на Ноя Жордания. Они подвергли редкой и беспощадной критике. Они изывали, что время узкой кружковщины миновало, что теперь нужно перейти к широкой пропаганде и агитации, к массовому стачечному движению, к открытой борьбе за политическую свободу, борьбе, ведущей к ружению самодержавия.

- Стачки ничего нам пока не да-

ют, — доказывал Жордания, отстаивая свою позицию. — Вспомните августовскую стачку в мастерских. Чем она кончилась? Арестами рабочих, высылкой. Нет, рано говорить о стачках...

— Августовская стачка, — возражал ему Курнатовский, — дала очень многое. Она показала тифлисскому пролетариату, что у него есть силы бороться, что ему есть кого слушать и за кем идти. Не за вами пойдет рабочий Тифлиса, — повышая голос, резко говорил Виктор Константинович, — а за Кецохвели, Цулукидзе и Джугашвили, ибо они — подлинные марксисты, подлинные революционеры.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Шел тысяча девятьсот первый год... Сосо Джугашвили и Виктор Курнатовский готовили рабочих Тифлиса к юмайской демонстрации. Как ни инициативно проводилась подготовка предстоящей маевке все же узкополитическая. Нас предупредили, что надо быть на-чеку. Мы чувствовали: столкновений с полицией не избежать. Настало воскресенье двадцать второго апреля. Утром я вышел на улицу. День выдался теплый, ярко сияло солнце. Я свернул на Кировскую улицу, миновал Верейский мост и поднялся к Головинскому проспекту. В конце проспекта, по направлению к району Губа, было много гуляющих. Среди них я узнал рабочих мастерских и ю.

Кое-кто из гуляющих был одет не по сезону: в теплые пальто и кавказские овчинные шапки. В таком же одеянии оказался и Ваню Стуруа.

— Ты что, болен? — удивился я его странному костюму.

Ваню приподнял шапку, улыбнулся.

— Здоров.

— Чего же ты оделся так?

— Сосо велел.

— Сосо? Зачем?

Ваню придвинулся ко мне и зашептал на ухо:

— Понимаешь, мне и другим товарищам предложено выступить во главе группы... Понимаешь? Значит, перед ударами казачьих нагаек примем мы пальто и папаха смягчат удар. Понял?

— Понял.

— То-то же, умно ведь?

Это было придумано действительно

умно. Полиция не замедлила появиться. В каждом дворе Головинского проспекта и Дворцовой улицы были расставлены полицейские наряды.

Между тем время приближалось к двенадцати. С арсенала ударила пушка, возвещая полдень. Ваню Стуруа бросился к группе рабочих, собравшейся посередине проспекта. Послышались дружные возгласы:

— Да здравствует Первое мая!

— Долой самодержавие!

— Да здравствует свобода!

С пением «Варшавянки» мы двинулись к центру. Откуда-то прискакали конные казаки. Завязалась борьба. Нашу группу рассеивали в одном месте, мы смешивались с гулявшей публикой и вмиг появлялись в другом.

Полиция, казаки и дворники, налетевшие со всех сторон, заполнили проспект. Они стали теснить и избивать демонстрантов, разгонять гуляющих. Небольшими группами мы пробивались сквозь цепь и окольными путями направлялись на Солдатский базар, куда по договоренности мы должны были прибыть после демонстрации на проспекте.

На Солдатском базаре по случаю воскресного дня собралось много народу. Но покупатели в тот день были необычные. Они подходили к лавкам, приценивались и, ничего не купив, отходили. Лишь в полдень торговцы поняли, что за «покупатели» собрались на базаре. Когда с арсенала грянул пушечный выстрел, над площадью взмыл воздушный шар. Находившийся здесь же Сосо взмахнул рукой, кто-то при-

крепил к древку знамя, и оно взвилось.

— Да здравствует Первое мая! — загремело на площади. — Долой самодержавие!

В ту же минуту полицейские с обнаженными шашками бросились на знаменосца. Знамя перехватили, и оно пошло по рукам рабочих. Когда полицейские особо наседали, знамя опускалось, чтобы тотчас же взвиться в другом месте.

На площади произошла кровавая схватка. Засвистели казацьи нагайки, засверкали шашки. Рабочие отвечали камнями; драка была отчаянная. Но вот к нападавшим подошло мощное подкрепление. Окружив со всех сторон демонстрантов, жандармы, полицейские и казаки беспощадно избивали безоружных людей.

В этой схватке был ранен пристав, увечья получили многие полицейские и казаки. Знамя же было снято с древка и унесено женщинами. Знамя цело и сохранилось до сих пор.

— Получите расчет, — строго сказал мне заведующий конторой завода Рукса. — Вы уволены.

Я не удивился. Я знал, что так будет. За день до этого у меня произошло столкновение с хозяином завода. Один из учеников случайно сломал подвижную каретку сверлильного станка. Рукс, проводивший все время в ресторанах, пришел на завод пьяным. Узнав в конторе о поломке, он ворвался в цех.

— Кто ломает мое добро? — закри-

чал Рукс. Он обвел мутным взглядом цех. — Ну, кто, а?

Сопровождавший Рукса заведующий конторой указал на парня.

— Ты? — произнес Рукс и, пошатываясь, направился к ученику. — Вот ты какой!

Он смотрел на ученика, что-то обдумывая.

— Вот ты такой... повторил он. — Зачем ты ломаешь мое добро, разве можно так?!

Внезапно Рукс размахнулся и хотел ударить ученика. Я встал между ними.

— Бить не смейте! — крикнул я. — Не допущу!

— Что ты сказал? — не своим голосом завопил пьяный. — Я здесь хозяин или нет? — Потом Рукс повернулся и, ничего больше не говоря, покинул цех.

Я вновь безработный. Двери железнодорожных мастерских и депо для меня закрыты. Куда идти? Где искать места? Надо уезжать из Тифлиса. По предложению товарищей я заручилась рекомендательным письмом одного ссыльного, инженера Рябинина, и в начале мая выехал в Баку.

До свиданья, Тифлис! До свиданья, город солнца! До свиданья, товарища, друзья, сверстники, направившие меня на священный путь борьбы!

Сорок лет отделяют меня от того времени. Состарился слесарь Алдилуев, поседел волосы, силы ослабли. Но и сейчас, как и на заре своей жизни, я чувствую дыхание революционного Тифлиса, и кажется, будто ветер первых маевек попрежнему обдает меня...

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Баку меня встретил неприветливо. Дул норд-ост, осыпая прохожих песком.

Улицы произвели удручающее впечатление. Тут и там видны были пустыри, ямы, рытвины. Вдали от вокзала, на набережной, стояли высокие красивые здания. А дальше, между нефтяными вышками, прижимаясь к земле, вытянулись длинные низкие казармы, сложенные из неотесанных камней.

На конке добрался я до строившейся на Баиловом мысу электрической станции. В конторе, занявшей неболь-

шой домик, я увидел седого, как луп, швейцара.

— Как мне найти заведующего строительными работами? — обратился я к нему. Старик молча провел меня к дубовой, хорошо отделанной двери. Я постучал.

— Войдите!

Я вошел в уютную, со вкусом обставленную комнату. За столом сидел человек в светлосером костюме.

— Вы Леонид Борисович Красин?

— Да, — сказал человек, беря у меня письмо.

Красин прочел письмо Рябинина.

Ну хорошо. Нашего полку при-  
звиг Борисович Красин начал со-  
демократическую работу еще в  
вост свою студентом Петербург-  
технологического института. В  
он приехал вместе с инженером  
Эдуардовичем Классоном и  
заведывать строительными рабо-  
недавно основанного акционер-  
общества «Электросила».

год работы в Баку молодые ин-  
ры сбросили в море добрую по-  
у Баиловой горы, значительно  
пришли площадь строительного  
ма, соорудили грандиозное здание  
ральной электростанции, водокач-  
жилые дома. На строительстве  
заняты люди более десяти наци-  
ностей: русские, грузины, армяне,  
и, татары, персы, лезгины, осети-  
нцы, датчане, англичане. Новая  
ция была предназначена для пере-  
электрической энергии на про-  
мы и применения ее при бурении и  
нии нефти.

гда полностью закончилось обо-  
вание паровых котлов и станцию  
или, я остался работать в котель-  
отделении в должности старшего  
ара.

станции я встретил видных со-  
демократов того времени: Н. Ко-  
шко, П. Корыстелева, А. Коханов-  
ч, Н. Кириллова, А. Салищева.  
они работали на станции — кто  
алтером, кто статистиком, кто мон-  
и. Позднее я познакомился с  
альпериним, одним из одиннадца-  
циал-демократов, бежавших из  
ской тюрьмы.

это же время у меня произошла  
ая личная встреча с Владимиром  
евичем Кецховели-Ладо.

кто у Красина я застал высоко-  
еловека с красивым открытым ли-  
о, окаймленным густой черной бо-  
й. Он, разговаривая, крупно шагал  
омнате.

Деметрашвили, — произнес он,  
мая мою руку.

ю был Ладо, проживавший в Ба-  
ю фальшивому паспорту.

Ладо родился в семье священника.  
ше лет он поступил в Горийское  
ивное училище. Когда его переве-  
в четвертый класс, он начал выпу-  
ть рукописный журнал «Рассвет».  
этому времени относится начало  
дружбы с Сосо Джугашвили.

Из Гори Ладо переехал в Тифлис, в  
духовную семинарию. Здесь он всту-  
пил в семинарский кружок грузинско-  
го писателя Ниношвили. В кружке  
молодой семинарист читал книги Тур-  
генева, Толстого, Белинского, Черны-  
шевского, Герцена, Писарева и пере-  
довых писателей Грузии. Семнадцати  
лет Ладо поднял семинаристов на за-  
бастовку протеста против невыноси-  
мых порядков в семинарии. В ответ на  
забастовку власти временно закрыли  
семинарию, а Ладо Кецховели выслали  
из Тифлиса. Он переехал в Киев, где с  
головой ушел в революционную дея-  
тельность. Но вскоре его арестовали.  
После трехмесячного тюремного за-  
ключения Ладо был выслан на родину  
под надзор полиции. Но из-под надзо-  
ра полиции он скрылся и стал прожи-  
вать нелегально в Тифлисе.

В тысяча девятисотом году, по пред-  
ложению Сосо и группы революцион-  
ных марксистов, Ладо выехал для  
партийной работы в Баку.

Ладо оживил революционную рабо-  
ту в городе нефти, вдохнул жизнь в  
кружки. В Баку появилась пропаган-  
дистская и агитационная нелегальная  
социал-демократическая литература. То  
и дело распространялись листовки и  
прокламации. Ладо мастерски провел  
первую в Баку массовую маевку на  
мысу Степана Разина.

Ладо строил революционную рабо-  
чую организацию, руководил партий-  
ной работой. Здесь он одновременно  
выполнял сложное и очень ответствен-  
ное задание. По поручению товарищей  
он создавал в Баку подпольную типо-  
графию. На первых порах его снабди-  
ли небольшим ручным станком, изго-  
товленным в Тифлисе, шрифтом,  
краской и бумагой для печатания ли-  
стовок. Вскоре партии потребовалась  
большая типография, способная выпу-  
скать в огромных тиражах социал-  
демократическую литературу. Ладо  
приступил к созданию этой большой  
подпольной типографии.

Но чтобы купить типографскую ма-  
шину, постоянно получать бумагу и  
краску, требовалось губернаторское  
свидетельство на право открытия ти-  
пографии. Где его взять? Ладо соста-  
вил на свое имя удостоверение, пере-  
писал его на заранее полученном блан-  
ке со штампом елисаветпольского гу-  
бернатора и потом сам подписал его за  
губернатора. Заверив копию с этого

удостоверения у бакинского нотариуса, он получил возможность законным путем приобрести любое типографское оборудование.

Таким путем удалось приобрести машины, шрифт. Затем он начал подбирать людей для работы в типографии.

Типография, наконец, создана; по поручению Сосо и тифлисской руководящей группы РСДРП здесь начала выходить первая грузинская нелегальная газета «Брдзола» — «Борьба». Помню, однажды к Красину прибежал Ладо, радостный и сияющий. Он вынул из кармана газету, развернул ее и громко сказал:

— Вот она, смотрите, «Брдзола».

Это был первый номер новой революционной газеты, сыгравшей впоследствии огромную роль.

Из Баку Ладо установил связь с Владимиром Ильичем Лениным, и по

его заданию бакинская типография стала размножать «Искру».

С помощью тифлиских товарищей Ладо объединил вокруг себя опытных и надежных людей, спаял их в дружный коллектив. Товарищи, работавшие в типографии, подчинялись строгой дисциплине, соблюдали режим установленный в ней. Никто из работавших в типографии не имел права куда-либо отлучаться без ведома Ладо посещать знакомых, и особенно не кто принимал участие в революционной работе. Все эти предосторожности были крайне необходимы для полной гарантии типографии от провала.

Сам Ладо целыми сутками не выходил из типографии. Он писал, редактировал материалы, правил корректуру, набирал, печатал. И как ему тяжело было, никто не видел следов усталости на его лице.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

В конце июня ко мне приехала семья. А в сентябре жена родила четвертого ребенка, дочку Надежду. Моя семья, таким образом, округлилась до шести душ. По этому случаю, как мне кое-кто советовал, пришло время «взяться за ум», утихомириться и сократить в своих порывах. Но я, видимо, был слишком упрям, чтобы последовать «доброму» совету и думать лишь о своей семье. По укоренившейся уже в плоти и крови привычке я попрежнему продолжал оставаться бутарем.

Из-за этих «особенностей характера» у меня и здесь, в Баку, происходили конфликты с некоторыми лицами из технического персонала электростанции. Особенно я не ладил с механиком Раттером и инженером-электриком Векслером — бесталанными специалистами и незадачливыми администраторами. Это были два сапога, составлявшие одну пару, хотя и снятые с разных колодок.

С механиком Раттером трения у меня начались с первых же дней его появления на станции. Котельное отделение, где я работал, было снабжено полным набором инструментов, необходимых на случай аварии. По воле Раттера гаечными ключами котельной стали пользоваться подсобные рабочие, а

также монтеры электротехнической мастерской. Я протестовал против такого беспорядка, могущего вызвать задержку спешного выполнения работ при авариях на паровых котлах.

Как-то во время пуска резервной паровой машины прорвало асбестовую прокладку между фланцами паропровода, идущего от котлов к машинному. Случилось это при директоре «Электросилы» Классоне. Из-за отсутствия под руками ключа нужного размера аварию ликвидировали с некоторой задержкой.

Классон спросил:

— Почему произошла задержка?

Я в свое оправдание заявил, что если инструменты будут уносить из котельной, то не исключена возможность повторения подобных задержек.

— Никому не давайте инструменты, — сказал Классон и покинул котельную.

Назавтра Классон издал специальный приказ, предлагавший немедленно привести в надлежащий порядок инструменты, в том числе и гаечные ключи. Приказ запрещал кому бы то ни было уносить их из котельной.

С тех пор работа стала протекать нормальнее.

В один из ноябрьских дней во время моего дежурства в котельную вошла

ный рабочий Савин. Он заявил, что прислал «директик» — так Савин называл директора — за гаечным ключом, и указал размер. Из-за шума, поднявшегося в котельной, мне показали, что Савин прислан электриком заводным, который обычно за ключом присылал того же Савина. Я отпустил выдать ему ключ.

Через некоторое время он снова пришел вместе с механиком.

Вы почему не дали ключ Клас-сону? — набросился на меня механик. — Разве не знаете, что из-за этого происходит пуск электронасоса?

Только слово сообразил, что впал в ступор, приняв слово «директик» за «электрик». Но исправлять ошибку я не стал и ответил, что, согласно приказу директора, я никому не имею права выдавать инструменты из котельной. Механик стал кипятиться. Тогда я предложил ему взять ключ на свою ответственность. Прошло несколько минут, и ко мне прибыл посланец от Классона с требованием немедленно явиться к нему на станцию. Там, на пристани, происходила проба мощного центробежного электронасоса. Испытывали насос в присутствии технических представителей нефтяных фирм, заинтересованных в замене отстававшей техники электродвигателя.

Классон встретил меня сурово. Вы знали, что ключ нужен был Клас-сону? — спросил он.

Да, знал.

Почему же вы не дали?

Послался на его приказ и на бо-босе оставил котельную без ключа.

Классон, выслушав меня, обратился к жеру, заместителю Красина:

Кто он такой?

Жер ответил, что я состою стар-старшим котельного отделения.

— Старшим? — переспросил Клас-Классон.

— Перевести его в низший раз-разряд?

Жер согласился с его мерой взыска-высказал, что он неправ.

Классон вспыхнул.

Уволить этого умника! — резко сказал Классон.

Жер вернулся в котельную и приступил к работе. Приближался вечер, нужно было давать пар для пуска второй ма-

шины. Я полез на котлы, чтобы прогреть паропровод. Вслед за мной взобрался туда и Векслер.

— Покиньте котельную, — сказал он.

Я отказался выполнить такое нелепое требование. Он продолжал настаивать на своем. Тогда я, в свою очередь, предложил ему не мешать мне и немедленно сойти вниз. Векслер удалился.

На следующий день рано утром, до начала очередного дежурства, я направился к Беккеру и рассказал ему о дополнительном инциденте с Векслером. Беккер сказал, что я поступил правильно, отказавшись покинуть вахту до прихода сменного кочевара.

— Продолжайте работать, — заметил Беккер. — Вы имеете право до полного расчета работать две недели.

Но вот две недели прошли, и Беккер на свой риск снова отсрочил мое увольнение до возвращения из отпуска Красина.

Но однажды на станции появился Классон. Он побывал во всех отделах, зашел в котельную, сделал какое-то незначительное замечание насчет работы опреснительного котла и удалился. В тот же день Беккер получил от Классона письмо с запросом, на каком основании до сих пор не выполняется его личное распоряжение об увольнении кочевара Аллилуева.

Назавтра я стал уже безработным.

Мое увольнение совпало с глубоким кризисом в нефтяной промышленности. Устроиться в Баку без посторонней помощи было невозможно. Я с нетерпением ожидал возвращения из отпуска Красина, рассчитывая на его помощь. Кроме того, мне нужно было задержаться на станционной квартире, где я продолжал жить с семьей. Наконец Красин вернулся. Узнав о моем увольнении, он переговорил с Классоном. Тот сменил гнев на милость и согласился дать рекомендательное письмо к управляющему промыслами известной в то время нефтепромышленной фирмы Ротшильда и К°, прожженному дельцу Барскому.

Классон пользовался большой популярностью в деловых кругах нефтяной промышленности. Поэтому Барский принял меня с напускным доброжелательством, словно и в самом деле готов был оказать содействие.

Когда Барский читал письмо Классона, раздался телефонный звонок. Из

отдельных фраз и вопросов Барского я понял, что у какого-то владельца небольшого маломощного промысла со скудным техническим оборудованием начал действовать мощный фонтан, заполнивший все земляные ямы на небольшой площадке промысла. Других хранилищ у промышленника не имелось. Не было и технического оборудования для перекачки фонтанирующей нефти на нефтеналивные баржи, к берегу моря. Нефть растекалась по соседним промыслам, угрожая пожаром. Пожар мог привести к полному разорению счастливого обладателя промысла. Говоривший по телефону умолял Барского закупить у него всю нефть бьющего фонтана и спешно произвести откачку ее в свои многочисленные хранилища всеми имеющимися у крупнейшей и богатейшей нефтяной фирмы Баку техническими средствами.

Барский терпеливо выслушивал несчастного счастливицу, поздравлял его о возможностью получения богатой прибыли, подавал ободряющие и успокоительные реплики. Затем стал гово-

рить о том, что при всем желании помочь ему ничем не может, ссылаясь на общий кризис, на отсутствие спроса на сырую нефть, на переполнение нефтехранилищ фирмы. Но его седник был настойчив. Наконец Барский согласился принять всю фонтанирующую нефть по три копейки за пуд. После долгого разговора сделка состоялась — Барский брал нефть по пять копеек за пуд. Он немедленно вызвал несколько человек и поручил им приступить к подготовке всех технических средств для перекачки закупленной нефти. Взглянув на письмо Классона, он вспомнил обо мне и снова начал было распространяться насчет кризиса и об отсутствии свободных мест.

— Да ведь Классон предлагает об мне, это отлично, отлично устраивает меня, — вдруг сказал он. Тут же он написал записку к инженеру Галперину, заведующему промыслом Биби-Эйбате близ Баилова мыса.

Это меня весьма устраивало, потому что я продолжал еще жить с вдовой Красина в доме электростанции.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Наступил тысяча девятьсот второй год. Работая на промысле, я собственными глазами увидел, как тяжела и безотраднa была жизнь рабочего-нефтяника. Всюду стояла грязь, воздух, пропитанный нефтяными парами, был удушлив. В городе не хватало пресной воды. Вода доставлялась в бочках из колодцев, находившихся в окрестностях Баку. Была она горьковато-соленая и часто вызывала желудочные заболевания. Акционерное общество Оппель имело опреснитель морской воды. Но воды выпускал он мало, плохой очистки, с неприятным запахом и вкусом. От отсутствия хорошей воды страдали не только промысловые рабочие, но и все пришлое городское население, не привычное к потреблению местной воды.

Жили рабочие в бараках. Спали вповалку на грязных нарах, прикрываясь своей верхней одеждой. В бараках для рабочих-персов сплошь да рядом не было даже нар, и люди скали прямо на земляном полу, на тростниковых циновках.

Врачебная помощь была организована

на плохо. Больничные койки насчитывались единицами, медикаментов не хватало. Общественных столовых не было, питаться приходилось в городских персидских харчевнях и чайханках, вечно переполненных народом.

В Баку отсутствовал и мало-мальски сносный транспорт. В этом большом заброшенном городе существовала лишь конка. Заморенные клячи черпашей рысью тащили старые открытые вагоны. Частенько случалось, что лошади останавливались и кучер начинал хлестать их вожжами, свистеть. Но лошади упрямылись и не шли. Тогда пассажиры выскакивали и, кряча, подталкивали вагоны. Лошади тогда вновь останавливались.

Акционерное общество «Электростанция» по инициативе Р. Э. Классона вошло в городское самоуправление предложением построить трамвай, связать электротягой все районы недропомысла с городом. Но «отцы» народа отказались от этого предложения по тем мотивам, что на слишком узких улицах трамвай может вызвать

тные случаи. На самом деле от-  
зывался иными соображениями:  
винство членов городского само-  
ления состояло акционерами кон-  
вавшей им большие прибыли.

овы были условия жизни в Ба-  
становка благоприятствовала ре-  
ионной деятельности.

инский комитет РСДРП, органи-  
тый с появлением Ладо Кецохо-  
во-всю развернул работу. На  
слах то и дело появлялись ли-  
; в окрестностях города посто-  
происходили нелегальные собра-  
а которых мы зачастую читали  
кую «Искру», размножавшуюся  
ей типографии.

рвых числах февраля возникла  
об открытом выступлении в  
первого мая. Сначала вопрос этот  
дался в комитете, затем в круж-

ню, на собрание социал-демокра-  
ой организации Биби-Эйбатского  
пришел Ладо. Он рассказал о  
ни комитета, указал, как надо  
иться к маевке, и предупредил  
ожайшем соблюдении конспира-

рание закончилось в полночь. Я  
ащался домой вместе с Ладо.  
была тихая, в небе горели ред-  
звезды. Задумчиво и проникновен-  
адо говорил полушопотом:  
Знаешь, генацвале, пройдет два-  
десятилетия, и нам не от кого бу-  
скрыватьсь. Мы сами станем хо-  
ми своей жизни. И собрания мы  
а устраивать большие, многолюд-  
в огромных светлых дворцах. Вот  
а будет хорошо!

а перекрестке мы расстались с Ла-

Спокойной ночи, генацвале! —  
о сказал он. — Спокойной ночи...  
вошел в дом. Едва улегся, как  
ался стук.

Кто?  
Откройте — полиция.

ту же ночь я, по предписанию  
лесского жандармского управле-  
был арестован. На следующий  
меня отправили в Тифлис и пря-  
вокзала доставили в Метехский  
к.

еня привлекли по делу группы со-  
демократов, арестованных весной  
а девятьсот первого года. Среди  
тованных находились Виктор Кур-  
вский, Ипполит Франчески, Юй

Жордания, Калистрат Гогуа, Леонид  
Скорняков, Иван Лузин, Сильвестр  
Джибладзе, Севериан Джугели и дру-  
гие. Мне предъявили обвинение в том,  
что я был связан с тифлисской соци-  
ал-демократической организацией, ко-  
торая ставила своей целью свержение  
существовавшего в России государст-  
венного строя. На этот раз допраши-  
вал меня ротмистр Цысс, прикидывав-  
шийся либеральным простаком. Он  
предъявил мне фотографии Курнатов-  
ского, Лузина, Джапаридзе, Франчес-  
ки и еще кого-то.

— Узнаете? — спросил Цысс.

— Нет, я их не знаю.

Цысс улыбнулся.

— Зачем вы скрываете? — сказал  
он. — Ведь нам все известно о вашей  
деятельности. Многие ваши товарищи  
чистосердечно признались. Они осоз-  
нали бесполезность всякого зазира-  
тельства. Почему же вы создаете ос-  
ложнения и запутываете ясное дело?  
Поймите, что отрицание всех фактов  
влечет за собой увеличение срока ни-  
кому не нужного и бессмысленного  
сидения в одиночной камере.

Цысс держал меня долго. Он сты-  
дил, взывал к благоразумию. Ничего  
не помогало. Тогда он начал грозить.

— Я вас знаю как хорошего семья-  
нина. Ради семьи, ради жены и детей  
вы должны признаться. Если будете  
молчать, мы жестоко накажем семью.  
Неужели вы допустите, чтобы ваши  
малютки (так и сказал, подлец!), кото-  
рых вы любите, очутились на улице,  
без хлеба и молока?

Я все отрицал.

Допрос кончился, и меня вновь от-  
вели в одиночку.

Однажды в конце марта я стоял у  
окна. Шла весна. День был ясный и  
тихий. Я смотрел на Куру; она по-  
прежнему шумно и стремительно нес-  
ла свои воды. Хорошо было на воле!

Вдруг раздался стук. Я подскочил к  
печке — стук слышался из верхней ка-  
меры. Открыл дверцу. Стучал Иппо-  
лит Франчески. Через трубу печки мне  
удалось начать с ним переговоры.  
Оказалось, что после годичного пре-  
бывания в одиночках всех товарищей  
перевели в общую камеру, находив-  
шуюся на третьем этаже, над моей ка-  
мерой. Франчески сообщил, что все  
они в одиночках изголодались по лю-  
дям.

— Сейчас мы наслаждаемся общест-

вом. — говорил Франчески. — Прыгаем от радости, разговариваем, смеемся.

И действительно, в первые дни в общей камере с утра до вечера было шумно и весело. Но со временем первая радость от встречи прошла, и в общей камере с новой силой вспыхнули споры. Среди арестованных были люди различных взглядов. Совместное пребывание в одной камере на время стерло разногласия, сблизило людей. Но долго эта дружба не могла продолжаться.

Сторонники большинства «Месамедаси» группировались вокруг Ноя Жордания, сторонники революционного меньшинства — вокруг Виктора Курнатовского. Между ними возникла дискуссия по принципиальным политическим вопросам. Спорили они настолько горячо, что в конце концов

переругались между собой. В камере вдруг установилась полная тишина. В мой вызов никто не отвечал. Я по му-то решил, что товарищей наказали и перевели в карцер. Спал я в ту ночь плохо.

Рано утром я вновь услышал знакомый стук.

— Почему на мой вызов не отвечал?

— Грыземся очень, сцепились, как быки на арене. Теперь сидим по разным углам и дуемся друг на друга.

Так окончилась кратковременная мирная идиллия.

В середине апреля, вечером, из всегда, сверху постучали. Стук был какой-то быстрый, нервный.

— Ипполит, ты?

— Нет, Лузин. Мы получили грустную весть — в Батуме арестован Сосо

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Через несколько дней на прогулке кто-то из товарищей рассказал мне подробности ареста Сосо Джугашвили. В ноябре 1901 года Сосо провел конференцию тифлисской социал-демократической организации, избравшей первый Тифлисский комитет РСДРП. Затем он выехал в Батум, третий по величине пролетарский центр Кавказа.

Не прошло и месяца со дня приезда Сосо в Батум, а он уже всех знал в городе. Его работоспособность поражала всех. Не имея по конспиративным соображениям постоянной квартиры, не зная, где он на ночь преклонит голову, Сосо целиком отдавался любимому делу. Батумские рабочие, проводившие на заводах двенадцать-тринадцать часов, и те часто удивленно пожимали плечами и спрашивали друг друга:

— Когда он спит?

Сам Сосо тоже не всегда знал, когда он спит. Человек особых способностей, он обладал необыкновенной жаждой знаний. Ночью, возвращаясь после занятий кружков на очередную квартиру, он усаживался за стол и начинал читать. Политическая экономия и философия, художественная литература и естествознание, — все пользовалось у него вниманием. Сосо часто говорил, что день, прожитый без чтения книг, пропащий, вычеркнутый

из жизни день. Привычка к чтению помогала преодолевать все неудобства: и отсутствие постоянной квартиры, и шум соседей по ночевке, и холод.

Дни Сосо были до предела уплотнены. Одиннадцать кружков, созданных в Батуме, объединяли добрую сотню людей. Когда создавались кружки, было решено собираться раз в неделю. Но люди, послушав однажды Сосо, уже тянулись к нему. Он располагал себе и старых рабочих и молодых. И потому приходили они чаще, чем было предусмотрено, и требовали Сосо. Сосо являлся. Он приносил с собой тонкие, набранные мелким шрифтом брошюры, листовки, газеты.

С первых же дней пребывания молодого Сосо в Батуме рабочие признали его своим руководителем. Его влияние особенно возросло после того, как он разоблачил провокатора Карцо — главу дрогаля.

У Сосо были необычайно зоркие глаза. Он умел сразу безошибочно определять людей.

В новогоднюю ночь Сосо созвал на квартире рабочего Сильвестра Ломажария собрание активных кружковцев.

— Братья! — сказал хозяин, поднимая бокал. — Сегодня все встречаю новый год. Встречаем его и мы в своем кругу, в своей семье. Что старый год дал нам, рабочим, вам изве-

пожелаем же друг другу, чтобы на девяносто второй год принесло счастье. В прошлом году, помню, осенью, мы впервые услышали удивительные слова о нашей жизни. Их сказал нам товарищ Сосо. — Сильвестр указал на Джугашвили. — Поцелуем же нашего большого друга и будем смелыми, решительными, готовы своими руками завоевывать счастье для себя и своих детей. Мраваллер! — закончил Сильвестр и выдохнул до дна.

Кто-то затянул застольную песню. Запеванная сильными голосами, она звучала красиво и стройно.

Сосо взял Сосо. Он отпил глоток вина и начал говорить. Говорил негромко, но так, что все отчетливо слышали каждое слово.

— Что нужно для того, чтобы наше счастье торжествовало? Борьба, борьба с самодержавием! Что служит основой победы в этой борьбе? Организация, единение, дисциплина. Имея такую, монолитную организацию, мы победим.

— Организация, которую мы создаем, должна иметь руководящий центр. Нужна только осторожность, осторожность и строгая дисциплина. Осторожность и мужество — вот что нам требуется. В руководящем центре должны войти лучшие товарищи с мужественным сердцем, с ясным взглядом и трезвым умом. Руководящий центр будет называться Центром батумской организации ЦКРП...

Сосо не скрывал, что люди, объединившиеся в организацию, должны будут идти по тернистому пути.

— Надо заранее предупредить, что в борьбе, кто вступает на священный путь борьбы, ожидают большие жизненные лишения. Тюрьма, ссылка — это постоянные помехи на нашем пути. Выдержим мы лишения, преодолеем их — тогда мы подлинными революционеры. Спасуем перед трудностями, испугавшись их, опустим руки — тогда грош цена.

Люди, слушавшие Сосо, точно очнулись. Они вскочили с мест, закрича-

— За тобой всюду пойдем!

— Не струсим!

— Ничто не остановит нас!

Сосо поднял руку, водворяя тиши-

— Тогда назовите членом комитета...

Взволнованный поднялся кружковец Канделаки.

— Налейте вина. Выпьем за здоровье Сосо!

Чокнулись, шумно выпили. Затем Канделаки назвал первое имя — Сосо. Воцарилась напряженная тишина. Потом, взрывая ее, полетели горячие, страстные слова одобрения. Кто-то назвал новое имя, потом еще и еще. И, выбрав, наконец, комитет, рабочие, ставшие отныне членами батумской организации Российской социал-демократической рабочей партии, стали поздравлять друг друга руки.

— Да здравствует Батумский комитет и его руководитель! — провозгласил Сильвестр.

И точно в ответ на возглас Сильвестра люди, не сговариваясь, тихо зашептали:

Отречемся от старого мира,  
Отряхнем его прах с наших ног...

Ночь покидала Батум. В окна заглядывал рассвет.

Сосо поднял бокал и задумчиво проговорил:

— Ну, вот и рассвет. Скоро встанет солнце. Это солнце будет сиять для нас.

...Опять побежали боевые дни. Кружки. Встречи. Беседы. Листовки. Книжки. Время летело стремительно. Из Тифлиса Сосо получил статью Ленина. Он прочел ее сразу, запоем. Прочел, встал из-за стола:

— Я во что бы то ни стало должен увидеть его, — сказал Сосо, думая о Ленине.

Была ночь. Тускло мерцала лампа.

Вдруг за окном прозвучал необычный по времени гудок. Сосо схватил пальто и, на ходу одеваясь, выскочил на улицу.

Гудок выливал гулко и протяжно, часто прерывался и снова возникал — тревожный и неистовый. Казалось, дрожал воздух.

На улице было темно и сыро. Сосо бежал, оступался в лужи, скользил и снова бежал, призываемый тревожным гудком. По сторонам в темноте он слышал топот и ругань людей, так же, как и он, попадавших в лужи и грязь. Гудок надрывался, и люди бежали, еще сами не зная, куда и зачем бегут. Лишь в конце улицы, ми-

новав угол большого дома, окруженного высокими деревьями, Сосо увидел вдали зарево.

«Пожар!» — мгновенно пронеслось в его голове, и он побежал быстрее. Теперь он уже не спускал глаз с пламени, бросавшего далеко вокруг яркие отсветы. Оно росло, ширилось...

Всего несколько десятков метров отделяли Сосо от пожара. Но сомнений уже не было: горел лесной отдел крупнейшего в городе завода Ротшильда. «Тысяча людей... без дела... без работы», — пронеслось в голове. Охрипшим от жары голосом его звал пожарник, прилаживавший лестницу у стены.

— Ну-ка, помоги! — коротко бросил он, и Сосо ухватился за конец лестницы.

Сосо утвердил ее на земле и первым с необыкновенным проворством начал взбираться вверх. Его душил дым, клубами летевший на него и застилавший глаза. Но Сосо поднимался все выше и выше. Следом за ним на крышу взбирались рабочие. Ему стало душно. Он сорвал с себя пальто и, не считаясь с опасностью, принялся вместе со всеми отстаивать корпуса главных цехов.

Пламя бушевало, свирепствовало, угрожая людям, заводу, городу.

Прошла ночь, властно вступало в свои права утро, а конца пожара не было видно. Менялись люди, на место тех, кто устал, становились новые, свежие, и борьба продолжалась. Сосо работал без усталости. Наконец с мокрым от пота лицом, в изорванной одежде он спустился вниз, прислонился к какому-то столбу и, тяжело вздохнув, сказал:

— Ну, и силища у огня!

Сколько он простоял так, в изнеможении, — Сосо не знал. Но когда он подошел к лестнице, чтобы вновь подняться вверх, кто-то удивленно произнес:

— Опять лезешь? Неугомонный ты человек...

Огонь затих лишь к вечеру. Кое-где еще пробивались языки пламени, еще слышался треск сухого дерева, но было ясно: завод, его основные цехи остались невредимыми.

Директор завода Ротшильда Веншейдт отказался платить рабочим, тушившим пожар. Рабочие, руководимые Сосо, настояли, и через несколь-

ко дней участники тушения пожара получили по полтора — два рубля. Деньги были выписаны и Сосо. Он передал в партийную кассу.

Революционный Батум выдвигался шеренгу революционных городов Закавказья. Еще не сгладилось в памяти воспоминание о поражении Ротшильда удовлетворившего требования рабочих об уплате за тушение пожара, как в заводе Манташева вспыхнула забастовка. Забастовка закончилась победой рабочих.

Предприниматели негодовали. Этому надо положить конец! Желая избить революционных волнений, под видом сокращения производства, директор завода Ротшильда уволил триста семьдесят девять человек — все самых передовых и сознательных рабочих.

У списка с фамилиями уволенных самого утра толпились люди. Читая список, выражали свое возмущение. Тем временем Батумский комитет РСДРП решал вопрос о забастовке протеста. Сосо накануне выехал в Тифлис, и комитет был в затруднении.

— Вы посмотрите на рабочих, как они негодуют! — говорил Коция Канделаки, доказывая необходимость объявления забастовки.

Действительно, все были к ней подготовлены: и уволенные рабочие, и те кто в список не попал. На заводе, в квартирах, на стихийно возникавших сходках люди говорили лишь об одном — о неслыханной расправе с лучшими рабочими. После недолгих споров комитет принял решение: забастовку объявить и срочно вызвать Сосо в Тифлис.

Сосо, приехав в Батум, одобрил действия комитета и сразу же стал главой забастовки. Вместе с группой членов организации он составил требования для предъявления администрации. Требования эти не были удовлетворены, и забастовка ширилась.

Вскоре из Кутаиса явился губернатор Смагин. Узнав о приезде губернатора, Сосо собрал актив бастующих. Он разъяснил им значение их выступления, рассказал, как нужно держаться при встрече со Смагиным. Тут была избрана делегация в составе тридцати двух человек для разговора с губернатором.

Утром следующего дня на заводе состоялась встреча Смагина с рабо-

Губернатор, а с ним директор застояли, окруженные чиновника под охраной полицмейстера и мармов. Окинув взглядом рабочих, губернатор сказал:

— Выберите доверенных людей и скажите, чего вы хотите.

— Все мы равно нуждаемся и все равны, — ответили рабочие.

Губернатор поднял голову:

— Согласитесь, что со всеми я говорить не могу. Выходите несколько человек и объясните, в чем дело.

Перед продвинулась намеченная на делегацию. Выслушав рабочих, губернатор сказал:

— Пустые требования. Администрация в случае надобности, может совершить производство по своему усмотрению. — Потом, еще раз осмотрев рабочих, Смагин добавил: — Завтра пойдете на работу.

Сказав, что забастовка не прекращается, полиция по приказу Смагина арестовала рабочую делегацию. А назавтра, после ареста делегации, восьмого марта весь город был наводнен людьми, призывавшими требовать освобождения арестованных. В тот же день Сосо вывел на улицу четыреста человек. Люди направились к полицейскому управлению, оттуда — к зданию тюрьмы. У тюрьмы вскоре оказался помощник военного губернатора Александр Дрягин. Он вызвал роту солдат кавказского стрелкового батальона. Дождавшись прибытия солдат, Дрягин приказал рабочим разойтись по домам. Те в ответ потребовали освобождения товарищей. Тогда Дрягин арестовал триста сорок восемь человек и вместе с тридцатью двумя военными ранее увел всех в пельменную тюрьму.

Тюрьма разгоралась. Сосо понимал, настал момент, когда требуются решительная выдержка и хладнокровие. Сосовой отряд батумского пролетариата — в тюрьме. Если не вырвать его из тюремных решеток, то с трудом организованное движение пойдет на убыль, и люди, подгоняемые нуждой, за другим выйдут на работу. Общественства требовали борьбы острой, беспощадной, ожесточенной. Был один человек — наступать и только наступать. Сосо, став во главе восьмисоты тысяч коллектива рабочих, повел наступление.

Восьмого марта день выдался сол-

нечный. Было еще рано, а солнце уже успело щедро нагреть землю, озолотить буйную зелень, покрывшую весь город. Зима ушла, не оставив даже следов.

Словно радуясь наступившему теплу, из маленьких домишек выходили люди и направлялись к улице, прилегающей к пересыльной тюрьме. Многие были в белых костюмах.

Люди знали: здесь, недалеко от тюрьмы, начнется демонстрация. Царило необычайное воодушевление. Толпа росла. А когда стрелки часов подходили к девяти, люди двинулись к пересыльной тюрьме. Впереди в группе рабочих находился Сосо. Шли теперь тихо, без возгласов и песен. За несколько минут до этого оживленные и взволнованные демонстранты стали строже и деловитей.

Свернув на Пушкинскую улицу, рабочие увидели отряд солдат, державших наготове винтовки. Вперед вышел средних лет офицер в парадной форме. Громко, чтобы все слышали, он крикнул:

— Расходитесь!

Ряды демонстрантов дрогнули. Послышались голоса:

— Что же это такое, а?

В ту минуту, когда многие уже готовы были повернуть обратно, раздался голос Сосо:

— Товарищи, ни шагу назад! Пока не освободят арестованных, у нас одна дорога — вперед, к тюрьме.

В жизни бывают минуты, когда одно, во-время произнесенное слово может зажечь сердце многотысячной армии. Так было и теперь. Огромная толпа, готовая было рассыпаться по первому требованию офицера, вдруг оказалась спаянной в единый монолитный коллектив, спаянной волей своего предводителя. Демонстранты грозно двинулись вперед.

В тюрьме услышали шум. Пренебрегая опасностью, заключенные подбежали к окнам и увидели направляющуюся к тюрьме демонстрацию. Желая скорей встретиться с товарищами, они навалились на двери, выскочили в тюремный коридор, оттуда к воротам. Ворота, треснув, распахнулись, и заключенные с криком «Ваша! Ваша!» устремились к толпе.

В ту же секунду раздались выстрелы. Десятки людей, вскрикнув, свалились на землю.

— Будьте прокляты, царские опричники! — крикнула женщина, припав к мужу, истекавшему кровью. К раненому бросился Сосо. Он отстранил женщину, осторожно поднял раненого и вынес из толпы. Передав его двум рабочим, он сказал:

— Отнесите его! — и рукой указал на ближайший домик.

Повернувшись, Сосо заметил, как пуля попала в невысокого молодого рабочего. Тот, словно не почувствовал боли, поднял руки. Внезапно его поразила вторая пуля. Схватившись обеими руками за грудь, юноша все шел и шел на солдата, пока третья пуля не пробилась ему в сердце. Он упал.

В другом месте несколько солдат, приперев какого-то парня к стене, неторопливо наносили ему удары прикладами. Неожиданно изловчившись, парень пнул ногой одного из солдат. Тот выругался, с силой повалил парня на землю и начал ожесточенно колотить его.

Вскоре на площади слышались лишь стоны раненых. Молодая женщина с черной шалью на плечах бегала от раненого к раненому, кого-то выискивала. И вдруг, узнав знакомые черты, она вскрикнула:

— Ваню! Ваню!

Не услышав ответа, женщина заплакала. Ваню был мертв.

Через несколько дней пять тысяч человек провожали в последний путь тела убитых товарищей... Грозная в своем спокойствии, двигалась траурная процессия. В рядах из рук в руки передавалась листовка:

«Хвала вам, убитые за правду, хвала грудям матерей, вскормивших вас; хвала вам, украсившие себя терновыми венками и, умирая, шептавшим нам о борьбе дрожащими, побледневшими устами. Хвала вашим теням, беспрепятственно кружащимся над нами и шепчущим нам в ухо: отомстите кровью».

За Сосо следили. Шпики ходили по его следам. Преследовали его сторонники большинства «Месаме-си» — Карло Чхеидзе и Исидор Мишвили, находившиеся в Батуме.

Сосо перебрался на другую квартиру, в поселок Чаоба, расположенный в болотистой местности. Но работа не прекратил. Сюда же была перевезена и созданная им типография.

Почти каждую ночь Сосо созывал собрания руководителей и актив по полных кружков, печатал листовки.

За Сосо гнались по пятам. Десятки шпики рыскали за ним по всему городу. Надо было снова и снова менять квартиру. Кто-то из друзей Исидора Рамишвили предложил Сосо оставить Батум.

— Оставить Батум? — сердито переспросил Сосо.

— Это лучше, чем оказаться в руках полиции.

— Это хуже, — вспыхнул Сосо. Хуже! Сейчас, когда дело пошло в гору, уезжать из Батума нельзя, а вот найти прочную квартиру, находящуюся вне подозрений полиции, надо.

Квартира такая вскоре нашлась. Недалеко от Батума, в селении Махидия, жил абхазский крестьянин Хашим Смырба. Тихий и молчаливый, — глаза его зорко смотрели из-под нависших бровей. — Он встретил Сосо приветливо, накормил его вкусным ужином, указал на кровать и сказал:

— Я не любопытен, делай, что хочешь. Я ничего не знаю.

Но с первых же дней Хашим сам втянулся в работу. Он наполнял кошелюшки листовками, сверху клал зеленую краску и так отправлялся в город. Хашим доставлял листовки на заводы, в поселки и деревни, а изредка возил их в Петли и Озургеты.

Однако кольцо преследования сжималось все туже и туже. Царские ищейки вновь напали на след Сосо. Пятого апреля его арестовали.

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

В последних числах апреля я вновь был вызван на допрос. Цыссу тужился выжать из меня нужные ему показания. Он добивался признания, что я знаком с социал-демократами, бывал на нелегальных собраниях, вел рево-

люционную работу. Цыссу доказывал, что, по имеющимся у него агентурным сведениям, я был тесно связан с Курнатовским, Франчески и Джигладзе вместе с ними участвовал в кружках и незаконных сходках.

ворно отрицал все это. Не до-  
жидаясь желательных для себя резуль-  
татов, Цыс в конце мая распорядился  
удалить меня из-под стражи.

Из тюрьмы, я при помощи то-  
варщика из мастерских встретился с  
Михо Бочоридзе. Михо, увидев меня,  
радовался.

Михо мне и нужен, — приветливо  
сказал он. — Есть дело.

Михо передал мне поручение Тиф-  
лисского комитета РСДРП поступить  
на работу по ремонту машин в типогра-  
фии грузинского товарищества.

Сойдись ближе с работниками  
типографии, — говорил Бочорид-  
зе. — Подготовь почву для снабже-  
ния материалами нашей типографии.

Тифлисский комитет в это время  
использовал небольшой типографией,  
находящейся в Сосо Джугашвили еще до  
поезда в Батум. Типография сна-  
чала находилась в одном из районов  
Баку — Нахаловке, затем она была  
перенесена на Лоткинскую гору и,  
наконец, в дом недалеко от станции  
Лезера. Но типография нуждалась  
в материалах, и достать их комитет  
не мог.

Михо, бывший народоволец Джабадари,  
типографии грузинского товари-  
щества, спросил, где я работал, хоро-  
шо ли я мастер, в совершенстве ли  
знаю слесарное дело. Я заверил его,  
что мастер я отменный и с любым  
делом справлюсь.

Ну, хорошо, — сказал Джабада-  
ри. — Приступайте к работе в мастер-

стве со мной в мастерскую типо-  
графии поступил и другой слесарь,  
Лелашвили, участник кружка Со-  
ветско-железнодорожных мастерских. Ги-  
го мой помощником по ремонту  
машин; он же выносил все материалы  
для подпольной типографии.

Наша работа в мастерской протекала  
очень успешно. Этим мы снискали  
уважение старого народовольца. С ува-  
жением относились к нам и рабочие  
мастерской, помогая делать кое-что для  
подпольной типографии.

Михо вместе с Гиго Лелашвили по-  
пытался достать для бакинской типо-  
графии шрифт для печатания на ар-  
мянском языке. Это было делом нелег-  
альным. Пришлось отлить новый шрифт  
на литографической машине, имевшейся при типогра-  
фии. Мастер словолитни — Павел —  
после долгих разговоров, наконец, от-

пустил шрифт. Тогда у нас явилась мысль  
сделать клише портретов Маркса и  
Энгельса. Мы с Гиго пригласили ма-  
стера цинкографии немца Шелле в  
винный подвальчик. Там за жирным  
шашлыком и бутылкой вина он согла-  
сился помочь нам.

Получив, наконец, шрифт и клише,  
мы несказанно обрадовались. Но ра-  
дость наша была преждевременной.

Отвезти шрифт и клише в Баку Ми-  
хо Бочоридзе поручил двум товари-  
щам. На станции Тифлис товарищам  
показалось, что за ними следят. По-  
этому, побросав хурджини — перемет-  
ные грузинские мешки из шерсти —  
со шрифтом, они удрали.

Мы узнали об этом на следующее  
утро от Михо Бочоридзе. Весть эта  
повергла нас в уныние. Мы рассуди-  
ли, что если мешки попадут в лапы  
жандармов, то они доберутся до ти-  
пографии, где изготовлялись шрифт и  
клише. Это могло вызвать неприятные  
осложнения. Но нас выручила сообра-  
зительность Гиго Лелашвили. Узнав,  
кому была поручена доставка материа-  
лов в Баку, он спросил:

— Следили ли за ними? Может  
быть, они попросту трусили.

Расследуя это происшествие, Гиго  
выяснил следующее: после отхода ве-  
чернего поезда в Баку мешки с грузом  
были обнаружены станционными сто-  
рожками. Они решили, что это забытый  
пассажирами ручной багаж и сдали  
его в склад временного хранения за-  
бытых вещей. При содействии нашего  
товарища Георгия Марсакова, ревизи-  
ора паровозного депо, нам удалось груз  
выручить. Благодаря этому мы были  
спасены от провала. Товарищам по ти-  
пографии, оказавшим нам помощь, мы  
в этом тревожном случае не сообщили,  
чтобы не пугать их.

В типографии грузинского товари-  
щества я работал до лета 1903 года.  
Летом Михо Бочоридзе получил от  
находившегося тогда в Кутаисской  
тюрьме Сосо задание организовать в  
Тифлисе большую подпольную типо-  
графию, которая смогла бы печатать  
партийную литературу. Михо Бочорид-  
зе выбрал для постройки типографии  
на окраине города — в Авлабаре —  
пустырь. Заручившись разрешением  
тифлисской городской управы на  
строительство жилого дома, Михо при-  
ступил к постройке. Сначала весь уча-

сток был обнесен высоким забором, потом вырыли яму глубиной в одиннадцать метров, длиной в двенадцать. Нанятые каменщики начали укладывать фундамент. Когда были уложены нижняя часть фундамента и стены, каменщикам неожиданно объявили, что хозяин обанкротился и строительство прекращается.

Ругаясь, каменщики получили расчет и разошлись. На строительстве осталось лишь несколько человек. Построенные каменщиками стены покрыли каменным сводом. Образовался большой каменный подвал, в нем и разместили типографию. Затем в своде оставили небольшое отверстие, а весь свод засыпали слоем земли. Над подвалом начали возводить двухэтажный дом. Когда строительство дома было закончено, во дворе вырыли колодец, соединенный с подвалом. В колодец опустили две деревянные лестницы, прикрыли его балками и за-

сыпали балки землей. Недалеко от первого был вырыт второй колодец. Его соединили тоннелем с первым. Через этот колодец и надо было спускаться в типографию. Из первого колодца шел тоннель во второй, а второго по деревянной лестнице можно было добраться до типографии. Колодец окружили стенами и навесом своеобразным сараем.

Авлабарская типография существовала до апреля 1906 года. В апреле типографию нагрянула полиция с агентами охранки. Они осмотрели все жилые комнаты, ничего не обнаружили. Перед уходом один из агентов увидел в бурьяне куски макулатуры. Он зажег бумагу и бросил ее в колодец. Бумага, пролетев некоторое время, течением воздуха была занята в сторону. Тогда полицейские спустили в колодец по канату пожарника, который увидел подземный ход.

Так была обнаружена авлабарская типография.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Как-то Джабадари при встрече в конторе предупредил меня, чтобы я вел себя осторожней. Я понял, что мне нужно покинуть не безопасное для себя место. Я подыскал заместителя и в июне оставил типографию.

Вскоре мне удалось поступить помощником мастера в мастерскую строительства керосинопровода Баку—Батум. Мастерская находилась на станции Навтлуг, в девяти верстах от города. Но здесь мне не суждено было работать.

В Закавказье назревала всеобщая забастовка. В мастерских появились листовки с призывом присоединиться к стачке. Мастер Грабовский и табельщик Шарапов, члены «Союза русского народа», насторожились.

В один из июльских дней я взял бюллетень и выехал в тифлисскую железнодорожную больницу, чтобы оперировать опухоль, образовавшуюся у соска правой груди. Старший врач Худадов направил меня в операционное отделение. Но меня там не приняли и предложили прийти завтра. Остаток дня я использовал для встречи с товарищами.

В ту же ночь ко мне нагрянул наряд полиции, и меня арестовали. Ока-

залось, что Грабовский и Шарапов истолковали по-своему мой отъезд в Тифлис и донесли жандармерии, что я поехал туда для организации забастовки.

И вот я снова, в третий раз, в тифлисской тюрьме. Там я застал арестованного в Баку в сентябре 1902 года Ладю Кецховели; в тюрьме попржему находились, ожидая высылки в Сибирь, Виктор Курнатовский, Ишлит Франчески, Сильвестр Джигбала и другие.

Меня посадили в камеру, распахнутую окнами во двор.

Однажды в конце июля я был свидетелем следующей сцены. Во время утренней прогулки группа уголовников напала на арестанта Демидова и нанесла ему ножевые раны. Демидов сидевший за подлог и взятки, выполнял обязанности писаря в тюремной канцелярии. Уголовные часто обращались к нему за различными справками и разъяснениями юридического характера. Он же писал уголовным письмам и кассационные жалобы. Кто-то говорил о том, что Демидов выдает секретные тайны заключенных следственным властям. Это и явилось причиной расправы с ним.

шло некоторое время, и меня вели в другую камеру на третий этаж к Куре. Прямо подо мною была камера Ладо Кецховели, а со мною сидел в одиночке Ватуруа.

Оставшись вблизи друг от друга, мы начали переговариваться. Я говорил товарищам о случае с Демим. Ладо уже знал о нем и был чужден.

Удалось наладить связь с уголовным, молодым парнем, назначенным на каторгу. Уголовный работал в тюремной типографии и изредка снабжал Ладо литературой и изредка вольнонаемных наборщиков представлял его письма. Типография находилась в первом этаже политического корпуса, а печатный цех — прямо под камерой Кецховели.

Когда уголовный оставался в типографии до ночи, он подавал Ладо условный сигнал. Ладо спускал из своего окна нитку, уголовный привязывал к ней газету или письмо, адресованное Кецховели. Таким же способом доставлял свои письма и Ладо.

Вечером, накануне расправы с Демим, Ладо передал письмо для отправки на волю одному из своих ближайших товарищей по работе в Баку. В письме, написанном по-грузински, он рассказывался делами бакинской организации. Но уголовный, получив письмо, не смог в ту же ночь передать его по назначению и взял с собой в камеру. Утром произошла расправа с Демим; вслед за этим в тюрьме начался повальный обыск. В камерах находились ножи. В это время тюремщики обнаружили письмо Ладо.

На следующий день Ладо на наш этаж не отозвался. То же повторилось и на завтра. Мы встревожились. Не позднее нам стало известно, что Ладо посажен в темный карцер на два суток за то, что плюнул в лицо начальнику тюрьмы Милову и вытолкнул его из камеры.

Вернувшись через неделю из карцера, Ладо сказал:

— Пришел ко мне Милов, и я попытался вернуть письмо. Непростительная оплошность. А Милов что... лишь захихикал.

О том, что он вытолкнул Милова из карцера, Ладо не обмолвился ни одним словом.

Пребывание в карцере не сломило

железной воли Ладо. Он не переставал бороться против тюремного режима, поднимал заключенных на забастовки и бунты. Тюремный режим трещал по всем швам. Дисциплина падала. Тюремное начальство стало требовать перевода Ладо в военную тюрьму, а пока лишило его прогулок, отобрало постель и книги.

Однажды утром Ладо запел «Марсельезу». Пел он громко, сильно, и заключенные один за другим подхватывали песню. Тюремная администрация была в панике. Надзиратели бежали от камеры к камере и кричали:

— Замолчите! Немедленно замолчите!

Но песня нарастала. Когда, наконец, она затихла, из камеры Ладо раздался возглас:

— Да здравствует социализм!

Тюремное начальство решило расправиться с непокорным революционером. Семнадцатого августа Ладо, как всегда, с утра начал переключку. Он стоял на подоконнике, прижавшись вплотную к толстой железной решетке. Во весь голос переговаривался он с товарищами. В это время на противоположном берегу Куры появилось несколько крестьян-армян, приехавших разыскивать в тюрьме своих родственников и односельчан. Кецховели прекрасно знал армянский язык и стал громко переговариваться с крестьянами.

Я сидел в камере на подоконнике и хорошо видел все.

Часовой наружной охраны, заметив Ладо в окне, свистнул. К нему быстро подошел караульный начальник. Указав на винтовку, он что-то сказал. Часовой начал целиться в Ладо.

Мы почувствовали, что дело может кончиться плохо. Я, Ваню Стуруа и еще кто-то стали кричать Ладо, умоляя его сойти с подоконника. Раздался выстрел, и сразу наступила тишина, длившаяся несколько минут, а может быть, секунд. Ладо замолк.

— Ладо! Ладо! — слышались со всех сторон встревоженные голоса.

Но ответа не было. Тогда во всех камерах зашумели, заволновались. Гул негодования охватил всю тюрьму.

— Ладо убит! — донеслось до моих ушей. Растерянный и потрясенный, метался я по камере. Я не находил себе места. Мне не хотелось верить, что Ладо уже нет в живых.

сток был обнесен высоким забором, потом вырыли яму глубиной в одиннадцать метров, длиной в двенадцать. Нанятые каменщики начали укладывать фундамент. Когда были уложены нижняя часть фундамента и стены, каменщикам неожиданно объявили, что хозяин обанкротился и строительство прекращается.

Ругаясь, каменщики получили расчет и разошлись. На строительстве осталось лишь несколько человек. Построенные каменщиками стены покрыли каменным сводом. Образовался большой каменный подвал, в нем и разместили типографию. Затем в своде оставили небольшое отверстие, а весь свод засыпали слоем земли. Над подвалом начали возводить двухэтажный дом. Когда строительство дома было закончено, во дворе вырыли колодец, соединенный с подвалом. В колодец опустили две деревянные лестницы, прикрыли его балками и за-

сыпали балки землей. Недалеко от первого был вырыт второй колодец. Его соединили тоннелем с первым. Через этот колодец и надо было спускаться в типографию. Из первого колодца шел тоннель во второй, а во второго по деревянной лестнице можно было добраться до типографии. Колодец окружили стенами и навесом своеобразным сараем.

Авлабарская типография существовала до апреля 1906 года. В апреле типографию нагрянула полиция с агентами охраны. Они осмотрели двор, жилые комнаты, ничего не обнаружили. Перед уходом один из агентов увидел в бурьяне куски макулатуры. Он зажег бумагу и бросил ее в колодец. Бумага, пролетев некоторое расстояние, течением воздуха была занута в сторону. Тогда полицейские спустили в колодец по канату пожарника, который увидел подземный ход.

Так была обнаружена авлабарская типография.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Как-то Джабадари при встрече в конторе предупредил меня, чтобы я вел себя осторожней. Я понял, что мне нужно покинуть не безопасное для себя место. Я подыскал заместителя и в июне оставил типографию.

Вскоре мне удалось поступить помощником мастера в мастерскую строительства керосинопровода Баку—Батум. Мастерская находилась на станции Навтлуг, в девяти верстах от города. Но здесь мне не суждено было работать.

В Закавказье назревала всеобщая забастовка. В мастерских появились листовки с призывом присоединиться к стачке. Мастер Грабовский и табельщик Шарапов, члены «Союза русского народа», насторожились.

В один из июльских дней я взял бюллетень и выехал в тифлисскую железнодорожную больницу, чтобы оперировать опухоль, образовавшуюся у соска правой груди. Старший врач Худадов направил меня в операционное отделение. Но меня там не приняли и предложили притти завтра. Остаток дня я использовал для встречи с товарищами.

В ту же ночь ко мне нагрянул наряд полиции, и меня арестовали. Ока-

залось, что Грабовский и Шаранов истолковали по-своему мой отъезд из Тифлиса и донесли жандармерии. Тогда я поехал туда для организации забастовки.

И вот я снова, в третий раз, в Метехской тюрьме. Там я застал арестованного в Баку в сентябре 1902 года Ладю Кецховели; в тюрьме попрежнему находились, ожидая высылки в Сибирь, Виктор Курнатовский, Ипполит Франчески, Сильвестр Джиблад и другие.

Меня посадили в камеру, расположенную окнами во двор.

Однажды в конце июля я был свидетелем следующей сцены. Во время утренней прогулки группа уголовников напала на арестанта Демидова и нанесла ему ножевые раны. Демидов сидевший за подлог и взятки, выполнял обязанности писаря в тюремной канцелярии. Уголовные часто обращались к нему за различными справками и разъяснениями юридического характера. Он же писал уголовным писарям и кассационные жалобы. Кто-то узнал о том, что Демидов выдает сокровенные тайны заключенных следственным властям. Это и явилось причиной расправы с ним.

Прошло некоторое время, и меня перевели в другую камеру на третий этаж, окном к Куру. Прямо подо мною находилась камера Ладо Кецховели, а дом со мною сидел в одиночке Ван Стуруа.

Оказавшись поблизости друг от друга, мы начали переговариваться. Я сообщил товарищам о случае с Демидовым. Ладо уже знал о нем и был речен.

Ладо удалось наладить связь с одним уголовным, молодым парнем, осужденным на каторгу. Уголовный сбегал в тюремной типографии и издавка снабжал Ладо литературой и през вольнонаемных наборщиков переправлял его письма. Типография находилась в первом этаже политического корпуса, а печатный цех — прямо под камерой Кецховели.

Когда уголовный оставался в типографии до ночи, он подавал Ладо условный сигнал. Ладо спускал из своего окна нитку, уголовный привязывал к ней газету или письмо, адресованное Кецховели. Таким же способом переправлял свои письма и Ладо.

Ночью, накануне расправы с Демидовым, Ладо передал письмо для отправки на волю одному из своих близких товарищей по работе в Баку. В письме, написанном по-грузински, он интересовался делами бакинской организации. Но уголовный, получив письмо, не смог в ту же ночь передать его по назначению и взял с собой в камеру. Утром произошла расправа с Демидовым; вслед за этим в тюрьме начались повальный обыск. В камерах искали ножи. В это время тюремщики обнаружили письмо Ладо.

На следующий день Ладо на наш вызов не отозвался. То же повторилось и на завтра. Мы встревожились. Лишь позднее нам стало известно, что Ладо посажен в темный карцер на семь суток за то, что плюнул в лицо начальнику тюрьмы Милову и вытолкнул его из камеры.

Вернувшись через неделю из карцера, Ладо сказал:

— Пришел ко мне Милов, и я попросил вернуть письмо. Непростительная оплошность. А Милов что... лишь усмехнулся.

О том, что он вытолкнул Милова из камеры, Ладо не обмолвился ни одним словом.

Пребывание в карцере не сломило

железной воли Ладо. Он не переставал бороться против тюремного режима, поднимал заключенных на забастовки и бунты. Тюремный режим трещал по всем швам. Дисциплина падала. Тюремное начальство стало требовать перевода Ладо в военную тюрьму, а пока лишило его прогулок, отобрало постель и книги.

Однажды утром Ладо запел «Марсельезу». Пел он громко, сильно, и заключенные один за другим подхватывали песню. Тюремная администрация была в панике. Надзиратели бегали от камеры к камере и кричали:

— Замолчите! Немедленно замолчите!

Но песня нарастала. Когда, наконец, она затихла, из камеры Ладо раздался возглас:

— Да здравствует социализм!

Тюремное начальство решило расправиться с непокорным революционером. Семнадцатого августа Ладо, как всегда, с утра начал переключку. Он стоял на подоконнике, прижавшись вплотную к толстой железной решетке. Во весь голос переговаривался он с товарищами. В это время на противоположном берегу Куры появилось несколько крестьян-армян, приехавших разыскивать в тюрьме своих родственников и односельчан. Кецховели прекрасно знал армянский язык и стал громко переговариваться с крестьянами.

Я сидел в камере на подоконнике и хорошо видел все.

Часовой наружной охраны, заметив Ладо в окне, свистнул. К нему быстро подошел караульный начальник. Указав на винтовку, он что-то сказал. Часовой начал целиться в Ладо.

Мы почувствовали, что дело может кончиться плохо. Я, Ван Стуруа и еще кто-то стали кричать Ладо, умоляя его сойти с подоконника. Раздался выстрел, и сразу наступила тишина, длившаяся несколько минут, а может быть, секунд. Ладо замолк.

— Ладо! Ладо! — слышались со всех сторон встревоженные голоса.

Но ответа не было. Тогда во всех камерах зашумели, заволновались. Гул негодования охватил всю тюрьму.

— Ладо убит! — донеслось до моих ушей. Растерянный и потрясенный, метался я по камере. Я не находил себе места. Мне не хотелось верить, что Ладо уже нет в живых.

Через некоторое время в тюрьму прибыл полицмейстер Ковалев. Он обошел камеры, уверяя всех, что Кецохвели только ранен и будет жив. Но прошел день, и по тюрьме, от камеры к камере, разнеслась страшная весть: Ладо убит. Пуля пронзила его сердце, и смерть последовала мгновенно.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Я просидел в тюрьме до сентября. Несколько раз вызывал меня на допрос жандармский ротмистр Рунич.

— Ну что, будете отвечать или у вас попрежнему плохое настроение? — спрашивал он, пристально вглядываясь в меня.

Я смотрел ему прямо в глаза и на все его вопросы давал отрицательные ответы. Он добивался признания, что я участвовал в организации всеобщей забастовки в Тифлисе. Я упорно отрицал это.

В сентябре меня освободили из тюрьмы и предложили немедленно покинуть Тифлис.

Я выехал в Баку. Поработав некоторое время на нефтяных промыслах Сабунчай и Балаханов, я в ноябре переехал в бакинское предместье — Черный город. Там поступил слесарем на насосную станцию нефтепергонного завода Манташева и К<sup>о</sup>.

В Черном городе я вновь встретил Прокофия Джапаридзе, работавшего под кличкой Алеша. Это был уже опытный партийный работник, блестящий организатор, снискавший любовь и уважение бакинского пролетариата.

В раннем детстве Алеша лишился отца. Несмотря на голод и нужду, он упорно учился, — сначала в Сацхениском училище, затем в Тифлисском учительском институте. В Тифлисе Алеша познакомился с Сосо Джугашвили, и его путь ясно определился. В дни забастовки рабочих Тифлиских железнодорожных мастерских в девятисотом году Алеша был членом стачечного комитета, писал прокламации, устраивал собрания. В Метехском замке оказались тогда мы с ним вместе. После одиннадцатимесячного заточения он был выслан на родину.

Три года Алеша работал в Кутаисе. Совсем недавно он переехал в Баку. Но его уже успели здесь полюбить. В

Погиб один из лучших наших товарищей по революционной борьбе, славный сын грузинского народа, один из близких друзей и соратников Сосо. Погиб он в полном расцвете сил и энергии, двадцати семи лет от роду. Да будет вечной память ему!

нем ключом была энергия, своей революционной страстью он заражал всех. Алеша считался прекрасным оратором, его речи были проникнуты большим чувством. Когда Алеша выступал, черные глаза его горели. Этот человек всегда был в порыве, в движении.

Бакинская организация в это время развернула огромную работу. Из центральной России и Тифлиса в Баку приехали опытные, знающие работники: В. А. Шелгунов, А. М. Стопани, Н. И. Соловьев, Н. М. Флеров, И. Фиолетов, А. Вацек, Сильвестр Тодрия, Ваню и Георгий Стуруа, Михаил Кучуев, Захарий Чодришвили, Яков Кочетков.

Во-всю заработала типография. Она теперь разрослась и в огромных тиражах печатала партийную литературу. В типографии, как помнится, работали С. Тодрия, В. Стуруа, Г. Стуруа, К. Джаши и другие. Наша типография имела постоянную связь с Лениным, находившимся тогда в Женеве, и с петербургской организацией. В Баку присылали для печатания листовки, брошюры. Почти все партийные организации в России снабжались литературой, отпечатанной в бакинской типографии. Рассылка книжной продукции составляла трудную задачу. Но с ней прекрасно справлялся Ваню Стуруа, ведавший экспедицией.

В девятьсот третьем году на втором партийном съезде произошел раскол в социал-демократической партии. Помню, о съезде я узнал от Василия Андреевича Шелгунова. Василий Андреевич был человеком развитым, начитанным; он лично знал Ленина. Посмеиваясь, Шелгунов сказал:

— Ну, Сергей, выбирай, за кем ты пойдешь: за Лениным или за Мартовым.

— Мне и выбирать нечего, — ответил я. — Я давно за Лениным иду.

— Правильно, Сергей.

В начале 1904 года мне Шелгунов помог выехать в Тифлис и привез оттуда барабан и другие части ручного печатного станка, изготовленного рабочими Закомолдиным и Золотарем. После тяжелого и изнурительного труда в железнодорожных мастерских они, не отдыхая, в какой-то курной мастерской делали станок. Сняв и спрятав на квартире моей станок, я направился к Михо Бочоридзе за шрифтом.

Михо дома не было. Меня встретил его тетка, Бабе Бочоридзе.

— Михо ушел, — сказала она, — да вернется — не знаю: ничего не знаю.

— Михо скоро придет, — услышал вдруг мужской голос.

Я оглянулся. Из соседней комнаты нам вышел молодой человек лет двадцати трех-четырех.

— Это наш, — указывая на меня, сказала Бабе. — Можешь с ним только разговаривать.

— Наш? — повторил молодой человек, приглашая меня к себе. — Тогда милости прошу.

Я прошел в комнату. Усадив меня на стул, молодой человек — это был Иосиф Джугашвили — произнес:

— Ну, что хорошего? Рассказывай.

Иосиф Джугашвили незадолго до этого бежал из Восточной Сибири, а он был сослан на три года. Сослали в ссылку в село Новая Уда, Яганского уезда, Иркутской губернии. Пробыв всего несколько дней в ссылке, он попытался бежать, но у него было теплой одежды, Сосо в дождь обморозил лицо и уши и вынужден был на некоторое время оставить ссылку о побеге. Но она не покидала Иосифа. Пятого января Сосо все же убежал из ссылки.

Вскоре пришел Михо, и мы разговорились. Коба — так теперь назывался Иосиф Джугашвили — принял самое горячее участие в нашей беседе. Он расспросил меня, какую машину мы достали, как упаковали ее. Я сказал, что барабан уложили в зимбель — мягкую плетеную корзину для продуктов, а сверху прикрыли его провизией.

— Это хорошо, — одобрил Коба. — А как повезете?

Я сказал, что сядем с Шелгуновым в один вагон.

— Не годится, товарищ. Один из вас пусть возьмет барабан, другой — остальные части. Садитесь в разные вагоны, не общайтесь друг с другом.

Коба закурил, с наслаждением втянул в себя дым.

— А шрифты, — после небольшой паузы продолжал он, — мы вам отправим спустя некоторое время с другим товарищем.

Потом, прощаясь, Коба пожелал мне с Шелгуновым счастливого пути и добавил:

— Привет славным бакинцам.

Вернувшись из ссылки, Коба с головой ушел в революционную работу. Он руководил авлабарской типографией, писал листовки и прокламации, выступал на собраниях и многочисленных дискуссиях. Коба, решительно и бесповоротно поддерживая Владимира Ильича в его борьбе против Мартова, наносил сокрушительные удары большинству «Месаме-даси», то есть кавказским меньшевикам. В многочисленных дискуссиях и спорах Коба был грозой меньшевиков и всех тех, кто мирился с ними. Ленин за границей, в эмиграции, Коба здесь, в Закавказье, делал одно общее дело — закладывали основы новой, большевистской партии.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В конце мая меня вызвали в полицию. Полиция, управление и объявили, что по постановлению наместника Кавказа Воронцова-Дашкова высылалась в Баку. Я собрался в Россию. Перед отъездом я навестил Шелгунова, с которым мы очень сдружились. Василий Андреевич лежал в больнице в этом городе. У него заболел глаз, его оперировали. После операции

перевязку сделали небрежно, и теперь Шелгунову угрожала полная потеря зрения.

В начале июня я выехал в Москву, а оттуда в Серпухов. Там я устроился на электростанцию фабрики Коншина слесарем по сборке новой паровой турбины.

Когда турбина была сдана в эксплуатацию, мне предложили остаться на

станции младшим машинистом и обещали фабричную квартиру. Я написал жене, чтобы она выезжала в Серпухов. В августе жена телеграфировала, что она с детьми выехала. Я взял у заместителя механика записку и после работы отправился осматривать обещанную мне квартиру. Я вошел в большой двухэтажный дом, сложенный из кирпича. По обе стороны длинного грязного коридора были расположены комнаты-камеры, отгороженные друг от друга перегородками, не доходившими до потолка. Двери и стены были побелены известью. В коридоре стоял невыносимо тяжелый запах. Предназначенная для меня «квартира» оказалась очень грязной каморкой. По углам висела паутина. На стенах чернели пятна от раздавленных клопов. В щелях видны были клопные выводки. Я стоял посреди комнаты, не зная, что делать. Из соседней каморки через перегородку на меня недоуменно смотрели две пары детских глаз.

Мне страшно стало вселять семью в эту вонючую дыру. Я покинул фабричный дом и где-то на окраине снял комнату с кухней.

В конце сентября, придя домой с работы, я встретил у себя гостей — акушерку местной фабрики Анну Ивановну Шолохову и Сильвестра Иосифовича Тодрия. Тодрия работал в бакинской подпольной типографии. Как опытного техника и конструктора закавказская организация направила его в центральную Россию, чтобы организовать в Москве или в ее окрестностях типографию. Тодрия приехал в Москву, имея явку в Серпухов. Через акушерку, имевшую явочную квартиру, он разыскал меня.

Вместе с Сильвестром мы обошли несколько улиц города в поисках подходящего для типографии помещения. Наконец мы облюбовали небольшой отдельный флигель по Московской улице во дворе. Мы дали хозяину Квасникову задаток, и Сильвестр в тот же день уехал из Серпухова.

В октябре мне пришлось выехать в Москву. Я с семьей поселился в районе Пресни, в доме Ротштейна по Волкову переулку. Жилось здесь очень туго. Постоянной работы я не имел. Лишь изредка я работал на строительстве новых домов по оборудованию водопровода.

Так продолжалось до декабря. Наступила суровая зима с большими морозами. За четырнадцать лет, прожитых в Закавказье, я отвык от холода. Да и дети, не имевшие теплой одежды, переносили морозы с трудом. В квартире температура тоже была низкая. Бегаю по Москве в поисках работы, я простудил ноги: у меня появились острые ревматические боли, и я слег в постель.

Несколько раз приходил ко мне Тодрия. Он сказал, что Серпухов признан неудачным местом для типографии и ее решили создавать в Москве.

Во время последнего посещения перед отъездом из Москвы Тодрия поделился со мной своими сомнениями. Он сказал, что с некоторых пор стал замечать за собой слежку.

Это очень беспокоило Сильвестра, он опасался, как бы шпики не увязались за ним. Его опасения были напрасны. Это видно из дневников наблюдения, обнаруженных в делах департамента полиции. Вот эти дневники:

Секретно

М. В. Д. Начальник отделения по охранению общественной безопасности и порядка в Москве.

13 октября 1904 г.

№ 9094.

г. Москва.

Его превосходительству директору департамента полиции

Представляя вашему превосходительству, что в июне месяце сего года в наблюдение по местному комитету Российской социал-демократической рабочей партии, ликвидированному в ночь на 19 июня (донесение от 22 июня сего года за № 5943), был взят крестьянин Воронежской губернии, Новохоперского уезда, Яковской волости, Сергей Яковлев Аллилуев, 33 лет, кличка «Милый», который, будучи оставленным на свободе, в начале июля скрылся из Москвы и вновь взят в наблюдение в здешней столице лишь 1 сего октября.

По имеющимся агентурным сведениям, названный Аллилуев прибыл с Кавказа, где он будто бы работал тайной типографии. По тем же указаниям он имел сношения с арестованными: Николаем Бауманом, Иваном

<sup>1</sup> Ошибка. Следует 38. Прим. ред.

Александровым, Еленой Стасовой и другими представителями Центрального комитета Российской социал-демократической рабочей партии, а также зачисляемым Левиком Гальпериным. Под наблюдением за Аллилуевым были заарестованы неоднократные посещения им арестованной 1-го июня Ролли-Зинаиды Иванович и дачи Толкина, по Царскому проезду, где, в квартире дворянина Вячеслава Марцевича Матусевича, происходили собрания членов Московского комитета. В настоящее время Аллилуев вошел в сношения с некоторыми членами Московского комитета и намерен принять активное участие в намеченной комитетом технической деятельности, где, как уже знакомый с техникой, считается, вероятно, одним из главных исполнителей.

3-го сего октября Аллилуев выехал из гор. Серпухов, откуда возвратился 10 октября с неизвестным евреем, которому дана кличка «Стекланный». Последний, получив свои вещи из кладовой на Курском вокзале, в тот же день выехал в Смоленск, откуда возвратился 8 октября и в тот же день выехал по Нижегородской железной дороге на станцию Дрезна, близ селения Орехово-Зуево, отсюда он 9 октября выехал через Москву в Серпухов. В тот же день возвратился в здешнюю столицу и 10 числа вновь выехал в Серпухов; возвратившись оттуда 11 числа, он выехал в гор. Смоленск, а из последнего города, через Харьков, в Баку.

Ввиду серьезного значения названного Аллилуева и принимая во внимание, что поездка «Стекланного» на юг может стоять в зависимости от предстоящей технической деятельности Московского комитета, я признал необходимым установить за ним неотступное наблюдение, о результате которого, равно как и о результатах наблюдения за Аллилуевым, мною будет представлено дополнительно.

Подполковник (подпись).

## ДНЕВНИК

Наблюдения за неизвестным по кличке «Стекланный», за время с 5 по 11 октября 1904 г.

Гор. Серпухов.

5 октября.

Наблюдаемый по Московскому комитету Российской социал-демократи-

ческой рабочей партии, крестьянин Воронежской губернии Сергей Яковлев Аллилуев, 33 лет (кличка «Милый»), проживающий в доме № 868 на углу Грязной и Кладбищенской улиц, в 10½ часов утра явился домой с неизвестным господином еврейского типа, коему дана кличка «Стекланный».

Через 5 мин. Аллилуев вышел из дома один и, посетив на ½ часа проживающую при фабрике Рябова, по Фабричной улице акушерку Анну Ивановну Шолохову, возвратился домой. В 12 ч. 40 м. дня он вышел из дома с «Стекланным» и начал ходить с ним по разным улицам, затем на Московской улице, у дома № 156, они остановились и, постояв минут 5, возвратились на Сенную площадь к дому Квасникова. Здесь они вызвали служанку, которая провела их во двор сказанного дома в пустой флигель, который они осматривали в течение 15-ти минут. Выйдя затем на Главную улицу, наблюдаемые расстались. «Стекланный» пошел на вокзал, а Аллилуев зашел в мясную лавку владельца названного дома и разговаривал с ним в течение 15-ти минут, затем дал ему денег, видимо, задаток, и возвратился домой.

В 2 ч. 20 м. дня Аллилуев вышел из дома и был проведен на вокзал, где он встретил ожидавшего его «Стекланного». Дав последнему денег, Аллилуев ушел на платформу. «Стекланный» же взял два билета — один прямое сообщение до Смоленска и другой до Москвы. С поездом № 14, отходящим в 4½ часа, наблюдаемые выехали в Москву, по прибытии куда «Стекланный» получил на вокзале из кладовой бывшие на хранение вещи, состоявшие из постельной принадлежности и белого ручного парусинового чемодана, с которыми сел на извозчика. Аллилуев же пошел за ним в некотором расстоянии, наблюдая ехавших сзади. Затем догнал «Стекланного» и сел к нему в пролетку. Доехав до Тверской улицы, наблюдаемые простились, причем «Стекланный» передал Аллилуеву сверток трубой 6 вершков длиной и 1 вершок в диаметре и на том же извозчике поехал на Брестский вокзал, откуда с поездом № 5 выехал в город Смоленск.

Приметы «Стекланного»: брюнет, ниже среднего роста, лет 27—29, имеет небольшую коротко остриженную бо-

роду, одет в черную пушкинскую шляпу, черное пальто, черные брюки и черная трость.

6 октября.

Прибыв в Смоленск в 9 ч. 20 м. утра и оставив бывшие при нем вещи на хранение у швейцара, «Стекланный» трамваем поехал к мосту, пересекающему железную дорогу. Здесь он пересел в вагон, идущий к Покровской заставе, и за невозможностью наблюдения был временно оставлен, и затем через 45 минут встречен едущим в трамвае обратно и проведен на Большую Благовещенскую улицу. Оставив здесь вагон, наблюдаемый пешком вернулся обратно, перешел мост через реку Днепр, сел в вагон трамвая, идущий по направлению к вокзалу, и был утерян. В 3 ч. 30 м. дня «Стекланный» был взят в наблюдение на вокзале, где он дождался прихода товаро-пассажирского поезда, просмотрел приехавших с ним и отправился пешком в город на Почтамтскую улицу в дом Алешинского, к доктору Хайкину по кличке «Почтовому» (это было в 5 час. дня, когда у доктора Хайкина приемные часы). Через 10 мин. по приходе «Стекланного» сюда же пришел неизвестный господин, который через 15 минут удалился. Затем вышла жена Хайкина, которая, посетив книжный магазин Черняк, затем молочный магазин, пошла в магазин Зыкова и здесь была оставлена. «Стекланный» у Хайкина пробыл два часа и отправился на Пушкинскую улицу, в гостиницу «Европа», где остановился на жительство.

7 октября.

«Стекланный» в 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часов утра вышел из гостиницы «Европа» и был проведен на вокзал, где пробыл до 12 часов дня, затем вынул из хранившегося на вокзале чемодана белье и вернулся в упомянутую гостиницу, причем по дороге в галантерейном магазине купил манишку. В 5-м часу наблюдаемый вышел из гостиницы со свертком в газетной бумаге (видимо, грязное белье), который отнес на вокзал и спрятал в своем чемодане. Дождавшись затем почтового поезда из Варшавы, «Стекланный» выехал из Смоленска, взял билет прямого сообщения до станции «Дрезна» Нижегородской железной дороги.

8 октября.

Прибыв в Москву в 10 час. утра «Стекланный» до 1 ч. дня оставался на Брестском вокзале, затем с передаточным поездом поехал на Нижегородский вокзал и с почтовым поездом выехал отсюда до станции «Дрезна». Здесь он был встречен служащим на одной из находящихся близ поименованной станции фабрик, инженер-технологом Германом Борисовым Красин, 32 лет, по кличке «Мещанским», и они отправились по направлению к фабрике Зимина, находящейся невдалеке от станции «Дрезна».

9 октября.

В 6<sup>1</sup>/<sub>2</sub> час. утра «Стекланный» был замечен шедшим на станцию «Дрезна», по направлению от фабрики Зимина. Взяв билет до Серпухова, наблюдаемый со скорым поездом выехал в Москву. Здесь он дождался скорого поезда по Курской железной дороге, отходящего в 10 часов 10 минут дня, и выехал с ним в гор. Серпухов, по прибытии куда, с вокзала, на извозчике поехал в дом № 868 на углу Грязной и Кладбищенской улиц, к Аллилуеву «Милому». В самый дом он, однако, не входил и, лишь спросив что-то у прислуги, поехал на Рябовскую мануфактурную фабрику во дворе, в квартиру, занимаемую акушеркой Анной Шолоховой. Через 40 мин. он вышел с фабрики и на извозчике поехал на вокзал, откуда выехал обратно в Москву, по прибытии куда прямо с вокзала на извозчике же отправился в д. Яковлева по Щемилловскому пер. (?) Через 5 минут «Стекланный» вышел из этого дома и был проведен в трактир на углу Пименовской ул. и Косого переулка, по выходе откуда через 1 час, на Садовой улице, был утерян.

10 октября.

В 8<sup>1</sup>/<sub>2</sub> часов утра «Стекланный» вышел из д. Яковлева, по Щемилловскому переулку (?) и на извозчике поехал в д. Рахштейн по Волкову пер., к Аллилуеву — «Милому», который явился сюда через 20 мин., по приходе наблюдаемого, имея при себе кадку для воды и трубу от самовара. «Стекланный» пробыл у Аллилуева всего два

Нач. Московского Охранного  
Отделения.

23 декабря 1904 г.

№ 14934.

а и отправился на Тверскую в  
ажный магазин Петрова, где купил  
ту, затем отправился на Курский  
зал и с поездом в 3 ч. 15 м. дая  
ехал в г. Серпухов. По прибытии  
да он был утерян, а в 11 ч. 15 м.  
ера приехал в Москву, имея при  
се небольшой узел, завязанный в бе-  
лый платок. Дождавшись на вокзале  
паро-пассажирского поезда, отходя-  
щего по Нижегородской железной до-  
роге, наблюдаемый выехал с ним на  
станции «Дрезна», по выходе здесь  
вагона отправился по направлению  
фабрике Зимина и был оставлен на-  
людием.

октября.

«Стекланный» в 6 час. вечера при-  
кал в Москву по Нижегородской  
железнодорожной дороге, причем узла, с ко-  
торым он выехал 10 октября на стан-  
цию «Дрезна», с ним уже не было.  
Кав извозчика, наблюдаемый с вок-  
зала поехал на Садовую улицу и здесь  
был утерян, а в 11 ч. вечера явился  
в Брестский вокзал и выехал в гор.  
Смоленск в сопровождении наблюде-  
ния.

Начальник отделения, подполковник  
(подпись).

Кто же такой «Стекланный»? На  
этот вопрос отвечает следующий до-  
кумент.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Моя безработица затянулась. Поло-  
жение семьи становилось все более и  
более критическим. Тогда-то член ор-  
ганизации Софья Липинская предло-  
жила мне с женой поселиться по Вла-  
димиро-Долгоруковской улице, в доме  
Егорова, в квартире, занятой группой  
инженеров, столовавшихся на комму-  
нальных началах. Моя жена, Ольга  
Кенгелевна, согласилась взять на себя  
роль хозяйки. Мы поспешили пере-  
ехать на Долгоруковскую улицу и с  
10 января уже числились жиль-  
цами дома Егорова.

Наступило воскресенье девятого ян-  
варя. В этот день рабочие Питера,  
провоцированные подпом Гапоном,  
вместе с женами и детьми, с иконами  
в руках направились к царю. Царь  
претил мирное шествие огнем и  
штыком.

По имеющимся в департаменте по-  
лиции сведениям, известный В. В. на-  
блюдаемый под кличкой «Стеклан-  
ный» оказался крестьянином Сильве-  
стром Иосифовым Тодрия.

11 минувшего ноября названный То-  
дрия прибыл из Смоленска в Киев,  
где виделся с сотрудником газеты  
Михаилом Петровым Козоренко (из-  
вестный социал-демократ), затем про-  
ехал в Новороссийск и Батум, отку-  
да направился в Тифлис, в котором  
имел свидание с наборщиками типо-  
графии «Труд», и 22 ноября выехал в  
Баку, где был утерян наблюдением,  
причем оставленные на станции Балад-  
жары вещи Тодрия были доставлены  
мальчиком, продавцом газет, в один из  
бакинских духанов, помещающихся на  
Каспийской улице, в доме № 44.

Сообщая об изложенном для сведе-  
ния и соображений при наблюдении за  
Тодрия (Стекланным), на случай по-  
явления его в Москве, Д. П. препро-  
водит при сем В. В. копию доне-  
сения заведывающего охранным пунк-  
том в г. Батуме от 30 ноября с/г. за  
№ 450, в коем помещена характери-  
стика личности Тодрия.

Страшная весть о кровавой расправе  
царя с рабочими, их женами и детьми  
вызвала повсеместное глубокое воз-  
мущение. По всей стране поднялась  
могучая волна грозного протеста. На  
заводах и фабриках Москвы начались  
забастовки.

Вечером десятого января у меня на  
квартире состоялось небольшое собра-  
ние бутырского районного актива  
социал-демократической организации.  
Обсуждался вопрос о выпуске и рас-  
пространении прокламаций, посвящен-  
ных кровавым событиям в Питере. Со-  
брание поручило мне подыскать кого-  
нибудь из сочувствующих нам жиль-  
цов, чтобы принять на некоторое вре-  
мя прокламации и затем передать их  
по назначению. С помощью Софьи Ли-  
пинской я договорился со студентами  
музыкальной школы, мужем и женой

Блюм, жившими в том же доме, где и я. Они согласились по условленному паролю принять листовки. Доставка листовок была поручена рабочему Сергею Александровичу Чукаеву. Его предупредили, чтобы он ни в коем случае не заходил в мою квартиру.

На следующий день по делу организации выехала в Тулу моя жена, Ольга Евгеньевна. А ночью ко мне нагрянул наряд полиции во главе с помощником пристава и жандармским ротмистром. Повидимому, они ожидали сопротивления, потому что, когда я на стук открыл дверь, в квартиру сначала ворвались два дюжих дворника, которые схватили меня. Лишь после этого вошли городовые, а вслед за ними помощник пристава, жандармский ротмистр и кто-то в штатском из охранки. Убедившись, что я не собираюсь оказывать вооруженного сопротивления, жандармский ротмистр приказал дворникам освободить меня из своих объятий.

Обыск, продолжавшийся до утра, ничего не дал — только и обнаружили они две прокламации старого происхождения, оказавшиеся на кухне в кармане жакета жены.

Жандармский ротмистр объявил мне, что, независимо от результата обыска, я буду взят под стражу, согласно постановлению исполняющего должность московского градоначальника генерал-майора Руднева.

В этом постановлении сказано следующее:

1905 года января 12 дня, я, и. д. Московского градоначальника генерал-майор Руднев,

принимая во внимание имеющиеся в Отделении по охранению общественной безопасности и порядка в г. Москве сведения о крестьянине Воронежской губ. Ярковской вол., Сергее Яковлеве Аллилуеве и руководствуясь ст. 21 положения о государственной охране, высочайше утвержденного в 14 день августа 1881 года, постановил: означенного Аллилуева, впредь до разъяснения обстоятельств дела, заключить под стражу при Пречистенском полицейском Доме с содержанием, согласно ст. 1043 Уст. Угол. Судпр., в отдельном помещении. Настоящее постановление, на основании 431 ст. того же Устава, объявить арестованному, а копию с постановления препроводить Прокурору Московской

Судебной Палаты и в место заключения задержанного.

Генерал-майор (подпись)

Настоящее постановление мне объявлено: Сергей Аллилуев.

Положение мое было не из легких. Я был уверен, что они не ограничатся моим арестом, а оставят в квартире засаду. Жена должна была вернуться из Тулы с уличающим нас обоих материалом. Как быть? Я решил использовать своих детей, спокойно спавших в маленькой комнате. Как только я вошел в их комнату, дети проснулись. Я успел сообщить старшей дочке Нюре, что необходимо предупредить мать, потому что мне и ей угрожает опасность. Дети — их было четверо — прижались ко мне, чуя недоброе. Младшая, трехлетняя Надя, вскочила ко мне на руки и обвила ручонками мою шею.

Я заявил полицейским, что не уйду из этой комнаты до тех пор, пока кто-нибудь из детей не будет отпущен к нашей близкой знакомой, Софье Липинской, и я не узнаю, что она возьмет моих детей на свое попечение. Они сначала было не соглашались, но я настаивал на своем. Дети еще крепче прижались ко мне, дрожа от волнения и холода, — они все были в одном белье. Жандармский ротмистр куда-то уходил звонить по телефону. Вернувшись, он отпустил старшую дочку. Я не сомневался в том, что о детях позаботятся, но мне важно было предупредить своевременно жену — Липинская знала, куда она выехала. Вскоре дочь вернулась: по ее лицу я догадался, что все будет сделано.

Впоследствии мне стало известно об оставленной в квартире полицейской засаде. Как было условлено, рано утром тринадцатого января Чукаев принес только что отпечатанные прокламации в условленное место, к Блюм. Но их не оказалось дома. Узнав о моем аресте, они, повидимому, трусливо и куда-то ушли. Чукаев с кипой прокламаций под пальто, прождав их некоторое время, не решился итти обратно, опасаясь навлечь на себя внимание неестественной полнотой. Тогда он рискнул подняться ко мне, где и был схвачен оставшимися в квартире охранниками.

Во время моего первого допроса

шармском управлении мне предья- в обвинение в принадлежности к легальной организации и связи с подпольной типографией. В качестве вещественного доказательства мне выдали на объемистую пачку листов, отобранных у Чукаева при его аресте в моей квартире. По заявлению жандармского ротмистра Чукаев буд- бы показал, что листовки кто-то вручил и попросил передать лично мне.

На это я ответил, что бывали слу- чаи и похуже: у некоторых людей после ареста и увода их в тюрьму бегательные агенты сыска, чтобы выследить, находили и более серьезные вещественные доказательства, относящиеся невинно арестованного. Та- кой фокус, по моему мнению, произо- шел и сейчас. Я заявил, что ни в кан- целях легальной организации я не уча- ствовал, связи с подпольной типогра- фией тем более не имел, фамилию Чу- каева слышу впервые, листовок ни от кого не ожидал. В результате допроса и составлен следующий протокол: 905 г. февраля 16 дня в Москве, я, [имя], ельн. Корп. Жандармов, подпол- чник Бабчинский на основании 1035 статьи Устава Угол. Суд. в присутст- вии тов. прокурора Моск. Окружн. суда С. Е. Виссарионова с соблюде- нием 403 ст. того же Уст. допрашивал [имя] [фамилия] в качестве обвиня- емого, который показал:

1. Зовут меня (фамилия, имя, отче- сто, замужние упоминают первоначальную свою фамилию) Сергей Яков- левич Аллилуев.

2. От роду имею 39 лет: родился в 1866 г. сентября 25 дня в Воронеж- ской губ. Новохоперского уезда, Яр- овской вол., села Раменье.

3. Вероисповедание: православного.

4. Происхождение: крестьянское,

р. Раменье.

5. Народность: великоросс.

6. Подданство: русского.

7. Звание: крестьянин.

8. Место постоянного жительства: Москва, Владимир-Долгоруковская ул., д. Егорова.

9. Место приписки к сословию: Раменское.

10. Место приписки в отношении женной повинности: Новохоперское по земск. повин. Присутствие в 1889 г. вызывался и зачислен в ратники опол- чения 2 разряда.

11. Занятие или ремесло: слесарь и машинист.

12. Средства к жизни: заработок личный.

13. Семейное положение (имя и от- чество жены или мужа, имена детей, возраст, занятия и место жительства их). Женат на тифлисск. граждан. Ольге Евгеньевой Федоренко, 27 лет, проживает со мной, дети: сын Павел, Федор, Анна и Надежда — мало- летние.

14. Родственные связи (родители, братья, сестры имена и отчества их, возраст, место постоянного жительства их и занятия). Братья: Михаил 42 г., на ст. Урютино Обл. Войска Донского, приказчик; Павел — 35 лет, в Борисо- глебске Тамбовской губ., портной, се- стра — Мария, по мужу Харина, в Бо- рисоглебске, — муж столяр.

15. Место постоянного жительства родителей или заменяющих их лиц

16. Экономическое положение роди- телей.

17. Место воспитания и на чей счет воспитывался, название учебных заве- дений, год поступления и окончания их — домашнее.

18. . . . .

19. Был ли за границей, где, когда и с какой целью — не был.

20. Привлекался ли к дознанию или следствию по делам о преступных дея- ниях государственных; если привлекался, то когда, где, по какому делу и чем таковое закончилось. Привлекался в 1900 г. при Тифлисском губ. Жанд. Упр. за участие в стачке на железной дороге, дело прекращено; в 1902 г. также по обвинению в тайном сообще- стве; в 1903 г. там же был задержан, но обвинения не предьявлялось. Вос- прещено жительство на Кавказе.

21. Был ли под судом или след- ствием по делам обще-уголовного ха- рактера. Не был.

На предложенные мне вопросы от- вечаю: Я не признаю себя виновным в участии в сообществе, заведомо по- ставившем своей целью деятельность ниспровержения в России существую- щего строя. Никакого Чукаева я не знаю и никогда никаких прокламаций я не ожидал от кого бы то ни было получить. В октябре 1904 г. я приехал из Серпухова в Москву приискывать работу, но никакого знакомства с ра- бочими я в Москве не имел. У меня

жил на хлебах аптекарский помощник Цхомелидзе, но бывал ли у него кто-нибудь, я не видел, найденные в кофточке жены моей прокламации мне предъявлены чинами полиции при обыске, но раньше я их не видел и от-

куда они попали к нам в квартиру, я не знаю.

Сергей Яковлев Аллилуев.  
Подполковник — Бабчинский.  
Товарищ прокурора —  
С. Виссарионов.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Со дня моего ареста прошло почти полтора месяца, а я не имел никаких сведений о жене и детях. О том же, что происходило на воле, мы были осведомлены через вновь арестованных товарищей, прибывших в арестный дом. У всех заключенных было приподнятое и бодрое настроение. В эти дни к нам дошла весть о том, что Каляевым убит московский генерал-губернатор, обер-палач, великий князь Сергей — дядя царя Николая Романова. Также мы узнали о покушении на другого палача, генерала Трепова. Об этом нам сказал сам покушавшийся, юноша-гимназист, стрелявший в Трепова за его приказ войскам: «Холодных залпов не давать, патронов не жалеть». Фамилию этого юноши, сидевшего несколько дней в одной из одиночек арестного дома, я забыл. Не помню и других товарищей по заключению — ни их фамилий, ни имен. Вспоминается лишь одна фамилия — Петрова, брата писателя Скитальца. Да и то потому, что он, будучи учеником певческой капеллы, продолжал и в тюрьме тренировать свой голос, повторяя одну и ту же гамму десятков раз. Этим Петров вызвал подозрения у коридорного надзирателя, сообщившего властям о том, что один из арестованных совершенно рехнулся и все время гакает: га, га, га.

Однажды в последних числах февраля надзиратель сообщил мне, что на свидание пришла моя жена с детьми. Больше часа ожидал я вызова, затем стал беспокоиться. В четыре часа явился тот же надзиратель и объявил, что мое свидание с женой и детьми не состоится, потому что жандармский ротмистр, присутствие которого при свидании необходимо, отсутствует.

— Почему он не явился?

Надзиратель, улыбаясь, ответил:

— Сегодня ведь пятница, последние дни масляной недели; ну, их благородие, как это водится, покушали сытно

блинчков по-московски — с икоркой и семгушкой, выпили рюмку — другую, поэтому сладко заснули.

Меня такое спокойное философское рассуждение надзирателя взбесило, и я раздраженно крикнул:

— Тогда я разбужу его, этого сладко уснувшего.

Надзиратель, успокаивая меня, сказал, что попусту горячиться не надо, а жену и детей можно увидеть через форточку окна камеры — они скоро пройдут по двору от конторы к выходной калитке. Тогда я взобрался на подоконник и действительно увидел понуро шедших жену и детей.

Я окликнул их, а они в ответ радостно замахали руками. Жена крикнула, что они ждали с двенадцати часов дня и больше ждать не в состоянии.

Я схватил в ярости табурет и побил все стекла окна. Поднялся переполох: товарищи по заключению стучали во все двери камер, требуя начальника, чтобы выяснить причину моего поведения.

Вскоре явился начальник. Он стал кричать на меня, грозить. Я лег на койку, чтобы немного успокоиться. Я был зол, и вид мой не предвещал, по видимому, ничего хорошего. Начальник осмотрел окно. Убедившись, что стекла побиты, и, не сказав больше ни слова, ушел.

Товарищи продолжали волноваться, сгорая от желания скорее выяснить причины моего возбуждения. Вскоре оправившись от волнения, я через форточку передал им, что произошло. Тогда они вторично вызвали начальника и потребовали от него перевести меня в другую камеру, ибо в моей комнате было простудиться. После долгих препирательств меня на ночь перевели в другую камеру. Утром явился прокурор. Остановившись в дверях он сказал:

— Я сожалею, что у вас не состоялось свидание с родными. Жаль,

ь жаль. Однако я должен вам омнить, что вы находитесь в рос-ской тюрьме и не имеете права со-здать необдуманные поступки. За-е стекло, за скандал вы будете-чать по всей строгости закона.

ответил ему, что меня спровоци-али на такой необдуманный посту-жандармские власти, заставившие-ю семью напрасно прождать в-еме целый день.

-Вам следует знать, — отчетливо-изнес прокурор, — что отдельное-ю еще не является властью и отве-то за свои поступки само. Да, ю... — повторил прокурор. Потом,-одя, добавил: — Я думаю, что тю-зая администрация исправит ошиб-ротмистра и предоставит вам воз-ность повидаться с семьей.

действительно, на завтра мне дали-здание с женой и детьми.

3 марте меня выслали под гласный-зор полиции в Ростов-на-Дону.-ыбыв туда, я, нигде не отметив-сь, сразу же решил вернуться в-скву.

В Москве я застал семью в плачев-и состоянии. Жена с двумя мальчи-и проживала у Софьи Липинской-Малой Дмитровке. Девочки имели-ют у других лиц. Мальчики рас-вали, что какие-то незнакомые-и угостили их конфетами и рас-рашивали о том, где находится папа.-о ответили, что я в Ростове. Тогда-опытные дяди высказали предпо-ление, не вернулся ли папа в-скву. Старший сын, Павел, научен-и небольшим, но горьким опытом,-етил, что ему и брату ничего не-стно об этом.

В апреле я выехал в Баку. С помо-ю Марии Андреевны Васильевой,-стой фельдшерицы, члена органи-ции, мне удалось получить от уезд-го начальника полицейской стражи-енное свидетельство на свобод-о проживание в городе. Это дало-возможность устроиться на Баи-ской электростанции помощником-отромонтера по обслуживанию элек-моторов на нефтяных промыслах-н-Эйбата.

качавшееся в середине лета широ-стачечное движение в централь-России докатилось и до Закав-ья. Тут и там вспыхивали забавки, охватывавшие даже самых

отсталых рабочих всех национально-стей.

Нефтяные короли встревожились. На помощь им поспешило правитель-ство, прибегавшее в подобных случаях к излюбленному и уже испытанному-средству: к разжиганию религиозной и национальной вражды. Правитель-ство при активном участии черносо-тенных бакинских чиновников всех-ведомств и рангов, городской и уезд-ной полиции вооружило банды по-громщиков из членов «Союза русского-народа».

Сначала эти банды приступили к-стравливанию детей армян и тюрков. Дети увечили друг друга, из-за этого-происходили бурные ссоры между-взрослыми. Черносотенные банды уби-вали из-за угла армян и тюрков, под-жигали дома. Искусственно разжигая-национальную вражду, правительство-добилось желанной цели. В августе-между армянами и тюрками произош-ла жестокая, кровавая братоубийст-венная резня.

В городе раздавались выстрелы, по-всюду грабили армянские магазины, разоряли квартиры. По тротуарам и на-мостовых валялись трупы. Истекая-кровью, стонали раненые. В некоторых-местах можно было заметить солдат и-городовых, спокойно наблюдавших-за резней.

Черносотенные банды, поощряемые-властями, поджигали заводы и нефтя-ные вышки, распространяя дикие слу-хи о том, что поджоги будто бы про-изводят рабочие-забастовщики. Под-предлогом «борьбы с поджигателями»-бандиты и убийцы охотились за мно-гими нашими видными партийными-работниками.

Бакинская организация РСДРП на-шла необходимым призвать всех рабо-чих города к всеобщей политической-забастовке. Обычная деловая жизнь-замерла.

Все жили в каком-то аду. Пожар-на промыслах принимал все более-угрожающий характер. Вокруг нас бу-шевала стихия — грандиозное, свире-пое и неукротимое пламя. Кругом бы-ли смерть и разрушение.

Спасаясь от нападения погромщи-ков, на территории электростанции-перебралось несколько армянских се-мей с детьми. Нам, небольшой груп-пе — Ивану Назарову, Михаилу Мель-никову и мне, — пришлось преодолеть

упорное противодействие со стороны большинства служащих, живших в станционных квартирах. Местная группа меньшевиков и эсеров боялась, в связи с пребыванием у нас армян-беженцев, ночного нападения на станцию черносотенцев. Опасность нападения не была исключена, и поэтому мы на всякий случай запаслись оружием.

Вспоминается любопытный эпизод. Один армянин-беженец принес с собой две шарообразные пистонные бомбы. Я спрятал их в одном из ящиков общего ледника. Бомбы находились в цилиндрических жестяных коробках с крышками. Дворник, производя обычную уборку, почему-то заглянул в ледник и обнаружил подозрительные коробки. Открыв одну коробку, он увидел что-то круглое с шипами. Он сейчас же сообщил об этом заведующему хозяйством десятнику социал-демократу Козлову. Тот явился на место и сразу сообразил, в чем дело.

— Надо немедленно выбросить эти коробки в море, — сказал Козлов, —

иначе тебя засудят, если узнают, что ты допустил такое безобразие.

Дворник трусился и поспешил выполнить приказание Козлова. Оба они отправились на пристань. Дворник шел впереди, неся с большой предосторожностью коробки. Козлов, следуя за ним, обдумывал, как спасти хотя бы одну бомбу. Он поднял упавшийся ему по дороге камень и спрятал его в карман. Когда они приблизились к пристани, Козлов взял одну бомбу из рук дворника и сказал ему:

— Пойдем в купальню и утопим их!

Дворник шел, не оглядываясь. Оказавшись в купальне, он бросил в воду неприятную ношу; Козлов же швырнул в воду камень, а бомбу спрятал в карман.

— Ну, иди, — сказал Козлов дворнику, — смотри, не болтай, а то бел будет.

Когда дворник ушел, Козлов спрятал бомбу за карниз купальни, а затем нашел меня и предупредил о случившемся.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

В конце августа на Набережной улице я встретил М. И. Бакрадзе-Варлама. Он сообщил, что он, Алеша Джапаридзе, его жена Варо и еще три товарища находятся в опасности.

— Дом, в котором мы живем, — сказал он, — намерен тюрками и черносотенцами к разгрому. Кто-то сообщил, что мы армяне, и на нас со дня на день могут напасть.

— Надо вам перебраться на Баилов мыс, — сказал я. — Ждите меня дома, и утром я приду за вами.

На рассвете следующего дня мы вдвоем с женой электромонтера Назарова, Дуней Назаровой, отправились на разведку. На набережной не было ни души. На углу Николаевской улицы и Губернаторского сада мы встретили двух патрульных русских солдат, к которым обратились с просьбой помочь нам вывести из района враждующих между собой армян и тюрков группу товарищей-грузин. Солдаты долго колебались, но, наконец, согласились.

Мы подоспели вовремя: ночью дом был обстрелян черносотенцами. Нашему приходу товарищи сильно обра-

довались и сейчас же начали спешно собираться.

При выходе из дома мы встретили телегу с покойником. Рядом шла плачущая русская женщина. Увидев нас, она, всхлипывая, рассказала о том, как ее муж был убит при перестрелке между враждующими сторонами и о своем безысходном горе — у нее осталось трое малолетних ребят. Эта встреча произвела на всех удручающее впечатление, а один из солдат вдруг выругался и сказал:

— Идите сами — я не пойду.

Мы двинулись в опасный путь одним солдатом. До Баилова мыса мы добрались благополучно, но нам пришлось пережить, в особенности жителям, несколько жутких минут.

Трижды нас останавливали черносотенцы, готовые растерзать товарищей.

— Армяне? — с горящими от злобы глазами спросил высокий детина. — Ребята, армяне! — крикнул он группе людей, стоявших в стороне. Те сразу подскочили к нам.

— Проходите, проходите! — грозно сказал солдат — Нет здесь армян.

Черпосотенщы не отставали. Детина, жестально вглядываясь в Бакрадзе, тел было ударить его. Алеша Джапаридзе вдруг спокойно сказал:

— Ну, чего остановились. Идем! — и первый пошел прямо на детину. Тот от неожиданности вздрогнул. Мы последовали за Алешей.

Несмотря на опасность, грозившую варищам, Алеша был необыкновенно спокоен. Он шел, неся высоко свою распавшую голову. Солдат, провожавший нас до самого Байлова мыса, расставаясь, восхищенно сказал, указывая на Алешу:

— Смелый грузин.

Всеобщая забастовка продолжалась. В начале сентября, по ходатайству нефтепромышленников, градоначальник Шубинский разрешил провести общее собрание представителей промышленности и предприятий. На этом собрании важные были. Обсуждались вопросы, связанные с ликвидацией забастовки. Это время в Баку приехал представитель Центрального Комитета партии Мартын Лядов. Посоветовавшись с ним, мы решили использовать предлагавшееся собрание для того, чтобы выступить за продолжение забастовки.

Одиннадцатого сентября мы собрались на площади Биби-Эйбатских проулков. Но к назначенному времени инициаторы собрания не явились. Тогда, обменявшись мнениями, мы решили провести свою социал-демократическую конференцию и заслушать доклад Лядова о положении в центральной России. По моему предложению мы перебрались в пустующую квартиру на электрической станции.

Лядов сделал доклад, затем выступило несколько товарищей, и мы начали принимать резолюцию. Когда Лядов читал проект резолюции, нам сказали, что по Байлову мысу к электростанции ускоренным маршем движутся войсковые части. На конференции присутствовало около восьмидесяти человек, и незаметно разойтись было никакой возможности: с одной стороны находилось море, с другой — огонь, застилавшее небо пожарные с третьей — войска, которые при нашем паническом бегстве принялись расстреливать нас, как куропаток. Через несколько минут станция была окружена большим отрядом войск,

а небольшая часть во главе с жандармами вошла во двор электростанции. Мартын Лядов и Алеша Джапаридзе, находившиеся здесь же, призвали нас к спокойствию.

Жандармы объявили, что все мы арестованы и стали переписывать нас и тщательнее обшаривать наши карманы. Оружия ни у кого из нас не было, а компрометирующие материалы мы уничтожили. Некоторым товарищам во время переписки и обыска удалось ускользнуть в квартиры, занятые служащими станции. Всех остальных в числе шестидесяти одного человека отравили под усиленным конвоем в Байловскую тюрьму. Там нас не приняли потому, что тюрьма оказалась переполненной. Повели в город.

Наступила ночь. Сопровождавшие нас солдаты нервничали. Боковая цепь держала ружья наперевес, направив в нашу сторону штыки. Нас водили по тюрьмам до самого утра. Все места заключения были переполнены, и нас нигде не принимали.

Утром, уставшие до изнеможения, мы вместе с солдатами расположились на площади у военного собора и уже мирно беседовали. Солдаты, смеясь, рассказывали, как они сначала боялись, чтобы кто-нибудь из нас не пырнул в бок кинжалом или ножом.

— А бояться вас нечего, — говорили они. — Вы такие же, как мы.

Около полудня нас разместили в частном доме по Шемахинской улице. Устроились мы в полуподвале, в нескольких довольно чистых комнатах. На второй или третий день к нам явился жандармский ротмистр. Он стал вызывать нас по списку, составленному во время нашего ареста. Никто не отозвался. Ротмистр вскипел и, заявив, что он силой заставит нас говорить, уехал.

Вскоре он явился с отрядом казаков. Ротмистр пригрозил, что если мы попрежнему будем молчать, то — всех подвергнет жестокой экзекуции. Быть избитыми нам не хотелось, но и открывать, кто из нас Петров, а кто Иванов, мы тоже не могли: тогда сразу были бы обнаружены руководители — Алеша Джапаридзе, Мартын Лядов и другие. Мы попросили у ротмистра разрешения посоветоваться и дать ответ через полчаса. На совещании все арестованные высказались

за продолжение тактики молчания, чтобы не дать возможности выявить видных и активных деятелей бакинской организации.

К концу совещания я и Михаил Пантелеймонович Киричкин предложили компромиссное решение. Мы изъявили согласие поехать в жандармское управление и подвергнуться допросу, так как нас обоих жандармы хорошо знали и нам не было смысла скрывать, кто мы. Собрание поддержало нас, наше предложение принял и ротмистр, и обострившийся было инцидент к общему удовольствию был улажен. Сопровождаемые ротмистром и двумя жандармами мы с Киричкиным отправились на допрос. Казаки уехали.

Допрашивали меня в присутствии прокурора. На вопрос, знаю ли я кого-нибудь из арестованных, я отвечать отказался. Киричкин дал показания в том же духе. Продержав несколько часов в Жандармском управлении, нас отправили в тюрьму-квартиру. Мы вновь оказались среди товарищей.

Начальником нашей временной тюрьмы был назначен бывший урядник Биби-Эйбатских нефтяных промыслов Валиев. Незадолго до этого он был освобожден из-под суда, куда попал за какие-то художества уголовного характера. Должность начальника арестного дома он получил с помощью взятки, обещанной полицеймейстеру Юзбашеву. Валиев жил в этом же доме, во втором этаже, сильно нуждался; его жена и ребенок голодали. Я с Валиевым был «знаком» давно. В 1902 году, во время моего ареста, он сопровождал меня до тюрьмы. Поэтому, когда Валиев узнал меня, то счел нужным выразить свою радость.

Питались мы в тюрьме на коммунальных началах, продуктами нас снабжали товарищи с воли. Хозяйство требовало опытного глаза, и товарищи избрали меня старостой.

Валиев стал заискивать передо мной. Однажды, отозвав меня в сторону, он смущенно сказал:

— Семья моя голодает: нету денег. Разрешите брат из вашей кухни хотя бы один обед для жены и ребенка, а!

Новостью я поделился с Лядовым и Джапаридзе. У них возникла мысль

использовать эту «дружбу» для того, чтобы заменить руководителей организации другими товарищами.

Мы с Мартыном Лядовым решили разыгрывать роль «теплых» ребят-собутылников. При встрече с Валиевым я сказал, что недурно бы распить бутылочку-другую кахетинского вина:

— Да, не плохо, — осторожно подтвердил Валиев.

— Да, нельзя этого...

— Отчего нельзя. Можно. Только чтоб тихо было, — сказал Валиев.

— Тихо-то и нельзя: негде. В общей камере не выпьешь — лучше не дразнить гусей.

Валиев прищурил левый глаз, что-то соображая. Потом шопотом произнес:

— А вы ко мне идите. Там никто не увидит.

— Можно! — обрадованно воскликнули мы с Лядовым. — Это хорошо.

В тот же день вечером мы с Мартыном сидели в квартире Валиева за бутылкой красного вина и мирно беседовали с тюремщиком и его женой о разных житейских невзгодах, о трудностях жизни. Жена его, невысокая женщина с живыми темными глазами, жаловалась на свою судьбу и бедственное положение. Вино действовало, и вскоре она развязала язык. Она сказала, что они должны триста рублей полицеймейстеру за предоставление места мужу:

— Спасибо вам, вы нас подкармливаете. Иначе — сдыхать бы нам с голоду...

Мы ушли это и начали действовать. Мартын сообщил на волю товарищам, что возможна коммерческая сделка с тюремщиком. А через несколько дней мы вновь посетили Валиева. Он разыгрывал из себя простака. Мартын в свою очередь, врал ему, что приехал в Баку по торговым делам и попал случайно, как кур во щи, а ему необходимо скорее вернуться обратно в Москву, иначе он понесет большие убытки. Валиев уверял его, что он готов всей душой помочь хорошим людям и пожертвовать собой, но у него семья. Уходя, мы не совсем были уверены, что сделка состоится. Но жена Валиева укрепила нашу надежду. На прощание она отвела меня в сторону и сказала:

— Посильнее уговаривайте его — он на все согласится.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Вскоре до нас дошли сведения, что собираются разделить на две группы и отправить одну в Карс, другую в неизвестном направлении, чтобы таким образом сломить наше упорство. Начальник Бакинского жандармского управления в своем секретном сообщении от двадцать второго сентября писал:

«Доношу Вашему превосходительству, что арестованные 11-го сентября на сходке в Биби-Эйбате в здании «электрической силы» междурайонные представители Бакинского комитета Соц. Демократов отказываются давать какие-либо показания и не дали снять с них фотографии, между тем, среди этой группы имеются такие и, как надо полагать, серьезные люди, приехавшие из разных мест губернии с специальной целью на предельную сходку, но кто они и откуда — неизвестно.

Ввиду изложенного я полагал бы всех немедленно выслать из пределов Бакинской губернии с воспрепятствием им въезда в губернию.

Вместе с тем, на местах высылки возбуждать против них уголовное преследование как проживающих без установленных видов и для установления их личности.

К изложенному считаю долгом доложить, что означенные лица за неимением свободных помещений в Баку содержатся вместе в частном приспособленном доме. Размещение в отдельных тюрмах не представилось возможным за неимением мест. Советское же нахождение междурайонных представителей Баку. Ком. Рос. Соц. Демократов может дурно отразиться на положении дела в крае по освобождению их из тюрьмы. Арестованные лица держат себя вызывающе, высоко, чем подают дурной пример другим нижним чинам».

Вест о предстоящей высылке заставила нас повторить атаку, и мы в тот же день добились желанного результата. Валиев согласился на обмен, и помнится, за пятьсот рублей. При первой возможности мы передали на имя письмо с просьбой приготовить денег и деньги.

Через два дня мы снова сидели в камере тюремщика. Вскоре туда же явились желанные гости — сменщик

рабочий Лефас и сочувствовавший нам инженер Гальперин, который принес деньги.

Лефас был одного роста с Лядовым, но без бороды. Предусмотрительный тюремщик предложил Мартыну сбрить бороду, чтобы стоявший у его квартиры часовой ничего не заподозрил. Мартын похвалил Валиева за сообразительность.

— Кто же брить будет? — спросил Мартын.

— Давайте, я буду, — сказал Валиев, доставая бритвенный прибор.

— Вы? — удивился Мартын. — Не порежете? Умеете осторожно брить?

— Умею, — неохотно ответил Валиев. — Садитесь.

Мартын сел, и Валиев начал брить его. Зрелище это заслуживало кисти художника. За столиком сидел представитель Центрального Комитета большевистской партии Мартын Лядов, а перед ним ходил, изогнувшись, тюремщик в расстегнутом форменном сюртуке. Раскрасневшийся от волнения и выпитого вина, с кистью и мыльницей в руках, начальник тюрьмы брил своего заключенного. Несмотря на важность и серьезность момента, мы покатывались со смеху.

После окончания этой комической процедуры последовал обмен. Мартын надел бурку и папаху Лефаса, а тот — пальто и широкополую шляпу Мартына. Валиев проводил инженера с Мартыном и, вернувшись обратно, проговорил:

— Ну, слава аллаху, все обошлось благополучно.

Мы раскланялись и покинули квартиру тюремщика-коммерсанта. Когда мы появились в камере, то одни нас встретили с радостной улыбкой; другие же, не посвященные в это дело, недоуменно смотрели на Лефаса, одетого в костюм Лядова. Недоумевал и был смущен надзиратель, бородатый крестьянин, который, впустив нас в камеру, пристально взглянул на нас и на минуту задумался.

В конце сентября нам объявили, что первая группа в тридцать два человека будет отправлена в город Карс на турецкой границе. В эту группу попал и Алеша Джапаридзе. Его же во что бы то ни стало надо было оставить в Баку до отправки следующей группы,

так как впоследствии возможен был новый обмен. Вместо него вызвался поехать Георгий Георгобани. Нас вызвали по списку, составленному в день ареста. Когда вызвали Джапаридзе, вперед выступил Георгобани. Бородатый надзиратель сначала удивленно пожал плечами, затем попытался было задержать его. Но мы двинулись лавиной и вытеснили товарища за ворота тюрьмы.

По прибытии в Карс нас поместили в нижнем этаже новой губернской тюрьмы, в пяти небольших камерах, с отдельным коридором и дверью, выходящей в небольшой дворик, обнесенный высокой каменной стеной. В двух маленьких камерах разместились находившиеся среди нас женщины. После того, как конвоиры сдали нас, тюремное начальство приступило к перекличке.

— Нас тридцать два человека и принимайте по списку, — сказал я как староста.

Начальник тюрьмы непонимающе поднял глаза:

— Вы где — в тюрьме или в гостинице? — спросил он. — Тюрьма имеет свой режим, и вы обязаны подчиняться ему. Поняли...

— Все поняли, — спокойно ответил я. — Но при отправке из Баку никаких обязательств на этот счет мы не брали.

Начальник тюрьмы, грек, человек с большим носом и необычайно маленькими глазами, сердился, выходил из себя.

— Не сердитесь, господин начальник Карской губернской тюрьмы, — шутливо говорил ему Лефас. — Не портите себе настроение. У вас, наверное, жена есть, дети... Человек вы добрый. Ничего вы не добьетесь от нас. Сказали — не нужна перекличка, значит — не нужна. Мы люди серьезные, и нас следует слушаться.

Тюремщики переглядывались, пожимали плечами. Наконец, начальник тюрьмы махнул рукой. Надзиратели приступили к осмотру наших вещей: все личные вещи и деньги мы сдали под расписку в тюремную контору.

На следующий день нас посетили представители местной власти, — начальник жандармского управления, прокурор, полицмейстер и еще какие-то чины. После краткого обмена любезностями и осмотра наших камер они

признали, что мы прекрасно устроились. Мы не спорили: в камерах действительно было уютно и чисто. Раскланявшись, представители власти держали было уже уходить. Мы их задержали.

— В камерах у нас хорошо, — зявили мы, — тем не менее у нас не сколько требований.

— Требований? — переспросил прокурор.

— Да, требований.

— Может быть, просьб, вы хотите сказать... — любезно осведомился полицмейстер.

— Нет, зачем же... — серьезно ответил я. — Просьбу можно не выполнять, а требования...

— А требования вы обязаны удовлетворить! — решительно сказал Лефас.

Чувствуя, что разговор может затянуться, представители власти изъявили желание скорее узнать характер наших требований. Мы потребовали заменить копилки большими лампами, для женщин установить отдельный умывальник, увеличить порционные с двенадцати копеек до двадцати.

Изумленные представители власти указали, что мы, повидимому, мало знакомы с правилами и режимом тюрьмы. Мы, в свою очередь, сочли нужным довести до сведения прокурора и других чинов о том, что некоторые из нас знакомы с порядком и режимом многих российских тюрем и что мы ведем борьбу именно за изменение существующего порядка и режима вообще, в тюрьме — в частности.

Через два-три дня наши требования удовлетворили, и инцидент был исчерпан.

Каждый день, к великому неудовольствию тюремщиков, стройно и дружно распевали мы революционные песни. Городские власти, напуганные могучим революционным движением в стране, скрепя сердце, мирились с нашим озорством.

Восемнадцатого октября после обеда в тюрьму вновь явились представители местной власти и объявили, что мы, согласно обнародованному манифесту, освобождаемся из-под стражи, получаем полную свободу и прощение. Мы же вместо выражения признательности все, как один, воскликнули:

— Да здравствует революция!

— Долой тирана!

Вывранные из тюрьмы могучей силой народа, мы отправились в город. Там мы разбились на группы и разделились по разным местам, чтобы скорее и лучше изучить настроение населения. Город Карс был солидной крепостью с большим количеством войск, массой чиновников — гражданских и военных.

В городе былолюдно и шумно. Все ходило под впечатлением манифеста от семнадцатого октября.

Мы не преминули воспользоваться поднятым настроением и провели митинг, собравший много народу. На митинге произносились речи, направленные против царя и существующего строя.

Когда стемнело, мы задумались о завтраке. Но так как наши вещи нахо-

дились в тюрьме, мы единодушно решили вернуться в камеры и там переночевать. Когда мы постучали в тюремные ворота, к нам вышел улыбающийся начальник тюрьмы.

— Зачем вы пожаловали, господа? — спросил он.

Я как староста объяснил ему, что мы, собственно, пришли за вещами, но если он окажет гостеприимство, то мы не прочь и переночевать во вверенной ему тюрьме. Начальник тюрьмы так был польщен, что забыл всякую осторожность и правила тюремного распорядка. Попрежнему улыбаясь, он любезно сказал:

— Пожалуйста, господа, занимайте свои камеры.

И мы заняли «свои» камеры.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

В то время, когда мы отдыхали в камере, городские власти узнали о митинге и нашем выступлении на нем. Они заинтересовались, где мы ночуем. Была поставлена на ноги вся местная милиция во главе с приставом и полицмейстером. Полиция обшарила все уголки города, сбилась с ног, но найти нас не смогла. Наконец, полиция нашла хозяина, который готовил для нас обед. Он сообщил, что мы, пообедав, ушли в тюрьму за вещами. В камере полицмейстеру заявили, что освобожденные утром политические ходят в своих камерах.

Власти рассвирепели. Часов в девять вечера к нам прибежал взволнованный начальник тюрьмы с взъерошенными волосами и завопил, что он, простофиля, попал впросак и что его отдадут в суд за допуск посторонних лиц во вверенную ему тюрьму. Он стал умолять нас, чтобы мы немедленно покинули его. Вскоре появился и полицмейстер.

— Немедленно покиньте тюрьму! — этого начал он.

Мы ответили, что за неимением удобного ночлега в городе мы нуждены до утра остаться в тюрьме. Полицейстер предложил нам переночевать в барак, построенный на случай появления холерной эпидемии. Мы категорически отказались и заявили, что устали и просим дать нам

полный покой. Начальство уступило, и мы заснули.

Утром мы ушли из тюрьмы опять без вещей. В городе мы узнали, что ночью по казармам гарнизона были разбросаны листовки на русском и армянском языках. Листовки отпечатали наши товарищи, оставшиеся для этой цели в городе — Антон Кабернкорм, Михаил Кучнев и другие.

Группами мы разбрелись по городу, предварительно сговорившись в определенное время собраться в городском саду. Чтобы познакомиться с местным населением, с ремесленниками, интеллигенцией, учащейся молодежью и в особенности с солдатами гарнизона, мы заходили в мастерские, в кофейные, чайнушки. Беседуя с солдатами, мы узнали, что в некоторых воинских частях произошли конфликты между нижними чинами и офицерами, конфликты, доходившие до серьезных столкновений.

В саду, в назначенное время, собралось необычайно много народу. Здесь были солдаты, учащаяся молодежь, офицеры; пожаловали сюда и чиновники всех ведомств с женами, чадами и домочадцами. Когда открыли митинг, первое слово предоставили кому-то из местной интеллигенции. Затем выступили наши товарищи, которые предостерегли собравшихся от всяких иллюзий насчет незыблемости дарованных свобод. В своих выступлениях товари-

щи со всей силой обрушились на военную касту, которая во время русско-японской войны сыграла позорную и преступную роль, подвергая всевозможным лишениям и сверхчеловеческим испытаниям миллионные массы солдат русской армии. Речи вызвали горячие и восторженные одобрения большинства собравшихся. Но офицеры и крупные чиновники остались недовольны резкими выступлениями, и многие из них ушли. Мы же, заканчивая митинг, пригласили солдат и учащуюся молодежь на завтра вновь собраться в саду.

На третий день нашего освобождения, двадцатого октября, по городу ездили конные патрули. Несмотря на это, в саду вновь оказалось много народу.

По аллеям сада прогуливались Лефас и местный губернатор. Губернатор уговаривал Лефаса, чтобы он повлиял на товарищей и те были осторожней в своих речах.

— Ведь манифест обнародован не для того, чтобы поносить последними словами царскую семью, — говорил губернатор, заискивающе глядя на Лефаса. — Не так ли?

Губернатор жаловался на то, что на него нажимает комендант крепости и требует применить к нам самые суровые и решительные меры.

— Я как начальник губернии вполне понимаю беспокойство коменданта за вверенные ему крепость и гарнизон. Но что я могу сделать, когда, кроме манифеста, дарующего свободу, не имею никаких директив из центра!? — губернатор взял за руку Лефаса. — Разве я могу применить репрессии?

— Что вы, что вы? — воскликнул Лефас. — Конечно, нет. Манифест запрещает это!

— Так что же мне делать, что? — дрожащим голосом спросил губернатор. — Вы понимаете, какое у меня положение?

— Понимаю, господин губернатор: хуже губернаторского. Не угодить высшей власти — попадешь под суд, не угодишь революционерам — чего доброго, будешь болтаться на фонаре.

Губернатор испуганно отшатнулся от Лефаса и, вздыхая, произнес:

— Да, да, тяжелое время настало! — И вдруг, приходя в ярость, он угрожающе добавил: — Ну, хорошо!.. Удружил мне на старости лет бакинский

губернатор Фадеев, нечего сказать! Мало ему губерний — революционеров ссылать... Непременно в Карс, в мой город нужно было. Ну, хорошо!

Пока губернатор упрашивал Лефаса быть поосторожней в выражениях, к саду приближался отряд солдат во главе с офицером. Отряд спустился по каменной лестнице и беглым маршем направился по аллее к митингу. Лефас, указывая на солдат, спросил губернатора:

— Что это значит?

Тот развел беспомощно руками.

— Я тут ни при чем, — сказал он и галантно раскланявшись, поспешно удалиться.

Увидев солдат, публика забеспокоилась. Тогда мы обратились к участникам митинга с призывом не расходиться и не впадать в панику. Офицер, возглавлявший отряд, разразился площадной бранью по нашему адресу искомандовал солдатам:

— Окружить их и, в случае сопротивления, взять в штыки!

Публика, собравшаяся на митинг, громко возмущалась и протестовала. Солдаты замерли. Лица у них побледнели. Один за другим они опустили винтовки к ногам.

Потрясая обнаженной шашкой, офицер повторил:

— Окружить! Взять в штыки!

Солдаты продолжали стоять молча, рассматриваясь сосредоточенным взглядом в публику, которая громко выражала негодование по адресу офицера.

В это время мы увидели, что приближается второй отряд солдат. Чтобы избежать столкновения и кровопролития, мы вновь призвали к спокойствию участников митинга, а солдаты там заявили, что если они считают необходимым выполнить возложенные на них обязанности, то пусть сделают круг, а мы сами добровольно войдем в него. Солдаты охотно, с повеселевшими лицами, образовали круг, и мы оказались в нем.

Мы вызвали полицмейстера и прокурора, от которых потребовали объяснения о причине налета воинских частей. Прокурор ответил, что согласно новому конституционному закону все граждане обязаны испрашивать на всякое собрание или митинг разрешения у властей города с указанием места, числа и часа собрания.

— Вы же трижды, — заявил он да-  
же, — устроили публичные собрания в  
родном саду без ведома и разреше-  
ния местных властей, а посему под-  
вергаетесь двухдневному аресту за  
нарушение общеконституционных пра-

Участники митинга продолжали шу-  
тать и негодовать, местная армянская  
революционно настроенная молодежь  
тоже была с оружием в руках восста-  
новилась против нашего аресту, о чем  
и поставили в известность. Мы от-  
казались от этого слишком горячее предло-  
жение молодежи и двинулись по на-  
правлению к нашей гостеприимной ка-  
зарме для двухдневной отсидки.

Молодежь не оставляла нас. Как  
только мы покинули сад и вошли в  
дверь города, нас стали окружать  
кошки. Молодежь проникала за цепь  
первого конвоя, подростки бежали со  
страхом и гиком, корчили уморитель-  
ные гримасы офицеру. Офицер был  
беспокоен от волнения. Пересекая ули-  
цу, на которой жил губернатор, офи-  
цер отделился от нас, сел на извозчи-  
ка и уехал, сопровождаемый криками,  
восторгом детей и взрослых.

Недалеко от казарм, расположен-  
ных вдоль железнодорожного полотна,  
офицер нагнал нас — бледный, с пере-  
паленным от злобы лицом. У первой  
казармы стоял отряд солдат. Офицер  
отделился от нас и направился  
к отряду, вытянувшись во фронт.  
Через несколько минут офицер вернул-  
ся, еще более взволнованный и блед-  
ный, тяжело и порывисто дыша. У по-  
следней казармы он опять направился  
к отряду, отходящему здесь отряду солдат.  
Мы уже приближались к тюрьме,  
и вдруг послышались голоса:

— Командир упал, командир упал!

Позднее мы узнали, что офицер вне-  
запно умер от разрыва сердца. Солда-  
ты нам рассказали, что для разгона  
митинга и нашего ареста ни одна часть  
не соглашалась выйти из казармы.  
Комендант крепости был в самом за-  
труднительном положении. Офицер,  
который, по выражению солдат, «толь-  
ко-что сдох», был злющий-презлющий  
пемец, нелюбимый всеми солдатами.  
Он предложил собрать отряд из раз-  
ных частей, не говоря солдатам, для  
какой цели их вызывают. Но когда  
солдаты узнали, что направляются в  
распоряжение нелюбимого офицера, и  
догадались, что их поведут не на доб-  
рое дело, то решили пойти, но не вы-  
полнять приказы слепо, а решать дело,  
глядя на сложившиеся обстоятельства.  
Они так и поступили.

Офицер, ввиду постигших его не-  
удач, был страшно зол на всех нас, в  
особенности на солдат, которые своим  
неподчинением нанесли ему неслыхан-  
ное, небывалое оскорбление, опозорили  
его на всю жизнь. Идя по городу в  
окружении враждебной толпы, чув-  
ствуя свое бессилие совладать с непо-  
винующимися ему солдатами, он силь-  
но нервничал, волновался. По телефо-  
ну он обратился за помощью к воин-  
ским частям, расположенным вдоль  
железнодорожного пути. Ему обещали  
помочь. Приблизившись к группе сол-  
дат у первой казармы, он приказал  
разогнать публику, следовавшую за  
нами. Солдаты переступали с ноги на  
ногу и не трогались с места. Офицер  
почувствовал себя очень плохо. А ко-  
гда у последней казармы он получил  
такой же молчаливый отказ, его серд-  
це не выдержало, и он упал замертво.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

В тюрьме мы опять причинили адми-  
страции немало хлопот и неприятно-  
стей. При подсчете в нашей группе  
оказалось свыше шестидесяти человек,  
а по ордеру тюремное начальство имело  
только на тридцать два человека. По-  
лицмейстер и прокурор обратились к  
молодежи, присоединившейся к нам в  
тюрьму, с разъяснением, что аресту под-  
вержены лишь мы, прибывшие из Баку,  
все остальные свободны. Представи-  
тели власти ответили, что инициато-  
ром митинга — вся карская револю-

ционная молодежь и что присутствую-  
щая здесь хотя и небольшая ее часть  
желает разделить участь арестованных  
бакинских товарищей. Полицмейстер и  
прокурор были в затруднении и пред-  
ложили вызвать нас по старому спи-  
ску. Но этот маневр им не удался: мы  
молчали. Тогда начальник тюрьмы вы-  
звался отделить нас на память. Он на-  
чал с меня. Я его предупредил, чтобы  
он бросил это грязное дело. Началь-  
ник махнул рукой и, отходя, пробормо-  
тал, что он никого и ничего не зна-

ет. Дело кончилось тем, что всех нас, наконец, разместили по камерам, которые мы занимали накануне.

Двадцать второго октября кончался срок нашего двухдневного заключения под стражей. Мы предупредили товарищей, снабжавших нас продуктами, что освобождаемся в пять часов дня и готовить обед в тюрьме не будем. Поэтому мы просили их приготовить для нас в городе коллективный обед.

Двадцать третьего или двадцать четвертого октября ожидалось возобновление железнодорожного сообщения между Карсом и Тифлисом, прерванного стачкой рабочих. Мы рассчитывали первым же поездом выехать из города. Однако около часа дня в тюрьму приехал полицмейстер и объявил, что мы будем освобождены лишь в конце дня, в двадцать три часа. Мы запротестовали, поднялся шум. Мы потребовали, чтобы нас освободили в пять часов. В противном случае мы оставляли за собой право свободного действия.

Полицейстер уехал доложить о нашем требовании прокурору и губернатору и около трех часов явился снова. Он сообщил, что их превосходительства господин прокурор и господин губернатор, к глубокому их прискорбию, не могут удовлетворить нашего требования, так как это было бы явным подрывом авторитета властей. На это я ему ответил, что мы ни на какие уступки не пойдем, никакого подрыва авторитета властей в нашем требовании не видим и потому настаиваем на нашем освобождении до пяти часов.

— Не позднее четырех часов пятидесяти минут мы ждем окончательного ответа, — сказал я полицмейстеру.

Полицейстер пожал плечами, козырнул и уехал.

Некоторые товарищи были склонны примириться с создавшимся положением и оставаться в тюрьме до следующего дня. Я же высказался за обструкцию, большинство меня поддержало. Кто-то указал, что мы не имеем морального права подвергать опасности местную молодежь. Мы предложили самой молодежи обсудить этот вопрос отдельно, без нашего участия. Через десять минут они заявили, что поддерживают обструкцию и всю ответственность берут на себя. Нам оставалось решить вопрос лишь о форме обструкции. Молодежь и на этот раз была удалена. Для разработки плана

осталась лишь бакинская группа. После обмена мнениями пришли к единодушному решению: побить стекла в окнах всех камер, поломать нары, взломать двери.

Когда часы показали без десяти минут пять, я захлопал в ладоши. Тут же раздался звон стекол, треск дерева посыпалась камнями, поднялась едкая пыль.

Через несколько минут тюрьма была окружена солдатами, но все уже было кончено. Мы сидели молча и пили заранее приготовленный чай в общей камере, ожидая развязки.

Как всегда, после сильного возбуждения наступила реакция, настроение упало. Томительно тянулись минуты. Где-то загремел засов, скрипнула дверь. Я встал, подошел к двери и осторожно выглянул в коридор. Стояла напряженная тишина. Мне было не по себе. Я испытывал нервную дрожь в коленях, мертвая тишина пугала. Но вот в конце коридора показалась голова, затем другая, третья, и я увидел бледные и растерянные лица. Я ободрился и вышел в коридор, гостеприимно приглашая представителей власти пожаловать в камеру. Товарищи, зная, что я с кем-то церемонно раскланиваюсь, оживились. Через несколько минут в дверях камеры появилась группа чиновников. Правитель канцелярии губернатора дрожащим не то от испуга не то от бессильной злобы голосом объявил, что его превосходительство господин губернатор благосклонно решил освободить нас.

Вскоре мы проходили мимо тюремной канцелярии, у которой стояли чиновники во главе с губернатором. Они провожали нас долгими, полными злобы взглядами. Лефас, поровнявшись с губернатором, улыбнулся и сказал:

— До свидания, господин губернатор! Спасибо за приятную беседу.

— Прощайте, — как-то тихо и безвольно ответил губернатор. — Прощайте! — строже и решительнее повторил он.

Последним выходил из тюрьмы Басрадзе. Он остановился возле часового, хлопнул его по плечу и сказал:

— Ну, видишь, товарищ, ты напрасно волновался. Все обошлось благополучно.

Часовой взял под козырек и гаркнул:

— Слушаю. Так точно!..

Наша поездка из Карса в Тифлис была демонстративный характер. У нас был атласный красный флаг, который изготовили и расшили разноцветными шелками армянские женщины в дороге. Подъезжая к большому станционному вагону, мы выкидывали его в открытое пространство вагона, а хор наш, созданный молодым неугомонным большевиком Павлом Бляхиным-Соломончиком, дружно пел революционные песни. Собиравшаяся публика шумно приветствовала нас.

В Тифлисе мы пробыли три-четыре дня. В городе в это время с утра до вечера происходили собрания и митинги. Мы перебирались с митинга на митинг, с собрания на собрание. Настроение было приподнятое. Старые «мессадасисты», превратившиеся в ярких большевиков — Ной Жордания, Исидор Рамишвили и Сильвестр Джиблад — упивались дарованными царским манифестом «демократическими свободами». В своих выступлениях меньшевики рисовали картины свободного и независимого процветания страны, быстрого культурного развития и духовного роста народа.

— Демократия торжествует! — вдохновенно восклицал Исидор Рамишвили на митинге в Нахаловке — рабочем районе Тифлиса. Ему аплодировали. Рамишвили, воодушевляясь, говорил о том, что трудовой народ Грузии может только смотреть в будущее.

— Манифест, — продолжал он, — отвечает перед нами заманчивые перспективы свободного движения вперед. Многие в те дни искренно верили большевистским лидерам, кое-кто даже видел в них своих национальных героев.

Двадцать шестого октября мне пришлось вновь быть на митинге в Нахаловке. Здесь опять выступал Исидор Рамишвили. Когда он кончил говорить, импровизированную трибуну взбежал молодой человек.

— Я большевик, — смело начал он. — Как человек прямой и честный должен сказать: манифест — это обман и втушка.

Поднялся невероятный шум. Со всех сторон полетели возгласы:

— Долой! Прочь! Долой!

— Подождите минуту, — поднимая руку спокойно продолжал оратор. — Каждый сумеет, а вы сначала выслушайте меня, а потом ре-

шайте — долой или не долой. — И, развернув листок, он начал громко читать.

Сначала то тут, то там раздавались отдельные негодующие выкрики. Но молодой человек продолжал читать. Постепенно люди успокаивались, и чем становилось тише, тем громче и отчетливее звучал голос большевистского оратора:

«Кавказский Союз Российской Социал-Демократической Рабочей Партии.

Пролетарии всех стран,

соединяйтесь!

Ко всем рабочим

Революция бушует! Революционный народ России встал на дыбы и, осаждая царское правительство, готовится атаковать его. Развешаются красные знамена, строятся баррикады, народ вооружается, штурмует государственные учреждения, — вновь раздаются клич храбрых, вновь зазвучала затихшая жизнь... Корабль революции распустил паруса и устремился к свободе. Этим кораблем управляет российский пролетариат.

Чего хотят российские пролетарии, куда они идут?

Свергнем царскую Думу и построим народное Учредительное собрание — вот что говорят сегодня российские пролетарии. Пролетариат не потребует у правительства мелких уступок, он не потребует у него снять в некоторых городах и селах «военное положение» и «экзекуцию», — пролетариат считает ниже своего достоинства размениваться на такие мелочи! Кто требует у правительства уступок, тот не верит в смерть правительства, — а пролетариат живет этой верой; кто ждет от правительства «льгот», тот не верит в мощь революции, — а пролетариат живет этой верой.

Нет, Пролетариат не станет разменивать свою энергию на бессмысленные требования. К самодержавию у него лишь одно требование: долой его, смерть ему! И вот по всей России все решительнее раздается революционный призыв рабочих: долой Государственную Думу, да здравствует народное Учредительное собрание! Вот куда стремится сегодня российский пролетариат.

Царь не может дать нам народного Учредительного собрания, царь не может уничтожить свое же самодержа-

вне, — он на это не пойдет! Куцая «конституция», которую он нам «даст», — это временная уступка, фарисейское обещание царя и ничего более! Конечно, мы этой уступкой воспользуемся, мы не откажемся выбить у вороны орех, чтобы размозжить ей этим орехом голову; но факты все же остаются фактами, что народ не может верить царскому обещанию, — он должен верить лишь самому себе, он должен опираться лишь на собственные силы: освобождение народа должно произойти руками же народа. Лишь на костях угнетателей возможно построить освобождение народа, лишь кровью угнетателей возможно удобрить почву самодержавия народа! Только тогда, когда вооруженный народ пойдет за пролетариатом и поднимет знамя всеобщего восстания, — лишь тогда возможно свергнуть царское правительство, опирающееся на штыки. Не пустые фразы, не бессмысленное «самовооружение», — а подлинное вооружение и вооруженное восстание — вот куда идут сегодня пролетарии во всей России.

За победоносным восстанием последует поражение правительства. Но потерпевшее поражение правительство часто вставало на ноги. И у нас оно может встать на ноги. Темные силы, которые во время восстания притаются по углам — на другой же день после восстания выползут из нор и попытаются поднять на ноги правительство. Так воскресают потерпевшие поражение правительства. Народ безусловно должен обуздать эти темные силы, он должен стереть их с лица земли! А для всего этого необходимо, чтобы победивший народ на следующий же день после восстания поголовно вооружился, чтобы он превратился в революционную армию, был бы всегда готов с оружием в руках защитить уже завоеванные права.

Лишь тогда, когда победивший народ превратится в революционную армию, лишь тогда сможет он окончательно разгромить притаившиеся в жизни темные силы. Лишь революционная армия может укрепить действия временного правительства; лишь временное правительство может созвать народное Учредительное собрание, которое должно ввести в жизнь демократическую республику. Революционная армия и временное революционное

правительство — вот куда стремятся сегодня российские пролетарии.

Таков тот путь, на который вступила русская революция. Этот путь ведет к самодержавию народа, и пролетариат призывает всех друзей народа следовать по этому пути.

Царское самодержавие преграждает путь народной революции, своим вчерашним манифестом оно хочет затормозить это великое движение, — ясно, что волны революции поглотят и отшвырнут прочь царское самодержавие.

Презрение и ненависть ко всем тем, кто не станет на путь пролетариата. Те подло изменяют революции! Позор всем тем, кто на деле вступил на этот путь, а на словах говорит иное: тот малодушно страшится правды.

Нас правда не страшит!.. нас революция не поколеблет! Пусть сильнее грянет гром, пусть сильнее разразится буря! Близок час победы!.. Мы восторженно повторяем лозунги российского пролетариата, нас не страшит святая правда, нас не страшит победа народ!

Долой государственную думу!

Да здравствует вооруженное восстание!

Да здравствует революционная армия!

Да здравствует временное революционное правительство!

Да здравствует народное учредительное собрание!

Да здравствует демократическая республика!

Да здравствует пролетариат!

Т и ф л и с с к и й к о м и т е т

Листовка произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Даже люди, недавно аплодировавшие Исидору Рамишвили, теперь неистовствовали. Они теснее смыкались вокруг трибуны крича:

— Долой думу! Долой царя!

Множество рук протянулось к большевистскому оратору. Люди требовали у него листовку. Он отдал ее. Несколько человек вцепились в нее.

— Не деритесь! — крикнул оратор и, выхватив из-за пазухи кипу листовок, бросил ее вверх. В воздухе кипа разлетелась, и листовки, казалось, на минуту закрыли небо.

Большевики ушли с митинга победителями.

Спустя многие годы я узнал, что эту листовку написал Коба.

## ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

За третий или четвертый день нашего пребывания в Тифлисе мы решили выехать в Баку. За неимением средств на дальнейшую дорогу мы обратились к местной власти, к безымянному в то время Ширинкину, с юванием отправить нас по месту жительства за казенный счет. Нас чиновник особых поручений. Выдав нас, он заявил:

«Что касается отправки по месту жительства за счет государства, мы не ажаем. Но насчет одного рубля дюнных в сутки — извините, такой мы не встречал. Более двадцати ек выдать не можем.

Мы настаивали на своем. Тогда чик отправился к Ширинкину. Вскочился сам Ширинкин. Отвесив об поклон, он любезно спросил: «Что вам угодно, господа?»

Мы повторили наши требования. Только и всего? — Ширинкин по плечами. — Пожалуйста, получи — произнес он, готовый пойти на бые жертвы» ради нашего скорей о отъезда.

Через день многие из нас уже на ились в Баку. Я вернулся на тростанцию. В это время там уже ал Петр Монтин, поступивший на щию незадолго до моего ареста. тин был большевиком. С первых дней он повел решительную борь с меньшевиками и эсерами — Щегым, Кузнецовым, Дрягункиным, яевым, братьями Сочневыми, свив и себе прочное гнездо на станции. бенно сильно ненавидел он членов называемой «Балахано-Биби-Эй жой рабочей организации». Созда ями этой организации были братья я, Лев и Глеб Шендриковы.

В Баку братья Шендриковы приеха из Ташкента, где они были в тес связи с эсерами. Беззастенчивой агогией, хвостизмом, поддержкой трений самых отсталых слоев ндриковы пытались завоевать в ра ей среде популярность. На многих мыслах им удалось завербовать сто пников. Шендриковы постоянно кри и о своей непричастности к поли е, о своем интересе «к вопросам дняшнего дня». «К простым реаль и потребностям нефтяного пролета иа». Призывая рабочих гнаться за ими подачками предпринимателей,

они отвлекали рабочий класс от политической борьбы, от борьбы с царизмом.

В октябре—декабре 1905 года Шендриковы развили исключительную активность: не было ни одного собрания, ни одного митинга, на котором Шендриковы и их последователи не выступали бы. Наша большевистская организация рассматривала шендриковщину как своеобразное проявление зубатовщины в рабочем классе Баку. Поэтому все силы были брошены на борьбу с шендриковщиной, на полный разгром ее.

Гневом и ненавистью к шендриковщине были преисполнены речи Петра Монтин. Будучи прекрасным оратором, он быстро овладевал аудиторией и заставлял слушать себя. Помню, однажды Монтин выступал на каком-то рабочем собрании. Здесь в большинстве своем были сторонники меньшевиков и эсеров. Сначала Монтину не давали говорить. Его перебивали, ему бросали реплики, его доводы поднимали на смех. Но по мере того, как Петр продолжал говорить, люди затихали. Наконец, установилась полная тишина, и Петр с каждой минутой все больше и больше покорял слушателей. А когда он закончил, ему дружно захлопали в ладоши.

В Петре Монтине было много общего с Алешей Джапаридзе. Петр, как и Алеша, неутомимо трудился. Он мог работать несколько суток подряд, забывая об отдыхе и сне. Я жил с Монтиним в одной квартире и видел его изо дня в день. После длительного путешествия по промыслам он снимал с себя рабочий костюм, тщательно мылся и говорил:

— Ну вот, теперь вновь можно работать.

И он работал. Высокий, плотный, с простым русским лицом, он завоевал огромную популярность на заводах и промыслах. Ему верили, к нему лежала душа. Просто, естественно, без фразы и позы он выполнял героическое опасное дело. Он не чурался никакой работы — распространял литературу, разносил по промыслам листовки и прокламации, выступал на митингах, вел ожесточенные бои с политическими противниками. Один из рабочих, находившийся вместе с Петром Монтиним в этапе, впоследствии рассказывал:

— Он был рабочий-революционер и делал свое революционное дело так же просто и необходимо, как поют птицы. Он часто пел мягким теплым баритоном революционные и народные русские песни. Каким утешением были песни Монтиня для нас, политических арестантов в Бакинской, а потом в Кубинской тюрьмах.

Сиреневые сумерки, молчание тюремного двора, заросшего травой, небо и одиночество, и тихая песня Петра, его грустный, милый голос:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

И через минуту — веселое, молодое, задорное, украинское:

Наварила, напекла  
Не для себя — для Петра...

Нас гнали этапом из Баку в Кубу. Были — зеленая земля, гортанный говор аулов, запах костров, усталость и ночные росы. Конвойные были злы и тупы, придирались к каждому шагу. Звенели цепи, и только обаятельный Петр, только эта ласковая народная душа нашла какой-то путь к сердцу русских мужиков, переодетых солдатами.

Стало весело, шли вольно, пели песни, и впереди шагал Монтин, обняв широкую спину солдата, говорил ему о земле и воле.

И пели все вместе:

Ой, лихо, не Петрусь,  
Бело личико, черный ус.

В конце ноября Петр выехал в Тифлис на конференцию Кавказского союза РСДРП. Конференция избрала его делегатом на IV партийный съезд. Шестого декабря Монтин вернулся в Баку, а я, не повидавшись с ним, в тот же день выехал в Тифлис, где после пятилетнего запрета получил право вновь поступить в Главные железнодорожные мастерские. В Тифлисе меня встретили товарищи с телеграммой в руках. В ней было сказано, что вечером шестого декабря выстрелом в голову убит Петр Монтин.

По рассказу его невесты, с которой Петр шел по улице, на одном из поворотов навстречу им выскочил неизвестный и в упор выстрелил в Монтиня. Пуля попала в голову. Монтин успел выхватить из кармана револьвер и выстрелил в неизвестного. Всю ночь те-

ло Петра лежало на улице. Только в рассвете товарищам удалось доставить его на электрическую станцию. Как писал Константин Норинский, гроб телом Монтиня несколько дней находился в библиотеке станции. «Библиотека стала местом стечения чуть ли не всего окружающего станцию рабочего населения... Мать и брат настаивали чтобы хоронить тов. Монтиня в Тифлисе, и мы должны были подчиниться. Отдать последний долг тов. Монтиня собралось все население Баку и окрестностей. Еще за несколько часов до выноса тела товарищи все прибывали и их число все возрастало; не уместившись в обширных помещениях электрической станции, они выстроились на улице. Тут же наспех была организована вооруженная охрана, конечно, из своих товарищей, выработав порядок шествия. Наконец, близкие товарищи на руках вынесли гроб. Тысячи людей обнажили свои головы, шествие двинулось. Несколько товарищеских хоров огласили воздух печальными мотивами.

Вся улица была запружена народом. Этот поток тянулся не менее, как и версту. По бокам, в первых рядах, шла своя вооруженная охрана. Затем, взявшись за руки и составив цепь, не блюдали за порядком шествия. Неслышно много венков. Были тут и знакомые меньшевики и эсеры; надо полагать они чувствовали себя неважно. Взор многих были обращены в их сторону. Между тем печальное шествие росло в числе. Оно с пением прошло весь город, до 8 верст, прежде чем прибыло к вокзалу для сдачи останков товарищу, прибывшему из Тифлиса».

Убийство Петра Монтиня всколыхнуло пролетариат всего Кавказа. Гражданинские похороны устроил ему рабочий класс Тифлиса. Это была боевая внушительная демонстрация тифлиского пролетариата, выступившего на улицу с протестом против подлого предательского убийства своего великого сына. Тифлис бурлил, Тифлис провожал в последний путь Петр Монтиня. Во всех революционных газетах появились статьи о нем. Четырнадцатого декабря «Елисаветпольский вестник» писал:

«Товарищ Петр был борец. Его неустанный гнилая борьба с царизмом за освобождение рабочего класса, ег

ерские, организаторские и агитационные способности, широкая популярность и сильное влияние на рабочую массу, неиссякаемая энергия и политическое деятеля — революционера нашли ему немало непримиримых врагов в среде слуг отживающей самодержавия. Бакинская администрация, прекрасно знакомая с деятельностью Петра, издавна скалила на не-

го зубы, она не останавливалась перед подкупом темных и бессознательных лиц, дабы избавиться раз и навсегда от мощного Петра — главного практического руководителя всеми боевыми выступлениями бакинского пролетариата. Теперь тов. Петр убит, а администрация вместе с контрреволюцией ликуют. Смерть убийцам! Вечная память неутомимому борцу за рабочее дело!».

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

В Москве началось вооруженное состояние. В знак солидарности с ковским пролетариатом забастовали железнодорожники Закавказья. Тифлисская организация РСДРП призвала массы к всеобщей стачке с переводом в вооруженное восстание. Но в вои- ный штаб восстания пробралась и меньшевики вместе с их лидером Исиром Рамишвили.

В горные сельские районы для организации крестьян выехали представители Тифлисского комитета. Им поручили сколотить вооруженные партизанские отряды и по горным тропам ввести их в Тифлис. Комитет одновременно дал задание военному штабу организовать для приема партизанные пункты как по стратегическим, так и конспиративным условиям, приготовить достаточное количество продовольствия, оборудовать небольшие лазареты.

В середине декабря в городе разбухли вооруженные столкновения арскими войсками. В это время начали прибывать в город и крестьяне-партизаны. Руководили отрядами старые горные орлы, закаленные в борьбе с царскими колонизаторами. К великому нашему огорчению, военный штаб не подготовился к приему и разведению партизан и не имел никакого плана выступления. По требованию меньшевиков Тифлисская организация актив для выяснения создавшегося положения и обсуждения вопроса о том, как и где разместить прибывающие силы. Лидеры меньшевиков предлагали размещать партизан в районах, лежащих далеко от города, — в Дидубе и Нахаловке, где, по их мнению, должны были быть сосредоточены все боевые силы.

Наша небольшая группа большевиков возражала против скопления значительных сил в этих районах, застро-

енных приземистыми домиками и ветхими хибарками. Мы указывали, что как только власти узнают о скоплении в Дидубе и Нахаловке большинства наших вооруженных отрядов, то не преминут двинуть туда надежные и преданные правительству воинские части, чтобы отрезать путь в город. Если мы все-таки попытаемся прорваться с оружием в руках и откроем действия против их войск, тогда они обстреляют нас из пушек Арсенальной горы, и, пожалуй, сметут с лица земли артиллерийским огнем все постройки Дидубе и Нахаловки, не щадя населения.

По этим соображениям мы предлагали перебросить партизан в городские районы с наибольшей пролетарской прослойкой — Куки, Авлабар, Пески, где, развивая дело восстания, можно постепенно втянуть в него сочувствующую нам часть населения. Мы предлагали при первой возможности захватить важнейшие учреждения города: вокзал, телеграф, банк, продовольственные склады.

Меньшевики одно за другим отвергали наши предложения. Особенно рьяно против нас выступал Ной Жордания. Помню, он пришел на собрание актива с часовым опозданием. С места в карьер он обрушился на большевиков.

— Вы предлагаете начать вооруженное восстание в городских районах? — спросил он, обращаясь к нам. — Немыслимо! Непостижимо! Подумайте, имеем ли мы моральное право подвигать мирное население опасности? Можем ли мы брать на себя ответственность за кровопролитие? Нет и нет! Партизанские отряды должны находиться в Дидубе и Нахаловке. Это единственно разумный выход.

Иначе смотрели на восстание сами партизаны. Руководители отрядов бы-

ли на стороне большевиков. Они заявили, что держать свои отряды в этой ловушке не могут.

— Мы на это не пойдем! — говорил руководитель отряда, высокий грузин с жгуче черной бородой. — Мы хотим драться в городе, где нас поддерживает население. Но вы не пускаете нас в город к рабочим. Тогда нам делать здесь нечего!

— Какое же решение вы принимаете? — спросил Ной Жордания руководителей отрядов.

— Известно какое — уйдем! — произнес высокий грузин и поднялся со стула.

— Дело ваше — можете уходить, — сказал Ной Жордания.

В ту же ночь партизаны вынуждены были покинуть Тифлис. Со слезами на глазах расставались мы с крестьянами.

На следующий день мы узнали, что власти готовят разгром Нахаловки. Большевики оказались правы. Сосредоточивать силы в этих отдаленных районах значило обресть их на верную гибель.

Узнав о предстоящем походе войск в Нахаловку, штаб, предводительствуемый Исидором Рамишвили, решил выставить по всем закоулкам поселка вооруженных рабочих для охраны населения. Большевики считали эту затею нелепой. Нельзя было собирать в этом районе против сконцентрированных войск рабочие дружины. Надо было использовать партизанскую тактику уличной борьбы, применявшуюся московскими дружинниками. Однако мы вынуждены были все-таки принять участие в охране Нахаловки. Для этой цели были мобилизованы рабочие-боевики во главе с профессиональным революционером. Один из них, был Камо Семенов Аршаковичем Тер-Петросяном.

Я в то время жил у рабочего Казимира Манкевича, по Авчальской улице, рядом с казармами саперов. Один из товарищей-саперов, связанный с нашей военной организацией, сообщил нам, что ночью выступают в полной готовности воинские части всех родов оружия — пехота, конница, артиллерия.

Мы не спали всю ночь, огонь был потушен, на улице царил мертвая тишина. С тревогой мы прислушивались к малейшему шороху и с напряженным вниманием выглядывали в черную бездну темной улицы.

Часа в два откуда-то издали донесся конский топот. Мы прислушались. Топот нарастал, приближался. Вскоре мы заметили кавалеристов. Двигались они по направлению к Нахаловке. Потом показалась пехота, затем опять конница, далее загремела артиллерия, прошел санитарный обоз, потом шум постепенно стал удаляться. Снова наступила мертвая тишина. Мы с Казимиром решили уйти со своего безопасного наблюдательного поста.

Ночь стояла темная, небо было покрыто облаками. Наступившую тишину нарушал лишь лай встревоженных собак. Слышны были отдаленные ружейные выстрелы. После нескольких часов утомительной ходьбы по задворкам Авчальской улицы мы под утро вернулись домой и заснули тревожным сном.

Около десяти часов я вышел на улицу и через некоторое время увидел шедший со стороны Нахаловки небольшой отряд пехоты. Когда отряд приблизился, я заметил, что впереди отряда находились двое арестованных, один был армянин, по виду мелкий буржуа, а другой шел с накиннутым на голову пальто и закутанным лицом. Вглядевшись в арестованных, я в одном узнал местного духанщика. У меня отлегло от сердца.

«Ну, и трофеи достались вам!» — подумал я. Но вдруг второй арестованный повернулся в мою сторону и открыл свое лицо, — все в сгустках запекшейся крови. Я вздрогнул, побледнел — это был Камо.

Я побежал в Нахаловку. Там мне сообщили подробности ночного налета. Войска окружили поселок и начали повальный обыск квартир. Меньшевистские пикетчики никакого сопротивления войскам не оказывали, а как только узнали о приближении войск, ограничились тем, что разбрелись по поселку, чтобы оповестить население о прибытии солдат, а также спрятать оружие в надежные места. Так же поступили и те пикетчики-меньшевики, которые находились в резерве в доме духанщика. Они наспех спрятали свое оружие в дровяном сарае, засыпали его разным мусором и заложили дровами, а сами разошлись по домам. Это небрежно спрятанное оружие, найденное при обыске, и послужило поводом для ареста духанщика.

В тяжелом положении находилась боевая большевистская группа. Получая приказа о сопротивлении скам, большевики должны были принимать решение по своему усмотрению. Когда войска приблизилась к заловке, они в полном порядке навалились в глубь поселка, затем по ущелью меж гор по направлению к Соленому озеру. Добравшись до задовского леса, они вдруг столкнулись с окружавшими их казаками-юнкерами Пластунского полка. На боевики попали в западню. Им ничего не оставалось делать, как вступить в бой с намного превосходящими силами противника.

Лева войска покинули Нахаловку, к Ючим прибежал сторож Худадовского леса и сообщил, что при обходе участка он в кустах обнаружил несколько трупов. Вблизи его сторожки лежал раненый человек. Увидев сторожа, он с трудом приподнялся и просил передать товарищам о том, что боевики не падали духом. в бою, не просипощады у врага, дрались мужественно, умирали без страха. Затем раый потерял сознание. В это время он проходил небольшой отряд казаков с офицером во главе.

- Что, уже готов? — спросил офицер сторожа.

- Да, он весь исколот штыками... — ответил сторож.

Один из казаков поднял было руку, чтобы всадить штык в грудь лежащему без чувств человеку. Офицер схватил рукой штык и брезгливо сказал:

- Не трогай, он уже получил должное. Видишь, мертв!

Группа товарищей, выслушав сторожесейчас же отправилась в лес. Там они нашли двенадцать застывших трупов. Это были боевики большевистского отряда, павшие смертью храбрых. Тяжело раненный лежал непод-

вижно, в нем еще теплилась жизнь. Он тотчас же был перенесен в наш лазарет, где сделали тщательную промывку и перевязку его многочисленных ран. Его могучий организм и сильный дух победили смерть.

Гробы с телами двенадцати героев были установлены в одном из небольших домиков поселка. Тысячи людей приходили сюда, чтобы громко выразить свое возмущение зверской расправой. Два дня продолжалось массовое паломничество.

На третий день власти встревожились. Они поставили часовых у входа в Нахаловку и тем самым прекратили доступ к убитым. Вскоре в поселок явилось несколько офицеров, потребовавших, чтобы мы немедленно похоронили погибших. Мы ответили, что хлопотем о разрешении похоронить товарищей на Кукийском кладбище — там был погребен и Петр Монтин, а также о свободном проходе похоронной процессии по некоторым улицам города. Офицеры удовлетворились этим ответом и сейчас же уехали.

Похороны на кладбище, связанные со свободным проходом процессии по городу, власти не разрешили. Тогда мы решили похоронить товарищей на одной из возвышенностей между двух ущелий, за Нахаловкой.

Сотни, тысячи людей участвовали в похоронах. И когда тела рабочих-героев были опущены в могилу, народ запел похоронный марш. Наконец братская могила засыпана землей, вокруг нее уложены десятки венков. Но люди не торопились расходиться. Они стояли строгие и торжественные. Кто-то робко затянул «Марсельезу», чей-то голос поддержал его, и вот уже понеслась, громко зазвучала боевая победная песня борьбы и труда.

...Тысяча девятьсот пятый год был на исходе. Начинался новый, тысяча девятьсот шестой год.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

В начале 1906 года, при возвращении с работы, был убит член «Союза русских рабочих железнодорожных мастерских Томашевский. Томашевского мы знали как доносчика и изменника. Осуждая индивидуальный террор как метод политической борьбы, мы, прослышав об этом, тем не менее пожалели о случившемся.

В обеденный перерыв не было конца разговорам о Томашевском. Одни радовались, другие осуждали убийство, третьи восторгались смелостью тех, кто выстрелом из револьвера уложил насмерть черносотенца. Едва гудок возвестил конец перерыва, как от рабочего к рабочему пополз шопот:

— Мастерские окружены полицией.

Вскоре в контору стали вызывать отдельных рабочих. Всего вызвали свыше ста человек. Офицеры, посоветовавшись, отобрали тридцать три человека, а остальных отпустили.

До вечера нас продержали во дворе мастерских, у конторы. Затем в окружении солдат железнодорожного батальона мы тронулись в губернскую тюрьму. Вели нас по Авчальской улице. Было темно. На небе, затянутом облаками, изредка показывалась одинокая звезда.

У Немецкого кладбища нас остановил отряд стрелков. Между начальником нашего конвоя и офицером отряда стрелков завязался оживленный разговор, перешедший вскоре в спор. Я находился в последнем ряду. Ничего не подозревая, я мирно беседовал с товарищами. Вдруг кто-то из стрелков окликнул меня. Я отошел. Среди конвоиров и арестованных произошло какое-то движение. Неожиданно товарищи оттеснили меня в середину и окружили, а один из товарищей крепко сжал мою руку.

— В чем дело, что за тревога? — тихо спросил я.

Мне торопливо ответили, что ничего особенного не случилось, все кончилось благополучно и что мы сейчас же тронемся в дальнейший путь. Тревога невольно передалась и мне. Через несколько минут мы пошли, стрелки остались позади нас.

Впоследствии мы узнали, что офицер отряда предложил начальнику конвоя свою помощь сопроводить нас до тюрьмы, так как, по его сведениям, местные революционные организации будто бы намереваются напасть на конвой и силой освободить арестованных.

Начальник конвоя отклонил предложение офицера. Тот настаивал на своем. Тогда начальник конвоя заявил офицеру, что ему доверены арестованные и он за них отвечает.

Когда мы прибыли в тюрьму, ко мне подошел начальник конвоя и сказал:

— Ну, счастье твое, что мне поручили сопроводить вас в тюрьму. Будь на моем месте кто-нибудь другой, стрелки потешились бы над тобой!..

Наступило утро. После переклички нам объявили, что мы все предаем

военно-полевому суду. За что — этот вопрос всплыл у каждого. В самом деле, среди арестованных почти не было активных участников революционного движения. Большинство арестованных в тюрьме оказались впервые, вины никто за собой не чувствовал. И оттого сама мысль о военно-полевом суде казалась дикой и невероятной. Однако весть эта сразу оказала свое действие, и настроение заключенных резко ухудшилось.

Черносотенные организации усиленно распространяли слухи о предстоящем суде. Они говорили, что нас будут судить за измену отечеству, выразившуюся в том, что мы якобы входили в какой-то комитет, организовавший покушения на должностных лиц. Распространяя эти слухи, они рассчитывали запугать нас и наших родственников, чтобы вызвать наиболее слабых на предательство и выявить таким путем действительных виновников убийства Томашевского.

В один из ближайших дней словоохотливый надзиратель сообщил нам, что на рассвете на тюремном огороде произойдет казнь первых жертв военно-полевого суда.

Ночью мы не смыкали глаз. Ранк утром нас выпустили на двор. Надзиратель куда-то ушел, и мы остались одни. Посреди двора одиноко стоял дерево. Наш товарищ, столяр Котин, забрался на дерево, и ему представлялась жуткая картина. За огородом, у отвесной скалы, к столбам были привязаны осужденные; напротив, в нескольких саженях от них, стоял отряд стрелков. В стороне, вдалеке от осужденных, находилась группа людей в штатском. От группы отделился человек, в воздухе мелькнул белый платок, раздался залп... Котин свалился с дерева. Он быстро поднялся с земли, окинул нас бессмысленным взглядом и убежал в камеру... Обнажив голову, мы несколько минут безмолствовали.

...Между тем семьи арестованных продолжали волноваться. Кто-то на доумил их выделить из своей среды делегацию и направить ее к военному начальнику Закавказской железной дороги полковнику Нейгебауэру, по распоряжению которого мы были арестованы. Полковник выслушал делегацию и цинично заявил:

— Напрасно беспокоитесь. Арестованные чувствуют себя превосходно

Итак их не освободят до тех пор, пока мы не выявим убийц честного южного Томашевского. — Полковник молчал. Потом продолжал, понизив голос: — Вот, если вы искренно уверены в том, что ваши мужья и родственники не принимали участия в организации убийства, и помогут мне найти виновных, то остальных, не связанных к этому делу, я сейчас же отпущу. Иначе им не миновать ссылки в Сибирь.

Несмотря на то, что жены и члены семей арестованных были люди раз-

личных взглядов, а перспектива иметь на свободе мужей и отцов была весьма заманчива, все до глубины души возмутились подлым предложением полковника Нейгебауэра. Женщины, ругаясь, покинули здание управления Закавказской железной дороги.

Около трех недель нас никто не навещал. Наконец гора родила мышь. Нам сообщили, что мы подложим высылке за пределы Кавказа на все время военного положения, объявленного там в связи с выборами во вторую думу.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

В октябре всех нас перевели в Мелитский замок, а через несколько дней я и еще пятнадцать товарищей отбыли по этапу в Архангельскую губернию. Вместе с нами шли тринадцать крестьян-аграрников Кахетии во главе с сельским учителем.

В Баку мы не останавливались — казачьи тюрьмы были переполнены. Первой остановкой была тюрьма в городе Петровске, ныне Махач-Кала.

Перебуганное и обезумевшее правительством, оправившись от временной потерянности и страха, жестоко мстившим попадавшим в его лапы революционерам. Излюбленным и модным средством расправы, прикрытым невмешательством администрации, стало навешивание уголовных арестантов на лигитических. Страсти разжигались и управлялись искусной рукой, уголовные уже успели привыкнуть к своей безнаказанности.

В Петровской тюрьме уголовный мир встретил нас крайне недружелюбно; просты долгосрочных камер, так называемые «Иваны», всецело командовавшие остальной массой заключенных, сразу же потребовали с нас контрибуции — по несколько рублей с человека. Обычно террор «Иванов» в других тюрьмах заставлял многих, а особенности одиночек, выполнять их требования почти беспрекословно. Но мы решили сопротивляться и, указывая на предстоящий нам долгий путь, предложили им по пятьдесят копеек с человека. «Иваны» перешли к прямым угрозам, обещая напустить на нас всю массу заключенных, которые «потрясут дочиста ваши пожитки».

Опасаясь неожиданного нападения, обратились к тюремному начальству с просьбой, чтобы на время прогу-

лок уголовных наша камера, сообщавшаяся с тюремным двором и доступная для нападения, закрывалась. Начальник тюрьмы, лицемерно согласившись с нами, тем не менее, как показали последующие события, не отказался «поучить» нас.

Дня за два до отъезда из Петровска начальник тюрьмы уехал в город, дав, повидимому, соответствующие указания своим подчиненным. Во время прогулки уголовных надзиратель оставил нашу камеру открытой. Уголовные ворвались к нам и избili одного товарища.

Следующая этапная остановка была в Ростове. Здесь тюремная администрация попробовала нас разъединить. Пока мы находились в тюремном коридоре, «Иваны» бесцеремонно подошли к нам, пытаясь разобрать нас по камерам. Однако наученные горьким опытом, мы не поддавались на эту провокацию, требуя поместить нас всех вместе. Надзиратели сперва отговаривались отсутствием свободных камер, но затем все-таки предложили нам одну маленькую и тесную, где мы расположились вповалку, прямо на полу.

В Ростове мы пробыли два дня. На нашем пути были еще две тюрьмы, о которых мы слышали много страшного, — Козлов и Ряжск, но нам посчастливилось их миновать. Следующей нашей остановкой оказалась Бутырская тюрьма в Москве.

Эта тюрьма в центре России являлась узловым пунктом; сюда со всех концов страны стекались арестованные, подлежащие отправке на север и восток. Здесь находились русские, поляки, евреи, белоруссы, армяне, грузины, татары, литовцы, латыши, эстонцы, украинцы. Наряду с рабочими и

крестьянами-аграрниками в Бутырской тюрьме сидело много интеллигентов, торговцев, священников, ксендзов. В партийном отношении здесь также были представлены самые разнообразные группы: социал-демократы, эсеры, бундовцы, польские националисты, дашнаки, анархисты. Количество пересылаемых доходило до трех-четыре тысяч человек.

Режим в Бутырках был лучше, чем в других тюрьмах. Двери камер были открыты, и в течение всего дня мы свободно общались друг с другом. Вещи нам разрешали держать в камерах.

Через сочувствовавших нам надзирателей мы установили связь с волей. С помощью Софьи Липинской и Анны Лобачевой я систематически получал посылки и деньги от Красного Креста для распределения среди нуждавшихся. Посылки нам приносили регулярно, два раза в неделю, в большом количестве. Вместе с посылками несколько раз удалось получить литературу.

Раньше чем распределить теплые вещи, переданные нам с воли, надо было проверить людей. В тюрьме было немало случайных и просто мешающих людей, которые, имея все в достаточном количестве, не стеснялись получить что-либо дополнительно.

Вспоминаю один из характерных примеров мешанской мелочности со стороны меньшевиков - однопроцессников, шедших со мной в одной этапной группе. Мой товарищ Филипп Цхомелидзе прислал для нас больше пуда сахара и пятьдесят рублей. Видя бедственное положение кахетинских крестьян-аграрников, я предложил сахар и деньги передать им, тем более, что в нашей группе многие были относительно хорошо обеспечены деньгами. Но именно эта «зажиточная» часть, оперируя очень сомнительными доводами, воспротивилась моему предложению и сумела склонить и остальных. Мне удалось отстоять для крестьян лишь деньги, а сахар решили поделить между собой с лицемерной оговоркой, что каждый индивидуально будет снабжать крестьян из своего пайка.

В Бутырках сидел еще до нашего приезда крестьянин из горной Сванетии, громадный детина, богатырского сложения. Он был арестован случайно и вряд ли в тюрьме его сумели допросить толком, так как сванский диалект не совсем понятен грузинам других

районов, и наши товарищи объяснялись с ним с трудом.

Парень был захвачен летом, в чуваках на босу ногу, полураздетый, а сейчас он совсем обносился и был почти гол. Его несколько раз назначали к высылке, но в тюрьме не находилось арестантской одежды по его плечу. Одинокий, безъязыкий, никого не понимавший, он сидел в своем углу и сурово глядел на окружающих. Я решил помочь одеждой этому крестьянину, не понимавшему, за что он сидит, куда его высылают и кто его окружает. В одном из писем к Липинской и Лобачевой я попросил достать для него костюм и гвардейские солдатские сапоги. Они сумели где-то раздобыть сапоги, громадную серую офицерскую папаху и приличную, на красной подкладке, генеральскую шинель, белье, брюки.

Когда мы предложили все эти вещи крестьянину, он вначале отнесся недоверчиво к нам, подозревая издевку, но затем, одевшись во весь этот пестрый наряд и осмотревшись, повеселел и стал выходить в коридор, привлекая всеобщее внимание своей богатырской фигурой и генеральским костюмом.

Среди заключенных кипели споры, меньшевики бешено и яростно ругали большевиков, обвиняя нас в семи смертных грехах, в диктаторстве, и всячески старались использовать то тяжелое настроение рядовой революционной массы, которое создалось в результате репрессий. В тюрьме шла борьба за политическое влияние на массу.

Новый год мы встречали своеобразно. В одной из больших камер мы устроили собрание, здесь было много земляков-бакинцев, сидевших со мной в Карсе. Разговоры невольно вращались вокруг годовщины прошлогоднего декабрьского восстания и его разгрома. Меньшевики, естественно, запели свою песню: «не надо было начинать восстание, не надо было братья за оружие», изображая нас, большевиков, виновниками поражения. Мы в свою очередь называли их соглашателями и предателями рабочего класса. Страсти разгорались, атмосфера накалилась, дискуссия приняла бурный характер — дело дошло до ругани, чуть ли не до драки.

В конце января был составлен большой этап в сорок-пятьдесят человек на

Архангельск, через Ярославль — Вологду. В ярославской тюрьме мы не останавливались и прямо с поезда по льду пешком перешли Волгу. После нескольких месяцев тюрьмы это была моя первая прогулка на лоно природы. В станция Урочь нас посадили в вагоны. Отсюда до Архангельска шла жоколейка, вагоны были маленькие, старые.

В Вологде опять остановились на несколько. Вологодская пересыльная тюрьма имела хорошие камеры. Большое количество политических исключало

даже самую преднамеренную возможность использования против нас уголовщины.

В Архангельске нас разгруппировали по пунктам ссылки. Мне досталась Пинега.

Путь в двести километров, сопровождаемые солдатами, мы, группа в восемь человек, проделали в четыре дня. В Пинеге, небольшой занесенной снегом деревне, мы втроем сняли комнату в большом, по тамошним масштабам, двухэтажном деревянном домишке и зажили жизнью ссыльных.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Между тем опухоль на груди начала меня серьезно беспокоить. Пора было обратиться к врачу. Врач, осмотрев меня, сказал:

— Вам надо оперировать опухоль. Операция требует соответствующих инструментов, обстановки, гигиены.

Затем он сел за стол и написал бумажку исправнику с предложением немедленно направить меня в Архангельск «для производства операции». Получив такое заключение, исправник сразу же разрешил мне выехать. Через несколько дней я на санях отправился в губернский город.

В это же время в Пинеге отсиживался молодой, лет девятнадцати, ссыльный, бежавший из Кеми. Совершив четырехсоткилометровый путь, он попал в Пинегу в ожидании, пока ускользнет власти. Мою поездку ссыльные решили использовать для того, чтобы помочь беглецу добраться до Архангельска. Для маскировки он надел на себя женский костюм. Невысокий и худощавый, в валенках, в юбке, в большом платке, с выбившейся из-под него прядью волос, он действительно выглядел похожим на девушку.

Мы сидели в санях, тесно прижавшись друг к другу. Лошадь легко несла нас по хорошо укатанной дороге. Смотрел под солнцем снег, расстилавшийся далеко вокруг.

В одном из ближайших поселков нас внезапно неожиданно окружили стражники.

— Куда путь держишь? — спросил стражник в дубленом полушубке.

Я извлек из кармана разрешение, написанное исправником, и протянул его. Стражник повертел бумажку в руках и вернул мне.

— Ну, а ты, молодка, куда? — сказал, обращаясь к моему соседу, стражник. Я хотел было сказать, что это дочь моего хозяина, но один из стражников вдруг закричал:

— Мужик, ей-богу, мужик!

Парня стащили с саней.

— Беглый? — спросил стражник в дубленом полушубке. — Ты нам и нужен.

Смесь, стражники куда-то повели парня. Один из них сказал мне:

— Четыре дня ждали — нет. Хотели уж сняться. Опоздай вы на час-другой, ваша спутница, хе-хе, удрала бы...

...Опять в Архангельске. Здесь как-то вдруг у меня созрело решение немедленно бежать. С помощью товарища, отбывавшего в Архангельске ссылку, я достал паспорт на чужое имя. Не заходя в больницу, я через два дня сел в поезд, идущий на Москву.

В Москве у меня был адрес Анны Лобачевой, жившей на Самотеке. К ней-то я и направился прямо с вокзала. Чтобы не привлекать излишнего внимания к себе, вещи я оставил на хранение.

Тут же в Москве, посоветовавшись с Лобачевой, я решил сделать то, за чем я выехал из Пинеги в Архангельск, — оперироваться. Расчет был таков: после операции я с неделей отдохну в больничной обстановке от передраг только что пережитого утомительного этапа. Лобачевой удалось устроить меня к хирургу в Екатерининскую больницу.

Операцию производили студенты под руководством профессора. Благодаря местной анестезии я почти не чувство-

вал боли и лишь в конце, когда стали прижигать рану, пришлось потерпеть, стиснув зубы. Перевязывал меня студент. Из операционной меня проводили в приемную, и здесь, ожидая отправки в палату, я расположился на стуле, чтобы притти в себя. Однако время шло, а за мной никто не являлся. Вышли студенты и профессор, справились о моем самочувствии, попрощались и ушли. Наконец дежурный санитар спросил:

— Что, отдохнули? Чего ожидаете?

— Жду, когда меня положат в палату.

Санитар рассмеялся:

— Ну, вот еще, с такими пустяками на койку не кладем.

Надо идти «домой», то есть к Анне Лобачевой. Я вышел и, расхрабрясь, даже пытался пойти пешком, но сильная слабость заставила меня нанять извозчика: перевязка, сделанная неопытной рукой студента-практиканта, давила и стесняла мое дыхание. Пока я добирался домой, открылось кровотечение. Пришлось в этот же вечер вторично ехать на перевязку в больницу.

То, что было сделано плохо в самом начале, не всегда удастся исправить после, — рана стала гноиться, и я волей-неволей должен был задержаться в Москве дольше, чем сам этого хотел.

Ночевать постоянно у Лобачевой было неконспиративно, и я, являясь по мере необходимости на перевязку в больницу, менял свои ночевки. Ежедневно мне приходилось покрывать пешком большие расстояния, так как трамвай и конки далеко не везде ходили, это меня изматывало, слабость не покидала, а рана продолжала гноиться.

Однажды, проходя по Трубной площади, я встретился с тифлисским товарищем Георгием Стуруа. Георгий

работал в это время в московской подпольной типографии в страшно трудных условиях и не имел знакомых в Москве. Встрече со мной он обрадовался. Желая облегчить товарищу те немногие часы и дни, когда он мог покидать свой партийный пост, отдыхая после работы в подпольной типографии, я его познакомил с Анной Лобачевой. Впоследствии Георгий женился на ней.

Рана моя упорно не заживала, но все же к концу марта на перевязки я стал ходить реже, почувствовал, что силы восстанавливаются, и, не ожидая окончательного зарубцевания, решил все-таки ехать на Кавказ. По пути свернул в Борисоглебск и в Урюпиню к братьям и сестре, которых не видал много лет, а в середине апреля взял билет до Тифлиса.

...И вот я снова в Тифлисе. Вещи оставил на вокзале и зашел к теще, чтобы узнать, где семья. Оказалось, семья жила на старой квартире рядом.

В Тифлис я попал не вовремя. Город был на военном положении, по улицам патрулировали войска, в рабочих районах производились обыски, аресты и облавы, и первую же ночь я провел в тревоге. Не успел я толком наговориться с женой и детьми, как прибежала жившая в этом же доме сестра жены и сообщила, что дом окружен войсками и кого-то ищут. По деревянным лестницам затопали тяжелые сапоги. Жандармы обыскали несколько соседних квартир, чуть-чуть не заглянули к нам, но в общем пришлось отделаться только несколькими часами томительного ожидания. Все обошлось на сей раз благополучно.

Хотя я и не собирался надолго задерживаться в Тифлисе, но эта ночная тревога воочию обнаружила передо мной всю несообразность пребывания здесь и побудила меня через два дня уехать в Баку.

## ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Вскоре после приезда в Баку меня предупредили, чтобы пятого мая я пришел на собрание актива большевистской организации. Собрание было назначено в доме № 122 по Гимназической улице, в квартире сочувствовавшего нам врача Юдея Левита. Собрались нас девятнадцать человек. Здесь

были Николай Соловьев, Борис Леран, Ольга Иенчмен, Владислав Каспаров, Муса Касумов, Николай Кардашев, Николай Цулукидзе и другие. Мы мирно беседовали, ожидая открытия собрания. Неожиданно в комнату вошел взволнованный Левит.

— Полиция! — проговорил он.

У многих из нас имелись компрометирующие материалы. Когда полицейские ворвались к нам, все бумаги были разорваны в клочки и брошены на пол.

Тщательный обыск, произведенный полицейскими, ничего не дал. Один из полицейских, толстый и неуклюжий пива, тяжело отдуваясь, ползал по полу и собирал клочки бумаги.

— Ничего не поймешь, — поднимаясь с пола, докладывал он своему начальнику. — Очень мелко порвано. Несмотря на безрезультатность поиска, нас все же арестовали. Пять суток через несколько дней были освобождены, а остальные четырнадцать заключены под стражу.

В тюрьме я пробыл около двух месяцев. В начале июля меня освободили вследствие болезни на поруки. Попросился за меня Александр Васильевич Тер, ставший к тому времени директором бакинских электростанций.

Выйдя из тюрьмы, я узнал, что в город приехал Иосиф Джугашвили — Сталин. Его появление в городе сразу чувствовалось. На всех промыслах и заводах значительно обострилась борьба с меньшевиками и эсерами.

Обстановка в Баку сложилась напряженная. Наша большевистская организация еще не успела оправиться от удара, учиненного властями. Провал в квартире Левит еще более подорвал авторитет организации. Этим, конечно, воспользовались меньшевики и эсеры, усилившие наскоки на большевиков. Они распространяли самые гнусные и вздорные слухи о большевиках, рассчитывая таким путем вызвать среди рабочих недоверие к нам.

На небольшую группу товарищей, оставшихся на воле, выпала весьма тяжелая и ответственная задача. Профессор Джапаридзе, Степан Шаумян, Ахмед Гванцеладзе, Серго Орджоникидзе, Сурен Спандарян, Павле Саргсян, Миша Кучуев, Яков Кочетков, Миша Мельников, Ваня Ульянов, Евстафий Руденко вели агитацию и пропаганду среди рабочих Баку. Когда, приехавший сюда с пятого всероссийского съезда партии, сплотил большевистские силы и повел решительное наступление на противников. Постепенно, шаг за шагом, большевистские отряды вытесняли у меньшевиков их позиции.

Я находился под гласным надзором

полиции. Не имея работы, располагая поэтому свободным временем, я иногда приходил в тюрьму на свидание к товарищам. Пропуск я обычно получал в канцелярии градоначальника. Придя однажды в канцелярию, я случайно встретился там с градоначальником Шубинским.

— Что вам здесь нужно? — спросил он.

Чиновник, ведавший пропусками, поспешно ответил, что я иду в тюрьму на свидание.

— Как? — всплеснул руками Шубинский. — Вы ходите на свидание к революционерам?..

Он набросился на меня, возмущался моим поведением. Он говорил, что его заверили, будто я ничего общего не имею с революционерами, что я случайно оказался на собрании и поэтому он меня освободил.

— Кроме того, — продолжал Шубинский, — у меня появились сведения, что вы бьете на промыслах и ведете там пропаганду. Не так ли это? Учтите, что если ко мне еще раз поступят сведения о вашей вредной деятельности, вы будете немедленно арестованы.

Я ответил Шубинскому, что не вижу ничего преступного в свиданиях с арестованными, с которыми раньше сидел в одной камере.

— Что же касается моих посещений промыслов, то здесь какое-то недоразумение. Я хожу без работы и ищу ее всюду. Если же поиски работы могут быть так истолкованы, то я предпочту выехать из Баку и прошу дать мне эту возможность.

Шубинский отрицательно покачал головой.

— До окончания следствия, — сказал он, — вы никуда не выедете!

После такой «приятной» встречи я понял, что нужно покинуть Баку. Куда ехать? Опять в Тифлис? Нет, товарищи не советуют. Куда же? В Москву?

И пока я перебирал в памяти города, мне передали полученный из Питера от Леонида Борисовича Красина ответ на мое письмо. Он писал, что если я имею возможность выехать в Питер, то он мне найдет работу.

Я ухватился за это предложение. Питер! Центр революционной работы, город, где начинал строить нашу партию Владимир Ильич! Я поеду, немедленно поеду туда! — твердо решил я.

Но уезжать под своей фамилией я не мог. Я находился под надзором полиции, и меня сразу нашли бы. Как быть? Где найти паспорт? Согласился меня выручить Евстафий Руденко. Он дал мне свою бессрочную паспортную книжку, которую я обязался возвратить ему после того, как пропишусь в Питере и устроюсь там на работу.

В конце июля по совету товарищей я направился к Кобе. Коба с женой жил в небольшом одноэтажном домике. Я застал его за книгой. Он оторвался от книги, встал со стула и приветливо сказал:

— Пожалуйста заходи.

Я сказал Кобе о своем решении выехать в Питер и об обстоятельствах.

вынуждающих меня предпринять этот шаг.

— Да, надо ехать, — произнес Коба. — Житья тебе Шубинский не даст.

Внезапно Коба вышел в другую комнату. Через минуту он вернулся и протянул мне деньги. Видя мою растерянность, он улыбнулся.

— Бери, бери, — произнес он, — попадешь в новый город, знакомых почти нет. Пригодятся... — Потом, пожимая мне руку, Коба добавил:

— Счастливого пути, Сергей, счастливого!

Через несколько дней, в первых числах августа, я уже сидел в душной вагоне. Пробил третий звонок. Медленно и плавно тронулся поезд.

Что-то ждет меня в Питере?

## Г. В. Плеханов

(Встречи и переписка)

Мои первые встречи с Георгием Ватниновичем Плехановым относятся к 1907 году. Это было в Женеве, где поселился после побега из ссылки и вступил в университет. Несмотря на которую предубежденность против Плеханова, я все же им интересовался, хотел его увидеть и услышать. Мне в этом повезло. Вскоре после его приезда в местных газетах появилось извещение о дне и месте публичного выступления Георгия Ватниновича против «отзовистов».

Я отправился в указанное время в парижский город, где в «Казино де Сен-Жермен» обычно устраивались особо пафосные эмигрантские собрания.

Многого не сохранила мне память об этом вечере, но я хорошо помню тот момент, когда после нескольких выступлений на эстраде казино появилась яркая фигура в элегантном черном костюме. Меня тогда шокировал этот театральный костюм, белоснежная манжета, манжеты с запонками и вся вычурность прекрасно одетого человека. Эмигрантская непоправимая нужда голодовки настраивала психику на злобный лад и делала ненавистным все, что напоминало о благополучии.

Таким образом костюм Плеханова, его изящные манеры и жесты были поставлены ему в минус. Предубежденность против него усилилась, и только его темный пронизательный взгляд невольно приковывал к нему внимание.

Пока Г. В. Плеханов как опытный актер выдерживал паузу, скрестив руки на груди и ощупывая колючими пальцами зрительный зал, в публике

устанавливалась все более и более напряженная тишина.

«Гипнотизер», — несколько иронически подумал я, но в этот момент Плеханов заговорил.

Я слушал тогда Георгия Валентиновича в первый раз. Мне врезались в память приемы и, если можно так сказать, повадка Плеханова. Тогда это был лев, рассерженный, раздраженный, но ясно чувствующий свою силу. Его жесты, интонация, смягченные юмором, казались мягкими, добродушными шутками, но на мгновение бархатистая лапа разжималась, и в оппонента безжалостно вонзались острые когти.

Помню, после нескольких таких ударов по противникам, нанесенных будто играючи, Плеханов вытянулся во весь рост и, сверкая глазами, с необычайной силой и вызовом бросил следующую фразу:

— Вы хотите повесить Плеханова, как бешеную собаку. Но для этого нужно доказать, что собака бешеная.

Наступила пауза. Слушатели замерли. Казалось, что на них обрушится сейчас лавина. И лавина обрушилась.

Я следил, как из потока речи выскользывали острые мысли и жалили противника; как ядовитые укусы сменялись комическим гротеском; как юмористические сценки, персонажи возникали с чисто гоголевским мастерством и заставляли смеяться весь зал.

Ночью, возвращаясь домой по извилистым улицам Старого города, я думал о Плеханове. Я испытывал то особое удовлетворение и подъем, какие

дает общение с человеком исключительной одаренности.

Позднее мне приходилось слышать Плеханова, выступавшего на французском и немецком языках все с тем же блеском, что и на русском. Он в совершенстве владел чужой речью, причем его интонации, мимика, жесты соответственно менялись.

Помню его выступление на митинге, посвященном памяти Лассалья, созванном в залах Гандверка на площади Плен-Пале. Георгий Валентинович говорил по-французски. Рядом со мной сидел приехавший из Парижа французский делегат. До появления на эстраде Плеханова он довольно равнодушно слушал швейцарских и русских ораторов, говоривших по-французски, по-русски и по-немецки. Так же равнодушно он стал слушать и Георгия Валентиновича, но после двух-трех вступительных фраз он заволновался и жадно следил за каждым словом и жестом оратора.

Восторг его все возрастал, он не мог уже один переживать впечатления и с чисто французской экспансивностью обращался ко мне с одобрительными замечаниями. Когда же Георгий Валентинович кончил свою речь, он порывисто схватил меня за руку и восторженно воскликнул:

— Это Жорес, настоящий Жорес!

Сравнение с Жоресом, первоклассным оратором Франции, кумиром французских рабочих, являлось в устах француза высшей похвалой.

Понятно, что меня влекло к Георгию Валентиновичу, хотелось с ним познакомиться поближе, но смущала мысль, будет ли Плеханову интересно знакомство со мной.

Все же знакомство произошло. Нас познакомил случай.

В 1908 году в Женеву приехал известный артист П. Н. Орленев и поставил две пьесы: «Призраки» Ибсена и «Преступление и наказание» по Достоевскому. В этих спектаклях принимал участие и я, сыграв две роли вместе с Орленевым — пастора в «Призраках» и студента Разумихина в «Преступлении и наказании». Игру мою хвалили. Понравилось мое исполнение и Плеханову. Воспользовавшись случаем, он передал мне поздравление с успехом и привет.

Вскоре же после этого я по приглашению Розалии Марковны, жены Плеханова, посетил его. Наше свидание длилось более часа, и я ушел от Георгия Валентиновича очарованным. Наша беседа касалась литературы, театра, живописи. К сожалению, я не записал в свое время многих поразивших меня метких и ярких замечаний и характеристик, сделанных Плехановым. Но помню главное, что я вынес из этой беседы.

Литературные произведения развернулись для меня как богатейший материал для марксистского анализа идеологии автора, его среды и эпохи. Конечно, я знал это и до разговора с Георгием Валентиновичем, но никогда не осознавал так четко, как в беседе с ним. Эта первая встреча и последующие беседы с Плехановым давали блестящие примеры социального раскрытия художественных произведений, когда изумительная память позволяла Плеханову цитировать наизусть в прозе и стихах целые страницы из русских и иностранных авторов.

Беседы такого рода происходили у нас довольно часто обычно в университетском саду, «Парк де бастион», где Плеханов любил гулять и бывал почти ежедневно.

В одну из таких прогулок мы говорили об итальянской живописи, и Георгий Валентинович, увлекшись темой, так убедительно показал мне эпоху итальянского Возрождения, строй и уклад тогдашней жизни, воскресил в ярких характеристиках великих мастеров и вскрыл тайны их мастерства, что я навсегда сохранил это в памяти как наиболее ценное приобретение, послужившее мне ключом к пониманию истории искусства.

Я не могу восстановить содержания других наших бесед, но когда я вспоминаю о встречах с Георгием Валентиновичем, мною овладевает то же радостное ощущение красоты и яркости мысли и чувства, какое испытываешь при чтении бесед Анатолия Франса. Но беседы Георгия Валентиновича были глубже, разнообразнее, всегда освещенные острой мыслью философа-марксиста.

Приблизительно в это же время в Женеве вышел в свет известный политический памфлет в стихах — «Новая зимняя сказка» в моем переводе.

же того, я совместно с А. А. Диковским переводил стихи Верхарло и другое было известно Плехану. Он заинтересовался моими работами. Я дал ему прочитать несколько рассказов и получил одобренные отзывы.

1910 году я уехал из Женевы на работу в Болгарию, но связи с Георгием Валентиновичем у меня не прервались. К тому времени я уже начал в сборнике «Знания» у А. М. Желякова рассказ «В Тайболе» и написанный рассказ «Железная дорога». Этот рассказ я думал поместить в «Современном мире» и обратился к Георгию Валентиновичу за советом и помощью.

ответ я получил следующее письмо

Женева се... окт. 1910.

Уважаемый товарищ, я с удовольствием прочел Ваш рассказ «Железная дорога», правда, найдя при этом, что его достоинству (художественному, конечно) вредит его экзотичность. Если бы я был редактором беллетристического отдела в «Совр. Мире», то я охотно печатал бы его. Но к этому отелу я имею еще меньше отношения, нежели к другим: иначе мне пришлось бы признать себя ответственным за «Санина» Арцыбашева.

Меня в России считают убежденным марксистом. Но марксизм теперь не в моде. Спрос на него не велик. Поэтому, когда я рекомендую что-то бы то ни было, редакторы (или издатели) говорят себе: «стало быть, это печатать не следует», и не печатают. Это значит, что мое «вливание» теперь имеет чисто отрицательное значение. Я в этом убедился и ничего не рекомендую ни в «Совр. Миру» и никому другому.

Прошу Вас верить, что это не пустая отговорка, а рассказ советую печатать прямо в «С. М.», 41, Набережнинская, СПб.

Жму руку, готовый к услугам Плеханов».

Я принял совет Георгия Валентиновича и отослал рассказ редактору журнала Н. И. Иорданскому, который опубликовал его в «Современном мире» в том же году.

Через год спустя, после переписки, к моему сожалению не сохранившейся у ме-

ня, я получил от Георгия Валентиновича из Сан-Ремо следующее письмо, касающееся опять-таки литературных дел:

«Le Repos San Remo, се 5, 1913.

Дорогой товарищ Язвицкий, простите, что я до сих пор не ответил на ваше письмо. Это было невозможно в том смысле, что только два дня тому назад я получил письмо от Водовозова, редактирующего «Современник». Он молчал, оставляя без ответа мои письма, — целых два месяца. Его молчание объяснилось теперь некоторыми личными его обстоятельствами; но, не получая ответа от него, я не решался послать ему Ваш рассказ.

Рассказ этот «Фимка» мне понравился: он производит очень симпатичное впечатление, хорошо написан и затрагивает, действительно, очень важный вопрос. В той области, куда Вы вошли со своим рассказом, — области классовой психологии, — предстоит, я надеюсь, много сделать именно беллетристам-социалистам.

Я посылаю «Фимку» сегодня же Водовозову, прося его ответить непосредственно Вам.

Жму руку, желая Вам новых успехов.

Преданный Вам Г. Плеханов».

На этом закончилась моя переписка с Георгием Валентиновичем ввиду наступивших событий — войны 1914 года. Названный же рассказ по цензурным условиям в печати не появился.

Прошло три года, и я неожиданно встретился с Георгием Валентиновичем в Москве. Это было в бурные и радостные дни 1917 года.

Я шел по Страстной площади, направляясь к памятнику Пушкину. Вдруг у самого памятника я заметил знакомую фигуру. Это был Георгий Валентинович. Даже издали было видно, что он сильно взволнован, казалось, не видит окружающей обстановки, всецело поглощенный созерцанием памятника Пушкину.

Оглянувшись я увидел на скамейке Розалию Марковну, которая жестом давала мне понять, чтобы я подошел к ней и не мешал Георгию Валентиновичу. Меня глубоко взволновала эта неожиданная встреча, я молчал,

крепко пожимая руки Розалии Марковны.

— Он еще не видел памятника Пушкину, — сказала она, поясняя поведение Георгия Валентиновича.

Мы вспомнили эмиграцию, Женеву, говорили о здоровье Георгия Валентиновича, который, несмотря на запрещения врачей и плохое самочувствие, немедленно двинулся в свободную Россию.

Чахотка в это время уже заканчивала свое разрушительное дело, и я, издали наблюдая за Плехановым, видел, как он постарел и болезненно изменился.

Он между тем продолжал медленно обходить памятник со всех сторон, держа на руке свое пальто. В эти немногие минуты он, видимо, переживал сильные впечатления.

— Георгий Валентинович так любит Пушкина! — сказала Розалия Марковна, заметив мой наблюдающий взгляд.

В это время Плеханов подошел к нам. Лицо его было грустно, но светило необычайной для меня мягкостью. Я встал ему навстречу.

— Я в первый раз вижу Пушкина, — были его первые слова, про-

звучавшие так хорошо и нежно, что в груди у меня дрогнуло от радости и в то же время защемило болью.

Мне послышался в этих словах и привет России, и прощание с ней. «Он приехал, — подумал я, — умирать на дорогой ему освобожденной земле».

Я вглядывался в его болезненно-бледное лицо и потускневшие глаза. Но прошло несколько минут, и лицо его оживилось, а в глазах вспыхнули боевые огоньки, и полилась из уст та же чудесная, плехановская речь. Георгий Валентинович загорелся, и я снова услышал блестящие сарказмы, остроумные пародии и цитаты.

Я проводил Георгия Валентиновича до дома, где он остановился. У него должно было быть какое-то заседание, и я не зашел к нему. Мы простались на улице, а вечером в этот же день он уехал в Петроград.

Это было мое последнее свидание с ним, и что-то было символическое в этом — я увидел первого русского выдающегося пропагандиста марксизма, увидел в свободной России, разстроганный, взволнованный, он стоял у подножья памятника основоположнику русской литературы.

**В. Ф. ФЕДОРОВ**

военный летчик, подполковник

# Герой первого воздушного боя

Брату моему, военному летчику  
Евгению Федорову, погибшему 11 августа  
1917 года, посвящаю.

Автор

Смелость, говорят, города берет.  
Но это только тогда, когда сме-  
лость, отвага, готовность к риску  
сочетаются с отличными знаниями.

Сталин

Безумству храбрых поем мы песнь.  
Горький

## I

### ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

Петр Николаевич Нестеров родился  
февраля 1887 года в Нижнем-Ново-  
де, в семье воспитателя Нижего-  
ского кадетского корпуса.

августе 1897 года П. Н. Несте-  
поступил в тот же корпус и окон-  
чил его в 1904 году.

Наивысшие Нестерова в юные годы  
казывали, что он поражал своим  
ливным умом, своими разносторон-  
ними интересами; особенно интересо-  
вал кадета Петю вопросы математи-  
ки, физики, черчения, техники, естест-  
венных наук.

Часто можно было его застать скло-  
нившимся над альбомами с гравюрами  
и рисунками на военные темы. Долго  
изучивал он старинные картины  
времен Суворова и Кутузова.

Сторопливо скакали на этих гра-  
вах полководцы. Багрово-красные  
лишки мортир освещали их лица,  
а в развевались в черных тучах бое-  
вые знамена.

Петя пытался рисовать по памяти  
картинки. Рисунки были хороши,  
но время отец и мать думали от-  
талантливого сына в художест-  
венное училище.

В летние месяцы каникул Петя про-  
водил за постройкой различных ма-

шин. С редкой в ребенке тщатель-  
ностью он мастерил отдельные части,  
потом собирал и скреплял их.

Мать, Маргарита Викторовна Несте-  
рова, рассказывала, что, живя на да-  
че, Петя ежедневно приходил за два-  
три километра к своему преподавателю  
математики и обычный часовой урок  
разрастался в многочасовые беседы.

«О чем, бывало, только не натолку-  
ешься, каких высоких материй не кос-  
нешься», — рассказывал впоследствии  
Василий Васильевич Андрианов, пре-  
подаватель математики.

«Большой человек из тебя вый-  
дет», — говорил он, бывало, своему  
ученику.

И еще была любовь у Пети к пти-  
цам. Окна его квартиры были застав-  
лены клетками с птицами. Но особой  
его любовью пользовались голуби.

Он был не только страстный люби-  
тель-голубевод, какими бывают маль-  
чики его возраста, но он уже в юные  
годы был в достаточной мере грамо-  
тен в вопросах научного голубеводства.

С удивлением слушали двенадцати-  
летнего Петю, когда он рассказывал о  
свойствах почтовых голубей или гово-  
рил о содержании их, об уходе за ними.

Он высказал правильную мысль, в  
которой проявился его дар наблюда-  
тельности. Если создать, говорил Пе-  
тя, такие условия, чтобы голубь, кро-

ме как на станции, не мог получить корма и питья, то его можно заставить выполнять самую сложную работу.

Вот эту теорию Петя осуществил на практике. Он приучал голубей получать корм только после полета.

Интересно было наблюдать, как шли голуби за кормом на различные звуковые, световые и цветные сигналы, которые подавались им в строго определенное время.

В течение долгих часов и многих дней, лежа под деревьями на даче, он наблюдал за летящими стаями ворон, одинокими ястребами, быстрыми ласточками.

«Птицы, — говорил Петя, — являются лучшими летунами, и если человек постигнет хотя бы малую часть тайн их полета, он так же полетит, как птица».

Уже в юные годы будущий пилот имел большое пристрастие ко всем летательным приборам. Запускание змея было для него большим удовольствием.

Бывало, в сильный ветер он вместе со своими товарищами, лежа в тени высоких деревьев, часами наблюдал за полетом змея.

Особое веселье доставляло мальчикам «посылать змею телеграммы». Игра заключалась в следующем: они делали из разноцветной бумаги маленькие кружочки, в центре которых была дырочка, в нее просовывали свободный конец нитки от змеиного хвоста, ветер подхватывал эти кружочки и, с быстротой нес к змею.

Это было началом...

По окончании кадетского корпуса Нестеров 31 августа 1904 года поступил в Михайловское артиллерийское училище и окончил его 29 октября 1906 года.

Скромным девятнадцатилетним юношей он по окончании училища уезжает во Владивосток, в 9-ю восточно-сибирскую артиллерийскую бригаду, где и начинает теоретически изучать и разрабатывать вопросы летания, будучи прикомандирован к Владивостокскому воздухоплавательному парку.

Но Нестеров стремится в Петербург, где он мог бы более основательно изучить воздухоплавание и нарождающееся в то время авиационное дело.

«Авиацией я заинтересовался и увлекся, — рассказывал впоследствии

Петр Николаевич, — задолго до того, как мне удалось победить все препятствия и достичь звания летчика.

А этот путь пройти было очень и очень нелегко. Все, кто только мог, старались затруднить мне доступ в авиационную школу, и только благодаря решительности и настойчивости мне удалось добиться своего и посвятить себя той области, которая всецело меня захватила.

Авиацией я стал увлекаться с 1910 года и должен заметить, что мое увлечение зародилось как-то странно.

Меня не приводили в восторг виденные мною полеты, ибо я считал их до крайности несовершенными и не чувствовал в них победы гордого духа над косной материей. Наоборот, для меня в этих полетах ясной делалась рабская зависимость пилота от капризов стихии.

Я поставил себе задачу построить такой аппарат, движения которого меньше всего зависели бы от окружающих условий и почти всецело подчинялись бы воле пилота.

Мне казалось, что только соблюдение этих условий и только такой аппарат могут дать человеку возможность свободно парить, утверждая свою собственную волю и попирая косность и инертность материи.

Только тогда, — думал я, — авиация из забавы и спорта превратится в прочное и полезное приобретение человечества.

Для проведения своих «освободительных» идей в авиации мне необходимо было стать летчиком и получить средства для постройки аппарата согласно новым принципам.

Как первое, так и второе было сопряжено с огромными трудностями и препятствиями, лежащими вне меня. Пришлось упорно и настойчиво ходатайствовать о моем зачислении в авиационную школу.

Долго мои просьбы оставались тщетными, но я не отчаивался и решил всеми возможными и невозможными средствами добиться своего, для доказательства того, что я способен быть авиатором, что во мне есть необходимые для этого смелость, решительность и присутствие духа, я начал проделывать в 1911 году на планере всевозможные опасные трюки, думая обратить на себя этим внима-

тех, от кого зависело определение  
я в авиационную школу».

Прослушав в 1911 году при Петер-  
бургской воздухоплавательной школе  
курс лекций по авиации у Кованько,  
выпускника русского военного воздухопла-  
вания, Нестеров, наконец, получает  
уверенность в том, что его заветная  
цель осуществится.

В конце в 1912 году Нестеров был  
принят в Гатчинскую военно-авиа-  
ционную школу.

28 сентября 1912 года он блестяще  
сдал первый экзамен на звание пило-  
та-авиатора, а 5 октября того же го-  
да — на звание военного летчика.

По окончании школы П. Н. Несте-  
ров зачисляется в третью киевскую  
авиационную роту, а затем получает  
командировку в Варшаву для специ-  
ального обучения полетам на самолете  
типа «Ньюпор».

В Варшаве во время учебных опы-  
тов Нестеров впервые проявляет изу-  
щательное хладнокровие и находчи-  
вость, создавшие ему сразу большую  
популярность не только среди рус-  
ских специалистов, но и среди запад-  
ноевропейских летчиков.

Сдавая испытания на самолете  
«Ньюпор» и благополучно проделывая  
ряд комиссионных испытаний в усло-  
виях турбулентных полетов, Нестеров соби-  
рал уже опуститься на очерченный на  
аэродроме круг и этим самым сдать  
следующее испытание на точность по-  
садки, как вдруг на высоте 300 метров  
горелся бензин в бензинопроводе.  
Самолет был в одно мгновение охва-  
тен ярким пламенем. Гибель казалась  
минуемой...

Члены комиссии и все присутствую-  
щие с ужасом смотрели на летящий  
вспыхнувший факел.

Петр Николаевич не растерялся. Он  
выключил мотор и благополучно опу-  
стился на землю.

## II

### ЗАРОЖДЕНИЕ ИДЕИ «МЕРТВОЙ ПЕТЛИ»

В 1908 году П. Н. Нестеров попа-  
ет из-за болезни на Кавказ; здесь он  
строит модель самолета собственной  
конструкции, и здесь же впервые за-  
жигается идея «мертвой петли».

Она возникает из его юношеских  
наблюдений над полетами птиц. Их

смелые виражи, подъемы, снижения  
во время полета резко отличаются от  
движений механической птицы—аэро-  
плана, который всегда старается не  
нарушать своего положения.

Путем различных подсчетов и ма-  
тематических выкладок он тогда уже  
пришел к убеждению, что человек  
может летать, как птица, и что он  
может летать, подобно ей, даже на  
аппаратах существующей конструи-  
ции.

Но планы и исследовательская ра-  
бота Петра Николаевича не получили  
поддержки. Тогда он решил доказать  
личным опытом справедливость своей  
теории.

Спокойно и упорно шел он к на-  
меченной цели, неделями чертил, ри-  
совал, вычислял, составлял таблицы  
и только после тщательно проверен-  
ной работы вылетал, поражая всех  
точностью расчета.

Смелыми виражами, небывалыми  
кренами стремился он доказать воз-  
можность описания полного круга в  
вертикальной плоскости. Но посев-  
шие генералы от «пузырей» и «кол-  
бас» «научно» и «обоснованно» дока-  
зывали невозможность «дерзкой» за-  
теи Нестерова.

Даже товарищи Петра Николаевича  
не верили в возможность осуществле-  
ния его замысла. Их отношение вы-  
явилось в насмешливом четверости-  
шии, помещенном в рукописном жур-  
нале Гатчинской военно-авиационной  
школы.

Ненавидящий банальность,  
Полупризнанный герой,  
Бьет он на оригинальность  
Свою «мертвую петлю».

Эти стихи не обидели Нестерова.  
Он ответил на них экспромтом:

Коль написано: «петля»,  
То, конечно, это я.  
Но ручаюсь вам, друзья,  
На «петлю» осмелюсь я.  
Одного хочу лишь я,  
Свою «петлю» осуществляя:  
Чтоб эта «мертвая петля»  
Была бы в воздухе живая.  
Не мир хочу я удивить,  
Не для забавы иль задора,  
А вас хочу лишь убедить,  
Что в воздухе везде опора.

Ровно через год этот «полуприз-  
нанный герой», после долгой и упор-  
ной работы, после проверки на опыте  
теоретических выводов, осуществляет

свою «мертвую петлю», блистательно доказывая гениально простую мысль: «в воздухе везде опора».

### III

## ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИДЕИ

В августе 1913 года произошло событие, подтвердившее правильность теоретических расчетов Нестерова: французский авиатор А. Пегу<sup>1</sup> спустился с аэроплана на парашюте, изобретенном во Франции конструктором Боннэ.

Парашют, уложенный в специальный футляр, помещался на хвосте аэроплана. От него шла веревка, прикрепленная к поясу, который надевал на себя летчик. Перед прыжком летчик нажимал специальный рычаг, футляр раскрывался, парашют раздувался ветром и вытягивал летчика на воздух.

А. Пегу поднялся на своем моноплане на высоту нескольких сот метров и бросился вниз, раскрыв парашют. Летчик начал медленно опускаться. Падая, он увидел, что рядом с ним плавно снижается аппарат, оставленный без управления, проделывая в воздухе всевозможные движения и принимая различные положения. Он опрокидывался на спину, входил в штопор, описывал в воздухе круг, близкий к «мертвой петле», опрокидывался через крыло.

Вдруг, почти у самой земли, аэроплан выравнялся, принял нормальное положение и, хотя несколько тяжело, но все же благополучно, приземлился.

Наконец теоретические изыскания и работы П. Н. Нестерова завершаются блестящей победой русской авиации.

27 августа 1913 года, в 6 часов 15 минут вечера, поднявшись над Сырецким аэродромом в Киеве, Нестеров выполняет фигуру высшего пилотажа — замкнутый круг в вертикальной плоскости, — которая получает название «мертвой петли».

Первая в мире «мертвая петля» была совершена на обыкновенном аппарате системы «Ньюпор», без спе-

циальных приспособлений или усовершенствований. Удача зависела исключительно от искусства летания Нестерова.

Перед полетом, услышав чье-то замечание, что французский летчик А. Пегу уже сделал «мертвую петлю», Нестеров ответил:

— Нет, «мертвой петли» Пегу не сделал. Он сделал полет по форме французской буквы «S». Это не то, а вот настоящую петлю, может быть, сейчас увидите.

Это событие огромной значимости в истории мировой авиации было более чем скромно отмечено дореволюционной печатью. Первое сообщение появилось только на третий день в газете «Киевская мысль» от 29 августа 1913 года за № 238 в отделе «Хроника»:

«Третьего дня местному военному летчику, поручику П. Н. Нестерову, удалось сделать чрезвычайно рискованный вираж. Он описал в воздухе полный круговой поворот вертикальной плоскости, так называемую мертвую петлю».

Летчик на глазах присутствовавших офицеров поднялся над аэродромом на самолете «Ньюпор». Достигнув высоты 1000 метров, поручик Нестеров стремительно ринулся вертикально вниз, а затем круто описал полный круг, очутившись на момент головой вниз. Летчик предварительно был привязан к аппарату».

Этот «вираж» поручика Нестерова официально запротоколирован лишь в третьей авиационной роте.

Сделав «мертвую петлю», открывшую новое направление в области авиации, Нестеров, со своей изумительной скромностью, даже не счел нужным закрепить за собой свое достижение, связать с ним свое имя.

И когда через несколько дней А. Пегу удалось повторить «мертвую петлю», общественное мнение приписало вначале первенство этого достижения ему, а не Нестерову.

Несмотря на грандиозное впечатление, произведенное «мертвой петлей», военное начальство чуть не засадило Нестерова под арест на 30 суток «за риск казенным имуществом», а начальник воздухоплавательной части генерального штаба генерал М. И. Шинкевич заявил в печати:

<sup>1</sup> Пегу Альфред (1889—1915) — французский летчик, впервые 1 сентября 1913 года на аэродроме близ Парижа продемонстрировал на моноплане Блерно полет вверх колесами, описав в вертикальной плоскости букву «S».

лыты военных летчиков, подобному, который проделал Нестеров, олезны. Эти акробатические номера ходят свое оправдание лишь у эссоналов, но я удивляюсь, что льство разрешает это офицерам». Лин из высокопоставленных чинов военного ведомства заявил: «Первое впечатление ошеломляю — полет Нестерова обнаружил от, но в нем больше преобладает батизм».

Известный в то время летчик А. М. Фр-Волынский говорил, что «мерт-петлю» Нестерова он рассматри-как ненужный «цирковой номер». Круг полета Нестерова создава-неблагоприятная атмосфера. Его няли в ухарстве, «трюкачестве». между тем полету отважного тора предшествовала большая си-атическая работа. Нестеров мате-чески доказал, что новая сложная тра может быть выполнена, и лишь и практически ее осуществил. его «мертвая петля» явилась круп-им достижением в области авиа-

временная война еще раз доказа-то высший пилотаж — это не искусство для искусства, а дело, ктически совершенно необходимое. Каждый пилот должен уметь вывести лет из любого положения, в ко-е машина может попасть помимо и летчика, и машину спасает имен-мастерство пилота, мастерство фи-высшего пилотажа. Практическая необходимость целиком оправдана выми действиями авиации, когда во ия воздушного боя летчик стремит-зайти в хвост или в борт своему стивнику, откуда он мог бы его рас-рять, сам оказавшись недосыгае-м.

Нестеров прекрасно понимал, что юд воздушного боя решает искус-летчика, его воля и выдержка. Вот как рассказал он на страницах еты «Matin» историю своего поле-который явился разрешением слож-шей проблемы авиации: Я давно уже намеревался сделать т опыт с целью демонстрировать теории управления аппаратом, те-и, сильно отличающиеся от обще-внятых.

они основаны на полете птиц. Я от-г руль как орган для направления ята, так как он был заимствован от

мертвых плавающих тел; рыбы не име-ют руля и довольствуются гибким хво-стом.

Согласно моему плану, органом управ-ления аэроплана должны быть крылья, сгибающиеся под переменным углом, подобно птичьему хвосту.

Мне удалось доказать, что многие из моих взглядов справедливы, и мой последний опыт просто показал, что можно повернуть аппарат при помощи руля глубины.

Я поднялся на моноплане «Ньюпор» с мотором «Гном» в 70 лошадиных сил на высоту 1000 метров, остановил мот-ор и совершил почти вертикальный полет.

На высоте 600 метров я стал дей-ствовать рулем. Страшен был только момент, когда нужно было принять решение. Все остальное не в счет. Аппарат поднялся к небу, мотор работал нормально. Горизонт исчез, и мой «Ньюпор» перевернулся.

Я сидел головой вниз, чувствуя себя превосходно. Я всеми силами держался за сидение и педали, но ни одной ми-нуты я не испытывал такого ощущение, как будто должен вылететь из аппарата.

Ни бензин, ни масло из бака не бы-ли пролиты, мотор действовал превос-ходно. Барометр, находившийся у меня в кармане, и инструменты в ящиках не шевельнулись, так как все было в пол-ном равновесии.

В момент, когда мне казалось, что я не вижу больше земли, я начал манев-рировать рулями. Увидев землю, я остановил мотор и, уравнив аппа-рат, парящим полетом направился к ангару, где меня приветствовали горя-чими овациями.

Прежде чем приступить к полету, я много упражнялся, заставляя самолет принимать в воздухе всевозможные положения, делая поворот в 85 граду-сов, скользя на одном крыле или хво-сте и снова выравнивал аппарат. Мой опыт был предпринят только тогда, когда я был вполне уверен в успехе».

Так писал в газете «Matin» этот скромный храбрец, на опыт которого тупоумные чиновники царской России смотрели как на озорство, подлежа-щее наказанию.

Рассказывая о своем полете, Несте-ров в одном из своих докладов го-ворит:

«Свой опыт я не осуществлял до сего времени только потому, что сначала еще не выяснил всех положений, в которых я мог бы очутиться в случае упадка духа во время исполнения, а затем я ожидал прибытия нового аппарата, который я мог бы по-своему отрегулировать.

Получив недавно аппарат системы «Ньюпор» сборки завода Ю. А. Меллерс «Дукс» и сделав на нем не более 10 часов, я решил, наконец, выполнить свою заветную мечту.

О своем опыте я никого не предупреждал, хотя все знали, что я вообще собираюсь это сделать.

27 августа, вечером, привязав себя предварительно ремнями к сидению, я поднялся на высоту 1000 метров, с которой решил планировать. Когда я в последний раз посмотрел на анероид<sup>1</sup>, мне пришло в голову, что в случае неправильного поворота этот приборчик должен будет выпасть из кармана куртки, когда я буду лететь вверх ногами... но решил рискнуть. Вот собственно все, чем я рисковал, то есть 13 р. 50 к. казенного имущества.

Было жутко решиться, но как только я закрыл бензин, чтобы перейти в планирование, мне сразу стало легко, и я занялся своей работой.

Наклонив «Ньюпор» почти вертикально, я начал планировать, следя за высотой, чтобы иметь запас высоты на случай неудачи. Примерно на высоте 600 метров начал выравнивать аппарат и, когда он начал переходить горизонт, открыл бензин.

Мотор очень хорошо заработал, аппарат пошел в небо и начал ложиться на спину. Моя левая рука все время находилась на бензиновом кране, чтобы точнее регулировать работу мотора, хотя мне очень хотелось опереться, как при спуске на козлах.

Одно мгновение мне показалось, что я слишком долго не вижу земли. но... чуть больше потянув за ручку, я увидел землю. Закрыв снова бензин и выравнивая аппарат, я начал планировать к ангарам.

За время этого десятисекундного полета я чувствовал себя так же, как при горизонтальном повороте с креном градусов в 70—80, то есть ощущал телом поворот машины, как, например,

лежа в поезде, чувствуешь телом поворот вагона.

Я очень малокровный; стоит мне немного поработать согнувшись в кабине «Ньюпора», как от прилива крови начинается сильное головокружение. Здесь же я сидел несколько мгновений вниз головой и прилива крови к голове не чувствовал, стремления отделиться от сидения тоже не было, и ноги давили на педали. Мой анероид не выпал из кармана куртки, и инструменты в открытых ящиках оставались на своих местах.

Бензин и масло также удерживались центробежной силой на дне бака, то есть сверху, и нормально подавались в мотор, который великолепно работала всю верхнюю половину «петли».

В общем все это доказывает, что аэроплан сделал обыкновенный поворот, но только в вертикальной плоскости, так как все время существовало динамическое равновесие.

Только с этим поворотом воздух побежден человеком.

По какой-то ошибке человек позабыл, что в воздухе везде опора и ему давно пора отделаться от привычки определять направления по отношению к земле.

Когда я закончил свою «петлю» и планировал к ангарам, мне пришла мысль, что вдруг мою «петлю» никто не заметил, и я даже хотел было повторить ее, но, увидев у ангаров сбегаящую толпу, я понял, что мой полет видели».

Когда же, наконец, утихло громовое «ура» всех присутствовавших на этом небывалом зрелище и Нестерова спустили, наконец, с рук на землю, он сказал:

— Ну, вот, сейчас дам телеграмму... Пускай все видят, что русские сами могут создавать. Что нам иностранные авиаторы, которых все нам тычут в глаза?! Обойдемся без них: мы — русские...

Как художник Нестеров особенно ценил красоту в полете. С присущей ему глубокой наблюдательностью он заметил, что красота полета неотделима от наиболее быстрого, экономного и эффективного достижения целей, стоящих перед летчиком.

Многим, говорил Нестеров, фигурные полеты кажутся бессмысленным занятием, но они необходимы, ими приходится пользоваться в трудные

<sup>1</sup> Анероид — прибор для определения атмосферного давления.

шуты; фигурные полеты — это шко-  
летчика, благодаря этому он чув-  
ствует себя свободнее в воздухе.

Когда птицы предпринимают даль-  
ний перелет, они не резвятся в возду-  
хе, а летят стройно. Но часто можно  
увидеть, как птицы в часы отдыха  
играют в воздухе, — они его знают.  
И полшутя, полусерьезно добавлял:  
«Жить только практически скучно,  
жизнь красота, в ней жизнь и в ней  
ла. Да будет процветать красота и  
авиации!»

Долго еще Нестерову приходилось  
вести борьбу с косным отношением и  
идее «мертвой петли», которое ца-  
ло в авиационной среде того вре-  
мени.

Первая правильная оценка всей зна-  
мости опытов Нестерова была дана  
научным обществом воздухоплавания.  
28 января 1914 года Киевское обще-  
ство воздухоплавания чествовало Не-  
стерову за «научную разработку во-  
просов о сильных кренах» и за «мер-  
ную петлю».

Собрание открылось речью предсе-  
дателя общества П. И. Вербицкого,  
издавшего на то, что при первых по-  
пытках Нестеров обратил на себя вни-  
мание крутыми кренами, которые так  
легко производились им при воздуш-  
ных маневрах.

«В конце августа 1913 года, — гово-  
рил Вербицкий, — совершается собы-  
тие, остановившее на себе взоры всего  
ра: военный летчик Нестеров совер-  
шает полет, удивительный по своей  
смелости и поставивший на карту  
жизнь летчика. Целью этого подвига  
было желание обогатить опыт летчи-  
ка, поставить их в большую безопас-  
ность и, путем опытной проверки вы-  
ботанных П. Н. Нестеровым взгля-  
дов на крен, сделать их более осве-  
щенными в вопросах управления  
аэропланом и тем способствовать уве-  
личению боевой готовности русского  
воздушного флота.

Мы оценили те чувства, которые  
сводили им во время совершения  
этого подвига, он нам стал дорог и бли-  
зок, научное значение совершенной  
П. Н. Нестеровым «мертвой петли»  
спорно и представляет огромную  
ценность, а потому общество воздухо-  
плавания присудило отважному летчи-  
ку золотую медаль».

Мы приводим полный текст отзыва  
научно-технического комитета о значе-

нии для авиации «мертвой петли», со-  
вершенной П. Н. Нестеровым:

«Современный аэроплан далек от то-  
го совершенства, чтобы на нем можно  
было летать при всяких атмосферных  
условиях, и не включает в своей кон-  
струкции достаточно надежных средств  
для сохранения устойчивости. По-  
этому во время полета большую роль  
играют точное знание приемов пилота-  
жа и уверенность летчика в возмож-  
ности управлять аэропланом при вся-  
ких положениях последнего в воздухе.

Такая уверенность возможна только  
в том случае, когда авиатор имеет в  
руках хорошо испытанные приемы  
управления. До полета же Нестерова  
27 августа 1913 года вопрос об управ-  
лении аэропланом при вертикальных  
положениях носом кверху оставался  
открытым; многие даже сомневались в  
возможности решения его.

Естественно, что, оказавшись в этом  
положении, летчики теряли самообла-  
дание и были вследствие этого заране-  
е обречены на гибель.

«Мертвая петля» П. Н. Нестерова  
доказала, что из большинства опасных  
положений аэроплана в воздухе можно  
выйти благополучно при достаточном  
хладнокровии и умении.

Предоставляя в распоряжение летчи-  
ка удачно испытанные приемы управ-  
ления аэропланом при вертикальных  
кренах, произведенный опыт способ-  
ствовал значительному усовершенство-  
ванию приемов пилотажа, одного из  
надежнейших средств достижения наи-  
большей безопасности полета при со-  
временных условиях авиации.

Совершение этого опасного опыта  
требовало многочисленных подготови-  
тельных полетов и основательного зна-  
комства с теорией. Удачный исход его  
доказывает, что летчиком заранее бы-  
ли теоретически изучены и рассчитаны  
на основании данных, добытых при  
предварительных полетах, все дви-  
жения рулями в каждый момент пере-  
мещения аэроплана по кривой в верти-  
кальной плоскости. Совершенный при  
таких обстоятельствах, этот опыт име-  
ет громадное практическое значение и  
является ценным вкладом в науку».

Докладчик от Научно-технического  
комитета общества, пилот-авиатор И. А.  
Родзевич, начал свое выступление сле-  
дующими словами:

«Я счастлив, что на мою долю вы-  
пало говорить о победе члена нашего

общества П. Н. Нестерова. Не могу не поделиться горьким чувством, какое овладевало мною каждый раз, когда приходилось читать о полете П. Н. Нестерова такие выражения, как «ненужный акробатизм», «безумная храбрость» и т. д. Горько, что при этом просмотрели ту научную мысль, которая руководила летчиком, и то глубокое значение опыта, за которое он не дрогнул поставить на карту свою жизнь.

Теперь, когда ежедневно получают вести о гибели авиаторов, вопрос о способах управления воздушным аппаратом — это большой и насущный вопрос.

Французы и англичане стараются обезопасить полеты путем механических усовершенствований. В России же, при отсутствии средств к этому, единственный выход — умение, знания и подготовка авиаторов. П. Н. Нестеров завершил развитие в авиаторском искусстве. Значение его полета несомненно крупнее, нежели полет А. Пегу. Тот совершил кривую по форме французской буквы «S» на специально приспособленном аппарате, а П. Н. Нестеров сделал полный круг вертикальной плоскости на «Ньюпоре» без всяких приспособлений».

Нестерову была присуждена золотая медаль Киевского общества воздухоплавания за «первое в мире удачное решение, с риском для жизни, вопроса об управлении аэропланом при вертикальных кренах».

«Я думаю, что моя работа еще впереди, — сказал Нестеров, благодаря Обществу за внимание, — это постройка аэроплана с особым способом управления, близким к птичьему полету. Я думаю, что, имея эту высокую награду, я остаюсь в долгу перед Киевским обществом воздухоплавания.

Прошу верить, что этот долг перед Обществом я выполню с честью».

#### IV

### ОН ПЕРВЫЙ

Не прошло и нескольких дней, как всю мировую печать облетело известие о «мертвой петле», совершенной 8 сентября 1913 года во Франции, в городе Бюке, знаменитым французским летчиком А. Пегу.

В русской печати появился ряд статей, заметок и телеграмм. Они приписывали А. Пегу честь совершения первой в мире «мертвой петли».

Учитывая все обстоятельства, совет Киевского общества воздухоплавания в заседании своем от 13 мая 1914 года постановил огласить на основании справки Научно-технического комитета следующие сведения о полетах А. Пегу в августе и сентябре 1913 года.

«6/19 августа 1913 года в городе Бюке (Франция) А. Пегу испытывал парашют Боннэ. Поднявшись на высоту около 250 метров, А. Пегу вместе с парашютом выпрыгнул из аппарата и благополучно спустился на землю.

20 августа (2 сентября) 1913 года А. Пегу на аэродроме Блерио в городе Бюке на моноплане «Блерио Гном» в 50 лошадиных сил описал в воздухе гигантскую кривую, напоминающую французскую букву «S» в течение 45 секунд. При этом опыте летчик А. Пегу некоторое время летел головой вниз.

8 сентября (21) 1913 года А. Пегу во время публичных полетов в городе Бюке впервые совершил полет по замкнутой кривой в вертикальной плоскости.

А затем 13, 20, 22 и 25 сентября 1913 года А. Пегу проделывал ряд «мертвых петель», последовательно увеличивая их количество.

Эти даты легко могут быть проверены в специальных органах по воздухоплаванию.

Официально запротokolированная «мертвая петля» военного летчика П. Н. Нестерова совершена в городе Киеве 27 августа (9 сентября) 1913 года. Отсюда ясно, что первенство в совершении этого опыта неоспоримо принадлежит военному летчику Петру Николаевичу Нестерову».

В это время в Москву приехал А. Пегу. Он поразил московских зрителей смелыми полетами и хладнокровием во время опасных виражей.

В большой аудитории Политехнического музея состоялась его лекция при огромном наплыве слушателей, среди которых присутствовал знаменитый теоретик авиации Н. Е. Жуковский. Присутствовал и Нестеров, встреченный шумными приветствиями публики.

Профессор Жуковский в своем вступительном слове изложил физический закон, обеспечивающий возможность

иатору проделывать «мертвые петли».

Затем выступил Пегу. Его живое, интриганское выступление заинтересовало слушателей. Для иллюстрации своих слов он сделал из картона маляжскую модель самолета.

Пегу рассказал о наблюдениях над дающим аэропланом во время своего выжика с парашютом, рассказал, как у него возникла мысль об устойчивости аэроплана и о возможности воздушных олюций.

— Я пробовал всякие опасные положения, — сказал он, — и ни одно из них не привело меня к падению.

Признавая себя первым человеком в мире, летавшим вниз головой, Пегу объявил, что первым замкнувшим «мертвую петлю» является русский летчик П. Н. Нестеров.

— Вот он — отец «мертвой петли», — указывая на Нестерова альцем, крикнул французский авиатор.

Шумной овацией ответили присутствующие на это признание. Они похвалили и оценили не только благородство поступка французского летчика, но и отдавшего первенство открытия своему товарищу, но и всю глубину важности вопроса, разрешенного бывшим французским кавалерийским унтер-офицером — пилотом авиационного вода Альфредом Пегу и русским артиллерийским офицером — военным летчиком Петром Николаевичем Нестеровым.

Признание Пегу прервало в самом начале кампанию, которая назревала в юстранной прессе против Нестерова, избавило его от травли, которой когда-то подверглись знаменитые летчики братья Райт<sup>1</sup>.

Достаточно сказать, что в 1911 году одному только Вильбуру Райту пришлось доказывать свою правоту на пятидесяти судебных процессах в Европе и Америке.

После речи Пегу место на трибуне занял Нестеров. Он изложил историю первой «мертвой петли».

— Еще в авиационной школе, — сказал он, — я заметил, что аэроплан не летает так, как птица, а двигается край-

не неуклюже. При вираже он не наклоняется в сторону полета.

Птица же при поворотах всегда наклоняется в сторону своего полета.

Я начал доказывать необходимость этих виражей, но... надо мной просто смеялись, — прибавил Петр Николаевич с виноватой улыбкой.

— И вот для доказательства своих слов я начал теоретически разрабатывать вопрос о «мертвой петле» и необходимости различных виражей.

Когда я стал летчиком, то на Киевском аэродроме, где мне пришлось служить, я приступил к практическому осуществлению своих теоретических предположений.

Я наметил место между ангаром и сараем, смерил его и начал свои первые испытания.

Мне удалось описать круг радиусом в 22,5 метра. Этого было достаточно, чтобы убедиться в возможности положить аппарат на спину и описать «мертвую петлю».

Первая «мертвая петля» мне мало дала в смысле дальнейших опытов. Я был слишком занят мыслью: удастся мне повернуть машину или нет, и как прошла «петля», строго говоря, я толком не ощутил. Не до ощущений тут было.

Второй раз я, благодаря малой скорости аэроплана, чуть не выскочил из машины, но во-время, благодаря тому, что не потерялся, потянул ручку «на себя» и этим углубил поворот и спуск.

Теперь мне ничего не страшно, я владею собой, а это важно.

Публика по окончании доклада Нестерова устроила ему шумную овацию, в которой принял горячее участие Пегу, кричавший все время:

— Браво, браво!

Овации закончились торжественным чествованием летчиков. Когда они сидели на эстраде, Пегу вновь повторил, карандашом набрасывая на скатерти «мертвые петли»:

— Он первый!

## V

### ДОСТИЖЕНИЯ П. Н. НЕСТЕРОВА В ОБЛАСТИ АВИАЦИИ

П. Н. Нестеров был не только летчиком-конструктором, но и пытливым исследователем в области самолетостроения. Проверая на опыте свои ис-

<sup>1</sup> Райт, Вильбур (1867—1912) и Орвилл (1871) — братья, первые из авиаторов, надевшие искусство пилотажа и положившие начало современной авиации.

следования и выводы, стремясь выявить все возможности, которые может дать самолет при самых разнообразных условиях и обстоятельствах, Нестеров был одним из первых выдающихся летчиков-испытателей.

Полеты его были всегда смелы и неожиданны. Среди них особенно замечательны: перелет в жестокий шторм Киев—Одесса—Севастополь, полеты Москва—Петербург, Киев—Петербург.

Поднявшись в Киеве с военного аэродрома на двухместном самолете типа «Ньюпор» в 10 часов 35 минут утра, он благополучно снизился на Одесском военном аэродроме в 1 час 45 минут дня, совершив, таким образом, путь между Киевом и Одессой в 3 часа 15 минут со скоростью 150 километров в час.

Рассчитывать на полет без спуска при малом запасе горючего можно было лишь при наличии сильного попутного ветра.

Учитывая это обстоятельство, Нестеров выбрал день, когда северный ветер дул с силой 20 метров в секунду. Полет был совершен на высоте 800—1000 метров чрезвычайно удачно, невзирая на то, что Нестеров летел не вдоль линии железных дорог, как тогда летали за отсутствием ориентировочных приборов. Так Нестеровым был установлен рекорд на продолжительность полета без спуска и на скорость на дальнейшее расстояние.

Перелет Москва—Петербург (600 километров) был совершен в первой половине июля 1914 года при совершенно необычайных условиях. Нестеров приехал рано утром на Московский аэродром и велел вывести самолет. Он в то время занимал должность наблюдающего за постройкой самолетов на заводе Ю. А. Меллерса «Дукс».

На вопрос механиков, куда он собирается лететь, П. Н. Нестеров спокойно ответил:

— Не знаю. Может быть, над аэродромом полетаю, а может быть, из Москвы полечу... Во всяком случае бензиновый бак должен быть полным.

Поднявшись над Ходынским аэродромом на 100—150 метров и сделав один круг, он полетел на север и благополучно опустился на Гатчинском аэродроме.

Этот блестящий перелет Нестеров совершил на самолете системы «Ньюпор», только что выстроенном на заво-

де Ю. А. Меллерса «Дукс» и еще совершенно не испытанном.

Первый воздушный рекорд на дальность полета Нестеров установил, покрыв расстояние Киев—Петербург в 1250 километров за 18 часов, из которых 10 часов было затрачено на отдых.

П. Н. Нестеров летел на высоте 600 метров со средней скоростью 125 километров в час. Этот перелет принадлежит к числу лучших мировых рекордов того времени.

Вот что рассказывает о нем сам летчик:

«Я задумал этот перелет около месяца тому назад. Наметил этапы, где предполагал спуститься, и отправил туда бензин и масло. Сам же ожидал благоприятной погоды.

В ночь на 11 мая в 3 часа 30 минут утра я взял с собою пассажиром унтер-офицера Нелидова и вылетел из Киева, сообщив об этом только начальнику роты.

Первый этап от Киева до ст. Старо-Быховца (450 километров) сделал в 3 часа 30 минут.

Тут была первая остановка. Возобновив запас бензина, я со своим пассажиром в 8 часов 10 минут поднялся снова в воздух.

Второй спуск был непредвиденный, возле Витебска, так как нас укачало, закружилась голова и появилась тошнота.

Этап между Старо-Быховцем и Витебском был особенно тяжел. Сильный порывистый ветер трепал наш аппарат и бросал его из стороны в сторону.

Вскоре, однако, мы оправались и полетели дальше до ст. Городок, где опустились около 10 часов утра, покрыв еще 220 километров. Отдохнув немного и пополнив баки бензином, я около полудня вылетел из Городка.

В трех километрах от ст. Городок пришлось снова опуститься, так как испортился маслопровод.

К этому времени ветер еще более усилился. Возобновить полет я получил возможность только после шести часов вечера. Сильный, ровный, попутный ветер понес нас к Петербургу.

Ввиду наступивших сумерек, я решил лететь без спуска до Гатчины, не останавливаясь на ст. Дно, как предполагал раньше.

тот последний этап прошел при  
е благоприятных условиях.

9 часов 35 минут вечера я уже  
на Гатчинском аэродроме».

явление на большой высоте  
юпора» было полной неожидан-  
пью для всех. Красивый плани-  
щий спуск с большой высоты  
у выдал школу Нестерова.

е были очень удивлены тем, что  
теров даже не предупредил теле-  
мной о своем полете.

- Чего же было предупреж-  
е? — в свою очередь изумлялся  
Н. Нестеров. — Что же тут осо-  
ого?

и искренне верил, что о его ре-  
дном полете не стоило говорить.

собрании Нестеров сделал крат-  
доклад о своем блестящем пере-

и сообщил, что местность, над  
рой ему предстояло лететь, он  
ил по десятиверстной карте. Бы-  
выбраны три базы — ст. Старо-  
ов, Городок и Дно.

орючее было отправлено в наме-  
ные пункты по железной дороге.

(квитанции на груз были у меня  
обой, — рассказывает Нестеров. —  
тившись на той или иной стан-  
, я предъявлял эти квитанции и  
учал свой бензин...

тобы не приходилось далеко вез-  
бензин со станции до аппарата, я  
рал базы с таким расчетом, чтобы  
бная для спуска площадка нахо-  
ась как можно ближе к железно-  
ожной платформе».

тим и ограничили все пригото-  
ия к перелету Киев — Петербург  
чина).

ыступая на банкете, устроенном  
есть этого блестящего перелета,  
теров так определил возможность  
еды в воздушном бою:

Во время войны при столкновении  
жеских самолетов победит тот,  
сумеет быстро перевернуться и  
льзнуть так, чтобы увернуться от  
ра врага».

е еще к одному рекорду готовился  
р Николаевич — к перелету Пе-  
бург — Севастополь в 24 часа.

ойна, а затем геройская смерть  
рвали подготовку к полету, в ко-  
ом, нет сомнения, как и в преды-  
дих, Нестеров оказался бы побе-  
елем воздушной стихии.

оследние месяцы перед войной

он был занят на заводе «Дукс» по-  
стройкой аэроплана собственной кон-  
струкции, на котором он собирался  
совершить ряд длительных полетов.

Петр Николаевич даже собирался  
подать в отставку с целью посвятить  
себя исключительно конструкторской  
деятельности.

Понимая все значение авиации в  
войне, Нестеров не был сторонником  
«одностороннего, узкого» развития  
авиации, «облекшейся в латы и броню».  
Нестеров смотрел на дело шире,  
мечтая о таком безопасном самолете,  
который мог бы служить культурным  
целям человека.

Идея маломощных аппаратов была  
его главным увлечением. В этом типе  
самолета он видел машину будущего,  
на которой «человек полетит лучше  
птицы, и воздух будет доступен  
каждому смертному».

«В моем аппарате, — говорил Нес-  
теров, — крылья будут иметь пере-  
менный угол атаки воздуха.

Благодаря этому свойству я на-  
деюсь достигнуть возможности спус-  
ка на самой незначительной площад-  
ке, замедляя полет в последнюю ми-  
нуту отгибанием крыльев назад, как  
это делают птицы.

Вообще крылья с переменным уг-  
лом атаки воздуха играют, по моему  
мнению, решающую роль в дальней-  
шем развитии авиации».

Но и этим мечтам не суждено было  
сбыться.

## VI

### ВОЗДУШНЫЙ БОЙ И ГИБЕЛЬ П. Н. НЕСТЕРОВА

Над Европой вспыхнуло грозное за-  
рево первой империалистической вой-  
ны.

Под барабанный бой потянулись  
к границам полки, дивизии, корпуса.

В первые же дни мобилизации Петр  
Николаевич покидает свою работу на  
заводе «Дукс», чтобы влиться в ря-  
ды армии.

Во главе XI авиационного корпус-  
ного отряда III армии Юго-западного  
фронта он несет воздушную разведку  
на чрезвычайно важном участке  
г. Львова, в районе Жолкев — Маге-  
ров, где в то время шли упорные бои  
с австрийцами, пыгавшимися прорвать  
фронт. Авиация еще не принимала  
активного участия в них.

Затишье тяготило Нестерова. Он стремился продвинуться ближе к фронту, но обстановка была неблагоприятной, конница противника угрожала авиационной базе.

В период львовских боев над нашим расположением начали появляться австрийские самолеты.

Несколько раз наши летчики пытались вступить с вражескими аэропланами в бой, но всякий раз противник уклонялся.

Слухи и рассказы о подвиге французского летчика Роланда Гарро, успешно атаковавшего немецкий дирижабль, еще более усиливали желание сразиться с врагом в воздухе.

— Как досадно, что на нашем фронте нет дирижаблей, — часто говорил Нестеров.

Наконец 25 августа над нашими линиями пролетели три австрийских самолета, причем с одного из них была сброшена фитильная бомба, не причинившая вреда.

Аэропланы летели на очень большой высоте, и стрельба по ним не дала никаких результатов.

Им вдогонку вылетел Нестеров вместе с другими летчиками своего отряда.

При подъеме мотор самолета Нестерова начал давать перебои, пришлось задержаться.

Когда же аппарат был исправлен и Нестеров полетел по направлению уходящих самолетов, то никого в воздухе уже не было.

В ночь на 26 августа над аэродромом пронеслась буря.

Почти всю ночь проработал Нестеров с командой своего отряда, спасая самолеты от ураганного ветра, грозившего превратить их в обломки.

Нестеров был прост, доступен и понятен солдату. Он уважал его труд, его преданность родине. Весь отряд Нестерова отвечал любовью и уважением своему начальнику. Когда во время бури Нестеров заметил, что люди устали, замедляют работу, он громко крикнул: «Ребята! Нам все-таки нужно спасти самолеты!» и запел старую любимую песню моряков:

Будет буря,  
Мы поспорим,  
И поборемся мы с ней...

И усталые люди приободрились,

напрягли последние силы. И самолеты были спасены.

В это утро над Жолкевым появились снова три австрийских самолета. Они летели к востоку на большой высоте и возвратились назад в полдень.

Увидев аэропланы, Нестеров дал приказание приготовиться к обстрелу и командовал:

— Аппарат!

Немедленно был выведен самолет. Нестеров вскочил на свой моноплан типа «Моран-Сольнье». Мотор работал превосходно. Однако мелкие неисправности заставили его и летчика А. Кованько, вылетевшего вместе с ним, спуститься.

Австрийский летчик, увидев эту неудачу Нестерова, снизился над нашими ангарами и пытался их поджечь.

Тогда Нестеров наспех приводит свой «Моран» в порядок и один бросается вдогонку за уходящим вражеским самолетом.

Желая скорее догнать австрийца, он на своем быстроходном «Моране» обходит город с южной стороны и, поднимаясь все выше и выше, идет наперерез неприятельской машине.

Вот он высоко пронесся над австрийским «Альбатросом».

Австриец заметил появление страшного врага. Его самолет начал слегка снижаться. Летчик шел на спуск при полной работе мотора, чтобы увеличить скорость своего аппарата и уйти от преследования Нестерова. Но не мог он уйти от «Морана».

Поравнявшись с австрийским самолетом, Нестеров с большой высоты направил свой аэроплан вертикально на вражескую машину.

С замиранием сердца все ожидали момента столкновения...

На высоте 600 метров Нестеров достиг тяжелый австрийский «Альбатрос» и протаранил его колесами шасси своего аппарата.

На мгновение оба самолета замерли в воздухе, затем отделился и упал мотор с аппарата Нестерова, а за ним стал падать и самолет.

Падение аппарата без мотора произвело впечатление, что Нестеров жив и спускается «штопором».

— Жив! Жив! — сорвалось с уст тысяч невольных свидетелей этого

вообразного, первого в мире, воздушного боя — тарана.

Самолет Нестерова резко качнулся, естественно накренился и стремительно стал падать.

Австрийский «Альбатрос», продрывшись в воздухе несколько секунд, из резкий крен и камнем упал на землю, обогнав кружившийся в воздухе «Моран» Нестерова.

Удар самолета Нестерова пришелся ямо в летчиков и перебил корпус «Альбатроса» возле установки мото-

Сила столкновения была так велика, что самые прочные части и стальные трубы были срезаны, как ножом. Из всего австрийского самолета остался только хвост, весь изрешеченный пулями.

Возле сбитого неприятельского самолета найдены зарывшиеся в болото австрийские фугасные и зажигательные авиационные бомбы.

Менее пострадал самолет Нестерова, но передняя часть корпуса была сломана, установка мотора, баки для бензина и масла представляли бесформенную массу, вал мотора был сломан. Крылья и сломанное шасси лежали далеко в стороне. Среди обломков лежало тело Петра Николаевича Нестерова.

Оба аппарата упали в восьми километрах от аэродрома, к северо-западу от Жолкева, близ шоссе на Раву-Русую. Австрийский летчик и его наблюдатель были убиты.

Вокруг погибших толпились люди. Каждый вновь прибывший спрашивал:

— Неужели это Нестеров?

Многие плакали.

Подробное описание этого исторического воздушного боя и первого в мире тарана мы находим в письме летчика А. Кованько от 4 сентября 1914 года на имя жены Петра Николаевича:

«Письмо мое, Надежда Рафаиловна, имеет целью описать Вам те несколько часов, которые мне удалось провести с Петром Николаевичем. Я поехал до отряда 25-го под вечер, где и встретил Петра Николаевича; общее настроение его было весьма хорошее — повидимому, он был доволен работой отряда и надеялся, что служба дальше будет идти спокойно, отношения как со штабом, так и с ро-

той наладилась. Петр Николаевич был, повидимому, доволен моим приездом — говорил, что разведки ему собственно уже мало интересны, что теперь втроем, считая Передкова<sup>1</sup> и меня, будет легче; он был много спокойнее, чем во время последней встречи нашей в Москве.

Утром 26 августа Передков улетел на разведку, а мы решили попробовать на аэродроме «Мораны» — их было два, — один Петр Николаевич уступил мне, оставив себе одноместный (тот самый, на котором он перелетел из Москвы).

Попробовав аппарат, мы вернулись в деревню (так за одну версту от аэродрома), причем Петр Николаевич спрашивал мое мнение относительно атаки неприятельских аэропланов. Мой ответ сводился к тому, что атаковать до столкновения безнадежно, так как собственная гибель неизбежна. Петр Николаевич, хотя и слабо, но настаивал на том, что возможно зацепить аппарат противника колесами, а самому остаться целым, впрочем, в конце он казался почти убежденным; он говорил, что сейчас он собирается испытать небольшой трос (около 70 метров) с грузом и старается им попасть в винт.

В это время (было 10 час. 30 мин. дня) мы услышали австрийский аппарат. Сейчас же поехали на аэродром; по дороге сговорились лететь за австрийцем вдвоем и стараться маневрами двух против одного заставить австрийский аппарат спланировать в расположение наших войск, причем Петр Николаевич взял с собой свой грузик.

Собираясь, мы несколько запоздали, и при взлете у Петра Николаевича грузик сорвался, так что мы оба минут через 6—7 опустились.

Петр Николаевич велел перечислить на своем «Моране» клапаны и, если покажется австрийский аппарат, ему доложить; с тем опять вернулись в штаб отряда. Настроение Петра Николаевича было несколько приподнятое, но ничто не заставляло предполагать, что он решился на что-нибудь определенное.

Через 1 час 30 мин. опять послышался австрийский мотор, и мы поехали опять на аэродром.

<sup>1</sup> Передков — один из лучших летчиков отряда, которым командовал Нестеров.

Неприятельский аппарат был над нами на высоте более 1500 метров. Из «Моранов» был лишь один (так как на одноместном были сняты клапаны).

Петр Николаевич, обратившись ко мне, спросил: «Кто полетит, ты или я?»

Вся предыдущая обстановка и разговор заставили думать, что дело должно заключаться в принуждении австрийца к планированию. Я сказал, что одному лететь вообще не стоит, тем более что грузик попорчен, лучше подождать возможности полета вдвоем.

Тогда Петр Николаевич сказал: «Ну я, все-таки, попробую лететь один».

«Возьми хоть револьвер или меня пассажиром, хоть постреляем».

«Нет, брат, тебя я не возьму, — последовал ответ Петра Николаевича, — а револьвера долго ждать, да одному мне с ним нечего делать».

На мой вопрос «Что ты думаешь делать?» — он сказал: «Ну, там разберусь». Вот его последние слова.

Петр Николаевич вылетел, мы же старательно обстреливали австрийца.

Только что опустившись, летчик Передков и мы обсудили вопрос, что можно все-таки наугад австрийца и заставить его планировать.

Вдруг на наших глазах «Моран», находившийся выше австрийского «Альбатроса», резко пикирует: мы ждем все момента выравнивания, но аппараты сталкиваются, и «Моран» начинает падать спиралью.

«Альбатрос» несколько времени летит прямо, затем переходит на нос и обгоняет «Моран», падая на землю первым. Есть основание думать, что Петр Николаевич выпал из аппарата метров на 60—80 от земли.

Вот, Надежда Рафаиловна, вся картина гибели Петра Николаевича, гибели героя, который даже близких товарищей не предупредил о том, что бродило в его безумно смелой голове.

Вы сами должны понять, какое впечатление произвела на нас эта смерть героя. Мы решили просить, чтобы одиннадцатый авиационный отряд носил имя Нестерова.

Надежда Рафаиловна мужественно встретила горестную весть о гибели своего горячо любимого мужа.

— Перед отъездом на фронт, — сказала она, — он обсуждал со мной возможность поединка в воздухе, однако, он обещал не жертвовать собой ради одного неприятельского самолета, так как русским войскам нужны летчики.

Однажды товарищ Петра Николаевича, вспоминая о погибшем герое, рассказал об одном из его приемов борьбы в воздухе, продемонстрированном им во время маневров.

Над нашими войсками летал «неприятельский» самолет. Нестеров вызвался захватить его в плен и вскоре действительно выполнил свое намерение следующим образом. Поднявшись в воздух, он стал кружиться над летавшим «неприятельским» самолетом; виражи, им проделанные, были чрезвычайно искусны. Удачно парируя всякую возможность быть задетым «противником», он заставлял «противника» спускаться все ниже и ниже, и в конце концов «неприятельский» самолет попал к нам в плен.

Я лично думаю, — прибавил летчик, — что Петр Николаевич лишь с таким намерением и шел на вражеский самолет.

Достаточно было Нестерову заставить противника несколько снизиться, и австрийца обезвредили бы уже наши наземные войска.

Мне вспоминается, — продолжал далее рассказчик, — один из разговоров с Петром Николаевичем почти накануне войны.

Я заговорил о самолетах и о возможностях их преследования в воздухе. Нестеров ответил так:

— Пойду на войну, и если придется преследовать в воздухе врага и я буду знать, что он уйдет, — кинусь на него и собою. Погибну, но иначе ничего не сделаешь.

Из боевой работы Петра Николаевича на фронте следует отметить малоизвестный эпизод, который закончился благополучно исключительно благодаря проявленному им хладнокровию.

Нестеров в период подхода русских войск к Львову, летая с производившим разведку офицером генерального штаба Лазаревым, вследствие порчи самолета спустился в окрестностях Львова. Он не был замечен австрийскими войсками.

помощью жителей летчики уничтожили свой самолет и не только смело пробрались обратно в свое убежище, но и привели с собой много австрийского часового, которого они взяли с передовых постов. Рассказывая этот эпизод в своем первом письме к жене, Нестеров писал:

Вот мне, сыну славной родины, удалось выкарабкаться из рук авианцев. Надеюсь, что не только я, но и моей матери-родине удастся не только выкарабкаться, но и победить».

Умал ли Нестеров, что идет на свою гибель, решаясь протаранить австрийский самолет? Трудно ответить на этот вопрос.

Возможно, что Нестеров хотел оттолкнуть австрийский самолет, а оттолкнувшись и, пожертвовав своим самолетом, сбить неприятельскую машину.

Удобный прием воздушного боя осуществлен весной 1915 года во главе летчиком А. А. Казаковым. Он сбил неприятельский самолет по «собу» Нестерова и успел послеслужить подбитого аэроплана вырваться.

В случае с «Альбатросом» Нестеров был вынужден из виду одно обстоятельство: австрийский «Альбатрос», рассчитанный на подъем трех человек, был в три раза тяжелее самолета «Моран-Солано» с двигателем «Гном» в 80 лошадиных сил. Но, возможно, Нестеров считал, что в бою с австрийским «Альбатросом» исход предрешен с самого начала, и решился на таран потому, что «иначе ничего не сделаешь». Мы знаем, что прием тарана нашел своих последователей и в наше время. Он был принят в отечественной войне с немцами и захватчиками неоднократно, применяя оружие, впервые примененное Нестеровым.

Молодой отважный летчик Виктор Родзевич, раненный в правую руку, считая, что пройдет всего несколько секунд и он останется высоко над землей — один против четырех вражеских самолетов «Хейнкель-III», без единого патрона. Решение принято. Нужно держаться в жертвой зоне самолета «Хейнкель»

и, выбрав удобный момент, ринуться на врага. Другого выхода нет...

Дистанция становится все меньше и меньше. Вот он уже вплотную подошел к врагу. Страшный удар, глухой треск — и бомбардировщик противника, окутанный густым дымом, разваливаясь по частям в воздухе, шумно рухнул на землю.

«Ястребок» Талалихина камнем падает вниз. Но летчик, преодолевая боль ранения, ни на минуту не теряя самообладания, спускается на парашюте.

Мы знаем бессмертное имя командира эскадрильи легких бомбардировщиков — капитана Николая Гастелло. Он сражался в Монголии, участвовал в Финской кампании, и в третий раз родина призвала его на свою защиту.

3 июля 1941 года Николай Гастелло сражался в воздухе во главе своей эскадрильи. От случайного снаряда вражеской зенитной артиллерии, бензиновые баки самолета были разбиты. Самолет в воздухе вспыхнул. Гастелло не растерялся, он со всей своей опытностью боролся с огненной стихией, но сбить огонь ему не удалось.

Это случилось над территорией противника, спуск на парашюте был невозможен — он грозил пленом.

Нужно использовать все, чтобы уничтожить врага и его технику. Эта мысль владеет героем. Враг постыдно бежал от боя в воздухе, но зоркие глаза Гастелло в последний момент заметили на земле большое скопление вражеских бензиновых цистерн и машин.

И Гастелло твердой рукой направил свой пылающий самолет в самую гущу машин противника.

Раздался оглушительный взрыв. Так погиб герой-летчик.

Вслед за Петром Николаевичем Нестеровым, Виктором Талалихиным и Николаем Гастелло шли и идут новые герои-летчики — сталинские соколы, прибегая к страшному удару — тарану, с одной мыслью отстаивать родину, не посрамить земли русской.

Прощаясь с Нестеровым, летчик Родзевич сказал от имени русских пилотов:

«Великий товарищ! Величественно и ярко вплелось твое громкое имя в историю русского воздухоплавания.

Ты горячо любил это дело. Много

Казаков А. А. — русский военный истребитель; в период мировой войны сбил 18 неприятельских самолетов.

работал для развития русской авиации и всегда был впереди на любом поприще. Приехав в г. Киев малоизвестным летчиком, ты в течение года приобрел мировое имя. Ты был не только прекрасным и выдающимся летчиком, но и большим ученым, глубоко понимающим свое дело. Твои работы в области авиации известны всему миру.

Эти работы не только показали твою осведомленность в области авиации, но служат прекрасным показателем внутренней мощи русской авиации.

Одной из удивительных по своей ценности работ является оригинальная и вместе с тем чрезвычайно простая теория управления аэропланом при сильных кренах. Результатом ее явилась известная всему миру первая «мертвая петля», внесшая столь много нового в безопасность на аэроплане.

Ты всегда и везде был первым и до последней минуты остался нашим руководителем.

Своим последним подвигом ты открыл новый путь борьбы в воздухе, вселяя ужас и тревогу в сердца врагов.

Теперь мы не боимся коварных врагов, предательски бросающих бомбы в беззащитных жителей мирных городов. Мы знаем, что в случае надобности пример Петра Николаевича найдет подражателей.

Твой дух еще живет, и твои знамя бесстрашия и отваги подымут сотни отважных летчиков, оставшихся в живых».

На могиле Петра Николаевича четко белеет надпись:

«Путник, преклонись, здесь прах героя Нестерова».

## VII

### МОИ ВСТРЕЧИ С П. Н. НЕСТЕРОВЫМ

Петр Николаевич, как живой, стоит перед моими глазами.

Стройный, высокого роста, блондин с улыбающимися голубыми глазами, он производил впечатление большого человека.

Он часто говорил друзьям:

— Мой отец погиб от чехотки в 27 лет, и я не проживу больше.

Он был действительно предрасположен к туберкулезу. На предостережения врачей он шуточно отвечал:

— Я провожу целые дни на свободе. Мои легкие дышат таким воздухом, какого вы не знаете. Это подкрепляет меня.

Петр Николаевич был очень жизнерадостным человеком, любил театр и литературу и обладал хорошим голосом.

Жена Нестерова, Надежда Рафаиловна, не раз вспоминала его слова:

«Как я рад, — говорил он, — что живу, что дышу, что летаю».

Редкое сочетание было в этом молодом, ярком человеке — суровый ум и детская душа, красота физическая и нравственная.

Впервые я увидел Нестерова в Киеве. Это было вскоре после того, как он получил звание пилота-авиатора.

Второй раз я с ним встретился в Одессе.

Мы говорили о «мертвой петле». Военный летчик В. Н. Есипов обратил мое внимание на то, что настоящим первым изобретателем «мертвой петли» является не французский летчик Перу, а Нестеров.

Последний смущенно заметил:

— Ну, стоит ли об этом говорить.

И затем, сразу оживившись, с большим увлечением заговорил о «мертвой петле».

Он утверждал, что если самолет может быть успешно выведен из всякого положения в воздухе, то отпадает вопрос об устойчивости самолета, то есть тот вопрос, который с первых лет развития авиации занимал мысль ученых, инженеров и изобретателей.

— «Синей птицей» в авиации, — продолжал Нестеров, — все время был вопрос об «автоматической устойчивости», то есть о создании такого приспособления, которое без участия пилота сохраняло бы нормальное устойчивое равновесие и автоматически восстанавливало бы его при нарушении этого равновесия.

И вдруг оказалось, что никаких специальных органов и специального оборудования для автоматической устойчивости не надо, так как тщательно продуманный, целесообразно сконструированный и надежно построенный самолет обладает естественной устойчивостью, и искусный пилот всегда и при всех положениях легко может вернуть утраченную устойчивость, маневрируя рулями.

восхищением смотрел я на Петра Николаевича. Невольно думалось: ес-тирковая «мертвая петля» велоси-ста или автомобилиста по непо-кному готовому треку заставляет рать все сердца, то как же велико-но быть мужество человека, вы-ивающего «мертвый круг» в воз-шой стихии, сильной и смелой ру-направляющего самолет по кри-наклонно, затем летящего вниз-вой, метнувшего самолет снова-ку и, наконец, замыкающего-твый круг».

ак-то я спросил Петра Николаеви-то он испытывал в первый момент-совершении «мертвой петли».

Нестеров ответил так:

- Какое-то жуткое беспокойство,- больше потому, что пришло в го-; что рискуешь жизнью. Но это-дин миг... Вообще же во время-та я испытываю чувство большо-спокойствия. Для меня «мертвая-ля» — это не фокус, я проделываю-не из чувства спортсмена... — и-вался доказывать важное значение-твой петли» в условиях воздуш-обоя в современной войне.

- В воздухе, — сказал он, — я-твую себя гораздо увереннее, чем-томобиле или в поезде. И чем вы-забираюсь ввысь, тем радостнее и-лее гляжу на жизнь.

ы знаете, у меня там, — Петр Ни-евич указал на небо, — никогда-было и, утверждаю, не будет мыс-о возможности упасть и разбиться.-та уверенность, — но, ради бога,-думайте, что самоуверенность, —-альтат моих опытов с «мертвыми-лями». Они так укрепили меня, что-вободно могу подлететь к аэропла-на расстояние двадцать метров и-квивать кругом него всякие пируэ-а это крайне важно для военных-ей. Ведь летая таким образом, все-можно уничтожить неприятельский-оплан. Вот в чем значение «мертвой-ли».

Н. Нестеров принадлежал к чис-самых осторожных летчиков. Ко-в Москве он «переучивался» с-юпоров» на «Мораны», то много-й самым тщательным образом изу-новую систему самолета и только-лтал» по аэродрому — он, опытней-летчик, уже делавший «мертвые-ли».

При этом Петр Николаевич говорил:

— Собственно, летать, конечно, можно бы, но до тех пор, пока я не буду «чувствовать» рулей, решительно не имею права рисковать аппаратом.

Глядя на полеты сначала А. Пегу, а потом Пуарэ, он говорил:

— Боюсь я за Пуарэ. Ведь совсем «на ура» человек летает. Бросается вниз головой, и вся надежда у него на двухмиллиметровую проволоку. При таких резких поворотах руля ничего не будет удивительного, если она лопнет. И тогда... Хотя бы поставил второ-ую, запасную. А так получают-ся опасные акробатические трюки. Ни к чему это. Вот Пегу — другое дело.

Всего больше нравились ему полеты Пике. И он, как истинный знаток дела, любовался не так блестящими «петля-ми», как спокойным, уверенным ма-стерством полета своего французского коллеги и его изумительно пологими спусками, когда аппарат, казалось, парит на одном месте.

Среди летчиков сложилось убежде-ние, что для Нестерова опасностей не существует потому, что он не дове-ряется слепому случаю и всякий опыт его строго рассчитан и обоснован.

Огромный талант Нестерова как лет-чика трогал и пленял своей замеча-тельной оригинальностью. Не поддает-ся учету, что он мог бы дать делу развития авиации, если бы не прежде-временная его гибель.

Один из летчиков, раненных на те-атре военных действий и находивший-ся в период гибели Нестерова в тылу на излечении, рассказывал, что внача-ле отказывались верить известию о-гибели Нестерова, настолько он ка-зался несокрушимым в воздухе.

Захваченные в плен австрийские офицеры говорили, что полеты Несте-рова производили большое впечатле-ние и что они всегда могли отличить его полеты от полетов других. Тому, кто захватит или обезвредит Несте-рова, австрийское высшее командова-ние армии предлагало большую де-нежную награду.

Австрийцы боялись Нестерова, и когда появлялся аэроплан-птица, кра-сиво и вольно паривший в воздухе, австрийцы поглядывали со страхом на небо и говорили:

«Das ist Nesteroff».

Как пытливый исследователь Нестеров не останавливался перед вопросами трудными и спорными. Он всегда стремился уяснить их сущность и при этом всегда выказывал исключительное дарование анализа, умел подойти к делу с такой стороны, с какой собеседник меньше всего этого ждал.

Говорить с Нестеровым на авиационные темы доставляло исключительное удовольствие еще и вследствие его манеры вести спор: он никогда не высказывал положения а priori, защищая его в дальнейшем, но всегда подготавливал собеседника удачными построениями к восприятию своей мысли так, что его положение, становясь заключением, уже само срывалось с уст собеседника.

Этим приемом будить мысль Нестеров владел в совершенстве.

Талантливость его природы и острота анализа проявлялись с особым блеском в умении поставить на обсуждение вопрос, который всеми считался ясным, не подлежащим дальнейшему обсуждению.

Поставить, вскрыть стороны, не привлекающие внимания, и дать новое освещение, подчас парадоксальное, но безусловно строгое.

Его «виражи», например, приводившие всех в восхищение, являлись результатом им же самим поставленного вопроса о функциях рулей, решенного с блестящей красотой и строгостью.

В этой способности анализировать общепризнанное, соединенной и со способностью к широким обобщениям, я вижу ценнейшее качество погибшего как летчика-исследователя.

## VIII ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Три раза родина вздрогнула, затрепетала восхищением и гордостью.

Три раза миллионы людей залюбовались на своего близкого — на человека, такого же, как они сами, три раза сердца их бились благодарностью и любовью.

Три раза Петр Николаевич Нестеров подарил своей родной стране великую красоту, перевитую великой любовью и страданием.

В первый раз это было, когда он сделал свою «мертвую петлю», свою вечно живую петлю.

Родине с ее беспредельной равниной надо было дать победу над пространством. Она сказала своему сыну: победи долину, которая растянулась от края до края...

И он полетел...

Он полетел от старого города к юному, он поднялся в Киеве с восходом солнца и с последним его лучом спустился на землю — необъятность была побеждена.

А 26 августа 1914 года пришел третий черед, последний.

В голубом поднебесье оборвалась эта прекрасная жизнь...

Он одарил родину красотой, подвигом, радостью творчества и отваги. И незабвенна его память на нашей великой, непобедимой, могучей родине.

Герой на войне нашел свой подвиг, и подвиг нашел своего героя.

Не колеблясь и прислушиваясь только к повелительному голосу долга, капитан Нестеров пустил в ход мотор своего аппарата и поднялся навстречу врагу.

Он шел на верную смерть и, вероятно, сознавал это, но от этого сознания не дрогнула его рука, когда он направлял руль своего аппарата на вражеский самолет.

Бестрепетно и уверенно, как бы маневрируя на аэродроме, он пошел на столкновение в воздухе, на катастрофу... И подвиг его увенчался успехом, он увлек с собой и врага.

Не за славой гнался Нестеров, разгоняя над полем битвы свой самолет. Он жаждал подвига, для которого словно был рожден, деяния, для которого призвана была на свет его героическая душа.

Двадцати семи лет погиб этот летчик-художник, благородный воин, погиб в первом в мировой истории воздушном бою.

И если надо искать поэтический образ его жизни и гибели, то что может быть ближе «Песни о соколе», сраженном в воздушном поединке в высоте неба?

«Песня о соколе» заканчивается уверенностью, что капли крови его горячей, как искры, вспыхнут...

Тысячи Нестеровых, окруженные величайшей любовью и заботой социалистической родины, великой

линско-сталинской партии и заботой  
варища Сталина, поднялись ввысь и  
ются за родину со страшной змеей  
шизма, являя всему миру беспри-  
рные образцы отваги, мужества, ма-  
рства.

Советская страна имеет таких лет-  
зов, как Громов, Чкалов, Молоков,  
допьянов, Слепнев, Каманин, Кокки-

наки, Талалихин, Гастелло, Катрич,  
Киселев, Харитонов.

Родина чтит их имена.

Имя Петра Николаевича Нестерова  
также незабвенно для всех, кому до-  
рого дело советской авиации, на зна-  
мени которой написано: «Мы будем  
летать выше всех, дальше всех и бы-  
стрее всех».

## Мастерство и отвага

О черк

... Лишь в борьбе я чувствую  
жизнь — иначе теряю ее величие,  
ощущая скуку...

В. Чкалов

Ломаная линия берега с рельефно выступающими темносиними пятнами леса, мелькнув в последний раз под левым крылом самолета, осталась далеко позади. Начался необозримый водный простор. Дул крепкий северо-западный ветер. Свинцовые волны с белесыми пышными гребнями стремительно мчались навстречу. Самолет шел низко. Стрелка альтиметра на крыла полевое деление: до воды оставалось не более 3—4 метров...

Большие, сильные руки Александра Петровича Лебедева, командира эскадрильи, уверенно лежали на штурвале, слегка вздрагивающем от резких порывов ветра. Флагманский корабль вел за собой десять мощных двухмоторных самолетов, несущих более двадцати тонн ценнейшего груза для города Н. Над эскадрилей реяло восемь советских истребителей.

Участок пути был ответственным и опасным. Здесь фашистские истребители, трусливо прячась в облаках, охотились за нашими самолетами. Поэтому летчикам приходилось быть особенно настороженными: на всем пути вести самолеты бреющим полетом, почти вплотную прижиматься к водной поверхности озера. А такой полет требует большого мастерства. Малейшее неточное движение штурвалом, и... катастрофа неизбежна.

Но Александр Петрович был спокоен за командиров самолетов — они подобраны из самых опытных, самых надежных летчиков гражданского флота. Справа, рядом с флагманским кораблем, шел орденоносец Боканев,

слева летела Валентина Гризодубова — Герой Советского Союза. Когда Александр Петрович бросал взгляд в ее сторону, то неизбежно встречал ее приветливую дружескую улыбку, как бы говорившую: все в порядке, моторы работают отлично.

В минуты напряженного ожидания удивительно медленно тянется время. И теперь час полета казался особенно долгим. Лебедев не спускал серых прищуренных глаз своих с далекого горизонта, зорко всматривался в голубые просветы меж сизых громоздких облаков, закрывавших небо.

— Товарищ командир, противник справа, — коротко доложил Дзуготов, второй пилот, показывая рукой на еле заметные черные точки, вдруг вынырнувшие из-за облаков.

Наперерез курса шли семь «Юнкерсов» и четыре «Мессершмитта».

«Так и есть! Выследили проклятые», — ударила мысль.

В глазах у Лебедева блеснул огонек тревоги.

— Товарищ бортрадист, сообщите самолетам — противник справа, — распорядился он. И одновременно несколько раз качнул крыльями своего корабля, давая тем самым сигнал об опасности.

Радист Тимофеев, прильнув к аппарату, энергично заработал ключом.

Наступили мгновения, которые должны были решить судьбу всей операции.

Самолеты пошли тесным строем. Лебедев теперь уже совсем рядом, в

тольких метрах от себя, видел на-  
ложенные лица Боканева и Гризо-  
вой. Стрелки заняли свои места,  
жеты были повернуты в сторону  
ближающегося противника.

о первому сигналу шесть «ястреб-  
» ринулись навстречу врагу. С пре-  
ной быстротой пронеслись они  
кабиной флагманского самолета и,  
ав высоту, обрушились на фа-  
ских истребителей.

ебедев, передав управление Дзу-  
ву, жадно следил за исходом боя.  
было ясно — немецкие летчики не  
держали смелого, решительного от-  
а. Строй их сломался, рассыпался...  
сколько машин повернули обратно.  
с обеих сторон, как бы захлебыв-  
сь, стрекотали пулеметы, глухо и  
рывисто стреляли пушки, трассирую-  
е пули, описывая крутую траекто-  
ю на сером небе, исчезали в волнах  
ра.

— Товарищ командир! Есть один! —  
торженно воскликнул Дзугутов.

Лебедев успел заметить, как на  
Ликерсе», пытавшемся увильнуть от  
седавшего на него «ястребка»,  
рыкнуло бледнорозовое пламя; истре-  
тель накренился и почти по прямой,  
звон камень, пошел вниз. Над тем  
том, где он упал, поднялось ог-  
нное плотное облако пара, которое  
кти мгновенно растаяло в воздухе.  
Бой продолжался недолго, минут  
енадцать. Немцы, потеряв три само-  
ла, поспешили уйти в облака.

Путь был свободен.

Лебедев вздохнул глубоко и улыб-  
ый, почти счастливой, ответил Гри-  
дубовой, которая что-то оживленно  
ворила ему, сжимая руку в кулак.  
у нее лицо сияло. Немецких «ассов»  
хучили неплохо. Где им тягаться в  
крытом бою с нашими воздушными  
нами!

Но вот и берег. Темная полоска, по-  
жившаяся в долине, стала прибли-  
ься, расти. Вот уже видна сплош-  
стена соснового бора, небольшие  
оения, суда, легкий голубоватый  
лок над трубами...

Скадрилья самолетов прибыла в  
од N.

Александр Петрович Лебедев носит  
груди, вместе с двумя боевыми ор-  
ами, скромный, небольшой значок:  
нем изображен серебряный само-

лет, распластавший крылья над зем-  
ным шаром.

Значок этот говорит о большом ма-  
стерстве, о большой жизни летчика,  
который сумел налетать миллион ки-  
лометров без единой аварии и по-  
ломки.

Миллион! — этот путь пройден за  
сравнительно короткий срок: впервые  
за штурвал самолета Лебедев сел в  
1930 году.

С восьмилетнего возраста он вос-  
питывался на одном из судов Балтий-  
ского флота. Отсюда его закалка, та  
сильная ловкость, которая бывает  
присуща лишь людям с хорошей фи-  
зической тренировкой. А семнадцати-  
летним юношей он уже сражался на  
фронтах гражданской войны, и сра-  
жался отчаянно. Плечо к плечу с  
доблестными балтийцами защищал  
подступы к родному Ленинграду.  
В боях он был четыре раза ранен.  
И каждый раз, вырвавшись из лазаре-  
та, спешил в свою часть, к боевым  
товарищам.

После гражданской войны пришла  
пора упорной учебы во флоте. Увлек-  
ла молодого моряка работа механика  
и рулевого торпедного катера. Здесь  
было много нового, спортивный азарт  
сочетался с вдумчивым изучением  
мощного авиационного мотора послед-  
ней конструкции, которым был осна-  
щен катер. В ясные летние дни он  
белокрылой птицей бороздил на нем  
зеркальную поверхность Финского  
залива. В минуты бешеного преодоле-  
ния пространства, когда катер шел на  
предельных скоростях, руки рулевого  
как бы вращались в штурвал; катер по-  
слушно, почти под прямым углом, де-  
лал повороты вправо, влево, мчал  
вперед неуловимыми зигзагами... А в  
лицо хлестало упругим ветром, соле-  
ные брызги фонтаном обдавали его с  
головы до ног, застывая на кожанке,  
на стеклах очков крупными и блестя-  
щими, как ртуть, каплями. Вернувшись  
из поездки, рулевой посвящал часы  
осмотру мотора; с осторожностью ча-  
совщика он проверял каждую деталь,  
прочищал ее, смазывал, ухаживал за  
ним с ревнивой заботой, и мотор ра-  
ботал безотказно.

Так Александр Петрович пришел к  
летному делу. Авиационный мотор  
был изучен. И жажда полета, которая  
всегда владеет человеком, овладела  
моряком так сильно, как это бывает

лишь у целеустремленных натур. «Буду летчиком», — сказал себе Александр Петрович. Он учился в авиационной школе, не бросая работы, учился со свойственной ему серьезной настойчивостью.

По окончании школы его зачислили в так называемое «матричное звено», куда обычно направляли только опытных, имеющих многолетний стаж пилотов. На обязанности этого звена ложилась ежедневная доставка матриц газет «Правда» и «Известия» из Москвы в Ленинград. В любых метеорологических условиях летчик обязан был точно в срок, к семи часам утра, быть в Ленинграде. Маленькая послушная машина «П-5», на которой работал Лебедев, за все те 950 рейсов, которые совершил он между двумя столицами, ни разу не подвела его. Она пробивалась сквозь туманы, пургу, дождь и всегда во-время опускалась на ленинградском аэродроме. Матрицы немедленно шли в типографию, и через полчаса миллионы читателей получали свежие номера газет. Были дни, когда Александру Петровичу приходилось совершать и по два рейса в сутки — доставлять в редакцию особо важный материал: фотографии, стенограммы, статьи.

Не раз поручались ему ответственные правительственные задания. Он вылетал на розыски пилотов Голубева и Скоренко, потерпевших аварию, спасая рыбаков, унесенных на льдинах. Кольский полуостров, Белое и Баренцево море исколесил он вдоль и поперек. Бывало, розыски продолжались по две, по три недели, в суровую северную зиму, в пургу, густые туманы, в сорокаградусные морозы, приходилось самым тщательнейшим образом «прочесывать» каждый квадратный километр пустынной и хмурой тайги, просматривать сотни и тысячи льдин...

Это было в 1938 году. Александра Петровича как-то среди ночи поднял телефонный звонок.

— Алло, Лебедев? — услышал он голос начальника Северного управления воздушного гражданского флота. — Получена телефонограмма: вчера в районе Чаванги пятьдесят два рыбака унесены в море. Необходим срочный вылет. Ты как?

— Есть срочный вылет!

Через полчаса Лебедев был на аэродроме.

Самолет, разбежавшись по освещенной прожектором дорожке, легко и неслышно взмыл в воздух. Над Ленинградом брезжило серое мартовское утро. Моросил дождь. Падали хлопья снега. По земле стлался густой молочный туман.

«Дрянная погода, — подумал Александр Петрович, — а что теперь на море?»

Самолет шел над южным берегом Белого моря. Внизу сквозь густой туман был виден краешек Кольского полуострова, покрытый дремучим сосновым бором. Кое-где мелькали озера, скованные льдом, извилистой белой тесьмой лежали замерзшие реки, сбегавшие к сизому морю, загроможденному причудливыми льдинами.

Вот и Чаванга... С воздуха поселок походил на беспорядочно рассыпанные по берегу спичечные коробки — одни поменьше, другие побольше. Развернувшись, Александр Петрович посадил самолет на небольшой аэродром. На берегу он увидел знакомую ему картину: женщины, старики, ребятишки глядели с тревогой и мольбой на немолчно гудевшее море. Женщины обступили Лебедева, плача рассказывали о своем несчастье. Александр Петрович, слушая, расспрашивал; нужно было выяснить, в каком направлении и когда угнало рыбаков в море. Потом отметил у себя на карте район, где, по его расчетам, должны были находиться рыбаки, и немедленно поднялся в воздух. С первого же взгляда он понял, что поиски будут нелегки. Море было забито льдами; они шли огромными массивами, то плыли в одиночку, тускло поблескивая отшлифованными краями. На льдинах чернели моржи, издали похожие на человеческие фигуры. А тут еще густой туман застилал даль. Александр Петрович, снижаясь, бреющим полетом, до трех-четырех метров, описывал круги над льдинами и внимательно просматривал их.

Прошел день, второй, третий. Рыбаков не было видно. Лебедев возвращался на берег разбитым, усталым, нервы были напряжены, казалось, предельно. Ведь ежедневно он проводил не менее семи часов за штурвалом. А потом тяжелые встречи с женами, матерями и детьми пропавших рыбаков. К вечеру они терпеливо собирались

аэродроме и терпеливо ожидали полета. И ничего не мог ответить Александр Петрович на вопросы, полные тревоги и страха. Но он успокаивался, улыбался, шутил...

— Ничего, товарищи, ничего, успокойтесь. Завтра я вам в целости и сохранности доставлю ваших муженьков...

А сам до поздней ночи сидел над картой, беседовал со старожилами, сопоставлялся.

Лишь на восьмой день он увидел рыбаков. В семидесяти километрах от берега их льдину подхватило течением и несло к северу. Александр Петрович сразу заметил людей: они стояли на краю льдины и махали ему шапками, плащами. У него радостно замерло сердце и невольно глаза заволокло слезами. Они, они! Он сделал над ними несколько кругов. Запросил вымпелом — есть ли на льдине, нет ли больных. Ответило большими буквами вывел на экран: «Все целы, больных нет...» Тогда он полетел на берег и вернулся с продуктами гостинцами — хлебом, спиртом, сахаром, дровами. Посредине льдины весело запылал костер. Но как перебросить рыбаков на землю? Льдина была небольшой, и сделать на ней посадку самолета «П-5» было рискованно или, вернее сказать, почти невозможно.

Александр Петрович нашел выход. По его требованию из авиационного полка «Апатит» к нему прилетел боевой самолет «У-2». Нужно было обладать отвагой и мастерством, волей и решимостью, чтобы и эту машину посадить на небольшую площадку. Но выбора не было, и Лебедев шел на риск. Первая же посадка прошла отлично: пилот остановил самолет буквально в нескольких метрах от края льдины. На машине этой можно было отправлять на материк только одному человеку, и Александр Петрович Лебедев пятьдесят два раза садил машину на льдину, но спасал всех рыбаков.

Лебедев воспитал в себе бесстрашие.

1939 год. На Карельском перешейке под твердынями города Ленина выбухнула война. Лебедев был принят в армию и как прекрасный знаменитый Севера назначен командиром разведывательного звена.

Скрытно замаскированного среди

леса аэродрома поднялась в воздух маленькая машина «У-2». На ней летел Лебедев. Развернувшись, самолет резко взял курс на север. Утро было туманное, мглистое, видимость плохая. Надеюсь, что его не заметят, Александр Петрович смело повел машину через вражескую территорию. Фронт остался позади. Внизу были финны. Сквозь серую дымку он видел, как по дорогам, перерезавшим лесные массивы, шли колонны грузовиков, пехота. Набирая высоту, Лебедев старался как можно скорее мчаться над опасной зоной. Вдруг где-то под ним застрекотал пулемет, потом второй, третий... Перед самым пропеллером фейерверком взвились трассирующие пули. Сухо разорвался снаряд, оставив в воздухе белый клубочек дыма. Самолет дрогнул. Александр Петрович еще крепче взялся за штурвал руками. «Должен прорваться, — думал он, — не поверну обратно, должен, должен выполнить приказ». Самолет продолжал идти прямо по курсу. Захлебывающаяся трескотня пулеметов, беспрерывные выстрелы зениток — все слилось в сплошной гул. Теперь летчик видел вокруг себя не одиночные разрывы снарядов, а десятки, быть может, сотни разрывов. В воздухе терпко запахло пороховым газом. Лебедев не отрывал глаз от приборов. «Только бы не пробил мотор и бак с горючим», — жила в нем одна мысль. И он даже не заметил, как пуля, пробив пол у кабины, оборвала с перчаткой левой руки кусок кожи... Но вот стрельба стала все тише, тише. Зенитчики, послав ему вслед несколько снарядов, замолкли. Тишина! Александр Петрович глубоко вздохнул, осмотрелся.

К намеченному сроку он был в штабе дивизии. И лишь на аэродроме обнаружил, что самолет был изрешечен пулями — в нем оказалось восемьдесят семь пробоин!

А через пять дней должен был Александр Петрович перебросить одного майора в дивизию, с которой была потеряна связь. Самолет опустился на небольшое озеро, со всех сторон окруженное лесом. Майор решил по компасу разыскать дорогу к штабу корпуса и уговорился с Лебедевым, что тот будет ждать его у самолета. На всякий случай условились о сигнале. Широкоплечая фигура майора в бе-

лом халате скоро исчезла среди деревьев, и лишь на свежем снегу четко легли следы его шагов.

Александр Петрович сел под столетней обомшелой елью. Под ее густыми ветвями, шатром спадавшими до земли, хорошо пахло хвоей и было как-то тепло и уютно. Тишина. Время медленно тянется. Тускло сияет холодное, зимнее солнце.

Майора не было.

Александр Петрович в четвертый раз подошел к самолету прогреть мотор и только что хотел подняться в кабину, как вдруг отчетливо услышал хруст снега под лыжами и сдержанные голоса.

Он оглянулся. Прямо на него из-за опушки леса выходило семь финских лыжников. Они были уже на расстоянии каких-нибудь пятидесяти шагов. Остановились. Один из них что-то крикнул.

Лебедев выхватил пистолет.

Но над самой головой взвыли пули: отрывистое токанье автомата раскати-стым эхом разбудило немую тишину.

Лебедев залег.

Финны, выждав немного, пошли к самолету, видимо уверенные, что им удалось убить летчика. Шли они без предосторожностей, напрямик, весело переговариваясь между собой. Когда они были на расстоянии всего лишь нескольких шагов, Лебедев, встав на колени, почти в упор дал по ним очередь.

Все попадали в снег. Не давая опомниться, держа наготове пистолет, Лебедев ринулся к врагу и схватил автоматы. Приказал встать. Поднялось только шестеро — седьмой был убит. Александр Петрович, повесив на себя

трофейные автоматы, повел пленных по следу майора. Часа через полтора он уже был в расположении своих частей.

Во время финской кампании Лебедев много раз летал в глубокий тыл финнов, много раз опускался на территорию врага с разведчиками; выполняя боевые задания, он сумел налетать более трехсот часов!

Орден боевого Красного Знамени украшает отважного летчика.

Война с белофиннами окончена. Александр Петрович совершает рейсы между Москвой и Ленинградом, осваивает новые воздушные трассы, участвует в геологических экспедициях по Кольскому полуострову.

Но при первой же опасности, нависшей над родиной, в первые же дни великой отечественной войны Лебедев снова на боевом посту.

На этот раз свою маленькую машину-разведчика он сменил на могучий воздушный корабль. И снова бой. И как в недавние славные годы, отвага, мужество, находчивость, мастерство не покидают сталинского сокола и его товарищей.

Правительство наградило командира самолета Александра Петровича Лебедева и бортмеханика Степана Николаевича Шевцова орденами «Красная Звезда».

В просторном ангаре самолет Лебедева всегда в боевой готовности. Его экипаж в любую минуту готов подняться в воздух, чтобы выполнить любое трудное, рискованное боевое задание с тем же успехом, с тем же блеском и беззаветной преданностью родине.

## Эпизод обороны Москвы

Храброго, говорят, и смерть стра-  
тся. А для хорошо подготовленных  
т в бою несчастных случайностей.

1 и 2 декабря 1941 года оста-  
тся незабываемыми днями в жизни  
комсомольца Г. А. Шадунца. Это бы-  
т дни испытаний, дни подвига, дни  
тровой проверки всего, что двадцати-  
тний юноша сумел воспитать в себе  
бестревожные будни настойчивого  
чения и работы.

Старший сержант Шадунц принимал  
частье в великой битве под Моск-  
тй. Орудие зенитной артиллерии под  
командою Шадунца было установлено  
в огневую позицию, против которой  
взразилась ожесточенная двухдневная  
атака фашистских танков. Прорыв на-  
шей линии обороны в этом месте гро-  
зил бы тяжелыми последствиями.

Это было в районе железнодорож-  
ной станции Хлебниково, почти в пре-  
делах орудийной досягаемости окраин  
Москвы. Зенитные орудия были раз-  
мещены на передовой полосе передо-  
вой обороны. Позади, вдоль шоссе,  
внулась деревня Кио. Сейчас же за  
деревней, параллельно линии фронта,  
проходило полотно Окружной желез-  
ной дороги. Там, в глубине, курсиро-  
вал наш бронепоезд. Он поддерживал  
огнем наиболее наиболее угрожаемые  
пункты фронта. Малейший отход в  
том месте дал бы врагу возможность  
захватить станцию и перерезать желез-  
нодорожную линию. Это грозило сво-  
бодному передвижению нашего броне-  
поезда вдоль всей линии боя и откры-  
ло фашистским танкам выход на  
оссе.

Долгие часы утром первого декабря  
ночью, и на рассвете, до полудня  
ведующего дня бушевал над нашими  
позициями огневой вихрь — предвест-

ник атаки. Снег вздымался под сви-  
стящими пулями, минами, снарядами и  
крутился серебряным смерчем.

Первого декабря одиннадцать фа-  
шистских танков шли в атаку на тот  
узкий отрезок фронта, на пригорок пе-  
ред деревней Кио, где находилось  
орудие Шадунца. Атака была отбита.  
Второго декабря немцы выслали двад-  
цать три танка. Развернувшись в две  
шеренги, они медленно стальной лавой  
подкатывались к нашим позициям.  
Смертоносный огонь врага подавил  
наши огневые точки. Наша пехота, по-  
давшись несколько ближе к деревне,  
залегла. На фронте протяжением в не-  
сколько сот метров, лицом к лицу с  
надвигающимся врагом, осталась оди-  
нокая горсточка людей — орудийный  
расчет комсомольца Шадунца. Так  
сложилась на короткое время обста-  
новка боя. Этот момент враг мог ис-  
пользовать для прорыва нашей оборо-  
ны. Но семь немецких танков запыла-  
ли кострами от огня одного орудия  
комсомольца Шадунца. И это стало  
поворотным моментом боя. Двухднев-  
ные атаки бесславно кончились  
для гитлеровских разбойников. На тре-  
тий день наши резервы уравнили  
силы и несокрушимой стеною встали  
на пути врага.

Бойцы орудийного расчета товарища  
Шадунца в минуту решительного ис-  
пытания просто, не задумываясь, дей-  
ствовали так, как того требовали самые  
высокие, самоотверженные побужде-  
ния, самое светлое чувство — чувство  
родины.

Гайк Авакович Шадунц, армянин по  
национальности, в Красную Армию  
пришел в 1939 году. Ему было тогда  
двадцать лет. Его назначили в зенит-  
ную батарею. С первых же дней его

заинтересовали и увлекли чудесные механизмы, с которыми он соприкоснулся на батарее, — такие сложные, такие точные, послушные в умелых руках того, кто их хорошо изучил, понял. Шадунц увлекся ими. Его всегда интересовала техника. Он любил присматриваться к механизмам приборов, к их устройству. Недаром после окончания средней школы в Баку он поступил в Бакинский индустриальный институт, на машиностроительный факультет. Он мечтал получить в свое распоряжение сложную машину, изучить ее во всех деталях до последнего винтика и сделать ее послушной своей воле. И вот мечта сбылась. В батарее Шадунца назначили командиром зенитного орудия. Наконец-то он сможет в совершенстве овладеть механизмом, который ему доверили. Он решил достичь этой цели со всем упорством и настойчивостью.

Без большого труда оказался он на первом месте по состоянию материальной части. Его орудие всегда содержалось в образцовой чистоте и в абсолютной боевой готовности. Надо было только в точности выполнять требования устава. Но этого мало. Когда он перешел к изучению боевых возможностей орудия, его особенно заинтересовала стрельба из зенитного орудия по наземным целям. Знания, которыми он овладел и которые с успехом применял при стрельбе по воздушным целям, оказались недостаточными. Он начал усиленно работать, учиться.

Пришла война. Убийцы и грабители ворвались в любимую страну. У них оказалось количественное превосходство в танках. Уменьше стрелять по наземным целям стало для зенитчика настоящей необходимостью. Шадунц совершенствуется в наземной стрельбе.

Он поспешно завершает круг специальных технических знаний. Но остается еще одна сторона дела — важнейшая из всех, которыми предстояло овладеть младшему командиру, артиллеристу Красной Армии.

Орудийный расчет — это маленький людской коллектив. В нем действия одного человека неразрывно связаны с действиями другого. Выстрел является результатом совместных усилий всего расчета. Неточность одного уничтожает плоды работы всех остальных. Промаях грозит бедою всем, хотя бы он и произошел по вине одного. Для высо-

кого уровня коллектива нужен высокий уровень работы каждого члена его. Здесь необходимы спаянность и боевая дружба.

Воспитанием этих качеств в своем орудийном расчете и занялся Шадунц с особым рвением. Недаром был он в комсомольской организации с 1936 года, то есть еще за три года до прихода в Красную Армию. Комсомол воспитал в нем чувство коллектива, здесь он научился ценить товарищество. И в армии он оставался активным комсомольцем. В своем подразделении он был секретарем бюро комсомольской организации.

Товарищеское сближение и дружбу в своем орудийном расчете Шадунц основал прежде всего на помощи друг другу в работе. Он стал и руководителем и неутомимым помощником каждого из своих друзей подчиненных, он готовил всех так, чтобы каждый боец мог в случае нужды заменить командира орудия и сам принять на себя ответственное руководство в бою.

Так в орудийном расчете был достигнут общий высокий уровень специальных знаний, дисциплины, нравственного чувства и политического сознания. Так создалась крепкая, искренняя дружба, драгоценная в бою.

Наступила пора проверки. Ночью 23 ноября 1941 года батарея получила приказ выступить на фронт. Батарея идет в Дмитровском направлении и занимает огневую позицию вблизи деревни Ложки, на переднем крае нашей обороны. Семь дней она ведет стрельбу по немецким автоматчикам и минометчикам.

Враг несет потери. Его попытки просочиться в наше расположение терпят неудачу. Батарея подкрепляет действия славной пехоты. На всем участке фронта наша армия не отступила ни на шаг.

Орудийный расчет Шадунца все больше осваивается в обстановке полевого боя.

Тридцатого ноября приходит приказ сняться с позиции и перейти в деревню Кио. Там — тревожно. Грозит прорыв неприятелем Окружной железной дороги.

Поздним вечером батарея прибывает на новое место и занимает указанную ей позицию.

Обстановка усложняется с каждой минутой. Со всех сторон данного уча-

а фронта приходят тревожные ве-  
сти. Позиция, занятая батареей, оказы-  
вается все более и более обнаженной.  
В поле зрения батареи происходят  
перемещения наших войсковых частей.  
Перемещения указывают на все  
растающий натиск врага. Наши от-  
ряды на этом участке, связь батареи  
с командованием временно прерывает-  
ся. Положение становится все более  
сложным. Но фронт попрежнему  
тихо, молчалив. И в этой тишине нара-  
стающие события приобретают еще  
более грозные очертания.

К полуночи батарея окапывается. У  
каждой из батарей сходит группа коман-  
диров и красноармейцев. В поле метет  
снег. Мороз. С пригорка ви-  
ден спуск к овражку. А дальше за ов-  
ражком шоссе снова тянется вверх, к  
Горкам. Слева овражек превра-  
щается в длинный танковый ров; выше,  
при подъеме, чернеет силуэт деревни  
Нестерихи. В Горках и в Нестерихе —  
позиции. Там их исходные позиции, от-  
туда ожидается атака. Собравшись  
вместе, бойцы и командиры долго мол-  
чат. Всеми владеет торжественное  
ожидание больших событий.

— Дело ясное,—говорит Шадунц,—  
ужас дан Сталиным — приказ будет  
исполнен.

Все медлят разойтись по своим ме-  
стам. И вдруг в эту торжественную и  
ожидательную минуту ожидания боя при-  
ходит известие: Ростов взят нашими  
войсками. Немцы разгромлены и бегут.  
Радость охватила всех, забыты были  
мороз и вьюга, близкая опасность и в  
предстоящий бой готовы были идти  
храбро и радостно.

В пять часов утра, когда было еще  
темно, завалили первые минометы. Немцы  
повели огонь по всему участку  
фронта. Огневая лава становилась с  
каждой минутой все сильнее и сильнее.  
Была подготовка к атаке. Наши  
солдаты, собрав все силы, почти нетер-  
пеливо ждали. Вдруг — стон у орудия  
Шадунца. Упал красноармеец Алек-  
сандр. Серьезно ранен, выбыл из строя.  
Прошел час, другой, третий. Рассве-  
ло. Огонь минометов не утихал. Насту-  
пил полдень. На небе, затуманенном  
дымной мглой, пробилось чахлое де-  
кабрьское солнце. Обстрел продолжал-  
ся. Солнце уже стало склоняться к  
вершинам леса за Нестерихой, а нем-  
цы все еще не начинали атаки. Огонь

же минометов свирепствовал не осла-  
бевая. Только к четырем часам дня,  
когда уже засинели ранние зимние су-  
мерки, из Горок на шоссе выполз тя-  
желый головной фашистский танк. Он  
был хорошо виден с пригорка, с огне-  
вой позиции Шадунца.

За головным танком показались де-  
сять средних. Они развернулись в две  
шеренги и спустились вниз к овражку,  
держа курс на наши позиции. Следо-  
вавшие за танками фашистские мино-  
метчики и автоматчики открыли со-  
средоточенную яростную стрельбу.  
Расчеты двух наших орудий были вы-  
ведены из строя и замолкли. В третьем  
орудийном расчете оставался только  
один человек — командир орудия ком-  
сомолец Громышев. Громышев продол-  
жал стрелять, сам заряжал, сам следил  
за совмещением орудийной и прицель-  
ной стрельбы. Огонь его орудия не ос-  
лабевал.

Тяжелый головной танк приближался,  
не более восьмисот метров отделяло его  
от орудия Шадунца. И тут замолкло  
орудие Громышева. Чудесное спокой-  
ствие нашло на Шадунца. Он следил  
за маневрирующим фашистским танком  
и спокойно выбирал момент, когда  
можно будет нанести удар. Сумереч-  
ное небо уже начинало темнеть, но  
снизу видимость была еще отчетлива.  
Внезапно Шадунц подает команду к  
стрельбе бронебойным снарядом. Вы-  
стрел. Фашистский головной танк сра-  
зу оседает, останавливается; его лобо-  
вая броня опускается к гусеницам,  
расколовшись от верха почти до сере-  
дины. Три фашистских танкиста вы-  
скакивают из кабины и бросаются бе-  
жать. Остальные так и остались в  
танке, очевидно пораженные насмерть.  
А тут наша пехота усиливает огонь. И  
Шадунц выпускает снаряд за снарядом  
по танкам, по минометчикам. Восемь-  
десять снарядов бросил он в атакую-  
щих, поддерживая огонь нашей  
пехоты.

Вся группа немецких танков пово-  
рачивается назад, стремясь укрыться в  
деревне. Но и там настаивает отступаю-  
щих бронебойный снаряд Шадунца и  
разбивает еще один танк. Танк пламе-  
неет, как яркий костер, в сгущающем-  
ся сумраке раннего зимнего вечера.

Первая танковая атака окончена. Ба-  
тарея отводится за деревню. Нужно  
почистить орудия, вновь привести их  
в боевую готовность. Защищает друж-

ная работа. Расчеты изготавливаются к бою. Наступает синяя декабрьская ночь. Чистое небо и яркие звезды, как бывают они чисты и ярки на далеком юге, в родном Нагорном Карабахе. В эту ночь Шадунц вспомнил отца и думал, что не осрамил его.

Вторая атака началась следующей ночью. На переднем крае наших позиций были установлены орудия из расчетов Громышева и Шадунца.

С полуночи до полуночи бесновались немецкие минометы. В полдень фашисты сосредоточили свой огонь на орудиях Громышева и Шадунца. Они берут наши огневые точки в пылающее кольцо разрывов. Более трех часов длится обстрел. Кольцо огня сжимается, появляются танки. Они выходят из Нестерихи, расположенной на левом фланге. Надо готовиться к фланговой атаке. Первый удар должен обрушиться на орудие Громышева, расположенное слева от Шадунца.

Более двадцати трех танков выходит из деревни сомкнутой колонной. Они хорошо видны, бойцы их считают. Тяжелый головной танк держит курс на шоссе. Несколько средних танков, пройдя небольшое расстояние, начинают маневрировать, скрываются; они залегли в засаде и открывают сосредоточенный огонь по нашим орудиям.

Головной танк выдвигается. За ним движется основное ядро вражеской группы. Орудие Громышева первым открывает огонь, но сейчас же замолкает. Неприятельский огонь выводит из строя орудийный расчет Громышева и поражает насмерть командира. Снова орудие Шадунца остается одиноким на переднем крае обороны. Теперь огонь неприятеля сосредоточен на нем.

Головной фашистский танк приближается к шоссе. Прицел взят. Шадунц подает команду. Гремит выстрел, снаряд ударяет в основание танковой башни, она взрывается, взлетает. Наши пехотинцы кричат: «Ура! Башня улетела».

Фашистская машина замирает. К ней направляются три средних танка с целью вывести ее из боя. Они близко подходят, останавливаются. Фашистские танкисты выскакивают из машин и кидаются к подбитому танку. Шадунц подает команду: «По фашистам, гранатой, трубка 17, прицел 8, угломер ноль, — огонь!» Снаряд разрывается

над группой бандитов. Они бросаются обратно в свои кабины.

Вражеские танки пытаются развернуться и построиться. Второпях маневрируют неуклюже, лезут друг на друга. Наконец им удается построиться в боевой порядок и продвигнуться вперед. На усиленный огонь Шадунца враг отвечает возрастающим обстрелом.

Метким выстрелом еще один немецкий танк подбит и останавливается. Бойцы расчета и командир его окрылены успехом.

Огонь неприятеля так силен, так учащен, разрывы ложатся так близко около орудийного расчета, что приходится держаться, плотно прильнув к тому месту, где оказался. И надо избегать всякого лишнего движения. Наводчик Таранов без объяснений, с полуслова понимает своего командира, безошибочно берет цель, которую кратко обозначает командир; заряжающий Василий Петров весь сливается с другими в одном боевом напряжении.

Боец Конев ведет в этой бушующей, раскаленной атмосфере боя работу, которая требует хладнокровия, спокойствия и точности. Он управляет совмещением орудийной стрелки с стрелкой прицела. Командир орудия Шадунц стоит рядом с ним, тесно к нему прижавшись, чтобы во-время уловить глазами малейшую неточность, какую может просмотреть боевой товарищ, и во-время помочь ему исправить ошибку. Головы их прильнули одна к другой, каждый слышит дыхание другого.

Неприятель стервенеет. Все ближе ложатся снаряды, сжимаются огневые точки. С воем разрывается мина на бруствере почти у самых колес орудия. Боец Панкратов падает замертво. Его товарищ Конев отпрянул, но лицо его залито кровью, кровь брызжет в лицо Шадунца, — так близко прижаты их головы одна к другой. Осколок попал Коневу в голову.

Но Конев не хочет уходить в укрытие. Командир же отсылает его на перевязку. Командир настаивает. Конев возражает: «А кто ж будет за меня? Это не простое дело — совмещать стрелки». Под огнем к орудию подползает комиссар батареи Сажнев. В самый острый момент боя он явился ободрить боевых друзей. Сажнев уло-

аривает Конева уйти в укрытие и делать перевязку.

Когда Конев уходит, Шадунц становится на его место и сам ведет совмещение стрелок. Но ему одновременно надо и командовать, указывать цели и корректировать огонь. Это, конечно, может повредить делу. Но не напрасно в оружейном расчете Шадунца каждый боец знаком со специальностью своего товарища и может при нужде заменить его. Товарищ Шадунц поручает третьему номеру работать за четвертый; красноармеец Волошин становится на место раненого Конева.

Огневая атака врага делается все жесточайшей; снова надвигаются танки. Опасность подходит вплотную. Обычно товарищ Шадунц горяч, порывист, но сейчас он спокоен, и так же спокойно, ровно работают все его товарищи: каждый из них уверен друг друга.

Еще один удачный выстрел. Подбит еще один танк. Линия атакующих танков снова ломается. У врага — замечательство: выводится из строя третья машина, третий танк, подбитый оружием Шадунца. Наша оборонительная линия усиливает огонь. Неприятельские танки поворачивают к Нестерихе. Но зато враг обрушивает усиленный шквал огня на орудие Шадунца, прикрывая отход танков.

Подноска снарядов становится все затруднительней. Приходится доставлять их ползком. Шоферу Люлихину берется помогать в этом лейтенант Земляков. Они надевают на плечи веревочную петлю, привязывают к ней снаряды и так, ползком, подтаскивают их.

Огонь неприятеля становится с раз-

гаром боя настолько сильным, что снаряды и мины образуют вокруг орудия сплошное клокотанье разрывов; ползти почти невозможно. И тогда подносчики снарядов прибегают к хитрости. Распустив лямки, они подвязывают веревку, и канат начинает работать как конвейер. Один из бойцов подвязывает к нему снаряды, другой подтягивает их и, отвязав, бросает свободный конец обратно. Настойчивость отпора заставляет отступить фашистские танки. Они уходят за прикрытие и возобновляют фланговый огонь по нашим позициям. Шадунц наблюдает и видит, как они скрываются за домами. Он отдает команду бить гранатой по избе. Наводка ефрейтора Баранова безукоризненно точна. С первого же выстрела изба разваливается и открывает один тяжелый и один средний танк. Тяжелый маневрирует, пытается прикрыть собой средний. Оба хорошо видны. Команда — и три броневой снаряда разбивают тяжелый танк. Это уже четвертый, разбитый за день оружейным расчетом товарища Шадунца. Он продолжает стрелять с неослабевающей силой. И средний танк поворачивает вспять, чтобы скрыться, но меткие удары доблестного оружейного расчета настигают его. Танк пылает. Это — пятый. Танкисты, выскочив, бегут в деревню. Отступление прикрывает фашистская пехота. Наш оружейный расчет осыпает ее гранатами.

Вечер. Бой смолкает. Атаки фашистов отбиты. Фронт у Хлебникова не дрогнул. Приказ Сталина выполнен.

А после боя старший сержант Гайк Авакович Шадунц, произведенный в младшие лейтенанты, был принят в ряды ленинско-сталинской партии.

## В освобожденной Ясной Поляне

Комиссия, назначенная Академией наук СССР для обследования разрушений, произведенных фашистами в Ясной Поляне, 26 декабря приехала по железной дороге в Тулу.

От Тулы до станции Ясная Поляна — пятнадцать километров. Железнодорожное сообщение еще не налажено. Поезда до Ясной Поляны пока не ходят. Из Тулы была послана дрезина, чтобы обследовать железнодорожный путь. Часа через два нам сообщили, что путь свободен.

Чудесный декабрьский день. Порошит снег, сугробы затрудняют наш путь. Итти от станции до усадьбы четыре километра.

Вот при подъеме на гору — первые следы войны: слева от дороги валяется отброшенный, очевидно взрывом, передок от немецкого грузовика, а шагах в тридцати от него — перевернутый зеленовато-серый грузовик. Нас предупредили, что итти надо по ездовой дороге, никуда не сворачивая, иначе можно наступить на мину.

На полпути к дому Толстого — усадьба лесничего «Засака», куда в последние годы своей жизни ходил говорить по телефону Лев Николаевич. На месте дома торчат обгорелые стены.

На перекрестке Киевского шоссе (Орел—Тула) и дороги на усадьбу Толстого — остатки разгромленного немецкого ДОТа. Отсюда вражеская артиллерия обстреливала Тулу. Валяются в беспорядке соломенные чехлы от снарядов, тут же в большом порядке сложены штабелями неиспользованные артиллерийские снаряды с немецкими клеймами и надписями; в опешке фашисты не успели захватить их с собой.

На пересечениях дорог всюду на столбах дощечки с немецкими надписями.

Направо, сквозь сетку безлиственного березняка, виднеется больница. На первом плане — обгорелый и закопченный остов амбулатории и тут же пепелище других больничных деревянных построек. Фашисты подожгли их, отступая 14 декабря.

На горке, налево от дороги, еще более удручающее зрелище: сожженная школа-десятилетка имени Толстого, с такой любовью оборудованная трудящимися к столетию рождения великого писателя. От школы остались одни обгорелые стены. Все погибло от пожара немецких варваров: и замечательное оборудование, и весь школьный инвентарь, и библиотека в 18 000 томов. Осталась невредимой лишь огромная мраморная статуя Толстого, с высоты своего пьедестала вззирающего на хаос и разрушение.

Вот направо белые башни — въезд в усадьбу Толстого, от них подъем по «прошпекту», который описан в «Войне и мире». Вот белый, а теперь местами закопченный, дом Льва Николаевича, где в последние годы находился организованный советским правительством меморативный бытовой музей. Музей посещался сотнями тысяч советских граждан, приезжими иностранцами и производил на большинство огромное впечатление. Это подтверждают многочисленные записи в книге посетителей. Сейчас в музее пусто. Оставшиеся вещи в беспорядке свалены в одну комнату (залу). Зияют пустотой рамы от картин и портретов. Но и рамы уцелели не все, многие из них немцы пустили на растопку печей, а картины и портреты

досто похитили и, говорят, отправили в Берлин.

Поднимаемся на второй этаж. Первая комната, так называемая библиотечная, вся обгорела, потолок и пол овалились. Дальше — обгоревшая спальня Льва Николаевича, комната фьи Андреевны со следами пожара. Дом Толстого был нарочито подожжен фашистами 14 декабря, во время отступления. К дому среди дня съехала автомашина с тремя немецкими офицерами. Они ворвались в дом, тащили баки с горючим, пуки софы и зажгли дом в трех местах. В спальне Толстого они разложили коров, на том самом месте, где стояла кровать Льва Николаевича.

Но, к счастью, дом, в котором жил Лев Толстой, немецким варварам сжечь не удалось. Он был спасен от огня благодаря исключительному мужеству сотрудников музея и местной молодежи.

Идем на могилу Толстого, которая находится почти в километре от деревни, в лесу Старого Заказа — место, выбранное для погребения самим Толстым.

На дороге валяются, занесенные снегом, разбитые немецкие грузовики и машины, остатки снарядов. Подходим к кладке, обсаженной большими деревьями, среди которых — одинокая величавая могила Толстого. Что же ей теперь? У самого входа на площадку — груда окоченелых немецких солдат, частью одетых, частью совершенно нагих, наваленных кучей друг на друга. А неподалеку от могилы лежат семьдесят пять березовых крестов со знаками свастики и надписями. Это могилы фашистских офицеров.

Немцы имели полную возможность похитить офицеров в другом месте, например около своего госпиталя, где было много свободных площадок. Но могила в лесу было неудобно: росли корни деревьев; трупы приходилось носить за целый километр. Но надо было оскорбить великую могилу, надругаться над памятью Толстого, оскорбить нашу национальную святыню.

Что происходило в Ясной Поляне с октября по 14 декабря 1941 года, во время хозяйничанья там фашистов? Передаем вкратце рассказы очевидцев: сотрудников музея-усадьбы, кол-

хозников, преподавателей яснополян-ской школы.

Два здания, занятые музеями — бытовым (дом Толстого) и литературным, — несмотря на наличие хорошо оборудованной больницы, были взяты немцами под госпиталь, преимущественно для офицеров.

Все музейные экспонаты были вынесены из комнат. Раненые немцы лежали на сене и соломе в комнатах обоих зданий. Площадка перед домом была превращена в скотобойню: здесь убивали коров, свиней, здесь же развешивали мясные туши.

В школе помещался штаб дивизии СС — «Великая Германия».

В усадьбе были пленные красноармейцы; их заставляли пилить и колоть дрова. Сохранялись они запертыми в водоканке, почти без пищи, ходили босиком, несмотря на мороз, без шапок, обвязывая головы полотенцами.

В деревне Ясная Поляна фашисты повесили колхозника Николая Ивановича Власова (28 лет) и жителя другой деревни, эвакуированного в Ясную Поляну. Фашисты насиловали женщин, грабили и тащили все, что попадалось под руку.

27 декабря в Ясной Поляне было устроено общее собрание, на котором присутствовали члены комиссии Академии наук, сотрудники музея, яснополян-ской школы, колхозники и колхозницы.

После вступительного слова председателя комиссии члена-корреспондента Академии наук И. И. Минца на собрании выступили яснополянцы, пережившие все ужасы фашистского ярма. Одна за другой выступают преподавательницы школы-десятилетки М. И. Нестерова, С. А. Грацианская, Е. В. Соловьева.

Говорят со слезами на глазах.

— Все, что мы знали о фашистах до их появления, все, что читали в газетах, — все бледнеет перед ужасной действительностью. Понять фашистов до конца может только тот, кто видел их, кто на себе перенес их иго. Почти два месяца мы были в их власти. Мы переносили надругательства, мы видели, как они издеваются над русским народом, над русской культурой. Они не считали нас людьми. Но сами они не люди, а звери! Они доказали это всем своим поведением. Где их хвале-

ная культура? Стены школы испещрены порнографическими надписями. Все немцы сплошь покрыты вшами... Они несут погибель всему живому, стараются разложить и разлупить все, с чем соприкасаются.

— Если бы вы видели, как они проводят свой досуг по вечерам! Берут бумагу, карандаш, чертят кое-как елочки, домики, раскрашивают, тщательно надписывают и посылают по почте в Германию в качестве рождественских подарков. Они отправляют к себе домой все, что сумеют награть, — куски материи, куски марли, отнятые у колхозниц пеленки и распашонки для грудных детей, банки с гуталином, стулья...

— Мы, видевшие фашистские армии, можем лучше всех оценить все величие Красной Армии. Она не только избавительница, она носительница культуры даже в военной обстановке.

— В нашей школе был штаб дивизии СС — «Великая Германия». Был отборный командирский состав, люди с высшим образованием, студенты. Приезжал сам генерал Гудериан... Вот два штабных офицера, оба почти мальчишки, двадцати — двадцати одного года. Подходят к статуэтке Пушкина:

— Чей бюст?

— Пушкина.

— Пушкин — коммунист?

Мы начинаем объяснять, и слышим тупой ответ:

— Нет, Пушкин — коммунист. Он Júde.

— Чье это имя?

— Это Ясная Поляна Льва Толстого, где он жил и творил свои произведения.

— Кто он был? Поэт? Коммунист?

— Да нет же. Его знает весь мир — это великий мировой писатель...

— Не знаю... Я не слыхал.

Они удивляются, что у Советов есть средние школы. Не верят, что школа дает законченное среднее образование, позволяющее поступать в высшее учебное заведение.

Их ответ на наше объяснение: «Ну, да, конечно, это только тут, на показ, потому что в Ясную Поляну приезжают иностранцы. В других местах у Советов таких школ нет».

И все это безапелляционно, с потрясающей наглостью.

Обер-лейтенант Ганс Майер, выгнавший учительницу С. А. Грацианскую

из своей комнаты, услышав звуки оружейной стрельбы, издевается над русскими, утверждая, что они не умеют даже стрелять. Ведет себя чрезвычайно нагло. На другой день он уезжает, а через три дня его, простреленного, привозят из-под Тулы; к вечеру он умирает, и его хоронят рядом с Толстым.

— Два офицера видят десятилетнего ребенка, моего внука, — рассказывает один из педагогов, — и по-немецки говорят между собою: «Ну, этот говорить по-русски уже не будет. Все скоро будут говорить только по-немецки, а русские слова будут помнить только уцелевшие старики».

В библиотеке они увидели сочинения Гейне на немецком языке. Гейне их приводит в ярость: «Júde, Júde!» И с презрением выбрасывают за окно или суют в печь ценные библиотечные экземпляры.

О русском искусстве они никогда не слыхали. Уверены, что его совсем не было. Имена Глинки, Чайковского, Репина, Сурикова ничего не говорят фашистским воякам.

В комнате преподавательницы музыки, старой консерваторки Е. В. Соловьевой, висели в застекленных рамках портреты великих композиторов. Соловьеву выгнали на улицу (ее и других преподавательниц приютили колхозники), а вместо композиторов под стекло были вставлены порнографические карточки.

— Когда я еще жила в своей комнате, во время обеда, — рассказывает Соловьева, — вошел фашист. Молча сел за стол и съел всю мою трапезу; потом начал рыться в вещах, набрал всяких тряпок, а уходя, ввалил себе на спину два стула, предупредив, что придет завтра. На другой день пришли два фашиста-офицера; один — бывший парикмахер, другой — художник. Тоже сели за стол — есть мою картошку. Входит вчерашний фашист, снимает при всех свои штаны, отряхивает их около стола — сыплются вши; потом снимает носки опять встряхивает о ножку стола — вшей падает еще больше; затем кладет всю одежду на мои подушки, на кровать, которая стоит тут же. Даже два других немца не выдержали и начали его стыдить. Переодевшись, он ушел с ругательствами.

— Перед тем как уходить, фаши-

мы разложили вокруг школы костры перетащили туда все оставшееся оборудование школы, книги из библиотеки. Так погиб весь школьный инвентарь, ценная библиотека в 18 000 земпларов, все ноты и прочее.

— В детском саду, — рассказывает старый педагог-дошкольник, — в первый же день сожгли все парты, столы, все деревянные предметы, отняли е тулупы, детскую одежду и уничтожили инвентарь. Лошадь детского сада, которой они сами пользовались, какой-то шист на улице отнял у конюха и нал неизвестно куда. Мои протесты помогли, только издевались надо мной, всячески унижали меня, педагогов и русских детей.

Вслед за педагогами выступают колхозники.

Старик-колхозник Кременецкий говорит:

— До трех раз выгоняли все мое хозяйство с малыми ребятами на улицу. Ребятишки подняли шум, кричат, ачут. А они гонят всех из хаты. Вызвали, обчистили все, разули, раздели, потом сожгли и дом и двор. Теперь мы с малыми детьми на улице.

Бывший кучер Л. Н. Толстого, прерарельный Иван Васильевич Егоров, разно рассказывает:

— А меня разули середь улицы. Радали, как обыкновенно разувают... Чего уж там? Фашист встретил на улице, берет в ноги пальцами — дескать, сылай валенки. Я будто не понимаю, говорю: «Не знаю по-вашему. Чего нарочно?» Он как толкнет меня в грудь. Ядом сани, я повалился в сани, ноги

кверху, тут в одну минуту фашист стащил с меня валенки. Остался босиком. Холодно. Я к начальнику с крестом, показываю ему босые ноги. Он смеется, записал, кажись, мою фамилию, а сам пинком отшвырнул меня... Какое уж тут начальство? У них у всех одна политика!.. — заключает свой рассказ Иван Васильевич Егоров.

— Не пожалели даже живых существ — пчелок, — рассказывает молодая колхозница К. — Я их просила не трогать ульи в чулане. Они ведь никому не мешают и никому вреда не делают. Мы забивали досками чулан три раза. Нет, разломали-таки, пчел облили холодной водой и погубили. А меня заставили пол мыть на квартире у начальника, доктора Шварца, и в лазарете. Я мыла, мыла, ослабла вся, вспотела, говорю: «Больше не могу и на улицу бегать не могу, на мороз, раздевши». А доктор Шварц говорит по-русски и сам смеется: «Мой еще. А если тебе жарко, разденься догола и мой пол нагишом...» Вон куда клонит! Ну, я все-таки убежала.

— Нет им оправдания! Если бы еще раз мы услышали, что немцы подступают, мы бы уползли ползком. Все лучше, лучше смерть, чем жить хоть один день под игом фашистов. Мы испытали это... Их надо растоптать, уничтожить до конца... И Красная Армия их растопчет, освободит от них всю нашу советскую землю, как освободила Ясную Поляну.

Таков общий голос яснополянцев, который мы слышали на общем собрании в усадьбе Толстого 27 декабря 1941 года.

## Наша девушка

Седьмой день двигался в тылу у противника большой обоз, пробиваясь к своим. Шли усталые люди. Шли, увязая в грязи, промокшие, не спавшие по трое суток, с одной неотступной мыслью — пробиться во что бы то ни стало, соединиться со своими, чтобы снова встать в ряды защитников Москвы.

На одной из последних повозок, прикрытая тяжелой шинелью, тряслась по кочковатой дороге больная Вера Петровна Крылова, работник штаба части. Пронизывающая холодом роса осеннего рассвета заставляла даже сквозь сон все плотнее натягивать на себя эту влажную, нахолодавшую шинель и такое же сырое серое одеяло.

Повозочные в голове обоза с радостью увидели замелькавшие сквозь деревья домики и белую колокольню с притулившейся к ней родной красавицей-березой.

Внезапно с колокольни из-за этой березы резанули по ним из автоматов.

И сразу же выбыли из строя командир колонны и комиссар. Передние повозки остановились, задние наезжали на них.

Веру Петровну разбудили выстрелы.

— Товарищ Крылова, немцы.

Очнувшись, сбросив с головы одеяло, она спросила:

— Где командир, комиссар?

— Выбыли из строя.

— Кто старший из средних командиров?

— Вы.

Вера Петровна соскочила с повозки. Ее широко охватило дотоле незнакомое чувство — чувство войны. Никогда она еще не командовала, а тут

нужно было принять команду немедленно, сию минуту. Как и чем, она еще точно не знала. Она выхватила наган.

— За мной!

И через несколько мгновений Вера Петровна, верхом, в голове колонны, командовала обозом.

Первым сняли автоматчика, бывшего из-за изгороди. На улице показался отряд немцев. Ударил залп. Около Веры Петровны падали люди — товарищи. Она всех их знала по именам. Перевязать самой — было ее первым побуждением, но сейчас она командовала...

Не давая врагу опомниться, она кричала, посылая своего коня вперед:

— В атаку! Ура! За свободу!

Шквальной атакой враг был ошеломлен и дрогнул. Завязалась кровопролитная схватка на улице. Ожесточенное упорство советских бойцов оттеснило фашистов к околице. Лишь с колокольни все жгли и жгли очереди автоматчиков.

Едва подались назад отступающие цепи немцев, как в лесу тяжело заухало оглушающее эхо: стали бить фашистские минометы.

Передав командование старшине Петунину, Вера Петровна поскакала к обозу, чтобы отвести его в рошу.

Теснясь, выравниваясь, потянулись повозки. Вера Петровна торопила обозных.

И вдруг она увидела повозки со сложенными на них минометами. Ей доложили, что есть даже орудие: 47-миллиметровая пушка...

Вера Петровна мгновенно приняла решение: командовать батареей.

— Из минометов огонь! Орудие — по колокольне!

Загудели, заухали минометы. Розовой свечкой взлетела в утреннем солнце стройная береза. Тяжело осела и поднялась к небу известковой пылью белая колокольня.

— Шуму мы наделали!.. — рассказывала потом с увлечением своим ружьями Вера Петровна. — Немцы рассыпную, кто куда. И столько их высыпало!.. А береза даже поднялась верху!..

Обоз уже отошел в рощу. Переведя огонь на минометы противника, Вера Петровна поскакала через деревню группе Петунина.

Откуда ни возьмись, выскакивают из кустов фашисты — шесть человек. Загрохивают дорогу. Один из них хватается под уздцы коня Веры Петровны. Холонуло у нее сердце. Судорожно кала она рукоятку нагана: в нем не оставалось ни одного патрона. Был один заветный за пазухой — для себя, в крайний случай... Вера Петровна схватила руку, но патрона не было видно, в горячке боя выронила его немцетно... На всю жизнь запомнила Вера Петровна: нагло улыбаясь, огляывая ее всю, высокий черноволосый немец тянет за уздцы ее лошадь, задерживая тупой бараний взгляд на зеленых ленточках, вплетенных в тугие косы.

Спас Веру Петровну немецкий автоматчик. Пустив очередь из-за околицы, он убил под нею коня. Черноволосый немец резко пригнулся под чистом пуль. И тут раненый красноarmeец, лежавший поперек дорожной колеи, собрав остатки уходящих сил, прыгнул до него, ударил его прикладом по голове. На выручку уже бежал псовозочный Шульбанов. С разбега вонзил он штык в живот оглушенному ударом немцу. Уже подоспели другие бойцы, и немцы, побросав оружие, пустились бежать.

Под пулями перевязала Вера Петровна раненого бойца.

Гул минометов утихал. Немцы этак ходили.

Собрав свой отряд, вооружение, боеприпасы, подобрал раненых, оружие убитых и трофеи — три автомата, четыре винтовки, четыре пистолета, Вера Петровна двинулась к обозу.

Еще два дня шли они с тяжелыми боями. Всех раненых везли с собой. Их бомбили фашистские самолеты. Под Верой Петровной ранило еще одну лошадь. Шли по компасу. Шли суровые, сосредоточенные люди. Их вел смелый командир — товарищ Крылова.

— А вышли мы окончательно к своим в день моего рождения, — весело улыбаясь, говорит Вера Петровна. Выходили уже в полном порядке. В пути Вера Петровна постигла искусство строить колонну обоза.

— Впереди у меня, — уже привычно говорит она, — конная разведка, дальше у меня идет пехота, орудие у меня самым последним было, боковое правое — охранение... Красиво!..

Командиру двадцать один год, в тугие косы вплетены зеленые ленточки. Кандидат партии Вера Петровна Крылова, историк-географ, заврайоно одного из сибирских городов, вывела на подступы к Москве из вражеского тыла 500 бойцов, из них 49 раненых, 150 повозок и 250 лошадей; вывезла в полной сохранности войсковое имущество: 7 минометов и одно орудие; доставила боевые трофеи; под ее командой орудие дало в первом бою 91 выстрел и в другом 40 выстрелов — для того, чтобы уничтожен был подлый враг, для того, чтобы на это выжженное боем место вернулась мирная жизнь наших колхозных деревень, чтобы здесь разросся и шумел прекрасный лес, в счастливую тень которого уже никогда не вступит ни один фашист.

Действующая армия  
Ноябрь, 1941 г.

**Н. А. СБЫТОВ**

Генерал-майор ВВС

## Сталинские соколы в разгроме немцев под Москвой

Шесть месяцев наша доблестная Красная Армия, подвергаясь вероломному нападению, выигрывала время и изматывала войска Гитлера активной обороной. Два месяца наши части перемалывали фашистские армии на подступах к Москве.

Москва — столица социалистического государства. Москва — город, с которым связаны лучшие мысли и надежды прогрессивного человечества всего мира.

Сюда, к Москве, тянулись руки бандитов-гитлеровцев. Любой ценой хотели они захватить наш любимый город.

Великий вождь и полководец Сталин опоясал Москву кольцом войсковых соединений, выиграл время, создал ударные армии, создал мудрый план разгрома немцев под Москвой, выбрал время нанесения удара, — и Красная Армия под его водительством нанесла немецко-фашистским мерзавцам этот удар.

В декабре под Москвой начался разгром немецких войск.

Гитлеровские вшивые банды, понеся огромные потери, ушли из Подмосковья.

Славная Красная Армия!

Торжествует наш народ, приветствуя своего вождя.

В грандиозной битве и в победе Красной Армии над немецкими бандитами под Москвой, в коллективе боевых действий всех родов войск почетное место принадлежит нашей авиации — сталинским соколам.

### I

Шли первые дни октября 1941 года. Гитлер собрал в районе Рославля мотомеханизированные дивизии, прорвал линию нашей обороны и бросил свои бронированные банды на восток, имея целью молниеносный выход к Москве и захват ее.

Впереди лежало прямое Варшавское шоссе — кратчайший путь к Москве. Сюда-то и направили свои полчища гитлеровские генералы. План фашистов был рассчитан на быстрый выход к Юхнову, откуда, распустив бронированные колонны к Вязьме, Гжатску, Малоярославцу, Калуге, Масальску, неприятель намеревался окружить отходящие наши армии, быстро выйти на московские рубежи и с налета взять Москву.

Уже фюрер и псы его лаяли на всех перекрестках об окончательном и решающем наступлении на Москву... Но дела повернулись иначе.

Нам нужно было организованно отступить и занять Московскую зону обороны. Бронированные войска немцев быстро продвигались на восток.

Для борьбы с мотомехчастями врага нужны свои мотомехчасти, противотанковые средства; но наиболее маневренным, могучим средством борьбы с танками, бронемашинами и мотопехотой врага является авиация.

И вот здесь с первых чисел октября на нашу авиацию легла большая и ответственная задача — разгромить лавину немецких танков и бронемашин, задержать их продвижение вле-

и обеспечить наземным войскам тие укрепленных позиций.

авиация Московской зоны обороны стью выполнила эту задачу. Истребли, штурмовики, бомбардировщи-сосредоточенными, массирован-а ударами уничтожали танки и машины немцев на Варшавском се.

одвигаясь к Юхнову, немцы ор-зовали большую бензозаправоч-станцию на поляне в лесу. Сюда летали транспортные самолеты и авляли бензин для мотомехко-и. Наши разведчики быстро обна-или эту станцию, а бомбардиров-и два раза прорывались сквозь-ку зенитного огня и сжигали ее-те с транспортными самолетами. этой борьбе нашей авиации с мо-хчастями врага, продвигавшегося дорогам к Гжатску, Малоярослав-и Калуге, ежедневно рождались ые героинечки.

летали беспрерывно. Летали ночью, или в плохую погоду... Непрерыв-наносить немецким войскам удары воздуха, задерживать их, не давать покоя ни днем, ни ночью — тако-была задача, и она ежечасно осу-твлялась.

емцы взяли Юхнов и начали вы-таться дальше на восток. Дорога ала через мост; его нужно было чтожить. Немцы, понимая большое чение моста, взяли его в частокол итной артиллерии и пулеметов. По-а была явно не летная, но звено чика Крайнова на тренировочных олетах у самой земли пробралось-прямым попаданием бомб уничто-о мост, несмотря на беспорядоч-огонь немецких зениток, стреляв-в туман.

огучая волна патриотизма охвати-з всех бойцов и командиров авиа-

тупая в бой, сталинские соколы останавливались ни перед какими-ностями. Таранный удар из ред-ного случая отваги и самопо-гования превратился в один из ршенных методов уничтожения-ушного врага. В битве под Юх-м впервые был сбит тараном фа-токий самолет «Хейнкель-126»-им самолетом, летчик которого е выполненней задания встретил-щкого разведчика. Когда у него не-ло патронов, он ударил немца

крылом своего самолета и сбил его.

Так, нанося систематические удары немецким захватчикам, сталинские со-колы Московской зоны обороны обез-печили вступление в бой наших пол-ков и дивизий.

Наступление гитлеровских банд бы-ло остановлено на линии Волоко-ламск, Можайск, Малоярославец. До-роги их «молниеносного» шествия бы-ли усеяны трупами гансов и фрицев, подбитыми танками и сожженными автомашинами.

## II

В ноябре гитлеровское командова-ние бросило на подступы к Москве новые резервы. Дороги с запада к Можайску, Волоколамску и Малояро-славцу были сплошь забиты автомаши-нами, танками, артиллерией, обозами.

Немцы готовили новое — и снова «решающее» — наступление на Моск-ву. Они уже усиливали свой натиск на Калинин и Тулу.

Гитлеровское зверье, не считаясь с потерями, рвалось к Москве.

Страна переживала тяжелые дни.

Москва в опасности!

Наступили исторические дни 6 и 7 ноября 1941 года.

Великий Сталин взошел на трибуну и произнес речи, которые удесятерили силы народов Советского Союза, во-одушевили Красную Армию на новые подвиги, вдохнули новые надежды в сердца истерзанных немецкой оккупа-цией людей, указали всему миру за-кономерный путь развития событий. Под ногами гитлеровских армий зако-лебалась почва.

Воодушевленная призывом своего вождя, Красная Армия с невиданной силой ринулась в гигантский бой с фашизмом.

Мощные удары всех видов нашей авиации обрушивались на подходи-щие резервы врага. Истребители и штурмовики, взаимодействуя с назем-ными войсками, вели боевую работу у переднего края обороны, помогая пе-хоте отбивать натиск врага.

Истребители противоздушной обо-роны Москвы прикрывали столицу от воздушных налетов гитлеровцев.

В этот период начала разгораться жестокая борьба за господство в воз-духе.

Ни одна современная операция не может быть проведена без серьезного обеспечения авиацией. Фашистское командование бросило лучшие части своей авиации на Московское направление. Фашистские летчики летали группами, применяли воровские уловки и, несмотря на это, под напором сталинских соколов все чаще и чаще не принимали боя, сбрасывали бомбы куда попало и поспешно переходили в бегство.

Борьба за господство в воздухе — серьезное и упорное дело. Навязать свою волю врагу, уничтожить его материальную часть, вымотать его летный состав непрерывными и дерзкими атаками — дело всей авиации.

В это время наши тяжелые бомбардировщики наносили удары по фашистским аэродромам в глубоком тылу, скоростные бомбардировщики били фашистские самолеты на аэродромах непосредственно перед фронтом.

Истребители и штурмовики уничтожали материальную часть фашистской авиации на передовых аэродромах, а истребители ПВО вели воздушные бои по уничтожению фашистских самолетов в воздухе над полем боя и на подступах к Москве.

В результате этой упорной борьбы сталинские соколы в боях на подступах к Москве уничтожили на аэродромах и сбили в воздухе около 1 500 фашистских самолетов.

В это время широко стали известны такие подвиги сталинских соколов, как уничтожение 44 фашистских самолетов в воздушном бою летчиками соединения тов. Митенкова только за один день — 29 октября — или уничтожение 38 фашистских самолетов на аэродроме Клина летчиками-бомбардировщиками ВВС Московской зоны обороны тт. Карпенко, Маталасовым, Домановым, Левинским, Синецким.

К концу ноября фашистские летчики ударами сталинских соколов были настолько деморализованы, что почти всегда уклонялись от боя, и нередко можно было видеть такую картину: «Мессершмитты» прикрывают мотомехвойска, рвущиеся к Москве, но вот прилетают наши штурмовики и истребители, начинают бить фашистские танки и автомашины, а «чисто арийской крови» ассы, поджав свои мессершмиттовские хвосты, улетают в сторону и наблюдают, как советские

летчики отправляют на тот свет на земных фрицев вместе с их техникой.

В этих условиях полного господства в воздухе наша авиация обрушивается на фашистские мотомехчасти, рвущиеся к Клину. От Клина фашисты начали выдвигаться к Солнечногорску и Дмитрову.

Враг был у ворот Москвы.

Непрерывно летели наши истребители, штурмовики, бомбардировщики к Истре, Солнечногорску, Белому Расту, Красной Поляне. Сотни тонн бомб, тысячи снарядов, сотни тысяч пуль посылали наши летчики на голову врага.

Останавливались танки, переворачивались автомашины, взрывались цистерны с горючим, тысячами фашистских трупов устилалась дорога к Москве.

На отдаленных участках удары были настолько сильны, что пути подхода немцев к Москве превращались в дороги смерти. Фашисты были вынуждены идти другими дорогами или двигаться только ночью.

Действия нашей авиации достигали невиданной активности. Летчики и штурманы проявляли беспримерный героизм и мужество.

Сквозь туман и снег, сквозь ожесточенный огонь фашистской артиллерии пробивались экипажи, эскадроны, полки к цели и разили врага своим смертоносным оружием.

Мы были свидетелями того, как штурмовики подполковника Витруна на первом классе противотанковом самолете конструкции Героя Социалистического Труда тов. Ильюшина и истребители подполковника Писанко не раз обращали в бегство танки и мотопехоту врага.

Каждый день росли и укреплялись боевое содружество и взаимная выручка всех родов авиации. Совместная боевая работа истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков стала законом успешных боевых действий.

В северном секторе обороны враг был у ворот Москвы. Он хотел окружить Москву, взять ее в фашистские клещи, но к декабрю месяцу советское командование предупредило замысел врага, подготовив советские клещи немецким захватчикам.

Под ударами наших фланговых армий, под ударами нашей авиации и танков затрещали фашистские армии, сталинские соколы уже 5 декабря 41 года, в день нашей Великой Сталинской Конституции, увидели, как на отдельных участках немцы начали отступать. Второе наступление немцев на Москву было сорвано. Налось наше контрнаступление.

Перед авиацией стала задача уничтожения отходящих немецких войск.

В этот период сталинские соколы писали еще ряд славных страниц в историю боевой жизни своего крылатого племени.

Груды сожженных автомашин, танков, тысячи трупов фашистов на Ленинградском шоссе, у Клина и Солнечногорска, у Теряевой Слободы, на Можайском шоссе, в Малоярославце многих других местах—лучшее свидетельство боевой работы наших летчиков.

### III

Придет время, когда будут подведены полностью итоги по разгрому немцев под Москвой, и перед нашими глазами развернется грандиозная картина действий сталинской авиации по уничтожению техники врага, по уничтожению фашистских оккупантов. Десятки тысяч фашистских людоедов сложили свои головы от бомб и пуль наших летчиков, тысячи подбитых тяжелых танков и автомашин остались на полях Подмосковья.

Но даже по боевым действиям отдельных авиаполков и отдельных эскадрилий можно судить о грандиозности удара, нанесенного немецким войскам нашей авиацией под Москвой.

Вот незначительная часть цифр и фактов эпизодов, характеризующих боевую работу наших летчиков.

Штурмовики подполковника тов. Вилучука уничтожили в боях под Москвой 30 танков, 1 127 автомашин, истребили более 8 000 солдат и офицеров, взорвали несколько складов боеприпасов, переправ, уничтожили три крупных габа.

Истребители подполковника Писанова уничтожили 37 фашистских самолетов, 142 танка, 1 188 автомашин и 300 солдат и офицеров.

На лицевых счетах таких летчиков-коммунистов, как тт. Карпенко, Бабенко, Болгова, Тужилков, Тетерин, Даубе и другие, имеется по 10—20 уничтоженных фашистских танков, по 50—100 сожженных автомашин, по 5—8 уничтоженных самолетов врага и по 200—300 истребленных солдат и офицеров.

Таких летчиков-героев у нас сотни.

Весь путь борьбы с фашистами под Москвой богат героическими эпизодами деятельности наших летчиков.

Однажды партизаны сообщили, что в одной из деревень в районе Высокиничи размещен большой штаб и имеется офицерская столовая. Партизаны проследили и за тем, когда фашистские офицеры собираются на обед.

Угостить за обедом господ офицеров было поручено летчику Коробейникову, который точно в обеденный час пришел к цели, прорвался сквозь зенитный огонь и разнес офицерскую столовую в щепы. Господа офицеры пытались бежать, но наши летчики продолжали их расстреливать из пулеметов на улице деревни. В результате этого нападения было уничтожено не менее 60 фашистских офицеров.

Вот что рассказал летчик тов. Торев об уничтожении им танков.

«Была дана задача — атаковать и уничтожить в районе Дорохово, дер. Симбухово и Назарьево живую силу и танки противника. В 8 час. 40 мин. в составе 4 самолетов я поднялся в воздух и взял курс к линии фронта. Погода была ясная и видимость хорошая. Выйдя точно на цель, мы начали обстреливать и бомбить колонну противника. Я атаковал на дороге идущие на дер. Симбухово танки и бронемашину противника. В первый заход сбросил бомбы по скоплению танков и автомашин и снарядами обстрелял колонну пехоты. Посланный мною боевой груз ложился точно на цель. При втором заходе еще раз обстрелял колонну из пушек; было видно, как подбитые танки и машины горели на дороге, и видно было большой клуб дыма от взрыва подожженной цистерны с горючим. В этот раз я уничтожил 8 танков противника, одну цистерну с горючим, 3 автомашины с грузом и до 40 солдат и офицеров.

Когда я уходил от цели в дер. Симбухово, мою машину обстреляли из пулеметов и зенитной артиллерии; несмо-

тря на это, я благополучно дошел до своего аэродрома».

Шли ожесточенные бои у Солнечногорска.

Капитан Кулак вел свою эскадрилью в бой против колонны фашистских танков. После смелой штурмовки в упор тов. Кулак геройски погиб, но его летчики не растерялись: они до конца выполнили задание, на которое их вел командир, — фашистские железные коробки горели на дороге.

Имеется много примеров героизма и выдержки, когда сталинские соколы, раненые и на подбитых самолетах, прежде чем улететь на свой аэродром, продолжали штурмовать врага до последнего патрона.

Фашистские генералы в своих приказах, захваченных нашими частями, очень часто указывают на потери, понесенные их войсками от советской авиации, и долго и длинно инструктируют своих солдат и офицеров о способах маскировки, рассредоточения и укрытия во время налета наших самолетов. Но и это не помогает. Сталинские соколы на новую тактику врага изыскивают новые методы внезапных атак и продолжают бить фашистов с еще большим упорством.

Еще на заре авиации Владимир Ильич Ленин видел в первых летательных аппаратах огромное будущее этой новой техники. И когда шла гражданская война, Ленин и Сталин придавали большое значение имевшемуся тогда незначительному числу самолетов в Красной Армии и направляли их на наиболее ответственные участки фронта.

Ленин неоднократно развивал мысль о бреющем полете, о штурмовых действиях самолетов против конницы.

Шли годы. Рождались сталинские пятилетки. Индустриализировалось наше хозяйство.

Сталин создал могучую советскую авиационную промышленность.

Сталин выпестовал плеяду советских конструкторов моторов и самолетов.

Сталин вырастил и воспитал неустрашимое племя советских летчиков.

За храбрость, мужество и отвагу, за беспредельную преданность своему народу и безграничную любовь к своей родине, за то, что они являются воспи-

танниками великого Сталина, — наш народ назвал своих летчиков сталинскими соколами.

Только полное единение нашей мощной авиационной промышленности, великолепных кадров авиационных конструкторов и целых армий летчиков позволяет нашему народу иметь такие успехи боевых действий авиации.

Мы имеем целые армии летчиков-истребителей, по праву называющихся мастерами полета, носителями смелости и бесстрашия, выразителями храбрости нашего народа.

Мы имеем целые армии летчиков-штурмовиков, лавины атак которых не выдерживают фашистские части.

Мы имеем целые армии летчиков-бомбардировщиков, обладающих исключительной выдержкой и смелостью. Это их смертоносный груз обрушивается на головы фашистов, начиная от линии фронта до глубоких тылов.

Мы имеем в нашей авиации полное боевое содружество истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков.

Сталинские соколы проникнуты духом наступления.

За дело Ленина—Сталина, за свой народ и свою родину сталинские соколы наступают и в жестоких схватках разят врага.

И когда наши истребители, бомбардировщики, штурмовики поднимаются на своих быстрокрылых самолетах ввысь, они видят величие родины, они видят с высоты полета красавицу Москву, Красную площадь, место, где покоится великий Ленин, их взоры обращены к Кремлю, туда, где живет вождь и полководец Сталин.

В сердцах сталинских соколов еще сильнее разгорается чувство мести к фашистским извергам-захватчикам, причинившим столько бедствий нашему народу и поработенным народам Европы.

Эта народная месть разрослась в могучий ураган, который выбил немцев из Подмосковья, отбрасывает их на основных участках фронта отечественной войны.

Придет время, и этот ураган народной мести вдребезги разобьет фашистские армии; в первой волне этого народного урагана, осененные победоносным знаменем Ленина и Сталина, летят сталинские соколы.

## Боевая семья<sup>1</sup>

Люди этой книги схожи характерами так, как бывают схожи друг с другом члены милой дружной семьи. Как хорошую, крепкую семью объединяет общность взглядов, интересов, привычек и вкусов, взаимное уважение и любовь, так и героев книги Л. Аргутинской неразрывными братскими узами крепляют любовь к родине и интересы ее щиты.

1939 год. Автомобильный батальон, находящийся на советской земле неподалеку от инской границы и жаждущий боя, полует, наконец, распоряжение двинуться на соединение с главными силами своей дивизии, расположенными в занятом финском городке Питкяранта.

Батальон переходит границу, углубляется чаще лесов, еще кишаших белофинскими андами, и прибывает в Питкяранту, до основания разрушенную отступившим врагом. Городок превратился в географическое понятие. Автобат несет здесь, как будто незаметную, но необходимую службу перевозки снабжения действующим частям дивизии, а затем, в силу сложившейся боевой обстановки, выходит на передовую линию огня и стойко держит оборону городка до подхода подкреплений.

Все в этой книге происходит как будто бы чужь буднично и просто. Мы видим, как пробирается батальон через непроезжие леса, сквозь обстрелы, завалы и мины, как шоферы тролят себе землянки, как оборудуются медпункт. Вот стучат топоры, визжат пилы, нею дням, а по часам растет городок, люди дружно и весело налаживают свое временное килье. Вот ведут шоферы свои машины, вот у глухим дорогам пробирается с сумкой одинокий почтальон полевой почты, — товарищи ждут писем, нужно поскорее их доставить; происходит партийное собрание, получается свежая газета, слушают радио. Одним словом, продолжается обычная жизнь, кипит работа, и в бой идут деловито и просто, как ежедневно в тылу ходят на завод или в учреждение. Л. Аргутинская как бы нарочито показывает боевую жизнь отряда с ее внутренней, бытовой стороны. Этот метод пока а делает книжку особенно убедительной и

доходчивой, подчеркивает массовый героизм советских людей, наполняет сердца читателей живейшим интересом к их судьбе, горячей любовью к ним, таким честным, мужественным и стойким.

Читатель с первых же страниц книги оказывается введенным в тесный семейный круг бойцов автобата, он как бы ощущает себя членом их дружного коллектива, непосредственным участником событий. Энергичный, уверенный и знающий свое дело комбат Ионычев, комиссар Альтшуллер, комсорг Чарухин кажутся уже давно знакомыми, своими, такими понятными и близкими людьми. Вы разделяете их нетерпеливое стремление поскорее присоединиться к своим действующим частям, пробиваетесь сквозь препятствия, мерзнете, беспокоитесь об успехе дела, заботитесь о бойцах, разочаровываетесь, увидев развалины вместо ожидаемого населенного местечка, радуетесь быстро выросшим землянкам.

Эта непосредственная близость читателя с героями происходит именно оттого, что Л. Аргутинская показала своих людей в их конкретной повседневной работе, не наряжая их в торжественную одежду и не поднимая на ходули. Перед вами не величественный герой, действующий во имя каких-то отвлеченных идеалов, а советский человек, искusstник и работника, творчески выполняющий почетное и ответственное задание — защиту рубежей своей страны, воодушевленный горячей любовью к родной земле, которую он и в мыслях даже не отрывает от своей семьи и своего повседневного мирного труда. Для героев книги Л. Аргутинской в их боевой работе нет презренных мелочей, которыми можно было бы пренебречь, — любое задание командования является для них делом огромной важности.

Шофер Горчаков везет бочки с бензином. Он подъезжает к месту, которое обстреливается финнами. Проехать здесь нет никакой возможности, об этом говорят шоферы, остановившиеся перед роковым местом. Но Горчаков решает все-таки попытаться проскочить на полном ходу. Он ползет по снегу, чтобы разведать местность. Он далеко не так спокоен, как это может показаться: «он чувствовал, как от волнения ладони покрываются испариной. Но разве можно оставить

<sup>1</sup> Л. Аргутинская. «На севере Ладон», М., «Советский писатель», 1941.

дивизию без горючего?» И Горчаков влезает в кабину и на полном ходу летит навстречу опасности. Его машина подорвана миной, сам Горчаков ранен, но первая его мысль, когда он очнулся, не о себе: «Бензин, который нужен дивизии, горит. Да нет же! Три бочки лежат в стороне совсем целые. Как бы их только не подожгли финны... Надо пробираться в дивизию, надо рассказать о горючем».

Чувство ответственности за выполняемую боевую работу, заставляющее забыть об опасности, руководит поведением бойцов и командиров автобата. Комиссар — душа и отец части, он отвечает за людей. Он заботится о том, чтобы часть не только была в хорошем моральном состоянии, — весь ее быт составляет предмет его неустанных забот. Он следит за тем, чтобы бойцы были устроены со всеми возможными в боевой обстановке удобствами, чтобы они могли, придя из боевой операции, выспаться в тепле, вымыться в бане, чтобы у них было чистое белье. Он устраивает специальное совещание батальонных «прачек», чтобы найти способ чище и быстрее мыть белье. В одной из землянок комиссар находит бойцов, устроивших себе примитивное отопление. Прямо в земле вырыта ямка, и в ней разведен костер. Комиссар возмущается: «Да разве так можно?» — и гонит бойцов за печкой и трубой в хозчасть.

«— Ничего, мы уже привыкать начали, товарищ комиссар, — говорит один из бойцов».

«Привыкать, привыкать... А кому это нужно? Надо жилище по-хозяйски устроить». Как настоящий отец в минуту грозной опасности умеет сплотить вокруг себя семью, чтобы отстоять свой дом, так и комиссар в нужный момент поднимает бойцов на охрану занятых дивизией рубежей, и его «тыловая» часть дерется с доблестью, достойной ударных боевых групп.

Чувство ответственности, воспитанное в советском человеке с малых лет, здесь, в боевой обстановке, делает чудеса. Руководимый этим чувством, боец-почтальон Сухарев идет один ночью по темным неизвестным лесам, в которых прячутся враги, только затем, чтобы принести письма бойцам и тем самым внести свою лепту в общее дело победы над врагом. Итти ночью одному, в мороз по враждебной чужой земле, где из-за каждого дерева тебя подстерегает смерть, холодно и страшно, но «как же вернуться назад, ничего не сделав». Ведь «...у каждого свои заботы» о семье. А как ему пришлют из дому весточку, он совсем другим человеком становится... с него забота спадает. Дело свое лучше делает».

Великая идея защиты родины заставляет бойца Соколова, оставшегося в одиночестве у пулемета, держаться до последнего патрона, хотя, «может быть, рядом уже никого нет». Он подумал было об отступлении, но «вспомнил ровную шеренгу машин. Кто же ее будет охранять, если он уйдет с этого места?» И Соколов держится до конца. Эта

же идея поднимает в момент опасности раненых из госпиталя Питкяранты и ведет их в бой. «Отовсюду, из всех дверей, выбежали раненые. Санитары и сестры в белых халатах носились по двору, уговаривали, за руки тащили бойцов в госпиталь. Все, кто мог двигаться, стремились в оборону. Из склада на розвальни грузили боеприпасы. Те из раненых, кто не имел винтовок, перемогался, помогали грузить ящики». И комбриг, который перед этим пытался «успокаивать» раненых, уходит. «Надо в штаб — сказал он адъютанту. — Здесь все в порядке».

Как члены дружной семьи, болея за общие интересы, заботятся друг о друге, так в Красной Армии неустанно заботятся друг о друге бойцы, командиры и политработники.

Проводив колонну шоферов за горючим, все оставшиеся думают о них. Комсомолец Бобров внезапно вносит предложение «бронировать машины», — обивать кабинки шоферов найденным в заброшенной финской усадьбе листовым железом. Его предложение подхватывает комиссар, организует работу. И вот тут же, ночью, после собрания, работа закипела — бойцы «бронировали» автомобили.

Шофер Горчаков ползет, чтобы разведать путь для своей машины. Он слышит, что кто-то ползет за ним. Это был случайно встреченный им на дороге сапер.

«— Подожди, — тихо сказал сапер. — Поползем вместе. Я тут всю местность знаю. Ну, куда тебе одному?»

Разведав местность, Горчаков направляется в свой опасный рейс, и незнакомый парень провожает его, как родного:

«— Ну, браток, — взволнованно сказал ему сапер, — держись, браток».

Шоферы поспешно откатали свои машины, чтобы дать Горчакову хороший разбег, пулеметчик выпустил очередь, чтобы заглушить шум горчаковского мотора, а когда Горчаков был ранен, танкисты прижали на себя удар финнов и спасли раненого водителя и его горючее.

Семья советских бойцов, крепкая своим единством и дружкой, тем и сильна, что в сражении каждый больше думает о спасении товарища, чем о собственной безопасности. Люди советского боевого коллектива, избранные Л. Аргутинской, схожи характерами, ибо их роднят общие черты: самоотверженность, мужество, стойкость, презрение к смерти, товарищество, скромность.

Но каждый из этих людей порознь представляет собою яркую индивидуальность. Санитар Коваль, мечтающий быть хирургом, смельчак Горчаков, почтальон Сухарев, избратель Бобров, комсорг Чарухин, хозяйственный комиссар Альтшуллер, военврач Шилова — все это талантливые и знающие мастера, энтузиасты, подлинные художники своего дела. Маленькая книжка Аргутинской наглядно показывает, почему непобедима советская боевая семья — крепкая, дружная, самоотверженная и талантливая.

## Народные мстители

(Книги о партизанском движении)

Советскому народу памятен тот день, когда на рассвете 3 июля по радио раздался мужской голос Сталина. Весь советский народ, один за другим, поднялся по призыву своего любимого вождя на священную отечественную войну с немецкими захватчиками.

Под руководством к действию в тылу у врага, заветыванию мощного партизанского движения послужили указания товарища Сталина. В занятых врагом районах, — говорил товарищ Сталин, — нужно создавать партизанские отряды, конные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, порчи телефонной и телеграфной связи, сноса лесов, складов, обозов. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их, на каждом шагу срывать все их мероприятия».

Исторические указания вождя народов партизаны воплотили в героические дела. Со-

ветские партизаны стали грозой для врага; непрерывно, днем и ночью, изматывают они ненавистных немецких оккупантов, нанося им удары один чувствительней другого. Бесстрашная борьба советских партизан вызывает восхищение во всем мире.

Это великое движение народных мстителей не может не привлекать внимания советских писателей и журналистов. Наша печать и литература дают большой материал, характеризующий героизм, самоотверженность, инициативность и народную сметку советских партизан.

В брошюре И. Гохберга и Ю. Аксенова «Советские партизаны великой отечественной войны», насыщенной фактическим материалом, подчеркивается высокий уровень всенародной партизанской борьбы, развернувшейся в тылу у немецких оккупантов. Авторы книги отмечают, что в великой исторической борьбе с гитлеризмом советские партизаны в тылу у врага своеобразно продолжают и расширяют боевые действия нашей славной Красной Армии, служат ее верными и незаменимыми помощниками. Брошюра знакомит читателя с теми методами и способами, которые обеспечивают успех партизанских действий. Интересны главы книги «Взаимодействие партизан с Красной Армией и их тесная связь с населением» и «Боевой опыт и тактика советских партизан». Следует пожелать, чтобы в следующем издании брошюры было уделено еще больше места.

Партизанские отряды, вооруженные отрядами у фашистов оружием, машинами, боеприпасами, во многих пунктах вражеского тыла являются подлинными хозяевами; они восстанавливают советскую власть в районах, восстанавливают колхозы.

Партизаны — это подчеркивают авторы брошюры — сильны тем, что они поддерживают теснейшую связь с частями Красной Армии, с подпольными большевистскими организациями, с населением. О высоком политическом, военном, культурном уровне партизанского движения говорят многочисленные факты, приводимые авторами. Растут и партийно-комсомольские организации в партизанских отрядах. Партизаны издают печатные газеты и листовки, ведут большую массово-политическую работу среди населения.

И. Гохберг и Ю. Аксенов. Советские партизаны великой отечественной войны. Стр. 32. Цена 40 коп. ОГИЗ. 1941. В тылу у врага. Выпуски I и II. Гослитиздат. 1941. Героические эпизоды. Первые недели отечественной войны. Стр. 144. Цена 85 коп. Госполитиздат. III. Вперед, за нашу победу! Литературно-документальный иллюстрированный сборник. Стр. 88. Цена 50 коп. Гослитиздат. 1941. Всенародная партизанская война в тылу у врага. Стр. 80. Цена 40 коп. «Московский рабочий». 1941. Родная земля. Рассказы о великой отечественной войне. Стр. 48. Цена 30 коп. «Советский писатель». 1941. М. Эгарт. Партизан Грицай. Рассказ. Стр. 32. Цена 30 коп. «Молодая гвардия». 1941. Алексей Сняжко. Партизаны на Десне. Из книги «Путь к славе». Стр. 56. Цена 30 коп. Гослитиздат. 1941. Денис Давыдов. Героические партизанские действия 1812 года. Стр. 128. Цена 50 коп. Гослитиздат. 1941.

Жуков. Советские партизаны. Стр. 30. Цена 25 коп. «Молодая гвардия». 1941. Елена Кононенко. Девушки-героини. Стр. 32. Цена 30 коп. «Молодая гвардия». 1941. Пятка сестре-дружиннице партизанского отряда. Стр. 63. Цена 50 коп. «Молодая гвардия». 1941.

В двух небольших сборниках «В тылу у врага» собраны очерки и корреспонденции, посвященные партизанскому движению и в свое время напечатанные в центральных газетах. Они рассказывают о великом героизме, который проявляют в тылу у ненавистного врага самоотверженные и беспрестанно храбрые советские партизаны. Преодолевая огромные трудности, партизанские отряды наносят чувствительный урон врагу в живой силе и в материальных средствах. Рассказы о партизанах, объединенные в указанных сборниках, говорят о величии той борьбы, которую ведет советский народ в тылу у немецко-фашистской гвардии.

В сборнике «Героические эпизоды» также собраны фронтные корреспонденции, напечатанные в газетах в начале войны.

Вот один из них — очерк О. Курганова «Встреча в лесу». Танкист, сержант Мендуров, ведет бой с вражескими танками. Советский танк с воздуха начал преследовать фашистские стервятники. Но священное чувство долга побуждает сержанта довести танк в целости, а главное — сохранить жизнь тяжело раненного политрука Кравченко, находившегося на его попечении. Мендуров скрывается в лесу.

«Сержант не нашел ни тропинки, ни дороги, но сразу же за танком, в кустах, встретил человека. Это был партизан, один из тех, кто ведет непримиримую, но знающую страха и пощады борьбу с врагом в его тылу...

— Как вы оказались здесь? — спросил партизана Мендуров.

Оказалось, что еще днем в отряд донесли о появлении в лесу какого-то танка. За ним начали следить. Вскоре выяснилось, что это советские танкисты, и был выслан он, светловолосый, уже немолодой колхозник, для того чтобы вывести танк по тайным лесным дорогам.

Так на поле боя, в тылу у врага, всюду советские партизаны в самую нужную минуту приходят на помощь своим братьям — красноармейцам, пилотам, разведчикам. В тылу у врага красноармейцы и партизаны, объединив свои силы, громят немцев, истребляют ненавистных оккупантов, убийц и мародеров.

В литературно-художественном сборнике «Вперед, за нашу победу!» напечатан очерк И. Эренбурга «Презрение к смерти». Очерк знакомит нас с людьми и событиями, которые всегда будут вызывать глубокое патристическое волнение.

«В городе был пивоваренный завод. В течение суток тысячи бутылок были наполнены воспламеняющейся жидкостью. Смелчаки пополнили к танкам. Девятнадцать танков были уничтожены. Кидали бутылки в мотоциклистов. Для этого нужно много отваги — подойти вплотную. Нашлась отвага...»

Ни танки, ни пушки, ни автомагистры свирепого врага не страшны советским патристам, ибо сильнее страха смерти — любовь к социалистической родине. Во имя родины люди совершают беспримерные подвиги. И писатель взволнованно рассказывает: «Немцы вошли в пустой, мертвый город. Они вошли не сразу — ждали два дня: боялись войти. Два дня семеро героев ждали немцев близ моста. Когда на длинный мост через Двину вступили немецкие танки и артиллерия, — все взлетело в воздух. Взрыв был слышен дале-

ко окрест. Семеро советских людей погибли. И кто из нас спокойно может слышать рассказ об этом беспримерном мужестве?»

Сколько отваги и мужества было у того старого лесника, о котором в нескольких строках вскользь упоминает И. Эренбург в своем очерке! Старый лесник решил на неслыханное дело: он прыгнул с дерева на немецкого мотоциклиста, сжал ему крепко шею и заставил ехать к советской заставе!

Неисчислимы факты, говорящие о героизме советских людей и их самоотверженно преданности родине.

Вот перед нами старик из очерка Николая Вирты «Партизаны». Деду надо спасти лейтенанта-детчика. Немцы разыскивают его, казалось, уже напали на след. Но старый партизан готов принять смерть, лишь бы спасти красного командира. Фашисты наседают на старика с угрозами.

«— Ты, старый пес, — сказал один из немцев, — может быть, и русского летчика спрятал там, где много пчел?»

Старик промычал что-то в ответ. Солдаты опять начали кричать, но дед стоял на своем.

— Вилли, тряхни этого пса, — и пойдём. Вилли тряхнул старика. Летчик услышал короткий стон.

Дед глубоко запрятал боль, спрятал до времени свою обиду — уж он рассчитается за все!»

Сборник «Вперед, за нашу победу!» издан с хорошими иллюстрациями, на хорошей бумаге, что отличает его от большинства рецензируемых книг.

В сборнике «Всенародная партизанская война в тылу у врага» собраны документы и статьи о партизанском движении первых месяцев войны. В большой статье тов. Ем. Ярославского «Поднялись народы против фашизма», которой открывается стайный материал сборника, мы читаем: «Пусть не думают германские, итальянские, финские и иные фашисты, что красные партизаны способны бороться только с небольшими отрядами, нападать только на обозы, совершать только диверсионные акты. Партизаны, как это было и в гражданской войне 1918—1920 годов, могут наносить и уже наносят урон и более крупным частям врага».

Многочисленные и красноречивые факты партизанской борьбы на Украине, в Белоруссии, повсюду, где разгорелось движение народных мстителей, подтверждают справедливость этих слов. Так, один партизанский отряд в районе Бояновичи выследил немецкую пехоту на марше. Пропустив фашистов через мосты, партизаны взорвали все переправы через реку, а затем, вместе с красноармейцами, уничтожили свыше тысячи немецких солдат. Только небольшой части гитлеровцев удалось разбежаться по лесам, где их продолжали преследовать партизаны.

Другой бесстрашный партизанский отряд — «Смерть фашизму» в районе Л. ночью напал врасплох на саперную роту, восстанавливавшую разрушенный мост, и полностью ее уничтожил. Партизанские отряды, действующие в тылу у фашистов на северо-западном направлении, за несколько дней уничтожили 96 немецких автомашин с боеприпасами и продовольствием, 17 танков и бронемашин, 35 мотоциклов, 3 самолета, 4 цистерны

и 4 базы горючего. Эти же партизанские отряды пустили под откос 2 воинских эшелона, взорвали несколько мостов, разрушили телефонную связь. Захвачено много военных трофеев, значительная часть которых успешно используется партизанами в борьбе против врага. Эти замечательные факты из сообщений Советского Информбюро собраны под рубрикой «Героические дела славных партизан».

Наши издательства еще не могут похвалиться обилием книг, посвященных отечественной войне. Между тем за восемь месяцев исторической борьбы с немецкими оккупантами накопился огромный материал для творческого обобщения, для изображения героических характеров, закалявшихся в пламени великой отечественной войны. Страна ждет от писателей глубокого художественного отображения великой борьбы, которую ведет советский народ.

Среди литературно-художественных сборников, вышедших в свет в первые месяцы войны, следует выделить сборник «Родная земля», в котором помещены небольшие рассказы и очерки Петро Панча, Якуба Коласа, Ванды Василевской, Вилли Бределя и других. Они с большой силой рисуют замечательные характеры советских патриотов.

Читатель крепко запомнит председателя колхоза Нестора Заваду из рассказа Петро Панча «Родная земля». В словах колхозника Завады мы слышим голос многомиллионных масс, полных безграничной ненависти к подлому и кроважидному фашистскому зверю.

«Навстречу им будет стрелять каждый куст, — говорит Нестор Завада на последнем колхозном собрании, — каждая кочка. Это есть война отечественная. Рука отсохнет у того, кто подаст напиток врагу, ясного солдата не увидит тот, кто в сердце пустит жалость, у кого губы сложатся в улыбку, кто с фашистом вкусит хлеба или разделит любовь. Только ненависть, только месть, только смерть должен встретить враг на советской земле. К этому призывает нас родина, так говорит нам любимый Сталин!»

И колхозники колхоза «Мирный труд» в ответ на эти пламенные и гневные слова своего председателя, полные решимости бороться с врагом, поют гордый гимн трудящихся — «Интернационал»:

— Это есть наш последний и решительный бой...

«Первым вышел из правления суровый председатель колхоза Нестор Завада. Он сердито кашлял, но крупные слезы продолжали катиться по его обветренному щекам.

— Пулями станут эти слезы, проклятый фашист! — сказал старый партизан, загоня в винтовку смертельный патрон».

Все народы Советской страны, крепя свою братскую, нерушимую дружбу, сплотились в единый боевой лагерь. Ненависть и презрение к вшивой фашистской солдатне побуждают идти по тропе героев старого инвалида — хромоногого дядю Купрея из рассказа Якуба Коласа «Партизан Купрей». Чувство патриотизма поднимает на подвиг вчера еще незаметных советских людей. Великие испытания народа наложили суровый и героический отпечаток на характеры советских детей, обострили их ум, закаляли волю, ожесточили их сердца. Дети с достоинством

несут почетное звание юных партизан. Потрясающее впечатление производит мальчик-герой из рассказа Ванды Василевской «Дети».

Юный народный мститель ведет себя перед лицом жестокого и неумолимого врага, как много испытавший боец. Его карающая рука не дрожит в решительный момент.

«За паузой — холодное прикосновение гранаты. Холодно смотрят детские глаза. Выбирают, рассчитывают: как и куда надо подойти, как надо сделать, чтобы все удалось. Он отвечает спокойно, рассудительно. Так, мол, и так. Ушли из деревни партизанить. Все до одного».

Фашистские мерзавцы, специалисты сыска и кровавого застенка, пытаются вымотать душу ребенка, угрозами и посулами добиться раскрытия тайны.

«Переводчик повторяет мальчику вопрос:

— Где партизаны?

Мальчик делает шаг вперед. Вот он уже у стола. Лицом к лицу с врагами в офицерских мундирах. Спокойным, нетерпимым голосом он говорит прямо в лицо шестерым офицерам:

— Партизаны везде.

И молниеносным движением выхватывает он из-за паузы гранату и швыряет ее.

Прежде чем офицеры успели вскочить, прежде чем они смогли раскрыть рот и крикнуть, приходит смерть».

Двенадцатилетний герой погиб вместе с ненавистными врагами. Но советский народ никогда не забудет его подвига.

Рассказы, помещенные в сборнике «Родная земля», оставляют глубокое впечатление; это художественные документы исторической борьбы советского народа за свободу.

С героическими буднями одного партизанского отряда на Украине знакомит нас рассказ М. Эгарта «Партизан Грицай».

Партизан Трофим Грицай еще недавно был мирным человеком, не помышлявшим о войне. Он отмеривал мануфактуру и отвечивал гвозди в сельском кооперативе. Колхозники его уважали за честность, за хозяйственность, за порядок. Но немецкие оккупанты грязными сапогами опоганили родные украинские земли, и Трофим Грицай собирает партизанский отряд. Фашисты-разбойники не раз почувствуют его тяжелую мстящую руку. Рассказ М. Эгарта убеждает нас, что партизаны, руководимые такими патриотами, как Грицай, выполняют великий сталинский приказ о помощи Красной Армии.

Несколько книг, посвященных героическому прошлому русского народа, заслуживают большого внимания советских читателей. Это книга Алексея Десняка «Партизаны на Десне» и «Дневник партизанских действий 1812 года» Дениса Давыдова.

«Партизаны на Десне» — отрывок из книги того же автора «Десну перешли батальоны». Десняк воскрешает в нашей памяти героическую партизанскую борьбу на Украине в 1918 году. Немецкие оккупанты уже тогда показали свое звериное лицо. Прусский офицер Шульд, орудовавший на Украине в 1918 году, — это прототип современных разбойников-офицеров фашистской грабярмии. Бесславный конец постиг немецких оккупантов на Украине в 1918 году:

«Немцы уже прятались на улицах. Наступая немцам на пятки, в городок вступили богуни. Еще стреляли в переулках, во дворах, но бой уже затихал...

Раскинув руки, на пыльной мостовой лежал мертвый Шульц.

Через несколько минут над Клинцами был поднят красный флаг».

Такая же бесславная участь ждет фашистско-немецких захватчиков.

Партизанское движение 1812 года подняло крестьянские массы на борьбу с наполеоновским нашествием. Ни военное искусство Наполеона, ни его «непобедимые» дивизии не могли противостоять восставшему народу. Народные мстители, партизаны, вооруженные дубинами, вилами, копьями, сильные духом патриотизма, бесстрашно громили наполеоновские войска, создавали невыносимые условия для их движения.

Известный герой партизанской войны того времени Денис Давыдов в своем «Дневнике партизанских действий 1812 года» описал великий подъем патриотических чувств, охвативших крестьянские массы. К чести Дениса Давыдова — гражданина, воина, писателя — нужно отнести то, что он первый сумел по достоинству оценить историческое значение освободительного движения крестьянства против захватнических воцелений Наполеона Бонапарта. Денис Давыдов, глубоко убежденный в непобедимой мощи русского народа писал:

«Огромна наша мать Россия. Изобилие средств ее дорого уже стоит многим народам, посягавшим на ее честь и существование, но не знают еще они всех слов лавы, покоящихся на дне ее. Не разрушится ли, не разветется ли, не снесется ли прахом с лица земли все, что ни встречается живого и неживого на широком пути урагана, направленного в тыл неприятельской армии, занятой в то же время борьбою с миллионною нашей армией, первой в мире по своей храбрости, дисциплине, устройству?»

Пламенный патриотизм, вера в силы народа продиктовали Денису Давыдову знаменательные строки: «Еще Россия не подымалась во весь свой исполинский рост, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь подымется!»

Героической советской молодежи — юношам и девушкам, участникам отечественной вой-

ны,—посвящены небольшие книжки Ю. Жукова «Советские партизаны» и Елены Кононенко «Девушки-героини».

Наряду с литературой о советских партизанах появились очень нужные брошюры, которые должны практически помочь партизанам в их боевой жизни. К таким брошюрам относится «Памятка сестре-дружиннице партизанского отряда». Издательства должны систематически выпускать такие книги.

Почти все упомянутые в обзоре книги и брошюры вышли в свет на первом этапе великой отечественной войны. За последние месяцы, когда Красная Армия перешла в героическое наступление и все дальше и дальше гонит на запад немецкую грабь-армию, видоизменились и усложнились задачи партизанской борьбы. Во взаимодействии с частями Красной Армии партизанские отряды отрезают и дезорганизуют пути отступления немецких оккупантов.

К сожалению, наши издательства и писатели сделали еще слишком мало для того, чтобы отразить новый этап партизанской борьбы. Между тем периодическая печать, сводки Советского Информбюро с фронтов войны ежедневно рассказывают о замечательных подвигах партизан. С волнением вся страна узнала о партизанских подвигах таких пламенных патриотов, как Михаил Алексеевич Гурьянов, Илья Николаевич Кузин, Зоя Анатольевна Космодемьянская, которым присвоено звание Героев Советского Союза.

Всегда в памяти народной будет жить чудесный образ юноши-партизана, Героя Советского Союза, Александра Чекалина. Его гордые предсмертные слова прозвучали приговором фашистам:

— Нас много, и всех не перевешают. Победа будет за нами!

Юная героиня Зоя Космодемьянская, умирая, бросает заветные слова:

— Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь! С нами Сталин! Сталин придет!..

Память об этих своих верных сыновьях и дочерях советский народ навсегда сохранит в своем сердце. Их святые имена вдохновляют советских людей на борьбу с ненавистными фашистами, вдохновляют они и советских писателей на создание выдающихся произведений о непобедимых партизанах.

## Воспоминания художника<sup>1</sup>

Выход в свет книги Михаила Васильевича Нестерова — несомненный праздник в области русского искусства. Имя автора говорит само за себя: маститому художнику есть что поведать читателю из своего прошлого, есть по почерпнуть из запасов своей памяти, так щедро сохранившей и лица, и слова, и события.

«Давние дни» — это, по замыслу автора, не протокольная запись виденного и слышанного, но отдельные очерки, «некоторые воспоминания». «Я говорю так, как понимаю и чувствую», — пишет Нестеров, нисколько не претендуя на непогрешимость.

«Природа моя была отзывчива на явления жизни, на людские поступки, но лишь Искусство было и есть моим истинным призванием. Вне его я себя не мыслю, оно множество раз спасало меня от ошибок, от увлечений».

Книга М. В. Нестерова охватывает огромный период времени — от 70-х годов прошлого века до наших дней. Свои воспоминания автор начинает рассказом о годах учения в Московской школе живописи, где «все жило Перовым, дышало им, носило отпечаток его мыслей, слов, деяний». Образ В. Г. Перова как любимого учителя сохранился в памяти Нестерова с первых месяцев его пребывания в школе, когда, шестнадцатилетним восторженным юношей, впервые он увидел этого человека — «среднего роста, с острым профилем, с властной повадкой». «Я впился глазами в лицо, такое прекрасное, связанное с громким именем». Далее — многократные встречи с учителем, постоянное общение с ним. Ценным качеством Перова как учителя Нестеров считал его умение во время работы поддержать своих учениках общий подъем духа, в минуты усталости оживить работающих. «Перов шел двумя-тремя словами повлиять, заставить поверить в свои силы, воодушевить своих учеников. Он любил свой класс, и мы платили ему тем же, верили в него».

В Перове как художнике Нестерова привлекала «не столько показная сторона, его желчное остроумие, сколько его «думы». Он был «истинным поэтом скорби». Своим зорким взором подмечал все яркое, характерное, освещал виденное то насмешливым, то зловещим светом, переживал лучшие свои создания сердцем и потому не мог не волновать сердца других, и мы, тогда еще слепые, прозревали...»

С благодарностью вспоминает Нестеров и свои встречи с И. Н. Крамским, посещения его мастерской, установление простых отношений с ним. Молодой художник дорожил думчивыми советами Крамского, с призна-

тельностью принимал его указания. Крамской рассеял закравшееся было сомнение в своем призвании. Автор ценил Крамского и как общественного деятеля. «Очень требовательный к себе, он был гораздо снисходительнее к своим друзьям-художникам. Благородный, мудрый, с редким критическим даром, он был незаменим в товарищеской среде. Его руководящее начало чувствовалось во всем, что касается славы и успеха товарищества того времени». «Заменить его как администратора, как идейного руководителя было некому...»

С большой выразительностью говорит Нестеров о В. И. Сурикове, огромным талантом которого он восхищался еще с молодых лет. Вспоминает первую встречу с автором «Боярыни Морозовой», свои отношения с ним, прочные и глубокие, несмотря на разницу в годах. «Душевная близость с Суриковым была подлинная», она проявлялась в беседах чисто интимного характера, горячих и дружеских рассказах Сурикова об искусстве, о старине, о жизни в Красноярске, в воспоминаниях о П. И. Чистякове, в беседах о рисунке, о красках, о любимой Суриковым живописи, ее природе, ее особом «призвании». «Суриков и краску и живопись любил любовью живой, горячей, в беседе о живописи вкладывал свой страстный, огненный темперамент. Поэтому, может быть, краски Василия Ивановича «светятся» внутренним светом, излучая теплоту подлинной жизни». Суриковская картина «Меньшиков в Березове» особенно нравилась тогдашней молодежи. «Мы с великим увлечением говорили о ней, восхищались ее дивным тоном, самоцветными, звучными, как драгоценный металл, красками, — вспоминает Нестеров. — «Меньшиков» из всех суриковских драм наиболее «шекспировская» по вечным, неизъяснимым судьбам человеческим. Типы, характеры их, трагические переживания, сжатость, простота концепции картины, ее ужас, безнадежность и глубокая, волнующая трогательность — все, все нас восхищало тогда, а меня, уже старика, волнует и сейчас».

Большое место в воспоминаниях отводит автор и своей многолетней близости с В. М. Васнецовым, своим «исключительным» с ним отношениям. Тут и первое впечатление от его «Трех царевен» на одной из «Передвижных выставок» в Москве, здесь и обстоятельства, повлиявшие на перелом во взглядах Нестерова на васнецовское творчество. «Прозрение» при виде васнецовского «Игоря в поборниках». Это «прозрение» дало Нестерову много: «Узнав и полюбив Васнецова как большого поэта, певца далекого эпоса нашей истории, нашего народа, родины нашей, — я стал душевно богаче, увидел обширное поле красоты».

Особый эгод посвящает Нестеров И. И. Левитану, говорить о котором ему «всегда приятно, но и грустно». «Левитан был не

<sup>1</sup> М. В. Нестеров. Давние дни. Встречи в воспоминаниях. Издание Государственной Третьяковской галереи. М. 1941.

только прекрасным художником — он был верным товарищем — другом, он был полноценным человеком». С большой сердечной теплотой повествует автор о своем знакомстве с Левитаном в условиях жестокой нужды, о дальнейшей близости с ним, о пройденных вместе этапах жизни. «Путь наш шел одной большой дорогой, — вспоминает Нестеров, — но разными тропами». Почти вся жизнь Левитана прошла на глазах Нестерова. Он был свидетелем упорного труда своего друга в «саврасовской мастерской», его первых работ на ученических выставках, принятых как «некое откровение», исключительного успеха крымских этюдов на «Передвижной выставке», работ последних лет, как «самых богатых и плодотворных», — словом, всего того, что сделало Левитана «чудесным художником-поэтом», показавшим нам «то скромное и сокровенное, что таится в каждом русском пейзаже — его душу, его очарование». Отсюда — давнишние симпатии автора к Левитану.

«С первых дней знакомства я любовался живым, ярким талантом его, отвечавшим мне некоторым сходством понимания смысла нашей русской природы. Мы оба по своей натуре были «клирики», мы оба любили видеть природу умиротворенной; конечно, это не значило, что я не видел и не ценил в творчестве Левитана иных мотивов, более или менее драматических, или его романтики («Над вечным покоем»). Я любил его «Омут», как нечто пережитое автором и воплощенное в реальные формы драматического ландшафта. Любил и популярную «Владимирку», равноценную по замыслу и по совершенству...» «И вот сейчас, по прошествии сорока лет, образ Левитана стоит передо мной, цельный, неизменный, прекрасный. Я, как и в молодости, люблю его искусство, чту его память...»

Той же симпатией проникнуты воспоминания Нестерова и о другом близком и дорогом ему человеке — А. А. Рылове, отзывчивом товарище, прекрасном художнике и так же, как Васильев и Левитан, «глубоком задушевном поэте».

Доброе слово вспоминает Нестеров и одного из замечательных людей своего времени — П. М. Третьякова, свое знакомство и взаимоотношения с ним. «В. Г. Перов и П. М. Третьяков меня утвердили в моем призвании. Они были и остались для многих примером, как надо понимать, любить и служить искусству».

В «книге жизни» Нестерова, помимо рассказов о художниках, читатель найдет также ряд интересных страниц, посвященных «встречам» с артистами, с превосходным описанием игры «несравненной, незабываемой» Стрепетовой — Степаниды в потехинской пьесе «Около деи»; Артема (А. Р. Артемьева) в роли Аркашки; описанием увлечения знаменитой Заньковецкой в роли «Наймычки», вплоть до зарисовки ее в этой роли.

Немало ценного для читателя и во «встречах» Нестерова с Л. Н. Толстым, А. М. Горьким, И. П. Павловым, с которых художник писал этюды. «Дорога в ваших картинах серьезность замысла, — писал Нестерову Л. Н. Толстой, — но эта самая серьезность и составляет трудность осуществления».

К числу недостатков книги относится некоторый схематизм очерков об Иордане, Верещагине, а также односторонность в оценке Ге, что особенно бросается в глаза при сопоставлении с полнокровными очерками о Перове и Сурикове. Интересный очерк о Толстом в композиционном отношении недостаточно связан с общей архитектуркой книги. Следует сделать упрек и по адресу технического редактора, ухитрившегося запрятать оглавление книги куда-то в середину ее. В целом же можно смело сказать, что книга М. В. Нестерова — интереснейшее явление нашей искусствоведческой литературы.

«Встречи и воспоминания» являются лучшей монографией о жизни и творчестве самого художника. Четкие, конкретные примечания к тексту, прекрасное оформление акад. Е. Е. Лансере, превосходные иллюстрации, данные в приложении, — все это лишь дополняет достоинства книги.

*И. В. Федорца*